

НОВЫЙ МИР

2

МОСКВА

1941

Н О В Ы Й М И Р

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Москва, 1941 г.

№ 2

Год издания XVII

★ ★ ★

СО Д Е Р Ж А Н И Е

	Стр.
<i>Приветствие товарищу Клименту Ефремовичу Ворошилову от ЦК ВКП(б) и Совнаркома СССР</i>	3
<i>Приветствие товарищу Клименту Ефремовичу Ворошилову от Президиума Верховного Совета СССР</i>	4
<i>Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении товарища Климента Ефремовича Ворошилова Орденом Ленина</i>	4
<i>Георгий Леонидзе — Крылья орла, из поэмы «Сталин. Детство и отрочество»</i>	5
<i>Алексей Толстой — Хмурое утро, роман, продолжение</i>	9
<i>И. Фефер — Баллада про Дойв-Бера, кузнеца, стихи</i>	29
<i>Сергей Вашенцев — Хорошая дорога, рассказ</i>	31
<i>Вл. Лидии — Литовские записи</i>	38
<i>Анна Караваева — На горе Маковце, повесть</i>	45
<i>П. Щеголев — Храбрость, рассказ</i>	91
<i>С. Ашеидорф — Два стихотворения</i>	100
<i>Александр Ойслендер — Далекий город, стихи</i>	103
—	
<i>К. Осипов — Начдив Киквидзе</i>	104
<i>Дневник матроса Железнякова</i>	139
—	
<i>И. Ермашев — Политика и стратегия в Средиземном море</i>	164
—	
<i>В. Гоффеншефер — Заметки о художественной прозе 1940 года</i>	178
<i>С. Трегуб — «Надо бы доругаться»</i>	204
<i>Евг. Крекшин — Писатели на фронте</i>	231

Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я

<i>Н. Плиско — «Краснознаменная Балтика» Леонида Соболева</i>	238
<i>Ан. Волков — «Драматургия Горького» Ю. Юзовского</i>	240
<i>С. Немировский — Рассказы Эльмара Грина</i>	245
<i>Вас. Кудашев — «Красный бор» Виктора Панова</i>	246
<i>Ан. Тарасенков — «Камни и травы» Маргариты Алигер</i>	249
<i>И. Макаров — «Репин» Корнея Чуковского</i>	251
<i>А. Моро, В. Щепотев — «Народные сказы» и «Большой праздник» Ф. Беззубовой</i>	253
<i>Л. Худак — «Цитадель» А. Кронина</i>	254

★



К. Е. ВОРОШИЛОВ

ТОВАРИЩУ КЛИМЕНТУ ЕФРЕМОВИЧУ ВОРОШИЛОВУ

Центральный Комитет большевистской партии и Совет Народных Комиссаров Союза ССР горячо приветствуют тебя, верного соратника Ленина и Сталина, одного из активнейших строителей коммунистической партии, виднейшего организатора вооруженных сил Советского государства и выдающегося полководца Красной Армии — в день твоего шестидесятилетия.

Всю свою жизнь с юношеских лет ты посвятил революционной борьбе за дело рабочего класса, за коммунизм. В годы первой русской революции 1905—1907 г.г. ты боролся в передовых рядах революционных донецких рабочих и вместе с Лениным и Сталиным строил нашу большевистскую партию. Ты был одним из активнейших участников Великой Октябрьской социалистической революции и большевистским руководителем ее в Донбассе, одним из первых организаторов рабоче-крестьянской Красной Армии. Под твоим командованием V-я Украинская армия в 1918 году совершила героический поход к Царицыну, прорвав кольцо белоказачьей контрреволюции. При твоём руководящем участии была создана Первая Конная армия, покрывшая себя неуязвимой славой. Ты прошел с ней славный победоносный путь, сокрушая денкинскую контрреволюцию, громя белополяков, ликвидируя белые банды Врангеля.

Твоей неустанной многолетней работе по руководству Красной Армией — она во многом обязана тем, что выросла в могучую и грозную силу.

На всех этапах твоей славной революционной деятельности партия знает тебя как мужественного и последовательного борца против врагов партии и советского народа. Своей неутомимой и плодотворной работой в качестве партийного руководителя, государственного деятеля, строителя Красной Армии ты заслужил любовь и уважение нашей партии и советского народа.

От всего сердца желаем тебе, наш дорогой друг и боевой товарищ, многих лет здоровья и дальнейшей плодотворной работы на благо нашей партии и Советского государства.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ВСЕСОЮЗНОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ (большевиков).

СОВЕТ НАРОДНЫХ
КОМИССАРОВ
СОЮЗА ССР.

Дорогой Климент Ефремович!

В день Вашего шестидесятилетия Президиум Верховного Совета СССР приветствует Вас — верного сына большевистской партии, непоколебимого борца за дело Маркса—Энгельса—Ленина—Сталина.

Всю свою сознательную жизнь Вы отдали беззаветному служению делу рабочего класса, делу коммунизма. В годы первой русской революции, рука об руку с Лениным и товарищем Сталиным, Вы создавали большевистские организации в подполье, руководили стачечной борьбой и боевыми организациями луганских пролетариев. Ни царские тюрьмы, ни ссылки не поколебали Вашу стойкость и энергию в борьбе за диктатуру рабочего класса, за торжество ленинизма.

В дни Великой Октябрьской социалистической революции Вы, как ближайший соратник Ленина и Сталина, являлись одним из организаторов победоносного вооруженного восстания рабочих и крестьян.

В годы гражданской войны и интервенции Вы были одним из организаторов доблестной Рабоче-Крестьянской Красной Армии и ее героических побед над контрреволюцией. Вместе с товарищем Сталиным, под его непосредственным руководством Вы организовали героическую оборону Царицына, вошедшую в историю гражданской войны одной из блестящих ее страниц.

Ваши исключительные заслуги, как организатора и политического руководителя 1 Конной Армии, покрывшей себя неуязвимой славой в борьбе с Деникиным, белополяками и Врангелем, широко известны трудящимся.

Ваше славное и любимое всем советским народом имя пролетарского полководца воплощает в сознании трудящихся нашей страны доблесть, геройство и беззаветную преданность Красной Армии, великой партии Ленина—Сталина и советскому государству.

Красная Армия, оснащенная современной военной техникой, идейно сплоченная, стала грозной силой для всех врагов СССР. Этим она во многом обязана Вашей плодотворной работе по организации и руководству вооруженными силами социалистического государства.

Трудящиеся Советского Союза учатся на Вашем примере твердой последовательности в проведении генеральной линии партии, непримиримости к врагам народа, большевистской настойчивости в осуществлении задач, поставленных партией.

Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик шлет Вам свои горячие пожелания еще долгие и долгие годы жить и работать на благо и счастье трудящихся нашей социалистической родины.

Президиум Верховного Совета
Союза Советских Социалистических Республик

★

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
О НАГРАЖДЕНИИ ТОВАРИЩА КЛИМЕНТА ЕФРЕМОВИЧА
ВОРОШИЛОВА ОРДЕНОМ ЛЕНИНА

За выдающиеся заслуги в деле строительства Большевистской партии и Советского государства, в деле организации и укрепления Красной Армии наградить товарища Климента Ефремовича Ворошилова, в день его шестидесятилетия, — орденом Ленина.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН

Москва, Кремль. 3 февраля 1941 г.

Крылья орла

ИЗ ПОЭМЫ «СТАЛИН. ДЕТСТВО И ОТРОЧЕСТВО»

ГЕОРГИЙ ЛЕОНИДЗЕ



Однажды вечером, когда Виссарион Джугашвили, отец маленького Сосо, закончил свою работу, в его хижине собрались родственники. Беседуя, вспомнили предков и их жизнь. Говорили о земле, о труде, о том, как предки Джугашвили пришли в город из деревни. И тут Виссарион Джугашвили рассказывал древнее предание, оставшееся в памяти народной со времен феодального владычества, — легенду о крыльях орла.

Словом вновь коснемся слова,
Раз про землю говорили:
— Прежде Лило ведь из Гори
Вышли предки Джугашвили.

Вспомним, горцами как были,
Где орлы шумят с размаху,
Где стучат о скалы волны
Изворотистой Лиахвы.

— Все скажу, — Бесо промолвил, —
Как, откуда, кто мы сами...

Над станком сапожным начал
Он старинное сказанье:

— Миру предки отдавали
Труд великий, постоянный,
Свое мужество большое,
Рук потрескавшихся раны.

Не покрыть и крыльям ветра
Их труда широкой славы,
Полегли под топорами
Вековых деревьев дубравы.

Рудники в ущельях рыли,
Плавя золота потоки,
Понасыпав гору зерен
Выше всех снегов высоких.

Башни строили до неба,
Кровью собственной окрасив,
Орды Азии громили,
Их отбросив во-свои.

Скот умножив, проложили
И дороги, и каналы,
Звоном кирок высекая
Свою летопись на скалах.

Тяжкий хлеб, что сеян в рабстве,
Под кнутами молотился,

Дождь ничто не зеленил бы,
Если б пот дождем не лился.

Не бывало даже хлеба,
Лоби с зеленью пахучей.
Дом у ласточки высокий, —
Их всю жизнь землянка мучит.

И, сгибаясь над пастушьим
Посохом, лозой немилой,
Не сомкнув над плугом взора,
Обладали лишь могилой
Вне господского укора.

Господин неумолимый,
Податей вокруг засилье,
Беспощадней всех оброков
Был оброк орлиных крыльев¹.

То крыло для лука князя,
Чтоб стрелу далеко гнало,
Чтоб стрелою оперенной,
Как алмазом, пробивало.

А к чему стрела та князю?
Разве меч ему не служит?
Хочет он дома соседа
Сжечь, топя в кровавой луже.
Ни кобель пусть и ни сука
У врага хвостом не кружит,

Чтобы горы стали степью,
Лес упал от вихря молний,
Чтоб добычей и побором
Башню доверху наполнить.

Где достать ты хочешь крылья?
Клюв убьет тебя орлиный,

Саван горного тумана
На плечах повиснет длинный.

Ведь орел играет с солнцем,
Весь он блеском перемечен,
У тебя — жильца землянки —
В полосах кнута все плечи.

Ты орлу свяжи хоть крылья,
Он колени не приклонит, —
Ты же ног согнуть не можешь,
Язвы пышут на ладонях.

Ветер воев в снежных щелях,
Буря дьявольского роста,
Будь ты парень хоть железный, —
Одолеть орла не просто.

В пядей семь ты держишь косу, —
Режь лугов руно густое,
Иль овец приобрети ты,
Чье руно, как золотое.

Или яблони сажай ты,
Чтобы сад сиял их цветом,
Иль лозы жемчужной стебли
Заплетай богатым летом.

Ты живи надеждой мирной,
Хватит пашен у отчизны.
Ведь с орлом тягаться трудно —
Кровь дождем из раны брызнет.

Вся земля, плоды — чужие,
Князю кажется от лени:
Без воды и без земли мы,
Как рога, взросли, олени.

Тяжело быть подневольным,
Век трудись, согнувши спину,
Превратят нас простр в пепел
По приказу господина.

И над треснувшей скалою,
Водопадной вымыт пылью,

¹ Следует пояснить, что в феодальной Грузии горцы, наряду с другими повинностями в пользу помещика, были обременены тяжким оброком — доставлять своему владыке крылья орла. Перья орлиного крыла прикреплялись к стреле и направляли ее полет.

Он мозолистой рукою
Ухватил орла за крылья.

— Ты отдай, орел, оброк мой,
То крыло, что князю снится,
Хоть на небо поднимусь я, —
От помещика не скряться.

Уступи, орел, мне крылья,
Сохрани мне жизнь, летая,
Пятерых ращу детей я,
Отца с матерью питаю. —

Если крылья он уступит,
Кто же будет в небе плавать,
Кто срывать там будет звезды,
Мир осыпав звездной славой?

Кто о солнце будет хлопать
Тем крылом, что жаждет бури?
Нет, он крыльев не уступит,
Он — носящийся в лазури.

И орел ударил клювом,
Под когтями кровь на теле,
На скалистые уступы
Ключья чохи полетели.

Лишь шуршал песок высотный,
Крыльев шум, удар горячий,
Водопад дрожал и скалы,
И пласты камней висячих.

Кто б разнял их, — нет такого,
Нет борьбы их очевидца,
Кто их кинул друг на друга, —
За столом атласным пира
Он сидит и веселится.

А в землянке плач раздастся,
Запищат в гнезде орлята,
Грудь бойца и гордой птицы
Пояс смерти сжал проклятый.

Ветерок подул меж ними:
— Перестаньте,
Помириться...
— Бейте лучше господина, —
Загремел обвал, как витязь.

— С вас крыло дерет,
Рубаху,
Бейте, —
Им кричит Мкинвари¹,
— Бейте, —
Слышно в водопаде,
В водяных столбов ударе.

И ударили друг друга,
В сердце мир им не стучится,
И орел в висок ударил,
И с разбитой пал ключицей.

И орел упал, как камень,
Темной градиной железной,
Град срывает лист зеленый,
Человек упал так в бездну,

Черный лес отбросил тени,
Вдоль уступов дрожью прынул.
Горечь в корни ударяла:
— Что вы служите тирану?

И когда костром приветным
Солнце выжгло мглу свинцову,
Ключья чохи сбросил ветер
На землянку молодцов.

Мать узнала: умер храбрый,
Тот, чьи годы молодые —
Словно сено ветром сдуто.
Ключья взвилися седые.

На глаза отец надвинул
Шапку, чтоб слезам не литься,

¹ Мкинвари (ледяная) — грузинское название Казбека.

На аршин роңяла слезы
Тут жена, от горя корчась,
Словно в горной тьме зарница.

Сотни, тысячи подобных
В бой вступали на отвесе,
Горы Картли, глина гор тех —
Все на их костей замесе..

Кончено...

Кто скажет, пламень
В трех сердцах какой там блещет?

Трое все,
смотри, как камень, —
Только мускулы трепещут.

Сжаты мысли, запах битвы
Встал над сказкою крылатой,
С кем они должны схватиться —
С силой тайной и проклятой?

Не поймешь, не скажешь сразу.
Как не хмуриться враждебно?!
На стене лишь реют тени
Кулаков, подъятых гневно...

Перевел с грузинского *Н. Тихонов*

Хмурое утро*

Третья часть романа «Хождение по мукам»

АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ

★

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1

Новое разочарование поджидало Вадима Петровича на хуторе Прохладном. Хата, где жила Катя с Красильниковыми, стояла с настежь раскрытыми воротами, чистый снежок занес все следы и лежал бугорком, источенным капелью, на пороге опустевшей хаты.

Ни один человек не захотел сказать Вадиму Петровичу — куда уехал Красильников с двумя женщинами. Был здесь такой Красильников — это не отрицали, но откуда он, из какого села, — кто его знает, много тут всякого народа прибывалось к батьке Махно.

В хате пахло холодной печью, на полу — мусор, через разбитое стеклышко нанесло снег, у стены — две голые койки. На облупившихся стенах даже тени не осталось от ушедшей Кати. После стольких усилий скрестились пути, и вот — опоздал.

Вадим Петрович присел на койку из неструганых досок. На этой или на той было у них супружеское ложе? Алексей мужик красивый, нахальный... «Поплакала — и будет, подотри глаза» — сказал он ей не грубо, — он умен, чтобы не грубить нежной барыньке, — сказал весело, ка-те-горично... И кошечка затихла, подчинилась, покорилась. Стыдливо и опрятно предоставила ему

делать с собою все, что ему хочется... Да ну же, — не разбила, небось, голову об стену! — без страсти, без воли обвилась вокруг такого ствола бледной повилкой, прильнула горькими цветочками...

Вадим Петрович заметался по хате, топчя пустые жестянки из-под консервов. Воображение распущенное, блудливое, лжешь! Катя боролась, не давалась, осталась верна, чиста! О, трус, о, пошляк! Честна, верна — светлой памяти твоей, что ли? Ответь лучше: убил бы ты их обоих на этой скрипящей койке? Или так: с порога взглянул на них, увидал катюшины глаза, — твой потерянный мир, — «Простите, сказал, я, кажется, здесь лишний...» Вот тебе, вот тебе испытание на боль... Вот оно, наконец, страшное испытание... Терпеть больше не можешь? Нет, можешь, можешь! Катю искать будешь, будешь, будешь...

Криволицый Каретник, сопровождавший Вадима Петровича, ждал в тачанке. Рощин вышел за ворота, влез в тачанку и поднял воротник шинели, загораясь от ветра. Личный кучер Махно, он же телохранитель, приводивший в исполнение на ходу короткие батькины приговоры, — под кличкой Великий Немой, — длинный и неразговорчивый мужчина, с вытянутой, как в кривом зеркале, нижней частью лица, погнал четверку коней так, что едва можно было сидеть, цепляясь за обочья тачанки.

* Продолжение. См. «Новый мир», №№ 4—5 и 8 за 1939 г. и № 1 за 1940 г.

Каретник, подсакивая и шлепаясь, говорил фамильярно:

— Брось скулить, дурья голова, — батя приказет — под землей найдем твою жинку. Эх, мать честная, есть о чем горевать! Бабы снаружи только размалеваны, а все они — одна сырая материя. Одна зараза... Плюнь на свою, не уйдет она от него, — Алешка Красильников три воза ей добра награбил... Первый в роте мародер, — его счастье, что во-время ушел...

Вадим Петрович, уходя до бровей в поднятый воротник, повторял про себя: «Можешь, можешь. Это начало, только начало твоих испытаний...»

Не сбавляя хода, пронесли по булыжной мостовой Гуляй Поля. Около штаба Великий Немой осадил взмокшую четверку. Рощина дожидались и сейчас же позвали к батяке. Махно заседал на большом военном совете в нетопленной классной комнате, где командиры неудобно разместились на маленьких партах, а Нестор Иванович, в черном френче, перетянутом желтыми ремнями, ходил, как ягуар, перед партами. Лицо у него, у трезвого, было еще более испитое, руки он держал за спиной, схватясь правой рукой за левую, висящую плетью. Он с минуту выдержал немигающим взглядом Вадима Петровича.

— Поедешь в Екатеринослав, — сказал он въедающимся голосом, — предъявишь в ревком мандат. От моего штаба будешь инспектировать план восстания. Ступай.

Рощин коротко козырнул, повернулся и вышел. В коридоре его ждал Левка Задов.

— Все в порядке. Мандат у меня. — Он обнял Вадима Петровича за плечи и, ведя по коридору, бедром подтолкнул его к одной из дверей. — Шинелишку придется сбросить. Я тебе подарю бекешу. — Не отпуская его плеча, он тремя ключами отмыкал дверь. — Лично мою, на роскошном меху. С левой дружить надо. Лева такой: кому Лева друг, — у того в банке миллион и девятка на руках.

Заведя Рощина в комнату с тем же прокисшим запахом, как и в культпросвете, продолжая хвастаться собой и

своими вещами, наваленными повсюду, он обрядил Вадима Петровича в бекешу, действительно хорошую, лишь несколько попорченную пулевыми дырками в груди и спине. Кряхтя от тучности, залез под койку; вытащив оттуда кучу шапок, выбрал одну — смушковую с малиновым верхом — и через комнату бросил ее Рощину, уверенный, что тот ее подхватит на лету. И — уже роскошествуя — сорвал со стены кавказскую шашку в серебре: «Была, не была, пользуйся, — конвойская...» Он и сам стал снаряжаться, — на обе руки надел золотые часы — браслеты, — опоясался поверх поддевки ремнем с двумя маузерами, прицепил шашку в облупленных ножнах, предварительно приложив палец к лезвию: «Это моя — рабочая...» Вбил ноги в высокие резиновые калоши: «Ну, скажем, я не кавалерист, как говорят в Одессе-маме...» Поверх всего надел нагольный тулуп: «Едем, котик, я тебя сопровождаю...»

На вокзал их повез тот же Великий Немой. Про него Левка сказал — так, чтобы тому не было слышно:

— Редкой силы человек, уголовник. Батяка с ним с царской каторги бежал. Ты с ним будь осторожен, — не любит, зверь, чтобы на него долго глядели... Его даже я боюсь...

Левка самодовольно разваливался в тачанке, счастливый, румяный:

— Подвезло тебе, Рощин, нравишься ты мне почему-то... Люблю аристократов... Пришлось мне — вот недавно — пустить в расход трех братьев князей Голицинских... Ну, прелесть, как вели себя...

В купе вагона, куда Левка велел принести из станционного буфета спирту и закусок, продолжались те же разговоры. Левка снял кожаный пояс:

— Непонятно, — говорил он, нарезая толстыми жербейками сало, — непонятно, как ты раньше обо мне не слышал. Одесса же меня на руках носила: деньги, женщины... Надо было иметь мою богатырскую силу. Эх, молодость! Во всех же газетах писали: Задов — поэтоморист. Да ну, неужто не помнишь? Интересная у меня биография. С золотой медалью кончил реальное. А па-

пашка — простой биндюжник с Пересыпи. И сразу я — на вершину славы. Понятно: красив, как бог, — этого живота не было, — смел, нахален, роскошный голос — высокий баритон. Каскады остроумных куплетов. Там это же я ввел в моду коротенькую поддевичку и лакированные сапожки: русский витьзь!.. Вся Одесса была обклеена афишами... Эх, разве Задову чего-нибудь жалко, — все променял шутя! Анархия! — вот жизнь! Мчусь в кровавом вихре. Да ты, котик, не молчи, поласковой с Левой, — или все еще сердиться? Ты меня полюби. Многие бледнеют, когда я говорю с ними... Но кому я друг, — тот мне предан до смерти... Шибко любят меня, шибко...

У Вадима Петровича голова шла кругом. После утреннего потрясения ему было впору завывать, как псу на пустыре под мутной луной. Неожиданное поручение — короткий и неясный приказ — было новым испытанием сил. Он понимал, что за каждый неверный или подзёрительный шаг он ответит жизнью, — для этого и приставлен к нему Левка. Что это за военревком, куда нужно явиться для инспектирования? Что это за план восстания? — кого, против кого? Левка, конечно, знал. Несколько раз Рошин пытался задавать ему наводящие вопросы, — у Левки только бровь лезла кверху, глаза стеклянели, и, будто не расслышав, он продолжал бахвалиться; ел — чмокал, не вытирая губ, раскраснелся, расстегнул ворот вышитой рубашки.

Вадим Петрович тоже вытянул стакан спирту и без вкуса жевал сало. Всеми силами он подавлял в себе отвращение к этому страшному и смешному, поганому человеку... О таких он даже не читал ни в каких романах... Видишь ты, — придумал про себя: «Мчусь в кровавом вихре...» Спирт разливался по крови Вадима Петровича, отпускаясь клещи, стиснувшие мозг, и на место почти уже автоматического, почти уже не действующего поведения: «Можешь, можешь» — находило уверенное легкомыслие.

— Ты, все-таки, брось со мной дурака валять, — сказал он Левке, — бабка дал мне определенную директиву, я

человек военный, загадок не люблю. Рассказывай — в чем там дело?

У Левки опять остановилась улыбка. Пухлая, с крупными порами, рука его повисла с бутылкой над стаканом:

— Советую тебе — меньше спрашивай, меньше интересуйся. Все предусмотрено.

— Значит, мне не доверяют? Тогда — какого чорта!..

— Я никому не доверяю... Я батьке не доверяю... Ну, давай выпьем...

Раскрыв рот так, что край стакана коснулся нижних зубов, Левка медленно влил спирт в глотку. От него пахло сладкой прелью, сырым мясом с сахаром... Помотав пышными, насыщенными электричеством, волосами, он начал выламывать куриную ногу:

— Я бы на твоём месте не принял этого поручения. Мало что — батька приказал. Батька любит дурить. Засыплешься, котик...

Рошин шибко ладонями потер лицо, рассмеялся:

— Советуешь уклониться? Может быть, пойти в уборную, да и выскочить на ходу?.. Как друг, значит, советуешь?

— А что ж... Я сказал, ты делай вывод...

— Дешовка, дешовка... Ты как думаешь — я смерти боюсь?

— А чего мне думать, когда я тебя насквозь вижу, ползучего гада... Спрячь зубы, вырву... Ну, наливай стакан...

Рошин с трудом глубоко вздохнул:

— Ты меня знаешь?.. Нет, Задов, ты меня не знаешь... Вот тебя поставить к стенке — вот ты-то, сволочь, завизжишь, как свинья...

Левка, припоровившийся укусить курячью ногу, закрыл рот так, что стукнули зубы, вспотевшее лицо его обвисло.

— Покуда замечалось обратное, — проговорил он брюзгливо. — Покуда визжали другие. Интересно — не ты ли меня собираешься гробануть?

— Да уж попался бы мне месяца три назад...

— Нет, ты не вилай, белый офицер, договаривай до конца...

— Не терпится тебе, мясник?..

— Ну, жду, договаривай...

Говорили они торопливо. Оба уже дышали тяжело, подобрав ноги под койку, глядя с напряжением в зрачки друг другу. Свеча, прилепленная к откидному столику, потрескивала, и огонек начал гаснуть. Тогда Рошин заметил, что багровое левкино лицо сереет, — он сказал глухо:

— А ну, выйдем в коридор... Выходи вперед.

— Не пойду...

— А ну...

— А ты не нукай, я не взнуданный...

Синенький огонек остался на кончике фитиля, как кощева смерть. Левка, видимо, понимал, что в тесном купе у жилистого, небольшого Рошина все преимущества, если в темноте они кинутся друг на друга... Он заревел бычьим голосом:

— Встать... в коридор...

Дверь в купе дернули, — огонек свечи кивнул и разгорелся, — вошел Чугай.

— Здорово, братки. — Под усиками рот его усмехался, выпуклые глаза перекатывались с Левки на Рошина. — А я вас иду по всему поезду.

Он сел рядом с Рошиным — напротив Левки. Взял пустую бутылку, встряхнул, понюхал, поставил.

— А чего невеселье оба?

— Характерами не сошлись, — сказал Левка, отворачиваясь от его насмешливого взгляда.

— Ты при нем вроде как комиссар?

— Не вроде, а поднимай выше, а ну — чего спрашиваешь...

— Тем более должен понимать — на какую ответственную работу везешь товарища. Характер надо придержать. Ты, браток, выйди из купе, я с ним без тебя хочу поговорить.

Чугай сидел плотно, — руки сложены на животе, ляжки широко раздвинуты, при огоньке свечи лицо его казалось розовым, как из фарфора, детская шапочка с ленточками чудом держалась на затылке. Он спокойно ожидал, когда Левка переживет унижение и подчинится.

Засопев, надутый, багровый, Левка угрожающе взглянул на Рошина, шумно поднялся и, блеснув в дверях лакиро-

ванными голенищами, вышел. Чугай задвинул дверь:

— Чего вы с ним не поделили-то?

— А пустяк, — сказал Рошин, — просто напились.

— Так, правильно отвечаешь. Но вот что, браток, — ты поступил в мое прямое распоряжение, отечать должен на каждый мой вопрос.

Чугай пересел напротив и близко у свечи развернул четвертушку бумаги, подписанную баткой Махно, где сбитыми машиночными буквами, с грамматическими ошибками, без знаков препинания было сказано, что Рошин отчисляется в распоряжение военно-революционного штаба Екатеринославского района.

— Убедительно для тебя? (Рошин кивнул.) Вот и отлично. Скажи — что тебя привело в эту компанию?

— Это — формальный допрос?

— Формальный допрос, угадал. Не зная человека, довериться нельзя, да еще в таком важном деле. Согласен? (Рошин кивнул.) Кое-какие справки я о тебе навел... Неутешительно: враг, матерый враг ты, браток...

Рошин вздохнул, откинулся на койке. За черным окном, где отражался огонек свечи, проносилась ночь, темная, как вечность. Ему стало спокойно. Тело мягко покачивалось. За эти трое суток, проведенных почти без сна, начинался третий допрос и, видимо, последний, окончательный. В конце-концов какую правду он мог рассказать о себе? Сложную, запутанную и мутную повесть о человеке, выгнанном в толчки неизвестными людьми из старого дома — с той улицы, где он родился, из своего царства. Но так ли это? Не сам ли он взял себя за шиворот и швырнул в помойку? Чего он, собственно, испугался? Что он, собственно, возненавидел? Так ли нужен был ему для счастья и старый дом, и старое уютное царство? Не призраки ли они его больного воображения? Вспоминать — так ничего разумного не найти в его поступках за этот год, и ничего оправдывающего. Здесь, в купе, не суд с присяжными заседателями и красноречивым адвокатом, взмахивающим романтической гривой. Здесь с

глазу на глаз нужно сделать почти невозможное — рассказать правду, не о поступках маленького человека, — это не важно, в этом разговоре они не в счет, — но о своем большом человеке... Здесь ты и подсудимый, и сам себе судья... И не важен и практический вывод из этого разговора, — если уж дошло дело до большого человека...

— Ты чего бормочешь про себя, говори уж вслух, — сказал Чугай.

— Нет, я не враг, это слишком просто, — проговорил Рошин, прижимаясь затылком к спинке койки. — У врага — цель, злоба, коварство... Вопрос хочу вам задать...

— Давай.

— Я вам нужен как военный спец?

Чугай помолчал, разглядывая его лицо с глубокими тенями во впадинах щек.

— А ты сам как ответишь?

— Думаю, что нужен, и в особенности не батьке, а вам.

— Ты меня лучше тыкай, мне легче разговаривать-то.

— Ладно, буду тыкать.

— Батька сказал, что ты будто по мобилизации попал в Добровольческую армию, убежденный анархист, и происхождения вроде даже подходящего...

— Все это вранье... Происхождения самого неподходящего. В Добрармию пошел по своей охоте. И ушел по своей охоте.

— Стыдно стало?

— Нет... А ты чего мне подсказываешь? Я за соломинку не цепляюсь, — давно уж на дне... Если бы верить в возмездие за грехи тяжкие!.. Нет у меня даже этого утешения...

— Налютывал, что ли, много?

— Было, было... Вся жизнь я требовал от себя честности, моя честность оказалась бесчестьем... И все так, — перевернулось с живота на спину, из белого стало черным...

— Биографию, браток, расскажи для порядка...

— Кончил петербургский университет... Юрист... Ах, вам нужно о происхождении... Помещик, из мелкопоместных. После смерти матери продал последние крохи — дом, сад и могилы за

оградой. Вышел из полка... Ну, что еще... Был, как все мало-мальски порядочные люди, либералом... (Вадим Петрович брезгливо поморщился.) Будущей революции, разумеется, сочувствовал, даже во время забастовок, — в тринадцатом, что ли, году, — открыл форточку и крикнул проходящим конным полицейским: «Палачи, опричники...» Вот вроде как этим и ограничилась моя революционная деятельность... Зачем было особенно торопиться, когда и так жилось сладко... (На этот раз у Чугая дрогнули усики.) Нет, уж ты погоди мной брезговать... Я говорю честно. Я, все-таки, бокалов с шампанским на банкетах не поднимал за страждущий русский народ. А в семнадцатом на фронте от стыда и позора сошел с ума. В окопах два с половиной года просидел, не подав рапорта... И шелкового белья от вшей не носил.

— Заслуга.

— А ты не издевайся, обойдись без этого... (Вадим Петрович сморщил лоб, глубокими тенями избородилось его худое лицо.) Ты ответь: что для тебя родина? Июньский день в детстве, пчелы гудят на липе, и ты чувствуешь, как счастье медовым потоком вливается в тебя... Русское небо над русской землей... Разве я не любил это? Разве я не любил миллионы серых шинелей, они выгружались из поездов и шли на линию огня и смерти... Со смертью я договорился, — не рассчитывал вернуться с войны... Родина — это был я сам, большой, гордый человек... Оказалось, родина — это не то, родина — это другое... Это — они... Ответь: что же такое родина? Что она для тебя? Молчишь... Я знаю, что скажешь... Об этом спрашивают раз в жизни, спрашивают — когда потеряли... Ах, не квартиру в Петербурге потерял, не адвокатскую карьеру... Потерял в себе большого человека, а маленьким быть не хочу, — стреляй, если хоть в одном моем слове смущен... Серые шинели распорядились по-своему... Что мне оставалось? Возненавидел! Свинцовые обручи набили на мозг... В Добрармию идут только мстители, взбесившиеся кровавые хулиганы... «Так за царя, за родину, за веру мы

грянем громкое ура...» И — на цыганской тройке за растегаями к Яру...

— Готов, браток, прямо — на лопате в печь, — сказал Чугай, и напряженный взгляд его выпуклых глаз повеселел. — Что за оказия — разговаривать с интеллигентами! Откуда это у вас — такая мозговая путаница. Ведь все-таки русские же люди, умные как будто... Значит — буржуазное воспитание. Сам себя потерял! Есть он, нет его, — и этого не знает. Ах, денкинец! Ну, ну, развеселил ты меня... Как же мы теперь с тобой договоримся? Хочешь работать не за жизнь, а за совесть?..

— Если так ставишь — буду работать.

— Без охоты?

— Сказал — буду, значит — буду.

Чугай опять взял пустую бутылку, тряхнул; посмотрел под откидной столик; взглянул на багажную сетку:

— Давай уж твоего сукиного кота позовем.—Он открыл дверь и позвал:— Комиссар, куда спирт спрятал? — И значительно подмигнул Рошину:—Ты в нем покороче, чуть что,—его на мушку. Самый у батьки вредный человек.

2

Рошин, Чугай и обрюзгший за ночь Левка вылезли на последней остановке перед мостом. Туман, поднимавшийся с Днепра, застилал Екатеринослав на том берегу. Все трое, помалкивая, поживались от сырого холода. Поезд, наконец, загромыхал буферами и пополз через мост. Тогда на дощатой платформе появилась женщина, закутанная в шерстяной платок, видны были только ее быстрые глаза. Прошла мимо стоящих, прошла в другой раз, и, когда, все медленнее, проходила в третий, Чугай сказал не ей, а вообще:

— Где бы чайку попить?

Она сейчас же остановилась:

— Можно провести, — ответила, — только у нас сахару нет.

— Сахар свой.

Тогда она отгребла с лица шерстяной платок, — лицо у нее оказалось до удивления миловидное, юное, с ямоч-

кой на круглой щеке, с маленьким припухлым ртом.

— Откуда, товарищи?

— Ну, оттуда же, оттуда, будет тебе, — конспирация! — вежи, — сердито ответил Левка.

Девушка удивленно подняла брови, но Чугай сказал ей, что «они те самые, кого она встречает». Она спрыгнула с платформы и повела их по путям, где стояло много искалеченных составов. Ни одна живая душа не попалась им, когда они, то перелезая через тормозные площадки, то проныривая под вагонами, подошли к товарной теплушке. Девушка постучала:

— Это я, Маруся, — привела.

Створы вагона осторожно прираздвинулись, выглянуло худое, суровое, бледное лицо с антрацитовыми глазами.

— Лезьте скорее, — тихо сказал этот человек, — холоду напустите.

Все трое — за ними Маруся — влезли в вагон. Человек задвинул створы. Здесь было тепло от раскаленной железной печурки; огонек, плавающий в банке из-под гуталина, слабо освещал непроницаемое лицо председателя военревкома и две неясные фигуры в глубине. Чугай предъявил мандат, Левка тоже вытащил бумажку. Председатель, присев на корточки у огонька, читал долго:

— Дббре, — сказал, поднявшись, — мы вас третью ночь ждем. Седайте. — Он покосился на левкины лакированные голенища. — Не торопится что-то батька Махно.

Левка сел первым на единственный табурет у дощатого столика. Чугай примостился на чурбане. Рошин отошел к вагонной стенке. Так вот он — какой штаб большевиков... Голый вагон и суровые лица, по обличью железнодорожных рабочих, молчаливых и настроенных. Председатель говорил ровным голосом:

— Мы готовы. Народ горит. Начинать надо вот-вот... Есть сведения: петлюровцы что-то уже пронюхали, вчера в городе выгрузилась тяжелая батарея. Ждут войск из Киева. У нас предателей нет, — значит, сведения могут поступать только из Гуляй Поля.

Левка — угрожающе:

— Но, но, легче на поворотах!

Тотчас две фигуры из темноты придвинулись. Председатель продолжал так же ровно.

— У вас все нараспашку. Так нельзя, товарищи... В Екатеринославе начались аресты. Пока-что хватают беспорядочно, но уже взяли одного нашего товарища.

— Мишку Кривомаза, комсомольца, — звонко, слегка по-девичьему лбмая голос, сказала Маруся. Отбросив на плечи платок, она стояла рядом с Вадимом Петровичем.

— Допрашивал его сам Нарегородцев, начальник сыскного. Значит, у них тревога...

— Мишку Кривомаза били резиной по лбу, глаза вылезли у бедного, — быстро сказала Маруся и вдруг всхлинула носом. — Отрубили ему два пальца, распорол живот, он ничего не выдал.

Левка, поставив шашку между ног, сказал презрительно:

— Дешевая работа. Нарегородцев, говоришь? Запомним. А кто здесь прокурор? Кто начальник варты?

— Фамилии и адреса мы вам скажем...

Председатель остановил Марусю:

— Давайте организованно, товарищи. Федюк нам сделает доклад о силах противника. (Он указал на плотного человека с пустым рукавом засаленной куртки, засунутым за кушак.) О работе ревкома доклад сделаю я. О Махно предоставляю слово вам. Четвертый вопрос — о меньшевиках, анархистах и левых эсерах. Сволочь эта чувствует, что пахнет жареным, как чумные гоствятся драться за места в Совете. Начинай, Федюк.

Твердым голосом Федюк начал издалека, — о кровавых планах мировой буржуазии, — председатель сейчас же перебил его: «Ты не на митинге, давай голые факты». Голые факты оказались очень серьезные: в Екатеринославе стояло петлюровцев около двух тысяч штыков и шестнадцать орудий, из них четыре тяжелых. Кроме того, имелись добровольческие дружины из буржуаз-

ных элементов и офицеров, с большим количеством пулеметов. Да еще Киев готовился подбросить подкрепления.

Из второго доклада выяснилось, что военревком может рассчитывать на три с половиной тысячи рабочих, которые без колебаний пойдут за большевистской организацией, и на приток крестьянской молодежи из окружных сел, где проведена агитация. Но оружия мало: «можно сказать, десятую часть вооружим, а остальные — с голыми руками». Видя, как завертелся Чугай, как Левка отвалил нижнюю губу, — председатель, антрацитово блеснув глазами, повысил голос:

— Мы не настаиваем, если батька побойтся сам итти на город, пускай сидит в Гуляй Поле, только даст нам оружие и огнеприпасы.

Левка побагровел, стукнул в полшашкой:

— Не дурите мне голову, товарищ... Мы не торгуем оружием. Города завоевываем... Батька выметет петлюровскую сволочь, как мух, одним мановением...

Тогда сказал Чугай:

— Товарищ Лева, не горячись, помолчи минутку. Так вот, товарищи, с батькой Махно мы договорились. Батька подчиняется главковерху Украинской. Народная армия батьки, теперь Пятая дивизия, выступает на Екатеринослав немедленно по приказу. Приказ Главковерха у меня в кармане. Давайте согласуем действия... С нами — военный спец. Товарищ Рошин, притуляйся поближе.

3

Чугай уехал в ту же ночь обратно к батьке в Гуляй Поле. Он увез с собой и Левку, — чтобы рабочие не косились на его толстую морду, на лакированные голенища и высокие калоши, да и не хотелось оставлять такого дурака вдвоем с Рошиным.

К Рошину приставили для связи и наблюдения Марусю. Военный план ревкома никуда не годился, Рошин высказал это тогда же со всей прямоотой. Ревком предложил ему самому обследовать город и представить свой план.

Каждое утро они с Марусей переплывали среди льдин дымящийся Днепр, вылезали на правом берегу в слободе Мандыровке, просили кого-нибудь из крестьян, едущих на базар, подвезти их до вокзала, и оттуда — пешком или на трамвае — попадали в центр.

Вокзал с железнодорожным мостом находился в южной стороне, оттуда через весь город тянулся широкий, в акациях и пирамидальных тополях, Екатерининский проспект; по обеим сторонам его стояли новые, солидные, с зеркальными окнами здания — банков, гостиниц, почты и телеграфа, городской думы. Проспект круто поднимался к старому городу, раскинутому вокруг соборной площади. Там же помещались казармы.

Вадим Петрович научил Марусю считать шаги, на-глаз определять углы, запоминать особо важные точки обстрела, выступы зданий, вышки. Время от времени они заходили в кофейню и на лоточке набрасывали фланг. Листочек этот, сложенный конвертиком, Маруся носила зажатым в кулаке, чтобы сунуть в рот и проглотить, если их остановят вартовые. Но на них ни разу никто и не покосился, хотя хорошенькая Маруся в пестром платке, повязанном по-украински, и Рошин в шапке с малиновым верхом только ленивому могли бы не примелькаться.

Но здесь было не до них. Петлюровские власти, объявившие себя республиканско-демократичными, барахтались среди всевозможных комитетов: борьбистов, социалистов, сионистов, анархистов, националистов, учредилковцев, эсеров, энесов, пепезсов, умеренных, средних, с платформой и без платформы, — все эти дармоеды требовали легализации, помещений, денег, заседали, угрожали лишением общественного доверия. Окончательную путаницу вносила городская дума, где сидел Паприкаки младший (Паприкаки старший, более умный, бежал к Деникину). Дума проводила политику параллельной власти и даже настаивала на учреждении отдельного полка — по-петлюровски, куреня — имени покойного городского головы Хаима Соломоновича Гистория. По-

нятно, что петлюровским властям оставался один свободный участок для деятельности — хватать кое-где в ночное время по квартирам рабочих-коммунистов, и то тех, кто жил на правом берегу.

После дня беготни Рошин и Маруся возвращались уже кратчайшим путем — через мост — на левый берег, в слободу, в белый мазаный домик на обрыве над Днепром. В домике всегда была горячо натоплена печь и уютно пахло особенным кисловатым запахом кизняка. Марусина мать входила с толстой вагонной свечой (марусин отец работал на железной дороге), трогала ладонью печь, спрашивала тихим голосом:

— Тепло ли?

— Тепло, мама.

— Ужинать будете?

— Как собаки, голодные, мама.

Вздохнув, она говорила:

— Мы уж с отцом отужинали. Идите, поужинайте, молодым всегда есть хочется.

Медленно, будто думая о чем-то невыразимо грустном, она шла за перегородку. Брала ухват, приседая от натуги и приговаривая: «Христос с тобой, не свались, не развались» — вытаскивала из печи большой чугунок с борщом. Отец, курая трубочку, неудобно сидел на кровати. И он, и мать старались не замечать Рошина (между собой они называли его «секретным»), но, если Вадим Петрович просил чего-нибудь, — ковыляя воды, спичек, — марусин отец топорливо срывался с койки, и мать готовно топотала.

Рошин и Маруся хлебали борщ, подливая из чугуна в облупленные тарелки. Маруся, не переставая, разговаривала, — впечатления дня отражались с мельчайшими подробностями в прозрачной влаге ее памяти.

— Христос с тобой, ешь разборчивее, — говорила ей мать, стоя у печки, — еда не впрок за разговором.

— Мама, я за день намолчалась. — Маруся изумленными, ярко синими, небольшими глазами взглядывала на Рошина. — Вы знаете, я ужасно разговорчивая, за это меня в комсомол не хотели брать. Ну где же конспирация, по-

нимаєте, если человек болтлив? Испытание проходила, семь суток молчала.

После ужина Маруся накидывала теплый платок и бежала на партийное собрание. Роцин, поблагодарив за хлеб-соль, шел за глухую перегородку, в узенькую комнатку, такую низкую, что, подняв руку, можно было провести по шершавому потолку. Засунув ладони за кушак, он ходил от окошка, закрытого ставней, до марусинового соснового комодика. Снимал кушак и гимнастерку и садился у окна, слушая сквозь ставню, как далеко внизу, глухо и мягко шуршат льдины на Днепре. За перегородкой уже легли спать. В тишине маленького дома потрескивала печная штукатурка да, пригревшись, пилил сверчок крошечной пилой крошечную деревяжку. Вадиму Петровичу было неожиданно хорошо и покойно, и лишь простые, обыденные мысли бродили в голове его.

До марусинового возвращения лечь спать — не хотелось, и, чтобы отогнать дремоту, он снова вставал и ходил. Ему ужасно нравилась эта выбеленная мелом, крошечная комната; марусиных вещей здесь было немного: юбка на гвозде, гребешок и зеркальце на комодике, да несколько книжек из библиотеки... Куприн — рассказы, Некрасов... У стены — коротенькая железная кровать, Маруся уступила ее Роцину, а сама стелила себе на полу, на кошме.

Хлопала дверь в сенях, осторожно скрипела дверь на кухне. Появлялась Маруся, румяная от холода. Разматывая платок, говорила:

— Вот и хорошо, что вы меня подождали. Знаете новость? Махно будет здесь через три дня. Завтра вам уже надо представить план. А ночь какая, мамыньки! Тихо, — звезд высыпало!..

Маруся до того была поглощена важными делами, разными впечатлениями, до того простодушна, что, постлав себе на полу, без стеснения раздевалась при Вадиме Петровиче. Юбку, кофту, чулки швыряла, как попало. Секунду сидела на кошме, обхватив колени:

«Ой, устала», — и, ткнув кулаком

в подушку, укладывалась, натаскивая на голову ватное одеяло. Но сейчас же высывалось ее лицо, с неугасаемым румянцем, с ямочкой, с коротеньким носом. Она бросала голые руки поверх одеяла:

— Вот так жарко! Слушайте, вы не спите?

— Нет, Маруся, нет.

— Это правда, что вы были белым офицером?

— Правда, Маруся.

— Вот я сегодня спорила... Некоторые товарищи вам не верят. Есть у нас такие, знаете, угрюмые... Мать родная у них на подозрении... Да как же не верить в человека, если верится! Уж лучше я ошибусь, чем про каждого думаю, что — гад. С кем, говорю, вы революцию будете делать, если кругом одни гады? А ведь мы — всемирную делаем... Революция, говорю, — это особенная сила... Понятно вам? Ну что бы я делала без революции? Мазала бы столярным клеем по двенадцати часов в картонажной мастерской... Одна радость — в воскресенье погрызть семечки на Екатерининском бульваре... Ну, разжилась бы высокими ботинками, — подумаешь, радость! Так как же, говорю, вы, товарищи, не верите: интеллигент ошибался, ну, — хорошо, — служил своему классу, но ведь он тоже человек... Революция и не таких затягивала. Может он свой классишко паршивый променять на всемирную? Может... И он сознательно приходит к нам — драться за наше рабочее дело... Угрюмым надо быть, если не верить в это... Ну! Я многих убедила...

Роцин, подобравшись, лежал на коротенькой кровати и глядел на Марусю. Она то взмахивала голыми руками, то страстно сжимала их. Низенькая комната, казалось, была наполнена ее девичьей свежестью, точно внесли сюда ветку белой сирени.

— Другое дело, слушайте, что интеллигентов надо перевоспитывать... Мы и вас будем перевоспитывать... Чего смеетесь?

— Я не смеюсь, Маруся... За много, много лет я не чувствовал себя таким пригодным для хорошего дела... Вот

что я сейчас думаю: с этим первым отрядом в пятнадцать-двадцать человек для занятия моста — пойду я...

— Ой, ей-богу, пойдете?

Маруся живо вылезла из-под одеяла и присела к нему на край койки:

— Вот теперь верю, что вы наш настоящему... А то — кричала, кричала, спорила, спорила, а все-таки — знаешь — доказательства-то прямого нет...

4

Днем двадцать шестого по железным плитам моста через Днепр с грохотом пронеслась полусотня конных петлюровцев, наскочила на товарную станцию, порубила рабочих, стоявших на охране состава из четырех платформ, бронированных мешками с песком, и рассыпалась по путям, стреляя в вагоны, — все это торопливо, с опаской. Налет предполагался на штаб ревкома, но петлюровцы побоялись засады в тесноте между составами, поскорее выскочили в поле и ушли, откуда пришли.

На мосту с той стороны они поставили пулеметы и у каждого проходящего спрашивали документы. Напряжение росло. Из городских районов поступали сведения о повальных обысках. Пригородные крестьяне приходили в этот день уже не поодиночке, а десятками, налегке, в туго подпоясанных кожухах. Ревком формировал из них отдельный полк. Формальности были короткие, — каждого спрашивали:

— Зачем пришел?

— А затем пришел — давай оружие.

— Зачем тебе оружие?

— Советы надо ставить, а то чепуха опять начинается.

— Советскую власть признаешь без оговорок?

— Да уж какие там оговорки...

— Ступай во вторую роту.

Но с оружием было плохо, покуда в середине дня неожиданно на паровозе с одним вагоном не прикатил Чугай, привез триста австрийских винтовок с патронами. Это несколько облегчило положение. И, наконец, поздно вечером загремело, застучало в степи, — начала

подходить долгожданная армия батьки Махно.

Первыми появились в поселке сто конников, — гвардия «имени Крапоткина», — дюжие сынки — рост в рост. Они сейчас же заняли школу, выкинули оттуда книжки, парты и учительницу и пошли властно стучать по хатам. За ними въехало до двухсот телег и тачанок с пехотой. И позже всех около школы остановилась большая, по видимости архиерейская, дорожная карета — четверней в ряд, с Великим Немым на козлах, из нее важно вышел Махно с Левкой и Каретником.

Батька немедленно потребовал к себе на совещание штаб ревкома. К тому времени около ревкомского вагона собралось уже немало взволнованных рабочих. Они кричали председателю:

— Мирон Иванович, ты поди сам взгляни — какие это советские войска, это ж бандиты... Вот послушай-ка тетку Гапку — она тебе скажет, что они с ней сделали...

Тетка Гапа заливалась слезами:

— Мирон Иванович, прожитки мои ты знаешь... Шашть ко мне в хату два конника... Давай молока, давай сала... Ну, такие великаны голодные... Веди на двор, показывай — где кабан, где птица... Все слизнули, чтоб им на лупе нарвало, проклятым...

Председателю пришлось суровым голосом растолковывать, что, коль скоро дело сделано, — Махну с войском позвали, — пятиться поздно, и теперь одна задача: штурмом взять город и передать власть советам. И вдруг прикрикнул на тетку Гапку:

— Двух кабанов, — мало тебе? — стадо кабанов тебе подарим... Перестань народ смущать...

На заседании Махно вел себя странно, — нахально и трусливо. Он потребовал, чтобы его назначили главнокомандующим всеми силами, и пригрозил: в противном случае армия сама повернет коней обратно. Он повторял, что у советской власти нет еще другой такой боевой единицы и эту единицу надо беречь, а не разбазаривать в непродуманных выступлениях. Он грыз ногти и — нет-нет — да запускал руку под френч

и почесывался. Выяснилось, что он больше всего на свете боится шестнадцати орудий у петлюровцев. Тогда Чугай сказал ему:

— Хорошо! Если у тебя свербит от этих пушек, — нынче ночью я съезжу в город, поговорю с командиром артиллерии.

— То-есть — как поговоришь?

— А уж это мое дело — как...

— Врешь!

— Нет, не вру. Кто у них командир артиллерии? Мартыненко. Наш — балтиец, командор с броненосца «Гангут», мой земляк, а может — свояк, а может — кум... Он по нас стрелять не станет...

— Врешь! — повторил Махно, вцепляясь ногтями ему в рукав. И, видимо, поверил, и вдруг успокоился, и приосанился:

— Рассказывайте — какой у вас план наступления...

Ревком представил ему такой план: отряд рабочих, вооруженных гранатами, ночью переправляется на ту сторону, люди поодиночке сходятся близ железнодорожного моста на дворе указанного дома, на рассвете атакуют пулеметчиков у предмостного укрепления, захватывают пулеметы и держат под обстрелом улицы, выходящие к мосту. Когда раздадутся взрывы гранат, — бронепоезд (из четырех платформ), с вооруженными рабочими и частью только-что сформированного крестьянского полка, двинется через мост и атакует городской вокзал. В то же время штаб оповещает по, одному ему известным, адресам и телефонам районные большевистские комитеты, и те поднимают восстание в городе — сбор у вокзала, где будет роздано оружие, привезенное на бронепоезде. Туда же к тому времени перенесет свои операции штаб. Конецца Махно врывается в город по пешеходному мосту. Пехота двумя колоннами переправляется через Днепр выше и ниже моста и соединяется в указанных местах на Екатерининском проспекте, откуда ведет наступление вверх для захвата городских учреждений и казарм. Успех восстания зависит от быстроты и неожиданности нападения, поэтому штурм нужно назначить сегодня ночью.

— Люди приустиали в походе, кони побились, надо ковать, — сказал Махно. Председатель ревкома ответил ему на это:

— Люди отдохнут, когда заберем город, а коней перековывай уж на советские подковы.

Чугай сказал:

— Ты, что, батька, расположился табормом на виду у всего города, — отдыхать? Попотчуют тебя завтра из шестидюймовых. Коротко говори: или нынче в ночь, или уходи...

5

Днепр в эту ночь стал, но лед был ненадежный. Рабочие всю ночь таскали на берег доски для переправы, привлекали половинки ворот, целые плетни. Работали наравне и все члены ревкома вместе с председателем. Одни батькины сынки, роскошно увешанные оружием, похаживали по берегу, боясь вспотеть, и подмигивали друг другу на редкие городские огни на той стороне. Велик и богат был Екатеринослав.

Часа за два до рассвета двадцать четыре человека вышли на лед. Их вел Рошин. Все было заранее объяснено. Лед потрескивал в спайках между льдинами, местами приходилось бросать доски, которые несли в руках. Один только раз блеснуло на берегу близ черной и смутной громады решетчатого моста, раскатился одинокий выстрел. Все прилегли. И отсюда уже поползли, возможно отделяясь друг от друга.

Рошин вылез на берег там, где он и наметил, около полузатопленной баржи. Отсюда в гору шла глухая улочка. Он поднялся по ней и свернул к задней стороне как-раз того двора, — торгового склада, теперь опустевшего, — где был назначен сбор. Огни вокзала посылали сюда неясный свет. Весь город крепко спал. Рошин некоторое время ходил вдоль забора легкими шагами, повторяя одну и ту же фразу: «Ишь ты, поди ж ты, что же говоришь ты». Он с удовольствием посматривал на высокий забор, зная, как без усилия перебросить через него свое невесомое тело. Поодиночке, как тени, стали появлять-

ся товарищи. Всем он велел прыгать на двор и идти к воротам. И опять ходил легким шагом.

Из двадцати четырех человек собралось двадцать три, один или заблудился, или был взят разъездами. Рошин подпрыгнул, подтянулся на руках, зацарапал носками сапог по доскам и не так легко, как думалось, перекинулся на ту сторону и спрыгнул в битые кирпичи.

Рабочие стояли у ворот, молча глядя на подходившего Рошина. Некоторые сидели на земле, опустив лица в поднятые колени. До рассвета оставалось недолго. Решающими и самыми томительными были эти последние минуты ожидания, в особенности у людей, впервые идущих в бой. Рошин смутно различал стиснутые волевым напряжением рты, сухой блеск немигающих глаз. Это были честные ребята, доверчиво и просто думающие, тяжелорукие русские люди. По своей воле пошли, чорт знает, на какое опасное дело. За всемирную, — как говорила Маруся в белой комнатке, озаренной свечой. К нему подступило чувство налетающего восторга и опять та же легкость, — волнением стиснуло горло. Все это было не похоже ни на что, все — необычно...

— Товарищи, — сказал он, нахмуриваясь. — Если мы спокойно сделаем это дело, — будет удача и дальше. От нас сейчас зависит успех всего восстания. (Те, кто сидел на земле, поднялись, подошли.) Еще раз повторяю — хитрости тут большой нет, главное — быстрота и спокойствие. Этого враг боится больше всего, — не оружия, а самого человека... Вот, если у тебя... — Он взглянул снизу вверх на юношу с огненной сильной шеей. — Если у тебя, товарищ... — Ему неудержимо захотелось, и он положил руку ему на плечо, коснулся его теплой шеи. — Если у тебя под сердцем холодок, так у врага тоже под сердцем холодок... Значит, кто прямее, — тот и взял...

Юноша мотнул головой и засмеялся:

— А ведь и верно ты говоришь, — кто кого надует... Они дураки, а мы умные... Мы-то знаем, за что... — Он

вдруг освободил надувшуюся шею, красивый рот его искажился. — Мы-то знаем, за что помирать...

Другой, протискиваясь, спросил:

— Ты вот скажи — я кинул гранаты, что я дальше буду, без оружия-то?

Кто-то сильным шопотом ответил ему:

— А руки у тебя на что?

— Товарищи, еще раз повторяю вам всю операцию, — сказал Рошин. — Мы разделимся на две группы...

Рассказывая, он поглядывал — когда же, наконец, в непроглядной тьме за Днепром забрезжит утренний свет. Плотные тучи скрывали его. Дальше томить людей было неблагодарно.

— Пора. — Он осунул кушак. — Разделяйся. Отворяй ворота.

Осторожно отворили ворота. Вышли по одному и, крадучись, дошли до того места, где кончался забор. Отсюда хорошо был виден мост на пелене замерзшей реки. Перед ним неясно различался бугор предмостного окопа, с пулеметами и, видимо, спящей командой. Второй такой же окоп находился по другую сторону полотна.

— Бери гранаты... Побежали...

Побежали разом все двадцать три человека, молча, изо всей силы, как бегают в лапту, — половина людей — прямо на окоп, другие тринадцать человек, — сворачивая направо к полотну. Рошин старался не отстать. Он видел, как длинные тени в подпоясанных куртках высоко перепрыгивают через железнодорожную насыпь. Он свернул туда, за ними. Он понял, что произошла ошибка, — они не успеют добежать до второго окопа, нарвутся на тревогу. За спиной его раздался взрыв, дико закричали голоса, еще, и еще, и еще рвались гранаты... Первый окоп взят... Не оборачиваясь, захватывая разинутым ртом режущий воздух, он карабкался на насыпь. Тринадцать человек — впереди него — неслись огромными прыжками... Они подбегали... Навстречу им забилось бешеной бабочкой пламя пулемета. Будто ветер пронесся над головой Рошина... «Господи, сделай чудо, это бывает, — подумал он, — иначе — только погибнуть...» Он видел, как тот, — высокий парень с голой шеей, —

не пригибаясь, бросил гранату, и все тринадцать, живые, свалились в окоп. Он увидел барахтающиеся, хрипящие тела. Один, бородастый, в погонах, выдираясь, приподнялся и шашкой остервенело колот тех, кто хватался за него. Рошин выстрелил, — бородастый осел, уронил голову. И сейчас же оттуда полез другой, в офицерской шинели, лягаясь и вскрикивая. Рошин схватил его, офицер, вырвав руки, вцепился ему в шею: «Сволочь, сволочь!» — и вдруг разжал пальцы:

— Рошин!..

Чорт его знает, кто это был, кажется, — из штаба Эверта. Не отвечая, Рошин ударил его револьвером в висок...

И этот окоп был взят. Рабочие поворачивали пулеметы. За Днпром вылез паровоз. И по мосту, грохоча, пополз бронепоезд на штурм вокзала.

Солнце давно поднялось и жгло, и не грело. Бронепоезд опять, черно дымя, пошел через мост, перевоза к захваченному вокзалу людей и оружие. Ребята криками проводили его из окопов. Дела шли хорошо. Махновская пехота давно уже переправилась по льду, как мураши, полезла на крутой берег, сбила полицейские заставы и рассыпалась по улицам. Не ослабевая, грохотали выстрелы то издалека, то — вот-вот — близко.

— Сашко, ступай на вокзал, найди главнокомандующего и скажи, что мы здесь сидим с пяти утра, зазябли и не ели, пускай нас сменят, — сказал Рошин парню с голой шеей. Безусое, лишь опушенное кудрявыми волосиками, мужественное и ребячье лицо его было в кровавых царапинах, — так его давеча обработал дюжий пулеметчик, прощаясь с жизнью.

Сашко прозяб в легкой куртке и резво побежал по открытому месту, хотя в воздухе часто посвистывали пули. Ему кричали: «Пропадешь, дура... Сашко, папирос принеси...» Он скоро вернулся, присел на корточки перед окопом, кинул товарищам пачку папирос и Рошину передал записку со свежесмазанным штампом: «Ожидайте, пришлю. Махно».

— Вам поклон от Маруси, — сказал он Рошину.

Вадим Петрович от неожиданности разинул рот, с минуту глядел из окопа на присевшего Сашко.

— Товарищ Рошин, хорошая девчонка, повезло тебе, слышь...

— Ты где видел ее?

— На вокзале шурует... Без нее я бы к Махне и не пробился. Что делается, ребята, — народу! Не поспевают оружие раздавать... Наш Екатеринослав!

Штаб Махно расположился на вокзале. Батяка сидел в зале I—II класса за буфетной стойкой с искусственными дальмами — с нее смахнули только на пол всякую стеклянную ерунду — и писал приказы. Каретник хлопал по ним печатью. Тот, кто получал их, опрометью кидался прочь. Не переставая, вбегали возбужденные люди, требуя патронов, подкреплений, походных кухонь, папирос, хлеба, санитаров... Иной командир, разъяренный тем, что уже вплотную подобрался к торгово-промышленному банку, — остался два шага до двери, — за недостатком огнеприпасов залег, кусая от досады землю, — подходил к батянке и, захватив висящие у пояса гранаты, для устрашения с грохотом бросал их на стойку:

— Ты что тут — богу молишься? В душу, в веру, в мать, — гони патроны...

Батяка отдавал приказы только тем, кто их требовал. Устрашающе шевеля челюстями, он делал вид, что распоряжается. На самом деле, в голове его была невообразимая путаница. Продирая бумагу, он ставил крестики на карте города — там, где наступали или отступали части войск. В этом чортовом городе негде было развернуться, всюду теснота, враг — сверху, сбоку, сзади... Таращась на карту, батянка не видел ни этих улиц, ни этих домов. Он терял всякую ориентировку. Игра шла вслепую. Не даром он всегда называл города вредной вещью, всем заразам — заразой.

Кроме того, тревожила его неопределенность с Мартыненко. Чугай подтвердил, что Мартыненко стрелять по своим не хочет. Виделся ли Чугай с ним этой ночью, или они сговорились раньше, — действительно, в артиллерийском парке было все спокойно, половина ору-

дийной прислуги разбежалась, и сам Мартыненко, должно быть, от щекотливости, напился вдребезги пьян. Из его парка только две полевые пушки стояли у вокзала, брошенные петлюровцами. Махно обрадовавля, — пушек он никогда еще не захватывал, — приказал выкатить их на проспект, и сам дернул за спусковой шнур, желтое лицо его морщинисто засмеялось, когда пушка рявкнула, — люди даже присели, — и снаряд завыл над высокими тополями.

Штаб ревкома помещался на привокзальной площади. Там горели костры и около них кучками стояли рабочие, прибывающие изо всех районов. Члены ревкома знали почти каждого в лицо и от куда он. Выкрикивали товарищей по заводам и мастерским — металлостов, мукомолов, кожевников, текстильщиков, — рабочие отходили от костров и строились человек по пятьдесят. Если среди них находился подходящий — его назначали командиром, или команду принимал кто-нибудь из членов ревкома. Раздавали винтовки, тут же показывая незнающим — как с ними обращаться. Отряду давалась боевая задача. Командир поднимал винтовку, потрясал ею:

— Вперед, товарищи!..

Рабочие тоже поднимали эту дорогую вещь, наконец-то попавшую им в руки: — За власть Советов...!

Отряды уходили в сторону Екатерининского проспекта, в бой.

Рошин протискался к главнокомандующему и подробно рапортовал о занятии предместных укреплений и о потерях в личном составе: четверо раненых, один задавленный насмерть. Махно, кусая карандаш, глядел на коричневое, осунувшееся лицо Рошина с твердым до дерзости и почти безумным взглядом.

— Хорошо, будешь награжден серебряными часами, — сказал он и на край стойки подвинул лежавшую перед ним карту города. — Гляди сюда. — И повел карандашом линию по крестикам. — Наступление задерживается. Мы доскочили вон куда, — улица, кривой

переулок, бульвар... И дальше — вон куда кресты загибают... Я хочу знать причину — почему топчемся как в дерьме? — крикнул он резким птичьим голосом. — Ступай и выясни. — На клочке бумаги он нацарапал несколько слов, и Каретник из-под его локтя, дыхнув на печать, стукнул по подписи. — Можешь расстреливать трусов.

Рошин вышел на площадь, где продолжали строиться неровными рядами рабочие отряды, раздавались крики команды и крики «ура!». От дыма костров, на которых уже кое-где построили варить в котлах кашу, у него закружилась голова, и в памяти проплыло: знакомый чугун со щами, котрый Маруся, вскочив из-за стола, подхватывала из рук матери, и марусины зубы, кусающие ломоть душистого хлеба. Ну, ладно!

За Рошиным шли с винтовками Сашко и еще двое из команды: один — рябой, веселый, плотный, как казанок, по фамилии Чиж, другой — все время усмехающийся — красивый юноша, с жестоким лицом и подбитым глазом, прикрытым низко надвинутым козырьком черного картузика, — водопроводчик, называл он себя Роберт. По Екатерининскому проспекту пришлось пробираться, хоронясь за выступами домов, от подъезда к подъезду. Пули так и пели. Бульвар был пуст, но повсюду за окнами, заваленными тюфяками, появлялись и прятались любопытствующие лица. В подъезде ювелирного магазина сидел человек в тулупе, — маленькое, высосанное нуждою лицо его было запрокинуто, будто он поднял его вместе с седой бородой к старому еврейскому небу, вопрошая: что же это, господи?

— Ты что тут делаешь? — спросил Чиж.

— Что я делаю? — скорбно ответил человек. — Я жду, когда меня убьют.

— Иди домой.

— Зачем я пойду домой? Господин Паприкаки скажет: что дороже — твоя паршивая жизнь или мой магазин... Так лучше я умру около магазина...

Не успели они отойти, сторож высунул бороду из-за дверного выступа:

— Молодые люди, там дальше убивают...

Когда дошли до угла, — над головами по штукатурке резанула очередь пулемета. Нагнувшись, побежали в боковую улицу и прижались в углублении ворот. Тяжело дыша, увидели и сосчитали — на перекрестке, на мостовой — семь лежащих трупов и отброшенные винтовки. Здесь нарвался на огонь один из рабочих отрядов. Роберт, усмехаясь и раздельно, со злобой, произнося слова, сказал:

— Режут с чердака гостиницы «Астория». Предлагаю ликвидировать эту точку.

Предложение показалось дельным. Гостиница «Астория», где два месяца жил Рошин, находилась на той стороне бульвара, подойти к ней можно было только под огнем. Рошин раскинутыми руками прижал товарищей к воротам; — Только по одному, с интервалами, быстро, риска никакого.

Нагнувшись, почти падая, он пробежал до перекрестка и прилег за труп. С чердака «Астории» стукнуло два раза. Вскочив, он кинулся зигзагами, как заяц, к тополям, на середину бульвара. С чердака, с опозданием, торопливо застучало, но он был уже в «мертвом» пространстве. Прислонясь к стволу тополя, сняв шапку, вытер ею лицо, забрав воздуху, крикнул:

— Сашко, беги ты...

В зеркальную дверь гостиницы пришлось постучать ручными гранатами, — тогда изнутри отвалили комод и дверь открыли. Роберт оттолкнул солидного швейцара, завопившего было: «Ромка, куда ты, стервец...», — и кинулся с поднятой гранатой. В вестибюле было полно постояльцами, спустившимися со всех этажей, — при виде романтически настроенного юноши с гранатой и за ним еще троих вооруженных публика молча начала удирать вверх по лестнице. Запыхавшиеся приплющивались к перилам. Рошин, поднимаясь, узнавал многих. И его узнали, — если бы можно было убить взглядом, он бы сто раз упал мертвым. Один только благодушный помещик, тот, на чьей душе висели три незамужних дочери, выйдя с

запозданием из своего номера, где он в это время обедал всухомятку, едва не заключил Рошина в объятия, обдав запахом мадеры:

— Голубчик, Вадим Петрович, так это вы, а мои-то девки трещат, будто какие-то большевики ворвались...

Но слова замерли у него, когда он увидел огромного Сашко с кровавыми царапинами на щеках и прикрытый козырьком глаз водопроводчика, и веселого, розового, но мало расположенного к классовому снисхождению Чижа...

Водопроводчик знал в гостинице все ходы и выходы. Когда взбежали на третий этаж, он провел на черную лестницу и оттуда — на чердак. Железная дверь туда была приотворена... «Здесь они» — прошептал он и, распахнув дверь, кинулся с такой злобой, будто ждал этого всю жизнь... когда Рошин, нагибаясь в полутьме под балками, добежал до слухового окна, он все колот штыком какого-то человека в шубе, лежавшего ничком около пулемета...

— Я же говорил — это сам хозяин!

Когда спускались с чердака, мальчик вдруг сплеховал, у него так задрожали губы — сел на ступени и закрыл лицо картузиком. Сашко, приняв у него винтовку, сказал грубо: «Ждать нам тебя!», и Чиж сказал ему: «Эх ты, а еще Роберт...» Он вскочил, вырвал у Сашко свою винтовку и побежал вниз, прыгая через ступени. Его и Чижа Вадим Петрович оставил стеречь гостиницу, Сашко послал в штаб с запиской, чтобы в «Асторию» выслали наряд, и один вернулся на бульвар.

День был уже на исходе. Рабочие отряды заняли почту и телеграф, городскую думу и казначейство. Все эти места Рошин обошел и отовсюду послал в штаб связистов. По всем признакам бой затягивался. Махновская пехота, исчерпав первый отчаянный порыв, начала скучать в городских условиях... Будь драка в степи, — давно бы уже делили трофеи, варили на кострах кулеш да, собравшись в круг, глядели, как заядлые плясуны чешут гопака в добрых сапожках, содранных с убитых. Петлюровцы в свой черед оправились от растерянности — отступив до середины

проспекта, окопались и уже начали кое-где переходить в контратаки.

Только в сумерки Рошин вернулся на вокзал. Но Махно там не было, свой штаб он перенес в гостиницу «Астория». Рошин пошел в «Асторию». Со вчерашнего дня он не ел, выпил только кружку воды. Ноги от усталости подвертывались в шиколотках, бекеша висела на плечах, как свинцовая.

В гостиницу его не пустили. У дверей стояло два пулемета, и по тротуару похаживали, звеня шпорами, батькины гвардейцы, с длинными, по гуляй-польской моде, волосами, набитыми на лоб. Чтобы не застудиться, один поверх кавалерийского полшубка напялил хорьковую шубу, другой обмотал шею собольей шалью. Гвардейцы потребовали у Рошина документы, но оба оказались неграмотными и пригрозили шлепнуть его тут же на тротуаре, если он будет настаивать и ломиться в дверь. «Идите вы к такой-сякой матери со своим батькой» — вяло сказал им Рошин и опять пошел на вокзал.

Там, в полутемном, разоренном буфете, куда сквозь окна падали отблески костров, он лег на дубовый диван и сейчас же заснул, — какие бы там ни раздавались крики, паровозные свистки и выстрелы. Но сквозь тяжелую усталость плыли и плыли беспорядочные обрывки сегодняшнего дня. День прожит честно... Не совсем, пожалуй... Зачем ударил того в висок? — ведь человек сдался... Чтобы концы, что ли, в воду? Да, да, да... И увиделось: карты на столе, стаканчики глинтвейна... И тут же — убитый — капитан Вединяпин, карьеристик, с кариозными зубами и мокрым ртом, как куриная гузка, сложенным, будто для поцелуя в афедрон командующему армией, генералу Эверту, сидящему за преферансом... Ну, и чорт с ним, правильно ударил...

Сон и тревожные удары сердца борлись. Рошин открыл глаза и глядел на спокойное, прелестное лицо, озаренное красноватым светом из окна. Вздыхнул и пробудился. Рядом сидела Маруся, держа на коленях кружку с кипятком и кусок хлеба.

— На, поешь, — сказала она.

В эту ночь Чугай и председатель ревкома пробрались в артиллерийский парк, где на охране остались только свои люди, разбудили Мартыненко, и Чугай сказал ему так:

— Пришли по твою черную совесть, товарищ, хуже, как ты поступаешь, — некуда... Либо ты определенно клонись к Петлюре, но живым мы тебя не отпустим, либо — впрягай орудия...

— А что ж, можно, — утречком приведу к вам пушки...

— Не утречком, давай сейчас... Эх, проспишь ты царствие небесное, Мартыненко...

— Да я что ж, сейчас — так сейчас...

На следующий день все окна в Екатеринославе задрезжались от пушечной стрельбы. На проспекте полетели в воздух булыжники, ветви тополей, куски бульварных киосков. Увлекаемые этой суровой музыкой, рабочие отряды, крестьянский полк и махновская пехота кинулись на петлюровцев и оттеснили их до полугоры. Тогда представители различных партийных и беспартийных организаций, а также Паприкаки младший, неся на тросточках белые флаги, с великими опасностями добрались до ревкома и предложили посредничество для скорейшего достижения перемирия и прекращения гражданской войны.

Мирон Иванович, сидя — сутулый, в пальтишке с оторванными пуговицами и в засаленной кепке — у стола в вестибюле «Астории» и без малейшего выделения слюнных желез жуя черствый хлеб, сказал делегатам:

— Нам самим не интересно разрушать город. Предлагаем ультиматум: к трем часам пополудни все петлюровские части складывают оружие, контрреволюционные дружинники прекращают стрельбу с чердаков. В противном случае в три часа одну минуту наша артиллерия открывает огонь по городу в шахматном порядке.

Председатель говорил медленно, жевал еще медленнее, лицо его было темное от копоти. Делегаты упали духом. Долго шопотом совещались и захотели спорить. Но в это время по мраморной лестнице в вестибюль с шумом спусти-

лись пестро и разнообразно одетые люди: впереди шли двое, держа в руках — в обнимку — пулеметы Льюиса, за ними — дюжина нахальных парней, обвешанных оружием, и в середине — длинноволосяный человечек с окаянными глазами...

Делегаты выхватили из рук председателя ультиматум и поспешили на бульвар, на свежий воздух, под летящие пули.

Петлюоровское командование отклонило ультиматум. В три часа одну минуту батько Махно бесновался и стучал револьвером по столу, за которым заседал реввоенсовет, требуя раскатать город без пощады, в шахматном порядке. Членам реввоенсовета, местным рабочим, родившимся здесь, жалко было города. Все же слабости обнаруживать было нельзя, решили поугаать буржуев. С запозданием, четырнадцать пушек Мартыненко рывкнули. Кое-где из стен больших домов, поднимавшихся уступами, брызнули осколки кирпича и штукатурки. Представители комитетов забегали, как мыши, от петлюоровцев в реввоенсовет. Атаки рабочих отрядов не прекращались. Петлюоровцы стали отступать в конце бульвара, на самую гору.

В ночь на четвертый день восстания ревком объявил в городе советскую власть.

Всю ночь ревком формировал правительство. Как тогда в вагоне и предполагал председатель, — анархисты и левые эсеры заключили блок с батькой Махно, на его плечах ворвались на заседание и бешено дрались теперь за каждое место. Эсеры подобрались почему-то все небольшого роста, но крепенькие, выпавшиеся, и переспорить их было очень трудно.

Каждый из них, вскакивая, со свежей улыбкой первым делом обращался к батьке: он-то, Махно, — истинный представитель народной стихии, он-то — сказочный вождь и великий стратег, всеочищающий огонь и железная метла... А что за красота его хлопцы, беззаветные удалцы!

Батько, сжав бледные губы, слушал

и только кивал испытанным лицом. А неукротимый эсер поднимал голос так, чтобы слышали его за раскрывающимися дверями в коридоре, где толпились махновцы и разная публика, чорт ее знает, как просочившаяся в гостиницу.

— Товарищи большевики, о чем нам спорить? Вы за советы, и мы за советы... Расхождение наше чисто тактическое. Мы получаем в наследство буржуазный аппарат городского хозяйства. Вы хотите сделать его советским в один день. А мы знаем, что с коммунистами городской аппарат работать не станет. Саботаж обеспечен. Гарантирован голод и разруха. А с нами работать они хотят, — есть постановление городской думы. Вот почему мы деремся за кандидатуру комиссара продовольствия товарища Волина. Предлагаю закрыть прения и голосовать...

Анархисты, державшиеся загадочно и даже презрительно, выкинули неожиданно такое, что даже батько завертел цыплячьей шеей. Их представитель, студент, в красной, как мак, феске, выставил кандидатуру в комиссары финансов Паприкаки младшего...

— Мы его будем отстаивать всеми имеющимися у нас средствами... Паприкаки младший — наш единомышленник, анархист кабинетного типа, знаток финансов, и в наших руках будет послушным и полезным орудием восставшего свободного народа... Предлагаю прений не открывать и голосовать простым поднятием рук...

Маруся с Вадимом Петровичем сидели тут же у стены, на одном стуле. Маруся возмущалась, негодуя сжимала руки, вскакивала, чтобы крикнуть надломанно и высоко: «Это позор!» — или: «А где вы были, когда мы дрались!», — и опять садилась с пылающими щеками. У нее был только совещательный голос.

За эти дни она похудела и обветрела. В расстегнутой бараньей куртке ей было жарко, волосы у нее распустились. В паузах между речами она торпливо рассказывала Рошину про свои похождения... Сначала работала в комиссии по снабжению отрядов хлебом

и кипятком... Была переброшена в санитарный отряд и, наконец, назначена связистом... Носилась по всему городу... Ее обстреливали «сто раз». Она показывала Рошину подол юбки с дырками...

— Не будь я проворная, мне бы каюк. Кричат: Маруська! Я завертелась, а тут бомба на этом месте, где я минутку была, как тарарахнет, а я — за тополь... Ну, так напугалась, до сих пор коленки трясутся.

Жизнерадостности у Маруси хватило бы еще на десяток восстаний. Во время ее болтовни в дверях появилось испаранное лицо Сашко. Он, видимо, едва продрался сюда и поманил Марусю пальцем. Она подбежала, и он что-то ей зашептал. Маруся всплеснула руками...

Чугай гудел, отводя кандидатуры:

— Товарищи, мы не спорить собрались, мы тут не доказывать собрались, мы собрались повелевать... А повелевает тот, у кого сила.

Маруся едва могла дождаться, — подбежав к столу, сообщила:

— В городе идет повальный грабеж... Вот послушайте товарищей... Их сюда пускать не хотят... Им руки вывернули...

Тогда за дверью начался шум, возня, надрывающие голоса, и в комнату ввалились Сашко и несколько рабочих с вилтовками. Враз они заговорили:

— Это что ж такое! Тут у вас полицию поставили! Подите лучше, взгляните — что делается!.. Весь бульвар оцеплен... Батюкины хлопцы магазина разбивают... Возами вывозят...

У Махно обтянулись губы, точно он собрался укусить... Вылез из-за стола и пошел... Махновские хлопцы в коридоре и вестибюле расступились, видя, что батюка кажет желтые, как у старой собаки, зубы. Итти ему далеко не пришлось, — на противоположной стороне проспекта у окон большого магазина суетились какие-то тени. Едва он шагнул за дверь гостиницы, на тротуаре появился Левка:

— В чем дело, из-за чего хай? — спросил Левка и пошатнулся. Махно крикнул:

— Где ты был, мерзавец?

— Где я был... Шашку тупил... Тридцать шесть одной рукой... Тридцать шесть...

— Ты мне порядок в городе подай! — завизжал Махно, сильно толкнул Левку в грудь и побежал через бульвар к магазину. За ним — Левка и несколько гвардейцев. Но там уже догадались, что надо утекать, тени около окон исчезли, и только несколько человек, тяжело топая, вдалеке убегали с уздами.

Гвардейцы вытащили, все же, из магазина одного зазевавшегося батюкина хлопца с большими усами. Он плаксиво затынул, что пришел сюда только подивиться, як проклятые буржуи пили громодяньску кровь... Махно весь трясся, глядя на него. И, когда со стороны гостиницы подбежали еще любопытствующие, — выкинул руку в лицо ему:

— Это известный агент контрреволюции... Не будешь ты больше творить черное дело!.. Рубай его и только...

Усатый хлопец завопил: «Не надо!..» Левка вытянул шашку, крикнул и наотмашь, с выдохом, ударил его по шее...

— Тридцать седьмой — хвастливо сказал, отступая.

Махно стал бешено бить ногой дергающееся тело в растекающейся по тротуару кровавой луже:

— Так будет поступлено со всяким... Вахханалия грабежей кончена, кончена... — И он круто повернулся к шаркнувшей от него публике. — Можете итти спокойно по домам...

Маруся неожиданно заснула на стуле, привалившись к плечу Рошина, растрепанная голова ее понемногу склонялась к нему на грудь. Был уже седьмой час утра. Старый, хмурый лакей, сменивший по случаю установления советской власти свой фрак на домашнюю поношенную куртку с брандбурами, принес чай и большие куски белого хлеба. Правительство было уже сформировано, но оставалось еще много неотложных вопросов. Так, еще с вечера, был подан запрос железнодорожниками: кто будет им платить жалованье и в каком

размере? Махно, поддерживаемый анархистами, предложил такую формулировку: пусть железнодорожники сами назначат цены на билеты, сами собирают деньги и сами же себе платят жалованье...

Но прения не успели развернуться. В комнате, прокуренной до сизого тумана, вдруг задрезжали стекла в окнах. Донесся глухой взрыв. Мартыненко, спавший на диване, замычал. Стекла опять задрезжали. Мартыненко проснулся: «А чтоб их черти взяли, чего баляют...» — и стал нахлобучивать папаху на обритый череп. Долетел третий тяжелый удар. Чугай и Мирон Иванович, опустив куски хлеба, тревожно переглянулись. В дверь ворвались — Левка и кавалерист, мотающий, как медведь, головой без шапки.

— Пропали, — проговорил кавалерист и помахал рукой над ухом, — пропал весь эскадрон...

— Под Дневкой! — крикнул Левка, тряся щеками. — Все разговариваешь, батько!.. Полковник Самокиш подходит с шестью куренями... Бьет по вокзалу из тяжелых...

Злорадно и открыто, не шрячась уже за матрасы, изо всех окон глядели жители Екатерининского проспекта, как уходит махновская армия. Мчались конники, хлеща нагайками направо и налево, ветер взвивал за их плечами шубы, бурки, гусарские ментики, шелковые одеяла... Кони, тяжело обремененные узлами в заседельных тороках, спотыкались на обледенелой мостовой, — и конь, и всадник, и добыча катились к чорту, под копыта... «Ага! — кричали за окнами, — еще один!» Скакали груженные награбленным добром телеги: разметывая все на пути, мчались четвернями тачанки, так что искры сыпались из-под кованых колес. Бежали пехотинцы, не успевшие вскочить в телеги...

Все это с дикими воплями, грохотом и треском устремлялось вверх по проспекту, к нагорной части города, потому что полковник Самокиш уже захватил железнодорожный мост и вокзал... Батько Махно, выбежав тогда из рев-

кома, в бессильной злобе затопал ногами, заплакал, говорят, кинулся в тачанку, которую Левка пригнал к гостинице, накрылся с головой тулупом, — от стыда ли, нето для того, чтобы его не узнали, — и ушел из проклятого города в неизвестном направлении.

Бегущая без единого выстрела батькина армия при выходе из города неожиданно наткнулась на петлюровские заставы, заметалась в панике и повернула коней к Днепру, на явную гибель. Берег здесь был крут. Ломая кусты и заборы, перевертываясь вместе с телегами, махновцы скатились на лед. Но лед был тонок, стал гнуться, задрещал, и люди, лошади и телеги забарахтались в черной воде среди льдин. Лишь небольшая часть махновской армии — жалкие остатки — добралась до левого берега.

В эту ночь многие рабочие из отрядов отпросились — сходить домой, погреться, переобуться, похлебать горячего. Под ружьем оставались только патрульные отряды да бойцы крестьянского полка, которым некуда было пойти. Этому крестьянскому полку и пришлось в неравных условиях принять весь удар петлюровских куреней полковника Самокиша. Полк был окружен близ вокзальной площади и истреблен почти весь в штыковом бою, лишь немногим удалось пробиться и уйти через проходные дворы и, возвратясь в деревни, рассказать про страшное дело, где легло три сотни добрых хлопцев, пришедших в Екатеринослав, чтобы ставить советскую власть.

Члены ревкома, председатель и Чугай кинулись собирать рабочие отряды и стягивать патрули. Они не рассчитывали удержать город, — задача была в том, чтобы дать возможность всем, принимавшим участие в восстании, уйти через пешеходный мост на левый берег. Собранные отряды засели за углами домов, за вывороченными камнями, за баррикадами, отбрасывая пулеметным огнем нападающих петлюровцев. Отовсюду к мосту и через мост бежали сотни рабочих с женами и детьми... Иные уносили на руках жалкий скарб, который без сожаления можно было

бросать. По ним стреляли с крыш, стреляли снизу с берега.

Чугай, Мирон Иванович, Рошин, Маруся, Сашко, Чиж и десяток товарищей отступали последними. Волоча пулемет, они перебежали от угла к углу, от прикрытия к прикрытию. Серые папахи самокишцев то-и-дело высывались неподалеку из подъездов. Оставалось самое тяжелое—ступить на мост, где не было никакой защиты, кроме трупов, да брошенных узлов.. Чугай повернул пулемет, прилег за щитком, оставив около себя Сашко, и крикнул остальным: «Бегите прытко...» Под грохот пулемета, заработавшего на расплав ствола, все побежали.

На самой середине моста Маруся споткнулась и пошла тяжело, неуверенно... Рошин нагнал ее, поддержал, она удивленно взглянула на него, что-то хотела выговорить и только глядела на него. Рошин, присев, поднял ее, как берут ребят на руки. Маруся все тяжелее прижималась к нему. Вот и конец моста,— по бедру Вадима Петровича ударило будто железной палкой. Он силился удержаться на ногах, чтобы не уронить, не зашибить Марусю. Сзади набежал Чугай. Рошин ему: «Уроню ведь, возьми ее...» И сейчас же с него сбило шапку и начало темнеть в глазах. Он слышал голос Чугая: «Сашко, нельзя его бросать...»

(Продолжение следует.)

Баллада про Дойв-Бера, кузнеца

И. ФЕФЕР

★

У кузницы сдержал разбег
Коня на всем скаку
От пыли серый человек
И с шашкой на боку.

— Коня, старик, ты подкуешь,
Чтоб он летел стрелой! —
Но в голосе почуял дрожь
Дойв-Бер, кузнец седой.

Взглянул на всадника старик:
«Ого! Знакомый тут. —
Его узнал он в первый миг: —
То Ионця Каламут.

Ватагу белых он привел
Сюда однажды в ночь,
И незаметно он ушел,
Внезапно скрылся прочь.

Погоны носит белый пес
И шашку на ремне.
Должно быть, чорт его принес,
Негодного, ко мне!»

— Дойв-Бер, легка рука твоя!
Подкуй коня скорей!
Спаси меня, мой друг, ведь я,
Дойв-Бер, как ты, еврей! —

— Мой молот, видишь, стал слабей,
Не хочет вовсе бить.
Приятель, лошади твоей
Мне трудно пособить. —

— Я денег, сколько хочешь, дам.
За мной летят враги.

Их трое — скачут по следам!
Я слышу их шаги! —

— Взгляни, как тяжело раздувать
Дырявые меха.
Придется медленней ковать. —
Речь кузнеца тиха.

— Чтоб конь, как меткая стрела
Как молния, летел!
Работай, если жизнь мила,
Работай, если цел! —

— Но как же мне ковать коня, —
Вдруг закричал Дойв-Бер: —
Ведь наковальня у меня
К чертям годна теперь.

— Тебя, кузнец, повешу я,
В пыль изотру, старик!
Я пулей угощу тебя,
Проклятый большевик! —

Раздался голос кузнеца:
— На смерть я наплевал! —
Но маленький кусок свинца
Его слова прервал.

И на скамью упал старик,
И заструилась кровь.
Был ясно слышен в этот миг
Тяжелый цок подков.

Там трое мчались по следам,
Лес обыскали весь.
И выстрел их привел сюда:
Предатель, видно, здесь!

Не обманули их следы.
Три всадника — в дверях.
И на фуражках — три звезды,
И три ружья в руках.

Должно быть, то Дойв-Бера кровь
Трех всадников зовет...
Ионця Каламут без слов
Оружие сдает.

Скрутили руки за спиной.
Надежен крепкий жгут.
Нескоро попадешь домой
Ты, Ионця Каламут!

Вот раненый кузнец привстал.
Он выпрямляет стан.
Трех всадников он увидел,
Как будто сквозь туман.

Он видит: трех коней давно
Пора перековать.
Быть может, ночью суждено
Им в бой итти опять.

И взял он в руки молот свой,
За дело взялся вновь.
Про боль забыл кузнец седой.
Двенадцать есть подков!

Коней три всадника ведут.
Вот мчатся в пыльной мгле.
И связан Ионця Каламут —
Болтается в седле.

Старик судьбу свою кует.
Он счастлив без конца.
В местечке знает весь народ
Дойв-Бера, кузнца.

Перевел с еврейского Семен Олендер

Хорошая дорога

Рассказ

СЕРГЕЙ ВАШЕНЦЕВ

★

Некоторое время впереди еще слышался затихающий шум моторов, погромыхивание артиллерийских повозок, крики ездовых, потом все смолкло. Машина с тремя военными журналистами застряла в лесу за Райволой. Усилия трех здоровых людей (шофер сидел за рулем) оказались тщетными и не приводили ни к чему. Машину невозможно было сдвинуть с места. Несколько раз, с тех пор как они въехали в лес, им помогали вытаскивать машину бойцы проходивших частей. Но сейчас не на кого было больше надеяться. Никто не ехал и не шел по глухой, разбитой дороге. Время было полночь.

Эти неунывающие люди долго не хотели признать свое положение бедственным, шутили, подсмеивались друг над другом. Шофер, впервые выезжавший на фронт, сначала беспокойно прислушивался к их разговору, но, обманутый их кажущейся беспечностью, успокоился.

— Приготовить оружие! — вдруг серьезным тоном сказал старший в бригаде журналистов батальонный комиссар Головлев, плотный человек, лет сорока, в ватнике казенного образца, перекрещенном ремнями, в теплых брюках, в красноармейских сапогах. На голове был натянут подшлемник.

— Разве уже фронт? — растерянно проговорил шофер. Голос у него сразу охрип.

— Откуда вы, прелестное дитя? — засмеялся второй журналист Златогорский, сейчас же, впрочем, сделавшись

серьезным: — Из каких мест попали к нам в редакцию?

— На такси работал. Мобилизован.

— Понятно! Продукт городской культуры. Воспитанник ленинградских торговых мостовых. Тяжело вам, батя, придется на первых порах.

Златогорский вынул револьвер из кобуры и переложил его за пазуху.

— У меня нет оружия, — сказал шофер.

— Как-нибудь одного отстоим.

Шофер, не понимая, шутят с ним или говорят всерьез, окончательно упал духом.

— Вы думаете, на нас могут напасть? — спросил он с дрожью в голосе. — Как же пускают без охраны...

— А мы сами на что?

— Вы же из газеты.

— Хорошенькое представление у вас о газетчиках! Слышите, товарищи, какого он о нас мнения? В наказание оставим его здесь одного...

Недалеко застучал автомат, звуки выстрелов рассыпались по лесу.

— Не попробовать ли нам еще раз сдвинуть машину, — сказал молчавший до сих пор третий журналист — Леонтьев, медлительный, вялый человек с квадратным лицом, в больших роговых очках, полная противоположность живому, непоседливому Златогорскому.

— Давайте попробуем, — весело сказал Златогорский. — Беремся! Ну, товарищи, начали. Раз, два, раз-два!.. — громко командовал он.

— Тише, Гриша. На твой голос все финны сюда сбегутся, — сказал Головлев.

— Извиняюсь, Николай Михайлович. Раз-два, раз-два, — много тише стал он подавать команду. — Раскачивай, друзья, раскачивай! Сейчас пойдет. Пойдет...

Машина в самом деле рванулась и пошла, с шумом рассекая колесами мокрый снег. Шофер торопливо погнал ее. Журналисты бежали следом, увязая в снегу, падая и поднимаясь.

— Давай! Давай! — кричали они шоферу, готовые бежать хоть километр, лишь бы шла машина.

За пять часов они проехали не больше четырех километров. Машину буквально пришлось тащить на себе. Отчаяние охватывало их. Дорога делалась все хуже и хуже. И вот теперь машина двигалась. Это приводило их в восторг. Неужели кончатся мытарства?

Их ждало разочарование. Машина вскоре снова остановилась, глубоко провалившись в снег. Журналисты подошли к ней, обошли кругом. Закурили. Освещенный фарами лес казался мрачной декорацией, — вот-вот разыграется здесь тяжелая драма.

— Дело скверное! — уныло проговорил Леонтьев, усевшись на подножке. — Придется здесь заночевать. В довершение всего промокли ноги.

— А кто вас с Гришей просил валенки надевать! — сказал Головлев.

— Кто же знал, что в декабре будет оттепель.

— Надо быть предусмотрительнее.

— Чайку бы теперь горяченького, — вздохнул Златогорский.

— Захотел...

— А как насчет костра?

— Категорически запрещаю, — возвысил голос Головлев.

— Самое худшее, что мы ни еды с собой не захватили, ни воды, — сказал из темноты Леонтьев.

— Потерпим.

— Чортова темень! — пробурчал Златогорский. Подползут финны, гранатку одну-другую подбросят — и нам станет скучно.

— Ведь впереди наши, — сказал тревожно шофер. Ему никто не ответил. Он влез в машину и начал заводить мотор.

— Давайте поедем, — сказал он.

Завел мотор, включил скорость, а сам вылез из машины и стал вместе с журналистами толкать ее.

После больших усилий машина тронулась, шофер вскочил в нее.

Дорога была отвратительная. Она шла по болоту. Машина то наползала на кочки, на пни, то переваливала через срубленные деревья, то срывалась в глубокие колеи. Журналисты наваливались на нее, толкали, что было сил; машина еле двигалась. Вскоре она опять остановилась.

— Пойду разведу дорогу, — с досадой сказал Златогорский. — Нечего так стоять!

Фары осветили его нескладную высокую фигуру в дубленом полушубке, в больших валенках. Он шел, проваливаясь в снег, размахивая руками, как будто балансировал ими. Вскоре совсем пропал из виду.

Оставшиеся забрались в машину, сидели молча. Безразличие охватывало их.

Шофер потушил фары.

— Зажгите, — буркнул Головлев. — Забудутся еще!

Фары опять осветили знакомую декорацию: деревья, покрытые снегом, темные пятна луж, проступавших там и тут на дороге, нагромождение сучьев, ветвей, а то и целых елок и сосен, устилавших путь в наиболее топких местах.

— Бежит! — вдруг крикнул шофер. Журналисты повскакали с мест, хватаясь за револьверы.

— Что-то случилось, — сказал Головлев. — Что там? — открыл он дверцу, спрашивая подбегавшего Златогорского.

— Товарищи, здесь сбоку хорошая дорога!

— Далеко?

— Совсем недалеко.

— Ура!

Хорошая дорога! Кто побывал на финском фронте, кто застревал там с эшелонами на узких, разбитых, словно

вспаханых, проселках, кто сутками мерз на них, дожидаясь, пока разминутся две встречные колонны, — тот поймет, что значит попасть на хорошую дорогу. Как мало их было, этих хороших дорог, в дни нашего наступления, и как много горя хлебнули мы на тесных и неудобных дорогах Финляндии, иной раз проложенных проходившими частями прямо сквозь лесную чащу.

Хорошая дорога!.. Журналисты выскочили из машины, обступили Златогорского. Они так измучились сегодня, что мечта о хорошей дороге казалась неосуществимой.

— Ты видел эту хорошую дорогу или только предполагаешь, что она хорошая? — недоверчиво спросил Головлев.

— Николай Михайлович! Я вам говорю — прекрасная дорога!

— Пойдемте посмотрим в таком случае.

Головлев и Леонтьев отправились за Златогорским. Пройдя немного вперед, они свернули вправо. Действительно, сбоку шла хорошая, ровная дорога, параллельная той, по которой они ехали.

— Удивительно! — проговорил Головлев. — Удивительно! Надо посмотреть, есть ли она на карте. Пойдемте к машине.

Они вернулись к машине, залезли в кузов и углубились в карту.

Дорога на карту не была нанесена. — Тайнственное шоссе! — сказал Златогорский, пытаясь шутить. — Магистраль сатаны...

— Подожди, Гриша, — оборвал его Головлев. — Итак, что же мы решаем? — Ехать! — сказал Златогорский. — Лишь бы ехать!

— В той стороне должны быть наши, — заметил Леонтьев. — Я думаю, можно ехать.

— Двинулись! — решительно сказал Головлев.

Надежда выбраться на хорошую дорогу удесятерила их силы. Они сдвинули машину с места и повлекли ее вперед. Несколько раз машина останавливалась, казалось, навсегда. Несколько раз надежда покидала их, они в бесси-

лии опускались на снег. Но потом снова поднимались и толкали машину.

Наконец, журналисты вытащили ее на хорошую дорогу. Им не верилось, что могут быть хорошие дороги. Они боялись, что скоро машина опять застрянет.

— Вперед! — скомандовал Головлев. Какое счастье — двигаться! Машина мягко шелестит и рвется вперед. Человек забывает, что он с утра ничего не ел и не пил. Рождается надежда, что где-то впереди встретится случайный кров или удастся обнаружить горячие угли костра, закрытого ветвями от нескромных глаз, а на углях котелок с чаем, пусть отдающим капустой, но все равно вкусным.

— Куда все-таки мы едем? Почему этой дороги нет на карте? — прервал вдруг молчание чем-то встревоженный Леонтьев.

— В самом деле, почему? — повторил за ним Златогорский.

— Забыли нанести, — усмехнулся Головлев.

— Не к финнам едем?

— Не должно быть.

— Чорт возьми. А какая хорошая дорога! Как по асфальту...

Машина шла уже несколько минут ровным, хорошим ходом. Никто не попадался навстречу. Журналисты начали волноваться.

— Не поехать ли нам обратно? — предложил Златогорский.

— Мне тоже кажется, что лучше повернуть назад, — поддержал его Леонтьев.

— Без паники, товарищи! — сказал Головлев. — Впереди должны быть наши части. Двигай, друг, двигай! — приказал он шоферу, который приостановил было машину, прислушиваясь к разговору.

Журналисты, держась за рукоятки револьверов, тревожно поглядывали по сторонам, хотя в темноте трудно было что-нибудь разобрать.

— Смотрите: что там такое? — показал шофер вправо.

— Стоп, стоп, товарищи! Дом!

Машина резко затормозила. Головлев открыл дверцу. Перед ними тянулся

забор, огораживавший небольшой сад. В глубине сада виднелся дом.

— Впереди замечен фольварк, — не мог обойтись без шуток Златогорский. — Войска в нерешительности остановились...

— Не двинуться ли нам прямо, без задержки? — сказал Головлев.

— А я думаю, что надо именно остановиться и переночевать здесь, — с несвойственной ему горячностью произнес Леонтьев. — Наступит утро, выясним обстановку. А то едем, едем... А куда едем, сам черт не разберет.

— Я такого же мнения, — сказал Златогорский.

Оба они втайне надеялись, что здесь удастся обогреться и просушить валенки. У них зуб на зуб не попадал. Промокшие ноги застывали. Начиная морозить.

— Хорошо, решаем остаться здесь, — согласился Головлев. — Двое у машины. Я и... — он задумался на секунду, — Гриша пойдем на разведку.

Осторожно ступая, Головлев и Златогорский двинулись к дому. Дорожка была запорошена снегом. Держа револьверы наготове, они приблизились к двери.

— Говорят, финны привязывают мины к ручкам дверей, — сказал Златогорский и, с силой толкнув дверь, отскочил в сторону.

Дверь громко стукнулась о стенку. Звук гулко отдался в доме.

— Пока никого. — Златогорский заглянул в комнату, осветив ее карманным фонарем. Это была кухня. Здесь все оставалось так, как будто хозяева только-что покинули дом. На полках лежали тарелки, стояла эмалированная посуда, на гвоздях висели половник, сетка для процеживания молока, терка и еще какие-то кухонные принадлежности. На столе нарезан хлеб.

И самое главное, что сразу почувствовали оба журналиста, — в кухне было тепло. Потрогали печку. Она не успела остыть.

Это сразу встревожило их.

— Кто-то здесь есть? Выходи! — устрасяюще крикнул Златогорский. — Выходи! Убью...

Никто не отзывался. Они обошли с фонариком весь дом. Все предметы были на своих местах: стулья, кровати, столы. В буфете расставлена посуда, на стенах висели картины, изображавшие охоту.

— Загадочная история! — проговорил Златогорский. — Кто-то здесь только-что был. Странно. Странно.

— Да, товарищи, я предпочел бы ночевать в лесу, в машине, — отозвался Головлев, разглядывавший фотографии на стене.

— Позвольте, Николай Михайлович, позвольте! — воскликнул Златогорский тоном Шерлока Холмса, сделавшего новое открытие. — А куда ведет эта дверь?

Они стояли перед обитой войлоком дверью. Осторожно открыв ее, вышли в сени. Дверь из сеней была распахнута. Следы вели в лес.

— Вот каким путем ушел некто, не пожелавший с нами встретиться, — проговорил Златогорский. — Думаю, что мы можем занять пустующее помещение...

Они вернулись в кухню.

— Кто же это мог быть? — задумался Головлев. — Если это хозяева, прячущиеся в лесу от тягот войны, не так страшно. Мы их не очень беспокоим, если переночуем здесь. Но если здесь грелись финские снайперы...

Трель автомата вдруг разнеслась по лесу.

— Стреляют по нашей машине! — крикнул Златогорский, бросаясь на улицу.

Однако тревога оказалась напрасной, около машины было спокойно. Стреляли много дальше.

— Что там за замок Тамары? — спросил Леонтьев, когда они подошли к машине.

— Теплое помещение, — ответил Златогорский.

— Шутить?

— Спроси Головлева.

— Правильно, — подтвердил Головлев. — Переночуем здесь. У машины устанавливается дежурство.

Журналисты вошли в дом, растопили печку. Сначала они осторожно лавировали по комнате, боясь нарваться на

скрытую мину. Но потом перестали остерегаться и чувствовали себя свободно.

Златогорский разулся, поставил сушить валенки, а сам вынул записную книжку и, примостившись у огарка свечи, стал что-то быстро писать.

— Роман? Повесть? — поглядел на него сквозь свои огромные окуляры Леонтьев.

— В этом роде. Роман на сто строк. Завтра с утра думаю передать его по военному телеграфу в редакцию.

— Пожалуй, это дело, — сказал Леонтьев, вынимая блок-нот. — Я тоже собрал кое-какой материал. Надо передать.

— А я чем хуже других, — сказал Головлев. Положив блок-нот на планшет и устроившись поудобнее на полу у печки, он тоже начал писать.

В печке потрескивали дрова. Шел пар от валеных сапог и мокрых портянок.

Журналисты молчали; каждый углубился в свою работу.

Холод, голод, опасности — все было забыто. Они писали.

Закипевший чайник оторвал их от работы.

— Чай! — крикнул Леонтьев.

— Заварите, милорд, из малахитовой чайницы, что привезла моя бабушка из Китая, — сказал Златогорский.

— На какой полке лежит вышеозначенная чайница, граф? — в тон ему ответил Леонтьев.

— Вот что, товарищи аристократы! — обратился к ним Головлев. — Давайте попьем наскоро чайку да сменим шофера. Парень, наверно, устал и промерз. Так как я в сапогах и ноги у меня не промокли, первым пойду на дежурство я. Через час меня сменит Гриша, потом Леонтьев. Чередуемся каждый час. Остальные отдыхают. Кто свободен, спит. Есть?

— Есть.

Головлев налил себе кипятку, нашел в шкафу сахар, начал пить в прикуску. Златогорский с Леонтьевым тоже налили себе кипятку.

— Хорошо, — удовлетворенно проговорил Златогорский. — Вот это, я понимаю, жизнь.

— Жить можно, — согласился Леонтьев.

— Люблю походную романтику, — сказал Златогорский.

— Особенно, когда попадают в теплые квартиры.

— Это, брат, тоже входит в понятие походной жизни. Теплая квартира или холодный блиндаж. Всяко бывает...

— Подождите, кажется, шофер кричит, — прервал их разговор Головлев.

Прислушались. Шофер что-то кричал за окном.

Схватив с печки валенки и торопливо надев их, выскочили на улицу.

— Что такое?

— Да я сам что-то не пойму, — пробормотал шофер, показывая на лес.

— Увидели что-нибудь?

— Вроде мелькнуло что-то. Я стоял, глядел во все стороны. Вдруг там как шевельнется!

— Ну, это просто могло показаться. Для верности, однако, сходим, посмотрим, — сказал Головлев, направляясь в ту сторону, куда показывал шофер.

— Я с вами, Николай Михайлович, — догнал его Златогорский.

Они с фонариком обошли деревья, никаких следов не нашли.

Когда вернулись к машине, шофер сказал, что, может быть, это было немножко левее, он точно не приметил. Во второй раз они уже не пошли.

Головлев остался у машины, остальные вошли в дом.

Шофер и Леонтьев, напившись чаю, быстро заснули прямо на полу. Златогорский снова вынул свою записную книжку и задумался. Захотелось написать письмо жеңе, вот сейчас, прямо отсюда. В печке потрескивали дрова, свеча давала скудный свет. Златогорский писал. Он писал правду. Писал, что ему хорошо, что редко человек может чувствовать себя лучше, чем он сейчас. Вот спят его товарищи, разметавшись во сне, как большие дети. Как безмятежен их сон! Как уверенно себя чувствует советский человек везде, где бы он ни оказался. Вряд ли очень храбр шофер, что везет их, но он первые дни на фронте. Завтра и его захватит азарт войны, и он будет считать, как считает

любой красноармеец, что двигаться нужно только вперед. Может быть, с ошибками, со срывами, с частичными неудачами, но только вперед...

— Вот храпят, черти! — поморщился Златогорский. — Дом своротят!

Он кончил письмо и стал писать стихи. Он писал их в свободные минуты и отсылал жене. Стихи были нежные и немножко грустные. Ему вовсе не было грустно. Но в стихах проскальзывала грусть. Откуда?..

Он писал до рассвета, забыв, что давно надо было разбудить спящих и сменить Головлева.

Головлев ходил у машины, прислушиваясь и присматриваясь ко всему, что делалось вокруг. От него не укрылось, что с одной сосны вдруг тяжело посыпался снег. Где-то послышался шорох. Доносились еще какие-то шумы.

Сначала все это тревожило Головлева, но потом он перестал обращать внимание. «Вероятно, какая-нибудь зверюга» — решил он.

Погода менялась. Стало сильно подмораживать. Чтобы разогреться, Головлев, громко постукивая сапогами, ходил вдоль дороги, туда и обратно, туда и обратно, все убыстряя и убыстряя шаги.

«То оттепель, то мороз. Не поймешь погоду. Как-то там в Ленинграде?» — Мысли его перецеслись домой.

Он представил свою квартиру, жену, двух разметавшихся в кроватях детей, которые сейчас спят безмятежно. Чувство покоя и удовлетворения охватило его. «Пусть спят, родные мои!» — подумал он, не замечая, что стал ходить тише, как будто боялся разбудить детей.

Бывают в жизни человека мгновенья, когда он чувствует себя совершенно счастливым и ему кажется, что он достиг всего, о чем мечтал в детстве. Головлев родился в глухой провинции в семье сапожника. Журналы и книги, которые изредка попадали ему в руки, говорили об иной жизни, о больших городах, о великих событиях, совершавшихся в мире. В детстве он поклялся, что будет рыцарем прекраснейшего из искусств, рыцарем Печатного Слова. Тре-

пет охватывал его при одной мысли об этом.

В гражданскую войну он стал красноармейцем. Остался после войны в Красной армии. Был на политработе. Потом перешел в газету.

Он добился своего.

Вот он стоит здесь один, может быть, враждебные глаза следят за каждым его движением. Ударит выстрел... Но разве можно убить мечту? Разве можно убить жизнь? Он не думал о смерти. Он был счастлив. Ему давно пора было смениться, но он решил, что товарищам надо отдохнуть, они помоложе его, пусть поспят, а он не устал, он подежурит за них...

Когда стало рассветать, Головлев пошел к дому и постучал в стекло.

— Пора, друзья, пора! — весело крикнул он.

Открыв дверь, он увидел, что Златогорский собирает исписанные листки, разбросанные вокруг него на полу.

— Николай Михайлович, — бросился он навстречу Головлеву. — Какие же мы олухи! Ой-ой-ой... Вы, наверно, совсем замерзли, Николай Михайлович! Бейте нас, позорьте нас. Мы забыли вас сменить.

С пола виновато глядели отоспавшиеся Леонтьев и шофер.

— Пустяки, — махнул рукой Головлев. — Стоит ли считаться? Теперь давайте быстренько соберемся. Товарищ Максимов! — сказал он шоферу. — Машину я прогрел. Идите заводите. Слышите, уже трезвонят...

С разных сторон бухали пушки. Шла оживленная ружейная и пулеметная перепалка.

Шофер словно преобразился за ночь. Он стал расторопен, деловит. Его уже не тревожили выстрелы. Он завел мотор и, не спросив, куда ехать, молча повел машину вперед.

— Меня все-таки удивляет эта дорога, — сказал Златогорский, когда они отъехали уже довольно далеко от дома. — Смотрите — ни одного следа на ней, кроме нашего. Не может быть, чтобы наши части не знали о ее существовании! Не иголка...

— М-да, — неопределенно протянул Леонтьев.

— Вперед, вперед, товарищи, не ошибемся! — покрикивал Головлев. — До финнов еще километров пять.

Машина набирала скорость.

Скоро вдаль журналисты увидели темные фигуры, копошившиеся на дороге. Подъехав ближе, они заметили, что им машут руками.

— Чего они от нас хотят?

— Кажется, велят остановиться...

— Это наши?

— Конечно, наши. Видишь—шлемы...

— Слышите, что-то кричат.

Журналисты остановили машину, вылезли из нее и направились к командиру, который стоял, окруженный другими командирами, в стороне от шоссе, под большой сосной.

— Это, кажется, командир корпуса, — шепнул Златогорский Головлеву. — Можно кстати с ним побеседовать.

— Подожди ты «кстати»... Видишь, он зверем смотрит!..

Твердым шагом они подошли к группе командиров.

— Вы с ума сошли! — крикнул им высокий командир с властным лицом, стоявший впереди. — Вы знаете, где вы едете? Или вы не знаете, где вы едете? Кто такие?

— Журналисты...

— Все понятно, — глубоко вздохнув, махнул он рукой. — Только журналисты и могут отколоть такую шутку!..

— Товарищ командир корпуса, вы нас обижаете, — сказал Златогорский.

— Да я не обижаю вас, — неожиданно рассмеялся командир корпуса. — Я думаю, если бы можно было образовать взвод из журналистов, это было бы выдающееся по безопасности подразделение. Чорт возьми, вчера двух московских журналистов или писателей прямо из пекла боя вытащили. Чуть не впереди пехоты оказались. Мы, говорят, хотели написать о действиях пе-

редового отделения! Сегодня, изволите ли видеть, целая компания журналистов преспокойно едет по минированной финнами дороге, как будто бы они находятся не в Финляндии, а на улицах Ленинграда. Вы понимаете, что вы не взорвались только благодаря чистой случайности? Откройте мне, пожалуйста, как вы попали на эту чортову дорогу? Ведь она же загорожена с того конца, обнесена глубокими канавами, часовые поставлены...

— А мы ночью плутали по лесу. Видим — хорошая дорога...

— Хорошая дорога! — усмехнулся командир корпуса и показал на штабеля мин, которые красноармейцы извлекали из снега и складывали в стороне. — Хорошая дорога! А! — качал он головой. — Не понимаю, как вас еще ночью финские кукушки не подстрелили. Ведь ими же кишит лес! Все время вылавливаем...

Златогорский переглянулся с Головлевым:

«Так вот кого спугнули на хуторе».

Чтобы не увеличивать огорчения командира корпуса и не навлечь на себя новый приступ гнева, они не сказали о ночевке в лесу.

Они только посоветовали между прочим послать красноармейцев посмотреть, что за таинственный дом стоит на дороге, — он показался им подозрительным.

Задобрив затем командира корпуса и его штаб последними номерами газеты, несколько сотен которой они захватили с собой для раздачи частям, журналисты вынули записные книжки и, пользуясь случаем, попросили командира корпуса сообщить, как идет наше наступление.

Получив от него информацию, все трое снова уселись в машину.

— Куда ехать? — спросил шофер.

— Прямо! — сказал Головлев.

— Там идет бой!

— Туда мы и едем...

ЛИТОВСКИЕ ЗАПИСИ

Вл. ЛИДИН

★

В ПОКИНУТОМ ДОМЕ

Господин Вайлокайтис бежал примерно в одно время с президентом Сметоной. Всё в покинутом доме выглядело попрежнему, как будто хозяин вышел только на очередную прогулку. Большой черный и бежевый котелки с твердыми загнутыми полями дремали на вешалке в передней. Толстая палка с серебряным набалдашником, казалось, еще хранила теплоту могучей руки ее владельца. В кабинете, с низкими полками для хорошо переплетенных и, по видимому, ни разу не прочитанных книг, ящики письменного стола были выдвинуты, и груды наспех просмотренных перед бегством бумаг валялись на полу и возле открытых дверок стеного шкафа...

Господин Вайлокайтис был очень богат, — в отделке его особняка чувствовались размах и изобретательность человека, привыкшего к самым ослепительным цифрам. Маленький стеной лифт подавал пищу и посуду из кухни в столовую с дубовым саркофагом буфета, бутылками наполеоновского коньяка на его полках и внушительными счетами винной фирмы «Левинсон и Туринас» в Каунасе. Так, на одном из счетов этой фирмы значились две бутылки коньяка «Бисквит» стоимостью в несколько пар лучшей обуви, две бутылки французского вина «Белая башня», равные по расценке двадцатидневному труду рабочего на фабрике, а весь счет

равнялся месячному жалованию среднего служащего.

Стол в столовой был накрыт, как для очередного завтрака или обеда, и в столовой был тот приятный легкий полумрак, который так способствует хорошему усваиванию вина и пищи. Особняк выходил окнами на тихую площадь с разделанным сквериком, в котором сейчас доцветали неяркие розоватые и голубые осенние цветы. Женская половина с шелковыми обоями, диванчиками и креслицами, обитыми в тон, размещалась во втором этаже особняка, и здесь тоже в выдвинутых ящиках шифоньерок и шкафчиков были раскиданы дамские вуалетки, сувениры и мелочи, которые нельзя было захватить с собой. Постель господина Вайлокайтиса была приготовлена для ночного отдыха, из-под нее торчали носки матерчатых утренних туфель, — и все это, казалось, говорило о том, что в жизни хозяина ничего особенного не случилось. Но хозяин особняка был далеко, и ключи от его обители находились у коменданта, комсомольца, которому поручили охранять этот дом...

Два писателя, один художник и скульптор пришли осмотреть покинутое жилище. Они никогда не предполагали, что смогут переступить порог этого заповедника господина Вайлокайтиса, которого знали только по имени. Господин Вайлокайтис не покровительствовал му-

зам и не собирал произведений искусства. В ящиках его шкафов лежали счета и деловые бумаги крупного дельца и промышленника, и ему было совершенно все равно, как живут работники искусств в его стране.

Комсомолец-комендант открыл посетителям входную дверь, и они вошли в переднюю с бежевым котелком на вешалке, потом в кабинет, где на диске патефона еще оставалась неснятая пластинка, последняя, вероятно, которую слушал хозяин накануне своего бегства.

— Вот это был его кабинет,—сказал комендант оживленно.— По-моему, если раздвинуть двери и соединить кабинет со столовой, получится недурная зала для литературных вечеров или небольших концертов.

Посетители все еще стояли посредине комнаты и не решались ни к чему прикоснуться. Такие квартиры они видели только в американских фильмах, и художник вспомнил угловый столик в кафе «Кюнарадо», где собирались до сих пор писатели и художники.

— Может быть, это слишком большое помещение? — сказал он робко. — И потом, что делать, например, с таким огромным буфетом?

И он заглянул внутрь буфета, где стояли вина, несколько бутылок которых стоили столько же, сколько ему уплатили за щикл деревянных гравюр для иллюстрации роскошного издания одной народной сказки. Но комендант повел их еще по другим комнатам, не без торжества открывая двери и створки стенных платяных шкафов.

— Разве это не годится для библиотеки? — сказал он хозяйственно.— Ничего, где висели костюмы господина Вайлокайтиса, — можно будет поставить книги, надо только сделать полки для них.

— В самом деле, почему нам здесь не организовать библиотеки «Дома искусств»? — сказал один из писателей, которого убедила обширность стенных шкафов для платья.— Здесь сможет поместиться не одна тысяча томов. Для начала каждый из нас пожертвует по авторскому экземпляру своих книг. По-

том, конечно, этому примеру последуют издательства.

Все вдохновились и стали высчитывать, сколько тысяч книг поместится в платяных шкафах бежавшего господина Вайлокайтиса. Тогда скульптор вспомнил, что здесь можно будет устраивать также выставки произведений отдельных художников. Все расселись в мягкие шелковые креслица в салоне госпожи Вайлокайтис, и недоступный недавно особняк стал вдруг распадаться на составные части: если это будет домом для людей искусств, то, может быть, пригодится и огромный буфет, похожий на готический саркофаг, и лифт для подачи пищи, и даже все эти креслица и диванчики, в которых можно будет слушать музыку или чтение литературных произведений.

— Вот видите, — сказал с прежним торжеством комендант,— это помещение, может быть, даже окажется недостаточным... Подумать только, какую работу будет развернуть здесь!

Комендант был из числа тех людей, которых немногим больше месяца назад народ освободил из тюрем, и за семь лет своего пребывания в тюрьме он научился мечтать.

— Кому, между прочим, было до сих пор нужно у нас твое искусство? — сказал он скульптору.— Или кто читал ваши книги? — сказал он писателям.— В Москве, например, издаются книги тиражом в пятьдесят тысяч и даже больше, и все равно этих книг не хватает!

Все посмотрели теперь на гостиную с шелковыми креслицами, и она, действительно, показалась очень маленькой.

— Давайте, сосчитаем приблизительно, — сказал художник, — сколько у нас членов в союзе писателей и в союзе художников, и в союзе артистов?

Он начал примерно вычислять, и оказалось, что людей искусства не так-то уж мало.

— Конечно, буфет из столовой можно будет убрать... очень уж большое занимает он место, — предложил комендант.

И все согласились, что буфет можно будет убрать, и тогда все-таки получит-

ся приличная зала для литературных или музыкальных вечеров.

— Вот уж я никогда не думал, что не только побываю в доме Вайлокайтиса, но и буду распределять в нем комнаты, — признался один из писателей. — Я только слухом слышал, что есть такой богатый человек.

Но комендант, привыкший мечтать, прервал его:

— Ты лучше подумай, кто только теперь начнет читать твои книги... Ведь деревня книг почти не читала и даже не выписывала газет. Правительству Сметоны было очень важно, чтобы она была темной. Теперь деревня будет читать — это раз, рабочие будут читать — это два... а библиотеки? Ты думаешь, у нас теперь не организуют несколько сот новых библиотек?

Тяжелые шторы на окнах не были опущены, как обычно в этот вечерний час, и в городе зажигались огни.

— Надо будет выработать устав этого дома, — сказал художник — иллюстратор сказок, — и главное, указать, какой смысл организации Дома искусств.

— Главный смысл, по-моему, в том, — ответил, не задумавшись, комендант, — что в доме, в который ты никогда не смел зайти, теперь ты — хозяин, и все мы — хозяйева, и народ хочет организовать в нем для людей искусств клуб. Потому что люди искусств будут обслуживать теперь весь народ, и он считает необходимым создать для их труда и отдыха самые лучшие условия. Вот в чем смысл этого дела, а теперь давайте набросаем устав и сделаем примерную планировку, где чему помещаться.

Тут начался спор, как лучше использовать бывшее имущество, которое господин Вайлокайтис нажил на труде народа и которое теперь по принадлежности возвращалось народу.

— Знаешь, я привык, что наш клуб — это столик в кафе «Конрадо», — сказал один из писателей. — И мне сначала показалось, что в этом помещении

мы совсем затеряемся. Но это все оттого, что мы никогда не были уверены, нужно ли наше искусство народу.

— Вот видишь, какой ты, — ответил с упреком комендант. — Ты все мыслишь старыми масштабами, а нужно мыслить новыми масштабами... а масштабы эти чорт знает какие, в нашей стране они никому и не снились. Я думаю, что теперь литовских писателей будут переводить на русский язык, а русских читателей, знаешь — сколько миллионов?

И он стал рассказывать, сколько миллионов читателей в Советском Союзе и что в воскресный день почти невозможно достать билет в театр или протиснуться в картинную галерею. Все жадно слушали и далеко унеслись в мыслях из дома господина Вайлокайтиса с его богатой жизнью, наполеоновским коньяком и деловыми бумагами дельца и приверженца президента Сметоны.

— Я никогда не был в Третьяковской галерее, — сказал художник. — Я видел только репродукции с ее картин.

— Мало ли где ты до сих пор не был, — ответил ему комендант. — В доме Вайлокайтиса ты тоже до сих пор не был.

Все засмеялись и вернулись из дальних странствий в дом, которому надлежало стать домом для людей искусств.

— Итак, я записываю, — подытожил скульптор и стал записывать в протокол, — в первом этаже мы соединяем кабинет со столовой, и это будет зала для заседаний. Во втором этаже — в мужской спальне и детской — мы разместим библиотеку...

Он записывал, и все подтверждали план размещения или вносили поправки. Так был организован Rašytojių Namai — Дом писателей — в Каунасе.

Два месяца спустя литовские писатели, музыканты и художники устроили в этом доме торжественный вечер, посвященный памяти пролетарского поэта Юлюса Янониса, так и не дождавшегося освобождения родной земли.

ПОД ЛИПАМИ

Мы сидели под липами, на нас падали листья, и Лайсвес-аллея сыровато дышала осенней листвой. Молодой человек, с велосипедными обручами у щиколоток, сидел рядом с нами на скамейке бульварчика и беспокойно поглядывал на дверь магазина готового платья по ту сторону улицы. Магазин был закрыт на обед. Несколько бледных, с неприятными, слишком по-человечески правдоподобными лицами, джентльменов стояли во весь рост в одной из витрин. Ватные плечи их пиджаков были подняты. Несколько таких же, с лицами городских мадонн модниц стояли в другом окне, почти одухотворенно презирая прохожих. По Лайсвесаллее гуляла толпа. Под сусальной люстрой кафе «Монико» сидели каунасские биржевики и дельцы. Складки на их затылках, вылезавшие из воротничков, были в эти дни необычно багровы. По временам посетители кафе «Монико» беспокойно поворачивались и смотрели в большие окна, за которыми с песнями и красными флагами проходили толпы народа.

Молодой человек, сидевший рядом с нами, приподнял вдруг свою кепочку.

— Простите меня, — сказал он учтиво, — но мне показалось, что вы из Москвы. Конечно, не принято вмешиваться в чужой разговор, — добавил он виновато, — но сейчас ведь особые времена. А вы, наверное, сможете многое нам разъяснить. Дело в том, что я служу в этом конфекционе напротив, и мы, служащие, беспокоимся, что дело закроют. Фабрика, которой принадлежал этот магазин, уже национализирована. Что будет с моей семьей, если я лишусь службы? Я ведь три года был без работы, прежде чем устроился сюда продавцом!

— Но почему же вы думаете, что магазин ваш закроют? — спросили мы его. — Просто он станет государственным магазином. Наконец, у вас такая специальность... в Москве хорошие продавцы становятся часто директорами больших магазинов.

Он вертел в руках свою кепочку и посматривал на дверь магазина, на которой белая занавесочка, как спущенный флаг, означала час обеденного перерыва.

— Мы все-таки очень беспокоимся, что магазин наш закроют, — сказал он снова. — Вы не знаете, как трудно получить работу в Литве. Чтобы попасть в большой конфекцион, нужны связи. А я испытал на себе, что значит пробыть несколько лет без работы!

— Ну, вот, — сказали мы ему, — какой вы недоверчивый. В Москве, наверное, несколько сот магазинов, в которых торгуют готовым платьем. Надо думать, что и у вас теперь откроется не один новый магазин... только покупатель станет немного другим. Часто ли покупали у вас готовое платье рабочие каунасских заводов и фабрик?

— Нет, — ответил он, — рабочие каунасских заводов и фабрик не имели возможности покупать в нашем конфекционе готовое платье. На Лайсвесаллее вообще магазины были не для рабочих.

Манекены с ватными плечами и восковыми высокомерными лицами еще продолжали в витринах инерцию прошлого. На них были костюмы, которых не носили рабочие. Предприниматели сидели в кафе «Монико» за своими остывающими чашками кофе и старались поглубже спрятать в воротнички вылезавшие складки на затылках. Спокойные зеркальные окна кафе ни от чего не спасали, и на больших предприятиях рабочие уже выбрали свои комитеты.

— В Советском Союзе ни один рабочий не беспокоится о завтрашнем дне, — сказали мы еще молодому человеку. — Потому что работы хватает для всех. А вы, повидимому, опытный продавец готового платья, боитесь, что можете лишиться работы. К тому же, вы, наверное, окончили какую-нибудь специальную торговую школу?

— Нет, я по специальности инженер-электрик, — сказал молодой человек. — Я окончил в Бельгии, в Льеже, элект-

тротехнический институт. Но рассчитывать на работу инженера у меня не было никаких оснований. Мой родной брат, специалист по автомобильным моторам, уже восемь месяцев без работы. У нашей семьи есть знакомый юрист, который служит мойщиком при гараже. Вы заметили, что в наших магазинах всё импортное? Изготовлено в Англии, изготовлено в Германии, изготовлено в Словакии... и очень мало, что изготовлено в Литве!

— Как, вы, инженер-электрик, боитесь потерять должность продавца готового платья? — спросили мы. — Ну, а если вам предложат хорошую должность по вашей специальности? Например, работу на большом заводе в качестве инженера-электрика?

— Это невозможно, — ответил он безнадежно. — По крайней мере, до сих пор это было у нас невозможно.

Тогда мы достали из карманов номера московских газет и показали ему объявления на последней странице, в которых срочно требовались геодезисты, геологи, инженеры-строители, инженеры-технологи, инженеры-электрики и бухгалтера... Он прочел объявления и сказал:

— Это московские газеты. Я покажу вам нашу, литовскую.

И он достал газету и показал нам последнюю страницу, где было, наверное, больше сотни объявлений петитом—это бухгалтера и техники, и инженеры различных специальностей искали работу хотя бы в качестве продавцов готового платья или даже мойщиков при гаражах.

— Сохраните эту газету на память, — сказали мы ему. — Вы будете вспоминать о том времени, когда вы, инженер, боялись потерять должность продавца готового платья... Это будет очень скоро, даже скорее, чем вы распродадите в конфекционе запасы ваших пальто и костюмов.

Белую занавесочку на двери магазина сняли, — час обеденного перерыва закончился. Молодой человек торопливо поднялся и взялся за свой велосипед.

— А все-таки вы не знаете, что значит потерять службу в Литве! — сказал он, усмехнувшись.—Мой диплом об окончании высшей школы можно было только наклеить на стену.

Восковые модницы и джентльмены требовательно смотрели на него из витрин магазина готового платья «Orfa». И он заторопился в привычный круг моделей и манекенов, куда из снисхождения выпустили его, человека ненужной специальности, инженера-электрика.

★

БРАЗИЛЬКА

Автомобиль президента стоял на бугре, и с бугра сбегала дорога в овраг, по дну которого протекала гнилая речонка. Журналисты открыли дверки машины (на дверках мерцал еще герб президента) и спустились в овраг, населенный плотнее, чем главная улица города.

— Эта местность носит название «Бразилька», — сказал один из журналистов, показывавший приезжему из Москвы трущобы города. — Есть у нас также еще «Аргентина». Впрочем, обе эти наши республики оспаривают друг у друга только степень нищеты.

Все осторожно пошли по тропинкам. Тропинки были размыты дождевыми

потоками. Крутая стена оврага—доверху покрыта кривыми лачугами. На некоторых досках по фасаду еще сохранились названия фирм (доски были от ящиков из-под фабричных изделий), и один из домов рекламировал шоколад конфетной фабрики «Tilka». По краю оврага вдоль фасадов домов лепились нужнички с разверстыми дырами: дожди размыли землю, и осыпи земли с нечистотами сползали на дома, расположенные ниже, и на пешеходные тропинки.

— Хозяев предприятия «Tilka» вы здесь, конечно, не встретите, — сказал приезжему журналист, — но зато рабочих главных фабрик Каунаса вы найдете по всем специальностям.

Все поднялись по мокрой глине на пригорок и остановились отдышаться. Входная дверь одного из домов была настежь открыта. Старуха с дымом белых волос вокруг желтого черепа стояла на пороге дома.

— Опять комиссия по податкам пришла? — спросила она безучастно. — Заходите до халупки поглядеть нашу бедность.

Все зашли в лачугу, висевшую над оврагом, как сакля. Пол под ногами дрожал, и посередине единственной комнаты стояла деревянная кровать, похожая на материнскую колыбель нищеты.

— Вся моя фамилия из восьми человек на этом ложе, добрые люди, помещается, — сказала старуха, равнодушная к очередному вторжению в ее жилище. — А из чего нам податки платить? Дочь у меня, вдова с тремя детьми, без работы. А за сыном тоже фабриканты не бегают.

И она полезла доставать старые квитанции об уплате налогов.

— Наша комиссия не по налогам, бабуля, — сказал ей журналист. — А жить вы еще будете, может быть, на Лайсвес-аллее.

Изо всех щелей дома, пока толпились в нем люди, сыпалась труха, как будто дом точили термиты.

— Восемь человек на одной постели — это еще не предел, — сказал журналист, знавший все дома и тропинки «Бразильки». — Я покажу вам одно ложе, на котором спит четырнадцать человек.

И он повел всех от дома, на пороге которого осталась старуха с пожелтевшими квитанциями об уплате налога, к другому дому, где на одной кровати спало четырнадцать человек.

— Вы думаете, что здесь живут нищие или одни безработные? — сказал он затем, присматриваясь, какое впечатление произвели все эти дома на приезжего. — Здесь живут рабочие основных фабрик и заводов города. Кроме того, здесь живет еще много учителей и студентов, потому что жилища в центре города недоступны для них. Давайте поднимемся на этот бугор. Отсюда хорошо

заметно, где кончается богатая жизнь и начинается нищета.

С бугра был виден овраг, лачуги по его краю, крутые пешеходные тропинки, почти недоступные после дождей, нищета и убожество всей этой окраины. Но вдоль оврага по другую сторону, извилистая и спокойная, как река, обигала холм автомобильная дорога. По ту сторону, недалеко, были белые коттеджи с черепичными крышами теплого цвета терракота, садики с дорожками, усыпанными морским гравием, и куртины, полные осенних цветов. Асфальт автомобильной дороги разделял два непохожие мира.

— Надо снять фотографию с этой панорамы, — сказал журналист, — потому что, я уверен, в будущем эти хибарки снесут, и никто не будет знать, как жили рабочие в Каунасе.

Возле некоторых лачуг, огороженные поперечными досками, были сделаны жалкие палисадники, и в них обильно от нечистот и помоев разрослись бурьян и крапива. Бледные детишки жались у порогов домов, привыкшие, что появление группы людей предвещает родителям неприятности. Журналист вел всех за собой по самым крутым и непроходимым тропинкам и заглядывал в мрачные, сырые жилища, как бы в доказательство неопровержимости социальных неравенств, существовавших до сих пор.

— Тут есть где погулять тифу или любой эпидемии, — сказал он и остановился, поджидая отставших. — Не правда ли, гуляя по Лайсвес-аллее, вы даже не подозревали о существовании этих трущоб? А здесь живут люди, которые одевают столуцу.

И он опять повел всех сквозь бурьян и мимо свалок с битым кирпичом, жестянками из-под консервов и нечистотами. Тропинка сбегала в овраг с гнилой, вонючей речонкой, и по другую сторону оврага сразу возник серый чистый асфальт автомобильной дороги. В садике коттеджа, напротив, садовник подвизывал к колышкам цветы. Автомобиль президента, длинный и монументальный, как памятник, стоял на том же месте, где его оставили приехавшие. Только

вокруг автомобиля была теперь толпа любопытных. Все смотрели на черный блестящий лак и на посеребренный герб на дверках машины.

— Они никогда не видели в этой местности автомобиля президента, — пояснил журналист. — Ему здесь нечего было делать, президенту. В самом деле, зачем ему было знать, как живут в его стране рабочие?

— Видишь ли, — не знаю, как ты... но я раньше тоже не ездил ни разу в автомобиле президента, — отозвался другой журналист. — Надо признаться, что машина мне нравится.

Машина, действительно, была хорошей, и за рулем сидел шофер, отказавшийся сопровождать президента возле самой границы. Он сидел теперь за рулем, оживленный и довольный всем тем, что случилось. Его черные нафабранные усы чуть топорщились, — ему нравились новые пассажиры в его машине.

— До свиданья, товарищи, — сказал журналист и помахал рукой собравшимся вокруг автомобиля. — Надеюсь, что

вы все скоро переедете в хорошие квартиры. А один из этих домишек я все-таки оставил бы, как музей, — сказал затем он спутникам. — Пускай бы ходили сюда экскурсии школьников.

Двенадцатицилиндровый мотор заурчал, и президентская машина тронулась от «Бразильки» обратно, к центру города, с белыми модернизированными особенностями богатых людей, неоновыми вывесками кинематографов и старыми липами на Лайсвес-аллее.

Два месяца спустя журналист, возивший приезжего по трущобам «Бразильки», мог вырезать из московской газеты «Правда» заметку, опередившую его надежды на будущее. «Вчера Каунасское городское самоуправление, — было написано в этой заметке, — приступило к сносу лачуг в предместье города — так называемой «Бразильке». Рабочие, всю жизнь ютившиеся в этих лачугах, получили новые, удобные, светлые и просторные квартиры. Для них выстроены шесть больших домов в каунасском предместье «Шанчяй».

На горе Мановце

Историческая повесть

АННА КАРАВАЕВА

★

«О, светло-светлая и украсно украшена земля руськая и многими красотами удивлена еси...»

«Слово о полку Игореве».

В Троицком соборе кончалась раинья обедня. Зазвонили в малый колокол. Звуки его, тонкие и будничные, таяли в прозрачном августовском воздухе, пропадая где-то за сквозистыми, уже зазолотившимися березами над монастырским прудом.

Широкоплечий, высокий послушник остановился на дорожке, опустил на землю ношу, снял потрепанный колпак и, глядя в небо, медленно, истово перекрестился. Утренняя заря позолотила его длинные, до плеч, рыжеватые волосы, резко сведенные к переносью густые каштановые брови и белокурую бородку, опушившую круглое, медно-загорелое лицо.

Колокол зазвонил чаще. Послушник хотел было взвалить пятипудовый мешок на спину, но поднял его неловко, — и мешок упал. Туго натянутый холст лопнул, мука белым облаком взвилась вверх.

— Пошто дар божий наземь сыплешь? — раздался с крыльца кельи сильный тенорок. Соборный старец Троице-Сергиева монастыря Макарий, низкорослый, толстый, как бочка, гневно стучал посошком и тряс бородой. — Подь сюды, подь сюды, орясина богова!

Послушник хмуро подошел под благословение. Старец сунул ему в лицо отекающую руку и проворно ударил его посошком по могучей спине.

— Аз не без глаз... слышь ты, Данилко?.. Худо для господа робишь, худо! А бог-ат долго терпит, да больно бьет. Слышь? Грешная твоя душа мне вся во-о как ведома: перьвый злодей мой — лень, второй злодей — язык...

— Отче... да ить я лишнего слова...

— Второй злодей — язык! — еще гневливее повторил старец. — А третий злодей — соблазн мирской... Все вы, служки, в мир глядите...

— И чернецы из тех мирян, отче, да и миряне те — божьи люди.

— Ой, лжу речешь!

Но уж тут Данила Селевин так обиделся, что даже осмелел.

— Где ж тут лжа, отче? Роблю от зари до зари. На небеси еще свету не видать, а я уж на ноги встаю. Не успеешь обедню во храме отстоять... Хочь бы уж на междучасье¹ малость побыть, так и то никак...

— Ништо, ништо, сие бог простит, чадо, — рассеянно пробормотал старец. Ему уж стало досадно, что служба разговорился да еще стал с мешком перек* дороги. — Ништо. Поди, поди, нерадивец, — добавил он строго, отстраняя Данилу посошком.

Голова старца была тяжела, во рту горчило: поздно засиделись накануне за ужином. Было вчера «большое кормление» для братии — справляли сорокоуст со дня убинения молодого боярина Пине-

¹ Церковная служба, вернее, слушание «часов» — чтения до обедни.

гина, принявшего смерть на поле брани с проклятым Тушинским вором.

Не успел старец скрыться за дверь, как Данилу окликнул новый просвирник Игнашка. Сухопарый, подвижной, он усмешливо скалил белые зубы, которые ярко светились на его сморщенном, с реденькой бородашкой, лице.

— Эко рот-ат разинул? Аль знаменье какое узрел?.. И-их, голубиная ты душа, Данилко! Умные люди говорят: бойкой сам набезит, а на тихого бог нанесет...

Вместе втащили мешок в просфорную. Пушистые от мучной пыли слюдяные оконца еле пропускали свет. Пахло хлебом, мышами, старым, прокисшим деревом — большие выдолбленные чаши для замеса, плохо промытые, были свалены грудой на полу. Тут же валялись и лопаты. Игнашка вытащил из печи полную лопату просфор. Одна покати-лась на пол.

— Батюшки, грех-то, грех-то какой! — испугался Данила, бросившись поднимать ее.

Игнашка расхохотался.

— Чего ты, непутева головушка! Коли просфора с лопаты скатилась, в алтарь ее не понесешь... Ну и выходит, она в рот просится! Ешь!

— Ой, грешно! Хлеб-ат божий... — опять струсил Данила, указывая на отпечаток креста на просфоре.

— Эх, — досадливо сказал Игнашка и взял с полки небольшую железную вещицу. — На-ко, вот она, печать. Обмакну ее в водицу да в тесто просфорное и вдави, обмакну да и тако же во вторую, в десятую, в сотую... всё мы, люди грешные, творим... На, поешь-ко!

Данила, наконец, решился — откусил раз, два и съел просфору. А за второй и сам потянулся.

— Ешь, ешь, — одобрял Игнашка. — Видно, скусна моя стряпня?

Данила признался, что за десят лет, кторые прожил служкой в монастыре, не случилось есть хлебного сразу из печи.

— По сиротству сюды попал? — спросил Игнашка.

— По сиротству.

Данила рассказал свою нехитрую историю. Родители его, вотчинные крестьяне боярина Пинегина, померли от оспы, когда Даниле было десять лет, а брату его Оське восемь. Жалкое мужицкое имущество боярин Пинегин взял себе: как «выморочное».

— Не погнушался! — прервал Игнат. — Боярину хрестьянское добришко засвоить, что псу на ветер брехать... А вас с Оськой — в монастырь?

— В монастырь. Спервоначалу на посылах, опосля и к делу приставили. — И Данила вытянул могучие руки.

Игнашка пальцем потрогал ладонь послушника: широка, что наковальня, а кожа с острыми узлами застарелых мозолей и царапин шершава и тверда, словно дубленая.

— Вот, народушко, свята твоя силушка! — вздохнул Игнашка. — А где же браток-то твой?

— Торговым делам доверен. Монастырской лес, пеньку, лыко, воск и всякое иное на торжищах продает.

— Ишь ты! Стой-ко, да уж не твоево ли братка видал я даве у старца назначая? Собой молодец тощеват...

— Точно.

— Звать Осипом? Волосом черен?

— Точно, в мать пошел.

— А на язык лих молодец, — видно, на торжищах наточил. Да и не ево ли видал я на миру, за стенами? Сапожки на ём козловые, а на плечах кафтан... не с твою одевку-то, паря!

— Не всякому атаманом быть, — неохотно сказал Данила. — Авось, и нам когда добра приворожит, пождем покуда.

— Эх-х... все мы так... Авось жданки съели, авосьево города не горожены, авосьево дети не рожены.

Игнашка поскреб бородашку, подпер щеку кулаком и задумался. Бойкие глаза его потускнели, лицо сморщилось.

— И отцы наши святые: по бороде Авраам, по делам Хам. «Авва, авва», а токмо до двери слава. Деньгу копят, она у них легкая, они — аминь, а в суму — алтын... Аминь-аминь, а башкой в овин.

Данила вышел от просвирника, смущенный его удивительными речами. Да-

иле хотелось спорить, но у него не вошло в запасе слов, которые могли бы перешибить дерзкие и крепкие речи провирника.

— Эко! А я по всей обители рыщу, брата старшого ишу-свищу! — прервал думы Данилы насмешливый и сердитый голос. Осип Селевин шел ему навстречу, заломив на черных кудрях кунью шапку с малиновым бархатным верхом. Осип считался бельцом, да и соборные старцы баловали его, как одного из самых оборотистых «гостей монастырских». — Иде ты толчешься, притрёпа! — уже с сердцем продолжал младший брат. — Поди-тко немедленно к столовому старцу, скажи, что, мол, Осип послал. Надобно навес для народишка ставить... И куды така пропасть их к нам со всех деревень притопала? И чего им страшиться? Кому их тряпишко надобно? — И, вдруг лихо подбоченясь (мимо прошли с мамкой две боярышни), Осип важно приказал брату: — С поверху самы великие бревна током ты своротишь. Опосля того в ямы бревна поставишь, землю убьешь.

Исполнять оськины приказания Даниле всегда было неприятно, однако приходилось в его положении монастырского служки. Да и выросши в монастыре, Данила привык повиноваться каждому, кто приказывал ему.

С бревнами, с навесом провозился заплодень. Обтапывая землю вокруг последнего столба, вспомнил, что с утра, кроме просфорок, ничего не ел. Посмотрев на свой измятый, выпачканный землей и смолой подрясник и черные от грязи руки, Данила хотел было пойти к колодцу, но голод погнал прямо к воротам.

На площади посада Данила протискался к столам, съел две больших чашки темнокоричневой, с желтыми пятнышками жира, похлебки из печенки и очистил целый ковш гречневой каши. «Сем-ка пойду я на Келарской пруд, порыбарю малость» — сказал себе Данила и, подумав о мягких, густотравных пригорочках, где можно полежать и дать телу размяться, даже

весело присвистнул. Навстречу шла девушка в мерещатом¹ сарафане, который пестрел охряными и зелеными клетками самодельной краски из лукового сока и моченой черемуховой коры. На голове девушки горел яркий платок травчатого атласа, желтый с синими разводами.

Только успел подумать Данила, кто это щеголиха, как девушка поровнялась с ним, и он увидел черные, как крыло дрозда, крутые брови Ольги Тихоновой.

— Здорово, — с поклоном сказал Данила, почувствовав, как и обида, и радость охватили его. — Здорово, Ольга Никитишна!

— Здоров будь! — молвила девушка, потупясь, и нетерпеливо заиграла бахромой платка. Данила, осмелев, взял ее за руку. Пальцы девушки были холодны и дрожали.

В темных глазах Ольги вспыхнул янтарный огонек — и тут же погас.

— Ну... — сказала она, недобро усмехаясь, — пусти. Варвара, ждамши, покорами изведет.

— Ох, давно ль ты ее страшиться стала?

— Ну и стала! Не твоя печаль! — И Ольга сердито дернула плечом. Ее новешенький платок, казалось, плавился на солнце.

— Небось, Оська плат привез? — хрипло спросил Данила.

— А за тобой жить да холст-простку² носить? — вместо ответа горько спросила Ольга. — И поди ты, поди от меня...

— Погоди! Дядя твои промеж нас мутят?

— Дядья...

— Ведь то не отец с матерью...

— Они меня, сироту, выпоили, выкормили...

— Вот и снова бежишь... обожди ты... душа в тебе живая, чай... Пошто же дядя твои так-то?

— Бают: тошой жених, кляча монастырская.

¹ Неяха, растяпа.

¹ Домотканный холст в мелкую клетку.

² Самый грубый холст.

Данила вспыхнул до ушей и бессвязно забормотал, что-де и из рядовичей в атаманы выходят, что недавно сам Иоасаф-архимандрит при всем честном народе сильно хвалил Данилу Селевина, «служку прилежного» (все это Данила храбро прилгнул), что, наконец, судьба его вот-вот изменится к лучшему.

Ольга печально вздохнула и, вдруг живнув ему, торопливо отошла и побежала вниз по улице к селу Клементьеву, — значит, не к золотошвее торопилась Ольга, а домой.

«Плат скинуть побежала!» — догадался Данила. Конечно, Ольга побежала домой, боясь показаться в золотошвейне в этом дорогом платке травчатого атласа, наверно, подаренного Оське во время сходного торга каким-нибудь заморским гостем, — мало ли их, лукавых заморян, янаехало в Москву и подмосковье за эти дурные, смутные годы.

Пламенеющий атласный платок, струящийся нежной шелковой нитью, не выходил из головы Данилы. Представилось, как очутился этот платок у Ольги... Вот Оська вкрадчиво постучал в оконце, около которого вышивает на пяльцах Ольга... Ольга видит малиновый бархат оськиной шапки, встает, идет к двери.

«Куды ты, девка?» — строго кричит «большая золотошвее», разбитная вдова Варвара. Но Оська, легонько свистнув, уже успел подмигнуть Варваре — не замай-де, ведь девка по моему зову идет. «Поди, поди, девушка!» — ласково говорит лукавая Варвара, и Ольга выходит в сени. Оськины руки хватают ее, как добычу, его колючие усы щекочут девичьи губы, его воровские глаза нагло глядят в карие девичьи очи. Он что-то нашептывает ей и набрасывает на нее этот подлый платок. И Ольга в благодарность целует и обнимает его, этого удачливого, тароватого Оську... Да как же, как же могло все это произойти? Ведь еще совсем недавно Ольга, едва увидев Данилу на заветной лесной тропке, бросалась к нему на грудь. Бывало, прижмет к нему, смеется, сама приговаривает: «Эко силища в тебе, Данилушко! Ничего с тобой не боюсь!» Любили они с самой весны, а последняя

счастливая их встреча была в день Акулины-гречишницы¹.

Данила этот день крепко запомнил: тогда, по обычаю, в обители варили кашу для нищей братии. В тот день еще с зари Данила таскал мешки с гречей на кухню. Котлы кипели без остановки, кашу для нищих, калик переходжих и юродивых приносили в огромных мисах, а каши все было мало. У ворот под Каличьей башней с самого утра до позднего вечера толпились не только убогие, но и множество местных крестьян и всякого пришлого люда. Такого множества едоков христа ради в обители еще не выдывали. Трапезные служки вздыхали: «Оскудел, оголодал народ. Наши же, посадские, локоть о локоть с нищими за стол садятся!»

Данила весь день таскал мешки, размешивал кашу в котлах, потом поднимал тяжелые мисы и разносил их по столам на площади перед Успенским собором. Уж на что он двужилый, а и у него к вечеру заняла спина. Все же, улучив часок, он сбегал в Клементьево, мигнул Ольге — и они встретились в любимом их лесочке над Келарским прудом.

Ольга была в тот день так ласкова, — даже всплакнула, глядя ему в глаза. Она все жалась к нему, словно хотела на груди у него спрятаться от целого света. Когда заблаговестили ко всенощной, они расстались, как думал Данила, до завтра. Но ни завтра, ни еще несколько дней подряд увидеться с Ольгой не удавалось. Брат ее, Алексей, монастырский «борзой писец», на вопросы Данилы уклончиво отвечал, что Ольга сильно занедужила и к ней никого не пускают. Через месяц Данила встретил Ольгу на улице, но девушка посмотрела на него так строго и недоступно, что он, опешив, не посмел даже остановить ее.

Напрасно вспоминал он и разгадывал, чем бы мог обидеть Ольгу, да решительно ничего не мог вспомнить. Он пытался перехватить ее на улице, спросить напрямки, не наговорили ли на него, но Ольга теперь ходила домой,

¹ 13 июля.

окруженная подругами и словно не замечала его. Он пытался пробраться к ней в избу, но был с позором выгнан ее теткой — горластой, косоглазой бабой. Тогда Данила решил земно поклониться Алексею, умолить его рассказать, что же такое произошло. И Алексей, с жалостью глядя на Данилу, сказал, что Осип стал на его дороге: задурил, улестил всех — и засватал Ольгу.

— Чай, ведомо тебе, сколь девки лукавы да притчеваты¹, — пробовал утешить его Алексей.

Первые дни Данила глаз не смыкал, но потом каторжная усталость взяла свое. Понемногу боль стала тупеть. С горьким спокойствием Данила думал об Ольге...

Размышления его прервал кроткий голос:

— Зрю человека, а души не вижу, душа страстию закрыта.

И сухонький, как щепочка, старец Нифонт взял пальцы Данилы в свою детски-легкую ручку.

Данила хотел было ответить Нифонту, что на восьмом десятке куда как легко учить и советовать перебарывать страсти, да он, Данила, к тому же и не монах еще.

— Лучше человеку главу свою потерять, чем душу страстию отравити! — выговаривал ласково старец Нифонт. Ветерок поднимал его тонкие, как пух, белые волосики на впалых висках. Железная кружка сборщика, запертая большим замком, в которой глухо позвякивали деньги, отягощала его худую шею. Пользуясь безответностью Нифонта, старец-казначей посылал его по селам «сбирати на нужды храма с православных христиан», что ленились делать многие молодые чернецы.

Данила посмотрел на его худенькое потное личико — и из жалости к нему не стал возражать, а сказал только:

— Уморился, отче?

Пока они шли вместе, Данила рассказал старику о своем горе. Нифонт терпеливо выслушал, а потом вздохнул:

— Ох, сыне!.. Одно-едино горе твое, а глянь пред собой!.. — И Нифонт по-

казал палкой на беспокойно гудящую толпу под стенами монастыря.

С тех пор, как второй самозванец, Тушинский вор, засел под Москвой, котлом закипела вся, уже давно растревоженная Троицкая округа. В монастыре словно и запомнили то время, когда чинной толпой проходили богомольцы просторным монастырским двором; когда сановитые бояре, дети боярские, именитые гости и дворяне приезжали на богомолье из самой Москвы, из Ростова Великого, из Северской и Суздальской земли.

Знать приезжала сюда еще и поохотиться. И не было бюстителей порядка лучше, чем боярские сокольничьи. Бойские и ловкие, в цветных суконных кафтанах с галунами и кистями, в высоких островерхих шапках, отороченных бобрим или куницей, по привычке поднимая правую руку, сокольничьи без труда прокладывали дорогу для своих господ. Народ покорно расступался. И в храмы все заходили и располагались там, как полагалось по чину и званию: черный народ — дальше, у стен, а «преславные» люди, радетели царской обители и милостивцы ее, — поближе к амвону...

— А ныне, — продолжал свои жалобы старец Нифонт, — ничего нельзя разобрать: как стадо, напуганное волками, к стенам монастырским сбежались все — и черные люди, и торговые, и бояре, и дворяне. В странноприимных домах создалась столь великая теснота, что многие дворяне и бояре не гнушаются проводить ночь в своих дорожных колымагах, а то и просто на травке-муравке. Виданое ли дело — словно бродяги, на улице ночуют?

— Вот он, проклятый господом ворюга-злодей, что над людьми творит, — горестно сказал Нифонт, указывая на толпу под стенами.

— Глянь-ко, — торопливо заметил Данила, — одначе, там бьют кого-то!

И Данила прибавил шагу.

Под Каличьей башней возбужденно горланила толпа.

Подбежав, Данила увидел, как на груди бревен, прижавшись спиной к крепостной стене, что-то отчаянно выкрикивая, ловко увертывался от тумачков

¹ Капризны, непостоянны.

приземистый человек с седеющей бородой. Пестрединная рубаха на нем была разорвана в клочья.

— Прелестник... от вора прелестник! — вопила толпа. — Письмо у него подметное нашли!..

Данила изумленно крикнул:

— Петр, дядя Слота!..

Многие обернулись, а человек в рваной рубахе радостно простер к нему руки:

— Данилушко! Богов посланец... ей-ей!..

— Раздайся, народ, раздайся! — спокойно сказал Данила. — Сего человека знаю, крестьянин он из Клементьева села.

Петр Слота сбегал с бревен, обнял Данилу и, выйдя с ним на дорогу, начал рассказывать, что с ним произошло. На-днях отправил его боярин Пинегин с разными поручениями в Москву. Кому охота ехать в такое ненадежное время, но сильно задолжал он боярину, а тот обещал четверть долга скостить.

— А бояриновы-то московские родственники, слышь, мил-человек, в «перелетах» объявились. Ну, исподлеи люди!.. Давно ль царю Василью крест целовали, а ноне вору совесть продали. Одначе и царя Василья в уме держат. Они с царя жалованье получают, а там к вору подадутся и от воруги немало толику прихватят... Спросил я у народушки: пошто же повелось между государем и вором жити? «Так, говорят, ко всему изготовились: буде, по-васильеву выйдет, — мы своих от него заслоним; буде, по-тушинскому выйдет, — равно и туто ведаем, как заслонится...» Срамота! — Подвижное лицо Слоты выразило гнев и презрение. — Вот, как стал я тут про все это сказывать, а народ меня за прелестника принял...

Площадь гомонила немолчным прибоем криков, суматошного говора. Кто-то истошно кричал, кто-то плакал; на телегах лежали беспомощные старики, больные, малые дети. Под беспощадным солнцем пылала пестротка одежд; как потухшие головни, зловеще темнели фигуры в лохмотьях.

Внезапно послышался чей-то захватский звенящий голос:

— А ведома будет вам правда истинная: царь Дмитрий Иванович жив есть! Василий Шуйский и иные изменники не царя, а неведомого человека убили!.. А царь Дмитрий жив есть, и тебе, народ русской, милосердье свое царское кажет. Припадите к стопам его, повинитесь... он вам дарует прощение.

Дюжий мужчина в красной рубахе и распахнутом польском жупане бирюзового цвета, покачиваясь на спине вороного коня в богатой сбруе, вычитывал по свитку, который, как длинный язык, болтался во все стороны.

— «Велит вам царь Дмитрий Иванович воевод царьшики Шуйского, его бояр и дворян убивати... и за то дело вам от царя Дмитрия будет награда!»

— Эй, вора бирюч! Почем душу вору продал? — раздался дерзкий спокойный голос, и уже на одной из телег увидел Данила Петра Слоту.

— Эге-е! — нимало не смутился тушинский бирюч. — А коль ты царю Шуйскому верной слуга, пошто голобрюхой ходишь?

И под смешки опять заговорил:

— Москва-то, вишь, прохудилася, людишек накормить, покрыть нечем. Ни кола, ни двора, ни вола, ни села, ни мала живота, ни образа помолиться, ни хлеба подавиться, ни ножа зарезаться!.. Хо... хо... А у нашенского-то Дмитрия-царя мешки полны серебра.

— Вот кто прелестник-то! Держи прелестника! — вдруг, как безумный, закричал Слота и, перепрыгивая с телеги на телегу, бросился к бирючу. — Держи его!

Бирюч, изрыгая ругательства, замахнулся было длинным кнутом, но верткий Слота схватил ременный конец и рванул к себе. Чтобы удержаться в седле, бирюч выпустил кнут и пришпэрил коня, который сразу взвился на дыбы. Женщины пронзительно взвизгнули.

И, словно по знаку, из-за угловой башни выехало еще пятеро всадников. Двое передних были в зеленых епанчах, накинутых на легкие кольчуги, а трое — во всем польском. Все пятеро, гарцуя, подъехали к детине в бирюзовом кафтане, стали рядом, и сабли их зажглись на солнце.

— Слышь... вы! — зычно крикнул бирюч, сдерживая пляс своего вороного коня. — Доведется уже вам нашего осударя молити, челом ему бити...

Двое русских в епанчах, в это время, вздев на острие своих сабель свернутые в трубки грамоты, бросили их в толпу.

— Печать антихристова-а! — истощно взвизгнул крайний мужичонка в буром армяке и разорвал грамоты в клочья. — Подметны письма... В огонь их, братцы-ы!..

Не успел он отбежать, как поляк направил на него свою медно-рыжую лошаадь.

— Быдло-о!.. — и, быстро свесясь с седла, полоснул мужика саблей по шее.

Даниле вдруг показалось, что кровь выхлестнулась из его собственного сердца. Он схватил камень и швырнул в плоскую, как блюдо, парчевую польскую шапку.

Поляк качнулся и припал к конской шее.

— А-а! Вот тебе, ворюга, убивец! — И Данила пустил еще камень. Конь вздыбился и вихрем понесся по дороге. Поскакали и остальные.

— Ой, смертынька-а! — протяжно завыв женский голос. — Убью-ут!

Зарубленный мужик лежал, не двигаясь, только кровь все лилась из раны.

— Кровью исходит народ-ат... — сказал тихо Слота, подходя к Даниле. — Вот так воры: и Тулу, и Ржев, и Старицу взяли. Спосылают своих бирючей, народ пужают, последний разум из людешек хотят выбить. Почнут все разобь¹ толковать, разобь творити, тутотка их и хватают живьем. У людешек душа с места сошла... А уж сплеток всяких насышишься, не приведеи, господь!.. Сказывают, будто спасся Дмитрий, а я своими ушами слышал, как у Василья Блаженного грамотку читали, кою инокиня Марфа народу спосылала, а тамо сказано...

— Эге-е! — И Данила, сдвинув колапак, взволнованно взъерошил волосы. — Погоди... уж не ту ли грамотку третьего дди наши соборные старцы поминали?

Чего-то было про инокиню-то... Попрошаю-ко я у Алехи Тихонова...

Пошли к Алексею Тихонову. Он сидел на обычном своем месте у распахнутого окна, в просторной писцовой горнице при соборной палате, и неторопливо писал, что-то бормоча про себя. Он поднял голову и рассеянно улыбнулся. От постоянного сиденья в келье его молодое лицо было изжелта-бледно, карие глаза, окруженные тенью усталости, казались запавшими, только свежи были тонкие брови, черные, как перья дрозда. Даниле вспомнилась Ольга, сердце сжалось в груди, но думать о ней было некогда.

Оба рассказали Алексею, что произошло у ворот обители. Алексей подтвердил, что грамотка инокини Марфы уже давненько хранится у него в писцовой келье...

— Коли надобно, то и ноне народу ишшо возгласим, — сказал Алексей, вынул грамотку из обитого бархатом сундучка, сунул ее за пазуху и вышел вместе с Данилой и Слотой.

Слота закричал, чтобы все слушали. Алексей сначала рассказал, что инокиня Марфа, которую первый Самозванец-расстрига угрозами заставил назвать его сыном, теперь, после появления второго самозванца, всенародно призналась в слабости своей и разослала повсюду грамоты, чтобы сердца людские просветились и окрепли.

— «...а я вас на то благословляю, — громко и раздельно читал Алексей, — и прошу трго у бога, чтобы сердца ваши на истинный путь обратилися и жити вам в своих домах безмятежно...»

Тут поднялся плач: дома были сожжены или брошены.

— «А тому истинно верьте, — продолжал чтение Алексей, — что был не сын мой, а вор, богоотступник, расстрига Гришка Отрепьев, и убит он ныне в Москве: мои очи его мертва видели, а истинный государь, мой сын Дмитрий Иванович, убит в Угличе в 1591 году, а ныне мощи его... сами о себе свидетельствуют неизреченными чудесами...»

— Вот где она, правда истинная! — строго сказал Алексей, бережно засунув свиток за пазуху.

¹ Врозь.

Мужик с лешачьей бородой, смуглым лицом и дикими глазами, что сидел на телеге у ног Алексея, вдруг приподнялся на коленях и гаркнул:

— Эх, пошто ж она ране того нам не открыла? Кабы по началу она первого вора не признала,—глядишь, урону было бы мене нам, людишкам тяглым!

— Ой, погибель наша, погибель! — раздался опять чей-то истомленный голос,—и опять все вокруг закипело, как на огне: жалобы смешивались с бранью, слезы — с проклятьями.

— Экой народ-ат оголтелой стал! — И Алексей смущенно заторопился к воротам.

★

В половине сентября Игнат-просвирник в разговоре упомянул, что Осип Селевин женится. Не заметив, как вздрогнул Данила, просвирник добавил:

— Сам слышал — у Параскевы-Пятницы оглашали¹. То-то через два дня ты, паря, нос в вине помочишь!

— Мне того вина не надобно! — злобно крикнул Данила.

— Эко, оглашенной! — догадался просвирник. — Уж браток-ат девку у тебя не перебил ли?

Данила поднял мрачный взгляд:

— Перебил.

— Эко горе, эко горе! — посочувствовал просвирник. — Одначе, паря, голову не вешай. Айда, возвеселим сердца наши, дернем по чарочке!

Данила, в знак согласия, отчаянно махнул рукой.

В царевом кабаке было жарко и душно. Едва Данила с просвирником успел войти, как следом за ними с хохотом и визгом перевалилась через порог меховая куча. Диковинно кувыркнувшись, куча распалась — и посреди кабака очутились два мужичонка в вывороченных мехом наружу полушубках. Рожи у мужиков были вымазаны сажей и натерты кирпичом, белые зубы скалились, глаза бегали во все стороны, губы весело чмокали. Один из скоморохов, тот, что по-

моложе и поменьше, надел на всклокоченную голову грязный колпак с медным бубенцом, скорчил уморительную рожу и подбоченился.

— Ай, не сокотала сорока, а гости у порога!

Скоморохам плеснули по чарке. Они выпили, утерлись и продолжали зубоскалить.

Маленький пополз на брюхе, а другой разлегся в ленивой позе, урча и мурлыкая по-кошачьи. Маленький скоморох спрашивал умильным голоском:

— Зверь наш тихой, кот Евтихий, бают, ты в монастырь постригся?

«Кот» отвечал жирным, мурлыкающим баском:

— Тако, чадо, тако. Постригся.

— И посихмился?

— И посихмился, чадо.

— Знать, скороми не вкушаешь?

— Ни, ни... грех-то какой!

— Мимо тя путь мой лежит. Чай, не тронешь меня, кот Евтихий?

— Гряди, чадо: ты же мышь скоромная.

Маленький скоморох воровато пополз, уморительно подбирая ноги. Вдруг кот Евтихий бросился на него и сгреб под себя. Маленький запищал, жалобно, помышинуму:

— Ой, ой!.. Грех-то какой!.. Оскоромился, кот Евтихий-й-й!

А Евтихий, трепля мышиную шкурку, отвечал довольным урчаньем:

— Кому скоромно-о-о, а мне здорово-о!

Кругом заготовали. Просвирнику потеха так понравилась, что он поднес скоморохам по ковшичку браги.

— Эй, шишиги, пей за наше здравие!

Маленький скоморох особенно смешил просвирника, и, развеселясь, Игнашка даже щелкнул его по башке.

— Эй, птичка-невеличка, откуда у тебя што берется?

— Мала ворона — так рот широк! — быстро нашелся скоморох.

— Ох, вы, шишиги! — с добродушной злостью буркнул кабатчик, сиплый мужичонка в суконном кафтане, сидевшем на нем, словно краденый.

— Языки ваши прытки, шеи долги, на перекладину годны.

¹ Предварительное объявление о браке — старинный обычай.

— Што ж, — сказал, приплясывая, скоморох. — Айда исполу, дядя: петля моя, шея твоя!

— У-у, вы, шемелы проклятые! Беса тешители! — вдруг раздалось с порога.

Высокий чернобородый монах с кожаной кисой у пояса махал волосатыми кулаками.

— Напили, наели, да и ноги унесли!..

— Да ты ж сам нас в тычки прогнал! — возмутился старший скоморох. — Беса, баял, тешите... ну, мы и шасть на другу печку!

— Эй, Акуля, пришла откуля? — запищал малорослый скоморошшишко.

— Я вот ярыжку кликну да тебя самого спрошу, откулева ты, мышшь защельная! — вскипел монах-«кабацкой».

— Мы-то?. Из села Вралахина, что на речке Повирухе, ни близко, ни высоко, ни широко, ни далеко. Взять с нас неча, сам зришь, отче: шапки на нас волосяные, рукавицы своекожаные, сапоги нешвиёные, чорт тачал!

И скоморох показал свои ноги в кожаных чунях, стянутых у щиколоток сыромятными ремешками.

— Ох, отче, есть за мной долг, не скрою, возверну не скоро, а станешь докучать — и век не видать.

Все питухи, развалившиеся за длинными столами, заставленными глиняными кружками и жбанчиками, были явно на стороне скоморохов и ждали, как они сейчас испотешат отца-кабацкого Диомида. Кровь бросилась в лицо монаху, его черные навывкате глаза злобно блеснули, а длинная волосатая рука вдруг схватила за шиворот маленького скомороха.

— А-а попался-а! Вот я те к самому троццкому воеводе сведу!.. Он те под Каличьей башней¹ ноги повытягает...

— Стой! — сказал чей-то спокойный и твердый голос. — Стой, отец, отпусти скомороха. Шуба овечья, да душа чело-вечья.

Все оглянулись и только сейчас заметили в тени, в углу, пожилого человека

с длинной сивой бородой клином, лысо-го, глазастого, как икона.

Незнакомец встал и оправил свой широкий пояс, надетый поверх безрукавки из тисненой буйволовои кожи. Из-под засученных выше локтя рукавов грязной рубахи видны были сильные жилистые руки, на коричневой коже которых Данила разглядел несколько рваных шрамов, такой же рваный шрам был на виске.

Монах, заметив за поясом незнакомца пистоль и длинную рукоять кинжала, сразу выпустил скомороха и угрюмо спросил:

— Кто таков — шишит прощать?

— А тебе не все едино? — усмехнулся незнакомец. — Сколь велик должишко тот скомороший?

— Один алтын да две деньги.

— На, получи, отче! — И незнакомец сунул монаху деньги.

Тот в крайнем изумлении принял их, исподлобья следя за странным даятелем — в своем ли тот уме?

— Ну, сподоби тя господь! — пробормотал отец Диомид, спрятав деньги в карман, и поскорее вышел.

Скоморохи повалились в ноги неожиданному защитнику.

— Батюшко, как тебя звать-величать, мы тебе челом, а уж ты ведаешь — о чем!

— Уж ты, свет, не бойся нас застояти — мы не воры, мы не тати...

— Татей я сроду не покрывал, — живо сказал человек в кожаной безрукавке и улыбнулся: — По погудке скоморохов слыхать. А вот не лишку ли с вас, потешники, кабацкой отец-то взял?

— Афонька! — хватился старший скоморох. — Мы с тобой и впрямь ить чуточек и пригубили...

— И то!.. — вспыхнул Афонька. — Ох, Митрошка, пес тот долгогривой загреб алтын в свою мошну. Истинно, черней монаха не сыщешь, и чорт под старость в монахи пошел.

— Ладно, — прервал неизвестный, — не балабонь, друже. Песни петь горазд?

— Для тебя, человеколюбец, что не споем? — сказал Митрошка. Он скинул вывернутый полушубок и остался в заплатанной холщевой рубахе. Глаза у него

¹ Под этой башней, по преданию, помещалась монастырская тюрьма и пытошная.

были темноглазые, умные и печальные. Слабогрудым, но мягким голосом Митрошка запел протяжную песню о том, как на бранном поле витязь умирал. Маленький Афонька вытащил из чуней ивовую дудочку и тихонько, словно боясь спугнуть голос певца, подыгрывал грустным словам:

...По праву руку лежит сабля вострая,
По леву руку его крепкой лук,
А в ногах стоит его доброй конь.
Он, кончаясь, возговорил коню:
«Уж несися, конь, на святую мою Русь,
Поклонися моим отцу-матери,
Благословеннице свези малым моим
детушкам...

Да скажи моей молодой вдове:
Оженился я на другой жене.
Я в приданое взял поле чистое,
Была свахою калена-стрела,
Положила спать сабля вострая...

Когда замерла последняя трель афонькиной дудочки, неизвестный поднялся с места и вытер глаза темными узловатыми пальцами.

— Э-эх, вот и довелось песню русскую послушать — другой такой на свете нету. Слава ему, допустил господь! — И он земно поклонился черно-коричневой доске в углу, на которой только чуть поблескивал желтый венчик. — Привелось-таки родну землю узрети!

— Ай на чужбине был? — спросил Данила: интерес к этому странному человеку пересилил в нем обычную застенчивость.

— Четырнадцать годов в чужих землях прожил, — ответил незнакомец.

— Что же не пожилося боле? — полюбопытствовал Игнашка.

— Душа от тоски изныла, хоть сгибни без родной земли! — И худое, с острыми скулами, лицо незнакомца скорбно улыбнулось.

— Из дальних мест али тутошний? — спросил Данила.

— Тутошний, из села Клементьева.

— Ты наш, клементьевской? — изумился Данила. — Да чей же ты?

— Из Шиловых рода, сын Ондreja — кривого Шилова сын.

— Помер он еще при царе Борисе... Батюшки, да неужто ты Федор Шилов? Так ты ж мне дудки резал, мы ж с тобой рыбарить ходили на Келар-

ской пруд! — И Данила жадно вглядывался в темное скуластое лицо лысого пожилого человека, в котором не осталось ничего похожего на молодого мужика Федяху Шилова, который резал дудки для восьмилетнего Данилки.

— О, господи, твоя воля, да неужто ты.. Федор?

— Шибко несхож?.. Четырнадцать лет горе мыкал в чужеземье.

Федор Шилов тоже вспомнил Данилу и крепко обнял его.

— Ить вот такохонькой ты был в те поры! — говорил Федор Шилов, показывая рукой ниже стола. — А ноне, на-кось, какой стал.. — И Федор весело ударил Данилу по широкой спине. — Одначе, молодец, — продолжал он, оглядывая старый заплатанный подрясник, вдобавок еще и короткий для Данилы. — Долей ты не взыскан: добро — не лихо, бродит в мире тихо, а ты на чужой живот гляди да сохни.

Данила начал рассказывать о своем сиротстве. Игнашка-просвирик вмешался, смеясь костистым лицом:

— Такому могучному в воеводах бы ходити.. да уж больно он кроток, яко голубь сизой!

— Ну.. не всякому чернецу в игуменах быть, — застенчиво пошутил Данила. Когда его упрекали в кротости, он стыдился и досадовал, что ответить не умел.

— И то молвити, милостивец, — не смело вмешался скоморох Афонька, который внимательно прислушивался к разговору, — доли да чести к коже не пришьешь..

— Да и кожа-то, знать, не наша, а царска, а спина барска, — ухмыльнулся Митрошка. — Мошна пуста, так ярыги шкуру сдерут. В селах-то все приедено, все прикушано, а бояре все очми вертят, ищут, рыщут — иде бы им хватя-похватя. А уж хватати-то неча: на сусеке все подчистую выскребено.

И по своей родной земле, бывает, люди бегают да скитаются. Вот и они, два брата, убежали из тульской своей деревни от голода и податных тягот непереносимых. И уж пятый год скоморошествуют, потешая честной народ, а где и просто питаюсь христовым именем.

— Ох ты, Русь моя, Русь! — вздохнул Федор Шилов.

Он промолчал и, проводя пальцами по еще темным, отвислым усам, спросил:

— А жив ли брат мой Никон-свет Ондрич и жена его Настасья?

— Оба живы, в добром здравии, — радостно ответил Данила.

— А правда ль, что помер Пинегин-боярин, старшóй? — нахмурился, спросил Федор.

— Помер лонись¹, — ответил Данила.

Федор Шилов торжественно, истово перекрестился:

— Огнь воску ярого возжгу пред тобою, боже, коли избыл смертью врага моего!

— Грех-то какой! — невольно вздрогнув, осудил его Данила.

— Будь ведомо тебе, молодец, чиста душа: у того боярина Пинегина жил я в кабале. От той лютой кабалы и бежал. Он меня велел ыскати, да я за рубеж махнул!

Федор засунул поглубже за пояс свой пистоль и длинный кинжал с серебряной насечкой, потом нахлобучил на голову старую поярковую шляпу цвета осинової коры и сказал Даниле:

— Ну, прощевай пока, молодец. За лаеку спасибо.

— Путь-то не запамятовал? — пошутил Данила.

— Сослепу и то нашел бы!

★

В длинной низкой избе Никона Шилова готовились к супрядкам. С Симео-на-летопроводца² уже начали жечь лучину. Очередь принимать прях сегодня пришла на шиловскую избу.

Жена Никона Настасья мыла пол. Федор сразу узнал ее, хотя она сильно постарела и казалась теперь еще сварливее, чем прежде.

— Эй, куды прешься?

Когда Федор назвал себя, Настасья упала ему в ноги и завыла.

— Ой, батюшко, сердешенькой, воз-

вернулся на родиму сторонушку, ино и не признаешь!..

На ее вопли прибежал со двора испуганный Никон. Он даже затрясся от суеверного страха — Федора, давно уже считали мертвым. Но, обнявшись с братом, Никон сразу оправился от испуга. На маленьком круглом лице кустиками росла овсяная борода, короткий нос и щеки были исколоты глубокими оспинками, голубые глаза потускнели, но смотрели на Федора с наивно-жадным, как у ребенка, любопытством.

— Ну, видно, размыслова ты голова, землепроходец!

Настасья застала стол домотканной пестрой холстиной, захопотала с немудрым угощением, а сама все причитала да приговаривала жалостные, слезные слова:

— Ох, уж и остарел ты, батюшко!

— Но! Завыла! — рассердился Никон. — Улита, Улита, знать, давно не бита!

Жену свою Никон никогда пальцем не трогал — нрав у него был спокойный и терпеливый. Только уж когда она слишком надоедала ему, он покрикивал: «Знать, не бита?»

Никону было любопытно порасспросить брата о всех диковинных землях, о людях и делах, которых Федор насмотрелся за эти четырнадцать лет. Но Федор отвечал на вопросы вяло, будто с трудом вспоминая о всем виденном и пережитом.

Да так оно и было. Очутившись на завалинке этой старой черной избы, в этом тесном с обомшелыми крышами дворе, Федор вдруг почувствовал в душе небывалый покой и удовлетворение, будто только этого и хотел он от жизни.

Куда только ни бресала Федора Шилова вероломная и беспощадная судьба, каких только городов ни повидал он; кем только он ни был: кузнецом, коновалом, егерем, конюшим, рыбаком, медвежатником, суконщиком, оружейником, солдатом-наемником... Сколько раз убегал он от тягот и страшных унижений — и сколько раз он бывал пойман! Его били плетью и железом, но не могли выбить любви к родине.

¹ В прошлом году.

² 1 сентября (по старинному обычаю — начало посиделок).

Кляня свой страх перед царскими ярыгами и перед боярским праведом, Федор Шилов метался по чужестранным дорогам, селам и городам. Люди, богатые и жестокие, ничем не лучше русских бояр и приказных, владели его умелыми руками, его трудом, только душу взять не могли. Жизнь вертела им, как шепкой в половодье, а желанная свобода обегала его. Он то приближался к родным рубежам, то опять отдалялся от них, подхваченный новым несчастьем и бедой.

Никон Шилов спрашивал больше всех. Его синеватые быстрые глазки жадно впивались в темное, сухоскулое лицо брата.

Федору пришлось вспомнить все, чуть ли не с первого дня после того, как он перешел московский рубеж. Как страшно было почувствовать себя безъязыким на чужой земле... Боясь польских ярыг, Федор притворился глухонемым. Униженно кланаясь, показывая знаками и жалобно мыча, он бродил по шумному базару и просил работы и хлеба. Какой-то мельник, ощупав его мускулы, заставил таскать тяжелые мешки, а потом забрал с собой на мельницу. Федор прожил у мельника полгода безответным глухонемым, работал с зари до ночи, клял про себя мельникову жадность, а сам все смекал насчет языка и обычаев чужой жизни.

Убежав от мельника, нанялся кузнецом к пану, яростному охотнику-медвежатнику. И сам пан, косматый, пропахший конским потом, напоминал хищного зверя, которого ничем не приручишь. Кони у пана были бешеные, свирепые. Один из них, вороной жеребец, однажды во времяковки искусал Федору левую руку.

— Вот они, следочки-то, — взволнованно сказал Никон.

— Конь белой, словно снег, — продолжал Федор, — так тот чуть жития меня не лишил. Взял я его копыто, почал ковать, а он ка-ак вырвется да как саданет меня вот сюды... — И Федор, усмехнувшись, показал рваный шрам на щеке, возле уха.

Федор еще отлеживался после удара копытом, когда с белым конем случи-

лось несчастье. Сорвав на охоте подкову, конь напоролся на колючку, провалялся неделю и пал посреди панского двора. Пан вырвал клочок из своей бородищи и приказал белого жеребца с почестями похоронить. Потом вспомнил о Федоре: вот кто виноват в смерти его любимого коня!.. «Привязать лайдака к конскому хвосту да пустить в чисто поле!»

Нашлись добрые люди, холопы пана, предупредили Федора. Он убежал в лес. Долго скрывался в лесу, пока не попал в орду егерей воеводских — отчаянных, отпетых парней. Они соблазнили его веселой сытой жизнью, суконым платьем, щедрыми подачками варшавского воеводы. Федор стал медвежатником. Часто бывал он на волосок от смерти, чуял на себе дыхание разъяренного хозяина лесных дебрей. Рысканье по лесам опротивело Федору. Воспользовавшись первой же отлучкой в Варшаву, он остался там.

На Старом рынке торгоши и горожане сравливали голубей. Федор загляделся на необычную забаву. По русскому обычаю, Федор привык считать голубя самой кроткой и даже святой птицей. Но голуби на Старом рынке, раздраженные искусно разбрасываемым кормом, дрались, как бешеные, — ни дать, ни взять, ястребиное племя!.. А люди потешались, сравливая птиц, чтобы увидеть кровь на их нежных перьях. Такое надругательство над кроткой птицей, которую глаз привык видеть на иконах вместе со святыми, Федор не в силах был долго терпеть. Он выхватил из рук стоявшего рядом толстяка кошелку с моченым горохом и быстро опрокинул ее на мостовую. Голуби слетели в одну кучу и дружно закурьлыкали. Толстяк сначала было озлился, но, увидев выражение лица Федора, полюбпытствовал, чему так радуется этот молодой егерь? А Федору голуби напомнили село Клементьево, Келарский пруд, зубчатые стены Троице-Сергиевой монастырской крепости, над которыми всегда вились пенногрудые чистяки, сизо-голубые сизяки, золотистые турманы, светлосерые хохлачки, трубачи с загнутыми колесом хвостами. Клемен-

тьевские мальчишки, великие знатоки всех голубиных пород и повадок, снимали голубей с шатровых башенных крыш, терпеливо приручали, ставили голубятни. Каким счастьем переполнялось мальчишечье сердце, когда, кружась в высоте, турман или хохлачок спускался на призывный свист с земли! Мальчишки гордились, что приобрели власть над вольнолюбивой душой — они ведь крепко верили, что у голубя есть своя, особенная, голубиная душа!..

Толстяк, выслушав этот рассказ, расхохотался и пригласил Федора в кабачок распить бутылочку. Так Федор попал к вербовщику наемников Карлу Тибера. Толстяк набирал дворцовые войска для французского короля Генрикуса IV. Этот король, по рассказам Тибера, пока добился власти, много раз глядел смерти в глаза, был смел, как орел, умен, как змея, хитер, как лисца. Он мало кому верил и меньше всего тем, кто окружал его. Карл Тибера, этот «король наемников», старый офицер из города Любки, сам был за большие деньги куплен Генрикусом и рыскал за наемниками по всем странам. Больше всего он заботился, чтобы наемники были разноязычны, чтобы непримиримыми чужаками смотрели друг на друга и ни в чем не могли между собой сговориться.

Утром Федор проснулся в наемничьей казарме. В тот же день наемников погрузили на корабль. Ночью на море разыгралась буря. Люди валялись в трюме, как скот, и на всех языках мира проклинали свою жизнь. Проклял и Федор свою судьбу, которая бросила его в это чужое страшное море. Оно несло его, как обломок, и был он уже не свой, а купленный.

Четыре года прожил он в Парисе-городе, в пропахших солдатским потом и табаком казармах, на берегу серой, грязной Сены. Солдатня с утра до ночи гадела, горланила песни, играла в кости, дралась. Первые месяцы Федор боялся всех и терпел оскорбления, которые выпадали на его долю, а потом озлобился, научился ругательствам на многих языках и стал сам отвечать, а приходилось — так и кулаки в ход пу-

скал не хуже других. Кормили в казармах короля Генрикуса вдоволь, платили щедро, зато и служба была тяжелая. Служба вся на ногах — стоять на часах, охранять жизнь и спокойствие Генрикуса IV. Федору случалось его видеть: невысокий, худенький человек, седые волосы весело топорщатся над просторным лбом, умные глаза, с искорками лукавства и подозрительности, длинный, всегда словно приплюснутый нос, смешливый тонкий подвижной рот, седая бородка. Однажды сухой, сморщенной ручкой он похлопал Федора по железному панцирю, сказал что-то воркующей скороговоркой и пошел дальше по длинному коридору дворца, позвякивая золотыми шпорами.

Летом стоять на часах было особенно тошно: панцирь, наколенники, нарукавники, высокий шлем, похожий на корзину с отогнутыми краями, — все накалялось от солнца, по телу ручьями струился пот, а в ноздри летела проклятая пыль, которую поднимали широкие пышные юбки придворных бездельниц. Часового так и позывало чихнуть от всей души, но это было строго-настрого запрещено, за такую оплошность даже бросали в солдатскую тюрьму. Федору случилось однажды побывать в ней, и он больше не хотел попадать туда. Тараща глаза, ляска зубами, как запаленная лошадь, он перебарывал жестокое желание чихнуть, охнуть на весь коридор, топнуть, стряхнуть с себя потную одурь. Наконец, она проходила, и часовой, купленный человек, стоял опять в каменном спокойствии, выгнув грудь, высоко вскинув голову, — он должен был всем своим видом выражать гордость, что судьба поставила его сторожить, оберегать непонятную и загадочную жизнь короля Генрикуса IV.

Говорить по-русски было не с кем, и Федор разговаривал со своим конем. Тонконогий арабского скакуна звали Алигей, а Федор назвал его Воронком. Конь смотрел на него умным, чуть косящим взглядом, терся шелковистой мордой о плечо и, казалось, все понимал. Однажды беседу Федора с Воронком подслушал белобрысый швейцарец и за ужином, глумясь и паясничая, рассказал

всем, как «русский медведь» учил своему «варварскому языку» арабского коня. Солдаты подняли Федора насмех. Не понимая хорошенько, в чем дело, он схватил тяжелую оловянную кружку, — и швейцарец покатился на пол, обливаясь кровью. В свалке потухли свечи. Федор пробрался в конюшню, вывел своего скакуна, вонзил шпоры в его бока и ускакал, куда глаза глядят.

Утром в маленьком городке Федор купил себе платье горожанина, расстался со своим арабом, приобрел простого и выносливого коня. Но если Генрикусу было мало дела до Федора Шилова, то «королю наемников» Карлу Тиберу бегство солдата было совсем не с руки. Года через полтора после побега Федор был схвачен на германской границе и, как беглец, не выполнивший солдатских обязательств, закован в цепи и отправлен на галеры.

Два года он просидел на веслах, прикованный к скамье, палимый солнцем и южным ветром, обливаемый колючими брызгами моря. Он убежал вместе с молодым болгаринном, который почти все понимал по-русски. Несколько месяцев готовились они к этому побегу. День за днем, пользуясь каждой минутой, каждым мигом, когда надсмотрщик не глядел в их сторону, пилили железо. И ночью оба урывали час от сна, чтобы все с тем же терпением и упорством одержимых перепиливать цепи. В городе Кале, черной дождливой ночью, они бежали.

Из Кале они пошли продражить по рыбацким деревушкам. Научились плести и чинить сети, черенить ножи, ездили с рыбаками в море. Осенью 1599 года рыбацкое суденышко, на котором плыл Федор Шилов с четырьмя рыбаками, попало в бурю. Было бесполезно бороться с разъярившимся морем. Сняли паруса, легли на дно судна и приготовились к смерти. Сколько дней носилось суденышко по водному простору, никто не знал: люди валялись без сознания, недвижимые, как трупы. Однажды утром все очнулись от толчка. Суденышко врезалось в песок незнакомого берега. Скоро подошли люди. Оказалось, рыбаков прибило к островку в

устье реки Эльбы. Федор простился с рыбаками и остался на земле. Море он возненавидел на всю жизнь и боялся его, как лютотога врага.

В богатом городе Гамбурхе он не прижился и ушел в один из тихих, словно забытых, городков, которые попадались на широкой реке Эльбе. Работал у кузнеца, потом перешел к оружейнику. Оружейник жил богато, носил по праздникам бархатный кафтан с кружевами и лентами, шляпу с перьями, а по улице гулял, важно постукивая палкой с серебряным набалдашником. Подмастерьев кормил сытно. В холодную погоду в челядне потрескивал веселый огонь, а к ужину все оружейниковы люди получали по большой кружке пенистого изюмного пива. Но за все это оружейник требовал работы от зари до темна. Его крепко сбитое тело, казалось, не знало усталости; в своем ремесле он был великий искусник и знал множество тайных выдумок, которые вывез с Востока, родины дамасской стали. Больше всего любил он выделывать мечи, кинжалы и сабли. Бережно, как ребенка, поднимал он на ладонях длинный стальной меч и смотрел на него жадными, любующими глазами: вот она, работа!

Однажды в воскресенье хозяин позвал Федора к себе наверх, угостил пивом и ветчиной, а потом повел речь о деле. Он, Теодор, живет у него, почтенного мастера Иоганна Гальта, слава богу, четвертый год, научился многому и может хорошо заработать. Прекрасный город Мюльгаузен почтил оружейника Гальта дорогим заказом: выковать меч для человека страшной, богатырской силы. Работа срочная и трудная и, значит, доверить ее можно только такому крепкому и такому честному человеку, как Федор Шилов. Федор согласился. Хозяин и подмастерье работали по ночам, заперев окна и двери. Наконец, выковали меч и положили его в длинный, обитый кожей ящик, похожий на гроб. Хозяин решил сам отвезти заказ в Мюльгаузен и взял с собой Федора.

— В Мюльгаузене расплачусь с тобой, как только примут заказ, — пообещал хозяин.

«Тут-то я и убегу от тебя» — решил про себя Федор.

В Мюльгаузен хозяин и подмастерье приехали к вечеру. Остановились в гостинице на городской площади. Хозяин так торопился сдать заказ, что не стал закусьывать и сказал Федору: «К ужину меня не жди, угощайся один».

За ужином Федор услышал торопливый стук топоров на городской площади. Он выглянул в окно. При дрожащем свете фонарей множество плотников строили высокий помост.

Разбитная краснощекая трактирщица на вопрос Федора принялась рассказывать. Завтра утром на площади будет редкое зрелище; отрубят головы десяти крестьянам, страшным бунтовщикам. Эти мужики осмелились прекословить своему господину, знаменитейшему графу, на земле которого стоят их грязные стойла. Споря с господином графом, эти земляные черви вспоминали проклятое имя Фомы Мюнцера, который, как известно, продан дьяволу. И до сих пор, как недавно говорил в своей проповеди епископ, этот злодей Фома Мюнцер денно и ночью горит в адском огне. Но неужели господин подмастерье ничего не слыхал о разбойнике Мюнцере? Тогда хозяйка, добрая немка, охотно расскажет, что сама слышала от своего отца и деда. Завтра, когда этих мужиков приведут на казнь, господин гость сам увидит, какие это закоренелые в грехах души, — недаром они проносили имя сатанинского посланца Мюнцера. Здесь, в Тюрингии, сердцем мятежа стал, к великому стыду, веселый город Мюльгаузен, по улицам и площадям которого ходил богоотступник Мюнцер со своим рваным войском. Но добрые мюльгаузенцы все же могут утешаться тем, что здесь же, в Мюльгаузене, Фома Мюнцер был схвачен, пытан и казнен.

Но как ни бранилась немка, как ни накликала на неизвестных мужиков вечные муки в адских котлах, — Федор понял главное: немецкие крестьяне и холопы поднимались против своих бояр и дворян, но не преуспели — еще не наконил вдосталь силы черный народ!.. «У тяглецов беды повсюдны! — думал

Федор. — Попали вы, братки, в смертную яму!»

Подконец немка решила поразить гостя новостью, которой жил в те дни веселый город Мюльгаузен. Надо сказать, ненависть к мужичью и к их предводителю у господина графа — родовая черта. Еще недавно умер дед графа, древний старец, который хорошо помнил Мюнцера — еще бы: Фома Мюнцер вместе со своим сбродом осаждал его родовой тюрингенский замок. Нынешний граф так пылает ненавистью к потомкам мюнцеровских молодцов, что предложил себя магистрату в качестве палача. А городским судьям это куда как с руки: городской палач стар и с десятью головами зараз не управится. С преступниками еще месяц назад все было бы кончено, да господин граф не пожелал работать мечом старого палача, а заказал себе новый «меч правосудия», кстати, вполне достойный его страшной силы. Меч был заказан в другом городе, а делал его знаменитый оружейник Иоганн Гальт.

У Федора кружка выскользнула из рук, упала на пол и разбилась. Рука сжала спинку дубового стула и, как перышко, подняла его над накрытым столом. Хозяйка взвизгнула и убежала.

Федор почти до рассвета думал о десяти неизвестных тюрингенских крестьянах, которые завтра утром распрощаются с жизнью. Вот для какого черного дела старался Федор Шилов!.. Федор спустился вниз и попросил хозяина дать ему вина покрепче. Хозяин гостиницы налил ему большой кубок мальвазии. Федор жадно выпил, еле добрал до постели и заснул, как убитый.

Его разбудил Иоганн Гальт, нарядный и довольный. Вот обещанный им кожаный мешочек, в котором так сладко звенит золото. Заказчик остался очень доволен их работой. Теперь можно сказать: этот заказчик самый могущественный человек во всей округе. Оба они, хозяин и подмастерье, званы сегодня в замок графа. Лошади будут ждаты их за городом, у каменоломни.

Федор глянул в окно: на площади ломали помост, все уже было кончено. Двое пьяных забулдыг, горланя песни,

подметали площадь. Федору показалось, что земля порыжела от крови. Он вдруг ощутил вкус крови во рту, солонатовой, густой, липкой, — она подступала к горлу, душила, мучила рассудок. Хмель разом сошел с него. Федор с ужасом смотрел на свои большие ловкие руки с еще незажившими рубцами ожогов — то оставил по себе памятку проклятый заказ города Мюльгаузена!..

...Когда Федор и оружейник вышли за город, было еще жарко. Оружейник шагал, тяжело топая короткими, как обрубки, ногами в парадных башмаках. Он выпил за обедом и шел, покачиваясь и удало размахивая руками. Они шли по гористой дороге, которая поднималась все выше. Внизу, безлюдная по случаю праздника, белела каменоломня.

Федор шел позади хозяина и видел его жирную, налитую кровью короткую шею. И Федор Шилов вдруг понял, зачем отправился за город с этим презренным существом... Каменоломня далеко внизу белела, как груда костей, измытых дождями. Иоганн Гальт шел почти по самому краю, мурлыкая что-то себе под нос. Федор бешено размахнулся и толкнул оружейника в спину. Хозяин, не крикнув, исчез за краем бездны.

Федор, весь в ледяном поту, вытер руку о кафтан и побежал по склону обратно в город.

Он шел всю ночь, все на восток, в сторону далекой родины. Он проклял свой страх перед могуществом бояр, дворян и ярыг, малодушный трепет сердца, который заставил его перейти рубеж родной русской земли. Что, не мог тогда он, крепкий молодой мужик, убежать на юг, к казакам, или даже в гулящие люди пойти? Мог бы, да вот оплошал, испугался, что поймают, как загнанного зайца, на правеж потащат. Ну и попал бы на правеж, да, авось бы, сдюжил — крепка спина мужицкая! А уж останься он в живых, какую ни насть судьбишку нашел бы себе, а главное — жил бы среди своих, русских людей...

Утром набрел Федор на большое стадо тонкорунных овец. Пастухи гнали стадо в село, где жили шерстобиты.

Постылое золото Федор быстро истратил на угощение новых друзей. Вместе с шерстобитами он стриг овец и набивал мешки пушистой клейковатой шерстью. Нагрузив шерстью несколько телег, шерстобиты повезли ее в город Циттау, который издавна славился своими сукнами. Шерстобиты были бойкие ребята, не дураки выпить, да и по дороге то-и-дело встречались питейные дома и харчевни, куда, как уверяли Федора его спутники, ноги поворачивали раньше, чем голова успевала подумать. В Циттау Федор пришел без единого талера, нищим, как десять лет назад, когда перешел рубеж. В городе Федор познакомился с суконщиком Петером, который оставил его при себе. Суконщик Петер считал свой труд одним из самых благородных на свете: ткач одевает знатных бюргеров и крестьян, каждого сообразно его достатку и образу жизни. Нрава был Петер спокойного, подмастерьев своих не обижал, а если иногда и докучал молодым парням своим строгим присмотром («От разврата вас спасаю, дураки!»), все же от него редко кто уходил. Но тоска грызла Федора даже во сне. Она угнездилась в нем, как древоточец в здоровом, крепком стволе, — и не было в существо Федора Шилова места, куда не проникло бы ее тонкое и беспощадное жало.

Весной 1606 года Федор намеренно отстал от Петера и затерялся в ярмарочной сутолоке. В польский город Ченстохов Федор разными путями добрался весной 1607 года, рваный, босой, как последний нищий. Много дней бродил он по городу, ища работы, часами торчал на людском рынке, но никто не хотел брать в работники человека с почерневшим от голода лицом. Подвечер на хлебном рынке он вместе с другими голодными обшаривал лари и рундуки, ища хоть щепотку муки или завалившуюся корку.

В то лето Федору не раз случалось видеть самоубийц. Стража обнаруживала их на заре висящими на стропилах рыночных сараев и крылец. Стражники, взвалив труп на телегу, отборной бранью провожали его в последний путь.

Однажды, разделавшись с очередным мертвецом, старшина рыночной стражи угрюмо и зло сказал Федору Шилову:

— Смотри, лайдак, не вздумай удавиться, как тот бродяга. Если удавишься, клянусь Иезусом-Марией, я брошу твою пададь собакам!

Федор только засмеялся в ответ. Речь этого рыгги показала ему безумной. Как наложить на себя руки, когда он все приближается к родной земле!?

Стражник смотрел на Федора и дивился: чему смеется этот жалкий оборванец?

Федор Шилов не пристал ни к бродягам-поножовщикам, ни к татым, ни к нищим-обведалам, которые притворялись слепыми и хромыми и уходили с богатых поминок пьяными, сытыми, повязывая серебром в карманах лохмотьев. Скиталец Федор Шилов хотел переступить родной рубеж честным человеком с высоко поднятой головой: я-де с татыми не бывал и татей не покрывал!

Неизвестно, сколько времени пришлось бы бедовать Федору на рыночных рундуках, если бы не случай. Однажды на окраине города, в узком переулке, Федор остановил пару взмыленных лошадей, которые тащили тяжелую дорожную колымагу и наверняка наехали бы на него и затоптали, не останови он их привычной рукой солдата и кузнеца. Когда Федор вывел коней на дорогу, дверь колымаги открылась. Невысокий упитанный патер вышел и спросил Федора, кто он и откуда. Как и многим на чужой земле, Федор правды не открыл: сказал, что его ограбили разбойники на границе. Узнав, что перед ним кузнец, оружейник, конюший и егерь, патер захопал в ладоши: просто сам бог посылает ему такого слугу! Не хочет ли Федор стать конюшим у патера Иосифа Брженицкого, казначея одного из богатейших ченстоховских монастырей? Федор согласился.

Патер Брженицкий вскоре начал похваляться, что его «русский хлоп» — просто сущий клад: может объясняться по-французски, по-немецки и уже совсем бойко говорит по-польски.

— Сделаем из тебя поляка, — болтал патер, возвращаясь под хмельком из гостей. — Поляки — самый умный и важный народ на свете!

«Собака!» — думал Федор.

От патера, впервые за столько лет, Федор узнал, что делалось на Руси: помер царь Федор Иванович, помер царь Борис Федорович Годунов, а молодой царь Федор Борисович совсем мало успел посидеть на престоле: был убит боярами. «Чудом спасшийся», как разъяснял патер, сын царя Ивана Грозного Дмитрий Иванович пришел в Москву, сел на царство, но и года не просидел — «неблагодарный народ московский скинул царя с отчего престола». Дмитрий был убит во время бунта, а вместе с ним погибло много «преславных» польских панов, которые возвели его на престол. Убиения их Польша никогда не простит «московским хлопам» и нынешнему хитрому царю Василью Шуйскому. Польские паны-«лыцари» и паны-служители Христа еще покажут «той подлой Московии», как помнит Ржечь Посполитая причиненное ей зло.

Патер грозил кулаком востоку, на жирной лоснящейся руке сухо брэнчали четки, будто сама смерть щелкала костями. Федор сидел на облучке, слушал эту хмельную брехню — и голова его шла кругом. Виданое ли дело, чтобы какие-то там паны да ляхи-попы русского царя на престол возводили? Что это и за царь был, господи-владыко, если народ убил его, как бешеного пса? Но, видно, опасно занемогла русская земля и сильно истекла кровью, если всякий попишко может ей слать угрозы и клясть честной народ ее! А что делает царь Василий Шуйский, бояре, думные дьяки и все царские служилые люди? Или они все последнего разума лишились и продали свою русскую честь, коли защитить народ не могут?

Однажды Федор познакомился с двумя польскими жолнерами, которые вместе со своими «лыцарями» бежали из Москвы в день убийства царевича Дмитрия, 17 мая 1606 года. «Лыцари» еле унесли ноги из Москвы. В уличных московских боях жолнеры сильно пока-

лечились и теперь бранными словами поносили своих панов, которые посулами сманили их в Московию.

Федор слышал от них названия знакомых улиц, церквей, дорог. К мукам тоски по родине прибавились муки совести: пока он скитался по чужим землям, его родная земля истекала кровью. Казалось ему, потому и терпит обиды русская земля, что Федор Шилов далеко ушел от нее...

Во Львове, в грязной корчме у проезжей дороги, Федор столкнулся с русским пушкарем из-под Путивля. Пушкарь, после измены путивльских воевод, был взят поляками в плен, в цепях увезен в Краков, несколько месяцев томился в тюрьме, бежал и, как Федор, пробирался на родину.

Казалось, все слезы уже давно выплаканы Федором, а тут, как услышал русскую речь, так и заплакал. И хотел одного — слушать, слушать, впитывать в себя звуки русской речи.

От этого пушкаря Федор узнал, что, многое множество черного люда, крестьян, восстало против царя Василия Шуйского, что повел их на Москву бывалый человек, храбрец неподкупный, крестьянский сын Иван Болотников. Пушкарь рассказывал, что Иван Болотников сулил отдать крестьянам барскую землю и богатства купцов-гостей, сулил и на царство посадить такого человека, который будет править, судить, миловать «по всей правде-истине».

Федор слушал обо всем этом с великой жадностью, принимая каждое слово как знамение о своей судьбе, — да, да и он вступит в войско Ивана Болотникова! Этот храбрец защитит и его, Федора Шилова, чью жизнь загубил боярин Пинегин, смертный враг его. Да, Иван Исаевич, бесстрашный предводитель, будет ему дороже брата родного, в нем свет жизни Федора Шилова!

Они шли день и ночь все на восток, на восток. Заходили в деревни, называя себя странниками и прося работы: телегу поправить, коня подковать, на поле подсобить. Но работы было мало. Польские хлопы жили в такой лютой бедности, что ни коней, ни телег у них не было, а урожай был так убог, что

еле-еле на свои рты хватало. Так с превеликим томленьем добрались беглецы до Гродно, где их приняли за воров, били кнутом и бросили в тюрьму. Когда зажали рубцы от кнута, Федор с пушкарем убежали.

Был апрель 1608 года, ночь, полная звезд, когда они очутились на воле.

Вскоре, переплывая бурную реку, пушкарь утонул. Федор остался один.

Ранним утром в конце мая 1608 года Федор достиг московских рубежей. Упав на колени, Федор поцеловал черную теплую землю. Земля пахла влагой, молодой травкой, жирными соками, в которых только зреть бы да зреть желанному хлебному семени. Осмотревшись, Федор увидел, что здесь уже давно не сеяли. Изрезанная колесами, избитая копытами войн, пахотная эта земля лежала пустопорожняя, бесплодная... Осколки мечей и сабель, изрубленные шлемы, обрывки кольчуг, сорванные шпоры, стремяна, изоржавевшие от дождей, уже начали прорастать травой. Не такой он оставил русскую землю, когда молодым, несмышленным, оторвался от нее.

Истерзанной встретила его родная земля, и он сам таким же вернулся к ней. Наклонившись к ручью, Федор увидел глубоко запавшие глаза свои, морщины, лысый лоб, длинную, почти седую бороду. И земля, и он, работник ее, в разлуке оскудели, измаялись. «Родимая ты моя! До остатнего вздоха буду выручатель твой!» — подумал Федор, с этой мыслью и домой вернулся.

.....
 «— Ох, брате ты мой, — вдруг прервал рассказ Никон, и его синеватые любопытные глазки строго блеснули. — Чай, с тем бусурманским людом было у тебя, яко пословица глаголет: у нашего Тита и пито, и бито. Ты, поди, там облатынился вовсе?»

— Насчет зелена вина кто богу не грешен, — усмехнулся Федор. — Кто пьет, тот и горшки бьет... И я фряжски кружки бивал, когда пьян бывал. Да и то — в толчее да суматохе от людья не спрячешься: рот болит, да есть велит. Одначе... — Федор потряхнул лысой головой, его большие запавшие глаза

гордо сверкнули, — одначе, не облачылся я, русским человеком остался, ни единого родного слова не запомнил.

Слово русское, язык родной, людей русских. Только он в силах выразить любовь, тоску, ненависть, клич-призыв боевой, малейшее движение сердца. Слово русское, плавное, что река в зеленых берегах, сверкающее, как камень-адамант, всемогущее, — крепче клада хранил его Федор Шилов...

Повествование Федора пришло к концу. Он запил его недоокисшим квасом, вытер губы и бороду и горько-шутливо усмехнулся:

— Ну, вот я перед вами, словно бы на духу!

— Душенька бесталанная-я! — вздохнула Настасья и жалостно заголосила: — Ох ты, горемыкин сын! Что было тебе муки-докуки, брательничек! Люди живут, словно ал-цвет цветут, а наша голова вянет, что трава!

— Но, но! — прикрикнул Никон. — Эко рано с причетом вылезла! Чай, не на поминки собралися, а на добро здоровье да на почестье¹.

— Кому воля, — нам лишь доля, а талан-счастье в лесу под пнем спит! — прогрохотал такой могучий бас, что все обернулись.

— Ино побаем, Иванушко Суета! — весело сказал Никон и вывел из угла высоченного детину, лет за сорок, кудлатого, с густо спутанной, как кустарник, льняной бородой. — Давненько не видали тебя, Иванушко Суета! — еще приветливее продолжал Никон, похлопывая Суету по руке выше локтя — маленький Никон еле доставал ему до плеча.

— Вот, по тяглицкой доле да по приказу старцев монастырских, из лесу приволокся, к тебе на ночевку пришел да и заслушался, — ответил Суета и тут же протянул руку Федору Шилкову. — Эх, вона когда мы сустрелись с тобой, Федор-свет! — грохотал он, обнимаясь с Федором.

— Ей-ей, а ты все крепок корнем, Иванушко! — улыбнулся Федор, потирая плечи после объятия Суеты. — Охо-хо...

без силы моей мне бы уж двадцать раз убитому быть, на чужбине-то... одначе, твоя силища мою, что соломинку, поломать может! Я вона лысой стал да облезлой, а ты, хоть и нечесом ходишь, а все волосатой, Иван-свет!

— Волосатой, волосатой, — заурчал Суета, — а глянь-кось, седой весь... — и он низко склонился большой кудлатой головой.

— Был лен золотой, да жара проклята весь цвет выжгла.

Никон вставил в светец новую лучину. Пламя осветило его круглое, в мелких рябинках, лицо и упрямые глаза.

— Ох, куда ни пойдя, хоть за тридевять земель, везде тяглицу худо, везде тягло на мир полегло, — вздохнул он.

— Ты о сем с отцом Макарием покалякай, он те изречет: «Егда кто тяготы насущные возлюбит, велика того награда на небесех!» — и Суета оглушил всех раскатами своего могучего хохота — нрава он был веселого и покладистого.

— Ну-ко, разбрехался, — вздохнул он. — Ну-ко, разбрехался, аж в ушах трескоток пошел! — вдруг рассердилась Настасья и даже ногой притопнула: — Ноне людишки оскудели верою-то, вот господь-батюшка, царь небесный, и наказует нас грешных.

Кто-то шевельнулся в полумгле и сказал:

— Лихолетьем наказал!

— Ляхи да воры всю кровь из народа выпили...

Федор сказал на ухо Никону:

— Мукой горючей исходит народ!

Никон согласно кивнул ему головой, но тут же озабоченно добавил:

— Голосят дюже.

— А царевы ярюжки, что волки, по дорогам бродят, — добавил насмешливый голос за спиной Никона.

Никон обернулся и увидел подвижное лицо Петра Слоты, ближайшего своего соседа и друга.

— Эка-сь! — смешливо проворчал Слота: — Тиха синичка, а в соседях горласта, язык бесперечь чешет, вороны да ястребы над гнездом вьются, поживы ищут... — И Слота мотнул головой в сторону улицы. Все замолкли и, перешептываясь, стали расходиться.

¹ Почестье — пир, угощение.

Настасья собрала немудрый ужин: тюрю с луком и ржаными сухарями. Мужчины сели вокруг большой деревянной миски и некоторое время прилежно хлебали.

Никон обвел собеседников светлым упрямым взглядом.

— Для тяглеца — как ни кинь, все клин. Вот когда помру, представлюсь господу, авось, он, милостивец, уготовит мне в райских палатках светло окошечко...

Свою сорокасемилетнюю жизнь Никон считал конченной — больше он от нее ничего не ждал. В дни его молодости крестьянам разрешалось переходить от одного помещика к другому. На своей вислогубой коняке и санишках, нагруженных ребятами и домашней рухлядью, Никон Шилов объездил подмосковные земли вдоль и поперек. Тогда жизнь скрашивалась надеждой: у этого землевладельца тяжело было жить, так, авось, у другого будет лучше. В селе Клементьеве Никон родился и женился, и за двадцать семь лет, поискав счастья по разным местам, он несколько раз возвращался в родные места, пока, наконец, устав бродить с места на место, совсем не осел в родном Клементьеве. Из «приходца», который менял хозяев, ища себе лучшей доли, Никон уже давно обратился в «старожильца», который в конце-концов убедился, что тягледу, куда ни пойдешь, счастья нигде не словит. Да и Юрьев день, Юрий зимний, установленный богомольным царем Федором Ивановичем, отрезал тяглецам путь на новые пашни. Правда, и тяглецы, и вотчинники обходили этот Юрьев день, но уж немного было таких помещиков, которые, не опасаясь ссоры с приказами и с дотошными дьяками, крестьян от себя отпускали и новоприходцев принимали...

За годы переходов из одной вотчины в другую умерло у Никона четыре сына и две дочери. Об этих могилках, разбросанных по убогим кладбищам, Никон с Настасьей редкий день не вспоминали — так и виделись им земляные горбики, засыпанные снегом, размытые дождями.

Остальные дети поженились, повыхо-

дили замуж в ближние села и починки — и уж не хотелось уходить от «своего племени». Надо было жить честно, как жили прежде, работать, не разгибая спины, и ждать смерти.

Иван Суета думал совсем иначе.

— Я помирать еще не собираюсь. Бают люди, держись за сошеньку, за кривую ноженку, иначе, на свои ноги надейся больше.

— Аль в новоприходцы захотел? — понимающе ухмыльнулся Слота.

— А что ж, и уйду от вас, старожильцев, из села нашего Молокова, — аль оно меня богатством одарило? Уж истомно мне троеданцем быть: и государево тягло сполный, и в вотчине трудись, не рядись, и старцу посельскому на Троице покорствуй, а он тебя с изделья на изделье гонит... Нет, подамся я на Кирилло-Белозерье: места глухие, народу жидко, и тяглецким рукам цены, знамо, больше.

— Собрался мужик в Юрьев день с боярского двора, — насмешливо вставил Слота.

— Ништо-о! — И Суета весело тряхнул седеющими густыми космами. — Хо! Кабы я какой недосилок был, а тут слава те господи... А места на Белозерье вольготные!

Суета начал рассказывать, что слышал во время своих поездок от людей, бывавших в том тихом, малолюдном крае: земля там не меряна, сохой не встревожена.

Слота так зажегся, что даже выскочил из-за стола.

— Эх, Иванушко! И я с тобой побреду. Возьмешь меня с собой?

— Айда, что ж... возьму, — добродушно ответил Суета.

Федор слушал их разговор о вытях и обжах¹, и хотя давно уже не испытанное волнение пахаря начало возвращаться к нему, — все же мысли, с которыми он вступил на родную землю, не давали ему покоя: что сталось с Иваном Исаевичем Болотниковым? Куда подевалась его буйная крестьянская рать? Верны ли темные вести, что слышал Фе-

¹ Измерения пахотной земли.

дор о Болотникове, пока продвигался к селу Клементьеву?

— Правда аль нет послухи те про Ивана Исаича?

Слота горестно свистнул.

— Правда. Уж, поди, и нету на свете Ивана Болотникова!

Федор глухо охнул:

— Да неужто? Помер али сгинул?

— Да нет, совсем худо: засек ему путь царь Шуйский, обложил, яко медведя в берлоге, в полон взял.

— И где же он, Иван-то Исаич? — тревожно спросил Федор.

— Был я ноне на Москве, слышал, как попы в соборе Ивашку Болотникова кляли-проклинали. А люди бают: сослал царь Ивана в Каргополь, и сгинул там Иван Исаич.

— Стой... а войско тяглицкое куды подевалося?

— Войско-о? Да ить, коли взяло Фоку и здаи и сбоку, не больно повоюешь. Сдаи и народ наш черной — без воеводушки, что без головушки.

— Поубиты многие, — тихо пробасил Суета, — иные в казаки подалися, вольным ветром дыхати...

В голосе Суеты Федор ясно почувствовал зависть к людям, которые ушли казаковать на Дон.

— Эко блазнится¹ тебе! — с печалью сказал Никон. — Баловство то, впрямь тебе скажу, не нашего умишки забота.

— Охо-хо... тяглицка шея туга, да жилиста: тянётся, а не рвется! — сказал Слота, задумчиво свистнул и продолжал: — А, бают, от Ивашки ласковы те подметны письма к народу были: подмайся-де, бери земли бояр да вотчинников, ино сами будем воеводами да окольныхими, да дьяками тож будем...

Никон так и встрепенулся весь, замахаля короткими руками.

В глазах Никона Федор опять заметил тихое упорство, скрбытую думу — и вдруг понял душу брата. Никон, конечно, все видел и помнил: и подметные Ивана Болотникова письма, и черных людей, что бежали к Ивану Исаевичу со всех концов, и обжигающие ухо слухи

о том, что Иван Исаевич всем горемычным холопьям, кабальным и тяглицам несет житье по правде-истине, житье сытое, без батожья и лихих воевод. Но Болотникова разгромили, и те, кто осиротели без него, как Никон Шилов, затаили отчаяние свое глубоко в сердце и не пустят туда никого.

Никон между тем строго выговаривал вспылчивому, подвижному Слоте:

— Ох, Петра, памятовать надобно: язык ране ума глаголет, а на пытке, гляди, робить языком доведется!.. Был Ивашка Болотников, не вышла ему доля — и сгиль его имячко, пропади пропадом, из того имячка зипуна не сошьешь.

— Загудел, что поп в великой пост! — даже рассердился Слота.

— Да что ж, друг, — многозначительно сказал Суета и повел золотыми, мохнатыми, как колосья, бровями: — Великой пост у себя в избе слаще, чем в заплечном приказе.

— Вот, слышь-ка, — продолжал Суета, — при царе Иване Васильевиче народ пуганой ходил; ноне и пуганой, и вздыманой:¹ трясется, опасается, а у самого душа на дыбки поднялась, дума навострена, сердце слезьми кипит...

«То верно, — подумал Федор, — вздыманой стал народ!»

★

Утром Федор Шилов побывал на могиле Алены. Могилу он еле нашел. Тонкая голенастая березка, стоявшая возле могилы, за четырнадцать лет выросла в высокое ветвистое дерево. А вербы, что качались неподалеку под ветром, теперь широко разрослись и обступили могилу густой зеленой толпой, сквозь которую трудно было пройти.

Крест на могиле, который Федор поставил своими руками, уже давно сгнил и был заменен другим, небольшим, тоже сосновым; в середине креста Федор увидел знакомую икону, величиной не больше ладони. Это была резьба по дереву, изображение Варвары-великомученицы, одна из тех базарных икон, какне

¹ Кажется, чудится.

¹ Возбужденный.

в изобилии резали в мастерских Троице-Сергиева монастыря. Эту самую икону Федор Шилов вделал в середину креста четырнадцать лет назад.

Конечно, заботились об аленеиной могиле брат Никон, добрая душа, да его шумливая Настасья. Ведь у всех на глазах прошла короткая жизнь Алены и страшный ее конец. Когда поняли они оба с Федором, что попали в беспросветную кабалу к старшему боярину Пинегину, решила Алена поклониться в ноги самой боярыне. Но боярыни дома не оказалось, а боярин звал Алену в свою спальную горницу да и опозорил. Федор в кровь избил жену, а она только стонала — и нисколько не защищалась. Утром баграми вытащили ее из Келарского пруда, а ночью Федор подпалил боярские хлебные амбары. Хотел подпалить и усадьбу со всех сторон, да холопы-доглядчики подняли шум — и пришлось поджигателю бежать сначала за клементьевскую околицу, а потом и за рубеж...

Федор опустился на колени у могилы, земно, горько поклонился ей и долго лежал лысым лбом на пыльной сохнувшей траве. Чуть посвистывал ветер, шевеля кусты и травы. С березы сыпались золотые листья. Будто литые, с легким звоном они падали вниз. Это от тишины звенело в ухах. Федор заметил, что в трещинах иконки Варвары-великомученицы хлопотливо ползают муравьи. Он хлопнул по иконке своей старой шляпой. Муравьи исчезли, но через несколько минут опять появились в извилинах старого кусочка дерева — здесь было их жилье, и с ними ничего нельзя поделать.

Выйдя на дорогу, Федор встретил вчерашних скорохов — Митрошку и Афоньку. Перевесив через плечо свои вывороченные полушубки, скорохохи вяло брели куда-то. При виде Федора их унылые лица просветлели.

— Здрав будь, заслонушка, доброй человек!

Федор спросил, почему скорохохи сегодня так печальны — уж не попало ли им опять от монаха Диомида?

Лупоносый Митрошка, присвистнув, ответил:

— Того хуже: самому архимандриту Иоасафу пред очеса попались!

Маленький вертлявый Афонька рассказал, как было дело. Пошли к ранней обедне в Троицкий собор — ведь и они люди! — и только хотели перешагнуть порог, как наткнулись на Диомида. Он затопал, закричал на них, схватил за шиворот и потащил куда-то. А Иоасаф-архимандрит шел к обедне. Диомид бросил их прямо под ноги важному Иоасафу, как щенят, обозвал их всякими позорными прозвищами. Иоасаф приказал немедленно прогнать «тешителей беса», «голь богопротивную», а потом больно отпихнул их посохом. Диомиду же и всем своим ближним инокам приказал: если хоть раз около святых стен монастырских выследят скоморошьи игры, пусть тут же хватают этих шпыней и тащат на расправу за их проклятое шпынство.

— Подсек он нас под самый корешок! — закончил свой рассказ Афонька.

— Мерekali мы потешить народишко на торгу, — уныло поддержал Митрошка, — чаяли заробить денежку-две.

— Ан пуганы-перепуганы, страшно рот разинуть. Дело наше — петое! — с печальной ухмылкой пояснил Афонька. — Худо, мил-человек, худо... так подохнуть недолго: едки трои не посучишь, на-тошнэ заживотит, а на ворчале забрюшнит!¹

— Чего, чего? — невольно расхохотался Федор.

— Чего? Слышь, ворчало мое засерчалю? — И Афонька выразительно погладил себя по животу.

— Эх, петь бы нам ишшо, да на брюхе тошшо!

— Гляжу я, из вас, скоморошьеи братии, дух не выбьешь! — весело сказал Федор. — Хвалю за то. Вот и айда, все перекусим по-братски!

В харчевой избе Федор угостил скорохов щами и гороховицей, а потом все трое отправились в царев кабак.

Расставшись со скорохохами, Федор задумался о своей судьбе. Похоже было,

¹ Старинная скоморошья прибаутка, означающая: если трое суток не поешь, станет тошно, а в животе заворчит от голода.

что поимка ему не угрожает. После боярина Василия Борисыча Пинегина-старшего наследников не осталось. Трое детей его один за другим померли от огневицы десять лет назад, а вдова-боярыня недавно постриглась в Хотьковский монастырь. Боярин Пинегин-младший только-что потерял единственного сына — в бою с Тушинским вором — и пребывает в великом смятении духа, и ему уже не до розысков беглых тягловцев, да, к тому же, беглых-то не от него, а от брата, чье имущество и земли отписаны Троице-Сергиевой обители. Нет, хватать Федора Шилова некому... Но к кому он пойдет? Опять к Пинегину, только младшему? Вернется к тому же, от чего бежал, будто бы и не было страдальческих скитаний?

Много ли ему одному надо? Жениться опять — курам насмех: кто за такого, лысого, испитого, пойдет, да и разве найдется на свете такая девушка, кого бы он любил так, как Алену?.. А если суждено ему доживать век одному, стоит ли опять закрепляться в тягловцы? Да и сказать правду: обращаться с оружием всякого рода, с железом, со сталью, ковать, заряжать пушку, ездить на коне — все это он теперь умеет делать гораздо лучше, чем ковырять сошкой подмосковный суглинок. Он, Федор Шилов, не просто русский мужик, — он землепроходец, мастер-оружейник, военный умелец, ловкий наездник. Как мечтал он отдать все эти умения Ивану Исаевичу Болотникову! Эх, Иван Исаич свет, буйная голова!.. Предали его бояре-супостаты, дворяне-вотчинники, бросили его жалкие трусы — да и слаб народ, не развернулся еще во всю силу, еще под спудом та сила, тяжким камнем завалена. Пропал Иван Исаевич, разбрелся народ, раскидали его костер, что пылал под самой Москвой, народной кровью огонь залили...

«Али в скomorохи мне пойти, с Митрошкой да Афонькой по градам да весям шататься, народушко потешати, назо попам да ярыжкам?» — подумал Федор, и только успел усмехнуться, как кто-то позвал его:

— Эй... ты, скomorохов дядька!

Федор обернулся. Около калитки но-

вого рубленого теремочка стоял вчерашний чернобородый монах Диомид и пальцем манил к себе.

— Меня кликал? — изумился Федор.

— Тебя, чудашко, тебя, — радушно сказал Диомид. — Поди-ко сюды, скomorохов плательщик, щедра сума, у меня до тебя докука есть.

Федор подошел.

— Ну, говори докуку свою.

Монах, обдавая Федора бражным перегаром, забубнил хриплым басом:

— Наш воевода монастырской, князь Григорий Долгорукой, наказал мне выискать ему поболее мастеров оружейных дел — и пушкарей, и навичных зелье пушечное¹ изготовляти. Мнится мне, ты к тому гожд, да и грамоте разумеешь...

— Зорко примечаешь, — улыбнулся Федор. Наблюдательность чернеца ему понравилась, а приказ воеводы поискать оружейных дел мастеров шел навстречу мыслям Федора.

— Не мешкай, ступай к воеводе Долгорукому, скажи, что Диомид тебя послал.

Федор начал было расспрашивать, где ему найти воеводу, но монаху объяснять было некогда — в теремном оконце показалось румяное круглое лицо, и пухлая женская рука уже нетерпеливо помахивала чернецу.

★

И вели в кузнице ядро гораздо разжечи да положи его таково раскалено клещами железными в пушку...

Онисим Михайлов. Устав ратных, пушечных и других дел. 1607—1621.

У стен монастыря попрежнему гомонила толпа. Федор заметил, что крестьянских лошадемок стало еще больше и кричали здесь еще сильнее, чем вчера. «Вздыманой народ» — повторил Федор полюбившиеся ему слова, пробираясь к воротам.

В монастыре его сразу провели в воеводскую избу.

Воевода, князь Долгорукой, пожилой человек с пышной, волнистой, как жен-

¹ Порох.

ские волосы, каштановой бородой и сонным взглядом маленьких заплывших глаз, лежал на широкой лавке, навалившись спиной на гору шелковых подушек. Старуха в темном шушуне растирала его толстую волосатую ногу какой-то пахучей мазью, от которой Федору сразу захотелось чихать.

— Ништо, доброй человек, не дивись, — сказал воевода тенорком, который совсем не шел к его грузному, большому телу. — Нога-то, вишь, у меня в походе изувечена, когда при царе Борисе, — царство ему небесное, — под Москвой татар отражали... С той поры вот к погоде и маюсь... Эко, — прервал он себя и дернул больной ногой, — эко, несмышлена ты, мамка, словно берестой трешь!

— Да што, батюшко, ручонки-то натружена-и-и... — пугливо зашамкала старуха. — Силушка-то моя уж к концу приходит.

— Ну, ладно, ладно... — смягчился воевода.

Федор отметил про себя, что князь Долгорукой говорлив, зол и отходчив, — и решил правду от него держать подальше.

Воевода стал расспрашивать Федора о пушках, пищалях, о камнеметах, о делании пороха.

— Какое пушечное зелье изготовлять умеешь? — спрашивал воевода, морщась от боли.

— Коли слабое зелье, надобно сыпать три, а то и четыре части селитры, две части серы и одну угля. А коли ядреное зелье надобно, то к тем же частям угля да серы возьми пять или шесть частей селитры, да нашатыря, да мышьяку, да ишо амбры прибавь, — и будет доброе пушечное зелье. А дабы то зелье громче стреляло, смочи его вином, укусом, прибавь камфоры и ртути...

— Ишь ты, грамотей оружейной! — довольно сказал воевода.

Чем дальше шел разговор, тем больше князь Долгорукой изумлялся «глубине премудрости», которая хранилась в лысой голове этого худого человека с болезненно-желтым лицом и большими запавшими глазами. Этот Федор Ши-

лов, оказалось, знал хорошо и длинные французские кулеврины, и короткие кулеврины-батарды, и долговязые итальянские базилиски, и германские тяжелые пушки, называемые по-русски «гафуницы», а по-немецки — Haubitze, которые употреблялись только в крепостной и осадной войне. Знал толк Федор Шилов и в ручном огнестрельном оружии, тонко разбирался в преимуществах недавно изобретенного немецкого колесцового замка в мушкетах и пистолетах над фитильными кремневыми замками. Знал он также, как сделать ядра светящимися, как надо оковать каменные ядра железными обручами, чтобы пробивать стены крепостей, как лучше вкладывать пыжи в пушку, как делать зажигательные снаряды.

— Ну и ну, паря! — довольно отдуваясь, веселым голоском сказал Долгорукой, и его грузное тело заколыхалось от хохота. — Откуда все сие накопил? Чел в книгах али в чужеземных государствах бывал?

— И то, и другое было, — сдержанно ответил Федор.

— С посольством, что ли, за рубеж попал?

— Нет... по торговой части.

— То-то гляжу: простому тяглецу-мужику такой премудрости не собрать, — уверенно сказал воевода.

Совсем развеселясь, он отпустил старую мамку, натянул на ногу просторный сафьяновый сапог и хитро подмигнул Федору:

— Нет, не в торговых частях тебе ходить, а зоркость очей твоих и руки твои умелые должны оружейному делу служить... разумеешь? Быть тебе в пушкарях, Федор Шилов! — решил воевода.

И, озабоченно жмуря маленькие глазки, спросил:

— Видал, сколь много народишко-то к нам прибывает?

— Видал.

— Бегут отовсюду. Ворье тушинское, а с ними поганые ляхи режут да жгут русскую народ. Неровен час, в нашу сторону удумают пойти, так уж мы им встречу изладим. Верно ведь?

— Знамо, не побегим, сустречь будем биться, — последовал твердый и спокойный ответ нового пушкаря. — Дозволь, воевода, огненное дело оглядеть, — може, что справить надобно?

— Огляди, — тогласился князь, — одначе, ведомо, что у нас на стенах все ладно, прорух нету.

— Ну, не хвались, князь, — смело сказал пушкарь Шилов. — Послуху не верь: в военном деле не доглядишь оком, заплаатишь боком.

И опять с совершенным знанием дела новый пушкарь заговорил о том, как надо проверять в пушке «казну»; как проверить качество, чтобы потом ни одна «гривенка»¹ при стрельбе не пропала даром; как заранее распределять на стенах места заслонников; как считать всех при орудиях стоящих — как пушкарей, так и затинщиков, кузнецов, плотников, сторожей, рассыльщиков; мало того — на случай, если кто из них будет убит, надо, «запаса» ради, обучить новых людей.

— А чтоб все при огненных делах люди в любой час боисты были, надобно, князь, и все их боецкие доспехи оглядеть, чтоб у всякого пушкаря али затинщика его лядунка была целехонька да полнехонька добрым порохом, — закончил Федор.

— Погляди, погляди, пушкарь, — сказал Долгорукой, втайне даже смущенный тем, как быстро вошел в дело этот, еще два часа назад не известный ему, человек. Со стороны разговор воеводы с пушкарем выглядел бы так, что второй словно учил первого — князь Григорий Борисович Долгорукой должен был самому себе признаться, что «дотошные заботы» нового пушкаря воеводе просто в голову не приходили.

Конечно, ни от кого он не потерпел бы поучений и излишних советов, не исключая и военного дела; но этот лысый человек с большими, строгими глазами все больше изумлял и поражал воеводу. Кроме того, нельзя было пренебрегать таким «умельцем» по огненному делу, который вдобавок и чуже-

земные языки знал — с фряжином мог говорить по-фряжски, с немцем — по-немецки, с ляхом — по-польски.

Воевода вызвал своего ближнего стрельца и приказал выдать Федору Шилову пушкарский кафтан, шапку и сапоги.

— Жить, пушкарь Шилов, будешь в пушкарской избе, за стенами монастырскими. А ты, — обратился князь к стрельцу, — отведи новому пушкарю постелю, да пусть старшина возьмет с него верное слово: не пить, не воровать, тайну пушкарского дела не выдавать и служить прилежно... Ну, ступай, Федор Шилов!

Сам того не заметив, князь сразу стал звать нового пушкаря Федором, а не Федькой, как было принято в боярском обиходе.

«Экой он, — подумал князь, когда Федор и стрелец вышли из горницы, — и не уразумеешь его сразу: и не дворянин, и не мужик-тяглец, а на службу, по всему видать, востер и стать боецкую имеет... Бает, будто по торговым делам в чужеземелье бывал... Ох, коли б все гости торговые таки головы имели, — мы бы, глядишь, весь свет укупили!»

Тут князь Григорий Борисович заметил, что уж слишком он прилежно задумался о каком-то пушкаре, и даже воздосадовал на себя.

★

На другой день, побывав у брата Никона, Федор вместе с ним и Настасьей направилась в соседнюю избу послушать девичьи заплачки перед завтрашней свадьбой.

Около черной, покосившейся тихоновой избы толпились любопытные. На крылечке и в сенцах толкались и шушукались девчата, подростки, старухи. Они с завистью глядели на подружек невесты, рассеявшихся по лавкам вдоль стен, вымытых, выскобленных, как на пашу.

Ольга Тихонова, по обычаю, сидела на низеньком чурбашке, почти на полу, и неподвижным взглядом смотрела пе-

¹ Фунт пороха.

ред собой, будто окаменев в терпеливом, бесстрастном ожидании.

— Разнаряжена-то, гляди, как словно икона! — шептались в толпе.

Игрицы и девишницы уже затаили песни. Осип, изрядно выпив, притоптывал и подпевал им с хрипотцой в голосе, не в лад, явно мешая девичьему хору. Но жениху никто не прекословил.

В низкой избе уже стало жарко.

Песельниц уже не слушали за столом — все гадали и шумели, кто во что горазд. Оба дяди, седые старики, Тит и Федот, обрадовавшись даровой выпивке, сидели рядышком, бессмысленно бормоча и качаясь во все стороны. Они все еще тянули вино и брагу.

«Пропили!» — думала Ольга, с ненавистью глядя на их потные головы и умильное подмигивание в сторону суровых, молчаливых жен, которых они во хмелю ничуть не боялись...

Ей было нестерпимо душно, сердце стучало, хотелось скинуть плотный, как кора, скользкий и раздражающе шуршащий атласный платок, но этого не позволял обычай: зазорно невесте накануне свадьбы простоволосой сидеть.

Федор Шилов, выйдя во двор, на свежий вечерний воздух, с умиленным вниманием слушал девичьи песни. Ему вспомнился девишник Алены, вспомнил ее тонкие пальцы, которые, как белые бабочки-капустницы, трепетали в его горячей ладони.

Мальчишки — малолетки и подростки, — прибившись к плетню, не сводили глаз с худого, высокого пушкаря в длинном кафтане с блестящими медными пуговицами, круглыми, как бубенчики. Федор исподлобья взглянул на тесный полукруг мальчишеских голов и тихоноcko улынулся.

А в избе Ольга Тихонова, окончательно «пропитая» и «сданная по сговору и рукобיתью» невеста, доживающая «остатние часочки» своей девичьей жизни, вышла из-за стола и стала благодарить всех родных за их хлопоты и заботу:

И спасибо сердоболу-дяденьке Титу
Матвевичу
За хлеб, за соль,

Что мою беседушку
Хорошо сукрасил,
Меня ничем не обездолил.

Федор услышал слезы в высоком голосе невесты — и опять его Алена встала перед глазами. Алена тоже «казала спасибо за хлеб-соль» родителям и всем родичам. Но как ни старалась она выпевать со слезой, каждый звук ее молодого голоса выдавал радость и уверенность в своем будущем счастье. И хоть не по обычаю было в канун свадьбы невесте провожать жениха, Аленка перехитрила всех и прибежала к нему обнять «на дорожку».

«Да ить вона на том бугорочке мы с ней обнимались...» — подумал Федор. Стало жарко, он распахнул кафтан и в слезном тумане еле различал пригорок, где стояли они с Аленкой, полные счастья...

Перед самим собой таиться не приходится — стаявал он потом в вечерний час на чужой земле, обнявшись с женщинами, которым говорил ласковые слова на чужом языке. Но это были случайные подруги — служанки, солдатские вдовы, а то и просто веселые женки при базарных игрищах и харчевых избах. Некоторые из этих женщин на плече русского бродяги Федора Шилова выплакивали свою несчастную, загубленную жизнь, и он сам, перекачиполе, утешал их, как умел. С некоторыми проводил ночь, а наутро подчас не мог вспомнить ни лица, ни голоса случайной подруги, — толкали его к ним тоска и одиночество. И хоть редко впадал Федор в этот грех, каялся тяжко перед памятью Алены. Что говорить, далеконько было ему до святости в той мучительной скитальческой жизни, но уж Алену-то он помнил. Ни одна черточка, ни одно выражение ее лица, ни одно ее слово не были потеряны им!..

После того, как пьяный жених и дружка уехали домой в посад, а все гости разошлись, кучка стариков и пожилых людей осталась посидеть на бревнах у плетня тихоновского огорода. Самый старший житель села Клементьева, девяностолетний дедушка Филофей, рассказывал о старине. Он помнил, как

в 1540 году начали возводить каменные стены вокруг монастыря.

— Народушку-то в те поры согнали-и! Я, грешной, тогда еще крепок был, вот и мне велели: поди-тко стены ладь во славу божию! В те поры велено было камень бить, известку рыть всюду. И-их, уж и ладили мы те стены каменные — с зари до самой темени. Народ почал роптать, от той непереносной тяготы в леса убегать. Ну, и удумали воеводы: ослобонить нас ото всех пошлин царских на целых три года. Царь Иван Васильевич еще молоденок был, а пока стены те росли, и он рос. В те поры, как народ стены возвел, — все двенадцать башен, — и пришел сам царь Иван Васильевич со бояры. Уже стал он молодой муж, бородастой, на главе шлем железной и грудь, железом одетая. Уж он татары и град их Казань покорил, и сила великая от него исходила, — очи зрили далеко. Повелел царь Иван Васильевич выкатить бочку вина и дал нам, старикам, по чарке из своих рук. «Ну, — бает, — спасибо вам, старики; ладно робили царя для-ради православного...» А гожа вышла работенка-то наша! Кирпичи-то в стене рядок к рядку, словно срослись...

Филофей за девяносто лет своей жизни пережил пятерых царей: Василия Ивановича, Ивана Васильевича Грозного, Федора Ивановича, Бориса Годунова, Самозванца, теперь живет при шестом царе — Василии Шуйском.

Подошли Иван Суета и Петр Слота.

Суета опять заговорил о том, что при первой же возможности уйдет с женой и ребятами на Белоозеро.

Тогда дед Филофей напомнил, что и в здешних местах, «под Троицей», было время жилось людям вольготно:

— От отцов и дедов наших про то слыхивали. Деды наши в то времечко живали. В те поры места наши свалися: гора Маковец. Святой отец Сергей здесь странствовал, узрел сию гору Маковец, умилился душою и храм здесь поставил.

— Ух, то-то, поди, раздолье было! — мечтательно вздохнул Слота. — Сей

хлебушко, где хошь, на зверя али на рыбу пойти — сколь хошь.

— А на горе-то Маковце в стародавни лета... — опять мечтательно заговорил дед Филофей. — На горе-то Маковце все, все под народом было, старики сказывали. Рыбку половить пойдешь — опять же никакой помехи. Рыба, сказывают, в те поры ловилась богатимая: стерляди о двух пудах, а осетры и того боле. Во рошицах птицы пели, на плечо человеку прилетали, — слышь, непуганые были. А на пашнях, на лугах заливных, на дороженьках мимоезжих, — ну, скажи, ни одного-единого боярина, ни дворянина не водилось!..

— Не водилось! — повторил Слота. — Мужику можно было без бояр и вотчинников жить!

— И земляца скрозь была мужицкая? — сдавленным от восторга голосом спросил Никон.

— Знамо, мужицкая! — с непоколебимой уверенностью ответил дед Филофей.

— Господи - владыко! — сдерживая могучую силу своего баса, благоговейно сказал Иван Суета. — Припозднились мы на свет родиться, соседушки!.. До нас-то блаженно житие было, да сплыло...

Пробираясь в ночной тьме в пушкарскую избу, Федор видел перед собой брата и всех этих бородатых мечтателей с их жадной наивной верой в блаженную жизнь на горе Маковце. Сам он, конечно, не верил, что такая жизнь когда-либо существовала, — слишком много он повидал и испытал. Но желание стариков и пожилых людей верить, что триста лет назад на горе Маковце цвела счастливая и справедливая жизнь, казалось Федору проявлением чисто русского упорства и русской широты души.

«Эко, что измыслили, горячие головушки! — любовно усмехаясь, думал Федор. — Гора Маковец... эко!.. Иде ж она была, ей-ей?..»

В лунном свете Федор видел башню, рогатые зубцы на стенах, за которыми прятались пушки и пищали верхнего боя. Внизу, под стенами, как спящие звери, поблескивали при луне кругло-

бокие чугунные пушки. Федор вспомнил, что в крепости их насчитывается девяносто, не считая пищалей и прочих огнестрельных орудий. Троице-Сергиев монастырь похож был скорее на крепость, каменное сторожевое гнездо, которое охраняло с севера дорогу к Москве. Куда же делась гора Маковец с малой рубленой храминой, вокруг которой зелнели леса и колосились вольные пашни?..

В тихоновой избе уже с самого утра былолюдно. Две подружки с песнями расплетали густую девичью косу невесты, четыре других подружки были заняты хитрыми работами, значение которых было понятно немногим посвященным: втыкали в новую малицовую ферязь невесты иглы, осыпали хмелем ее полотняную сорочку, несчетное число раз вытряхали, выстукивали ее новенькие сафьяновые сапожки, прилежно обдували мелкую зернь кемского жемчуга на ее высоком брачном кокошнике, — все это для того, чтобы предохранить невесту от будущих несчастий, болезней, томления духа.

Всем чином распоряжалась все та же Варвара Устиновна, монастырская «большая золотошвея». Она строго следила за каждой подружкой и за самой невестой, чтобы ни одного слова обрядовой песни не было переверано или, упаси боже, пропущено.

На паперти церкви Параскевы-Пятницы невесту встретил жених Осип Селевин. Его брачный кафтан ярко горел на погожем сентябрьском солнце.

Он протянул навстречу Ольге смуглые волосатые руки, стянутые богато расшитым орукавьем. Его черные глаза озорно и зовуще улыбались, а крупные зубы горели и светились. Ольга зажмурилась и пошатнулась.

— Эко, девка! — властно шепнула над ухом Варвара. — Подберись веселее, чай, тебе, дуре, счастье на блюде несут!

Вокруг церкви шумела толпа. Даже беглецовы женки сошли со своих горемычных телег и любопытно глядели на богатую свадьбу.

Данила Селевин стоял в толпе ближе

к паперти. Чтобы не смущать людей, — чернец на свадьбе не к добру, — он снял свой послушничий колпак и растегнул кургузый подрясник, который в таком виде походил на бедный кафтанишко тяглеца.

Поутру пушкарь Федор Шилов рассказал ему о свадебном кануне, о том, какая растерянная была невеста, — и Данила понял: трудно Ольге!

Он мучился час-другой — пойти или не пойти к церкви — и, наконец, решил: «пойду!» Ему показалось даже, что Ольга, идя неволей замуж, будет рада видеть его и знать, что он продолжает ее любить, верно и нерушимо.

Когда Ольга рука об руку с Осипом показала на церковном пороге, Данила задрожал с головы до пят и улыбнулся ей холодными губами. На голове Ольги возвышался чебак, бабий парадный убор — шапка с низко опущенными к ушам краями, отороченными полоской собольего меха. В этом необычном уборе лицо Ольги показалось Даниле большим и бледным.

Сердце Данилы застучало, кровь бросилась в лицо, но, встретясь с Ольгой взглядом, он опять улыбнулся. На миг ее черные глаза вспыхнули, и Данила всем существом своим почувствовал, как жадно и быстро оглядела любимая рыже-золотую шапку его волос, его широкие плечи. И вдруг — глаза ее погасли, рот упрямо сжался. Она прошла мимо Данилы, высоко подняв голову, как богатая молодуха, гордая своим счастьем. Данила только ошалело посмотрел ей вслед.

На дороге крутилась пыль, поднятая брачным «княжим поездом». Словно сквозь дым марева, глядел троицкий служка Данила Селевин, как все дальше уносилось его счастье.

Чей-то петушок, смешно трясая жидким гребешком, перелетел через дорогу и отважно бросился в драку с большим темнокрасным петухом.

Данила горько усмехнулся: право, он был слабее этого петушонка!

От венца молодые поехали «к княжескому столу», в новый рубленый теремной дом Осипа Селевина.

Молодые сидели в красном углу, под новенькими только сутки назад купленными у монастырских богомазов спасами и богородицами, такими нарядными и румяными, словно и они пришли пировать на богатой свадьбе. Все выходило сегодня куда достойнее вчерашнего девишника: и домок-то новый, убранный, и гостей много из посадских богатеев, и столы ломятся.

Все посадские скоро перепились. Одни еще тормошились и задирали всех за столом, а иные уже накрепко, до утра, полегли в просторных сѣнях. Когда неугомонная Варвара, подвыпив, захотела поплясать, под пару ей никого из богатини «на ногах» не оказалось.

— Айда, что ль, со мной, вдовушка! — предложил Иван Суета. Варвара, чуть поломавшись, вышла с ним на середину горницы.

Из клементьевцев и молоковских упились только дядья невесты, а все остальные держались вполне достойно. Когда они вошли в плясовой круг, Федор Шилов словно вновь увидел их — своих односельчан и соседей. В медлительном круговом плясе важно и красиво выхаживали брат Никон, Петр Слота, невестка Настасья и другие. Как молодые на свадьбе звались князем и княгиней, так все односельчане их звались в этот день боярами и боярынями.

«А вот такой чем плоше истинного боярина?» — думал Федор Шилов, глядя, как ладно пляшет огромный Иван Суета, с какой гордой веселостью кланяется, поводит могучими плечами, улыбается, вскидывает крупной головой.

«Эх, дай-кошь народу боярской охабень¹, — он у нас с плечушек не свалится» — думал Федор, любуясь свободной и плавной повадкой плясунов.

Наплясавшись, Варвара вместе с другими подошла к столу молодых. Ей вдруг захотелось еще раз, здесь, на брачном торжестве, напомнить бедной невесте, какое благо Варвара сотворила, выставляя ее за богатого жениха.

— Ну, девка, — зашептала она Ольге, — по вину и здравьице... Ай ладно я для тебя, лебедушка, расстаралась?..

Невеста вдруг повернула голову. На ее белом лбу, из-под собольей оторочки убора, растекались капельки пота. Под изогнутыми бровями глаза сверкнули вдруг такой ненавистью, что Варвара даже подалась назад. Дрожая телесами и еле сохраняя важно-веселый вид, возвратилась сваха на свое почетное место.

И все шумнее становилась свадьба, но свахе уже не пилоь, не елось.

★

День 23 сентября Ольге Селевиной суждено было запомнить на всю жизнь, как и всем жителям Сергиева посада.

Отстояв раннюю обедню в Успенском соборе, Ольга вышла на паперть, одарила нищих и вдруг увидела Данилу Селевина. Он стоял, опустив руки и словно не дыша. В голубых его глазах Ольга прочла такую скорбь и любовь, что невольно приостановилась и первая кивнула ему:

— Здрав будь, Данила Петрович.

Выйдя за ворота, Ольга оглянулась. Данила шел за ней. Она хотела запретить ему следовать за собой, — ведь она теперь чужая жена, — но Данила шел в некотором отдалении, да и, может быть, по своему делу.

Вдруг Ольга заметила, что идет не к дому, а к лесу. «Мать пресвятая богородица!» — ужаснулась она про себя, хотела повернуть назад, но вдруг страшно показалось пойти навстречу Даниле. «Ужо выгонами пройду» — успокоила она себя, продолжая шагать к лесу.

Очутившись на знакомой полянке среди ржавых кустов и облетающего золотом берез, Ольга опомнилась: срам-то, грех-то какой — она, как гулящая женка, затащила с собой в лес брата своего мужа!

А Данила уже тут как тут, грудь его ходуном ходит, — значит, по лесу он бежал к ней, как и в те, невозвратные дни, торопясь скорее обнять ее.

Ольге вдруг стало тепло и легко, но она отвернулась от Данилы и гневно спросила:

— Пошто ходишь за мной, — чего надо? Ведь, я мужняя жена...

¹ Богатая верхняя одежда.

Еще какое-то жестокое слово готово было сорваться с языка, но тут Ольга увидела на лице Данилы такое отчаяние, что задохнулась от жалости.

— Ольгушенька... — сказал он покорно. — Искал тебя, проститься с тобой... посхимиться задумал, коли судьба не вышла...

— А я? А мне что?.. — с горечью спросила Ольга. — Эх ты... На горе я с тобой встретилась!.. Тебе — богу молиться, а мне — с постылым жить?.. О, господи, господи...

Уже не скрывая ни слез, ни горя, Ольга пошла по лесной тропке. Данила, как приговоренный, побрел позади.

Выйдя на опушку, Данила глянул с горы на простор осенних луговин, на багрово-золотые перелески, на широкую московскую дорогу. Только подумал он, что любитесь он всем этим в последний раз, как вдруг в глаза ему бросилась какая-то сверкающая точка. Он пригляделся, подошел к самому краю горы и увидел далеко на московской дороге несколько таких же блестящих точек. Точки двигались, а за ними ползла по дороге живая туча, которой не видно было конца.

— Данило! — испуганно крикнула Ольга, которая тоже смотрела на дорогу. — Кто там идет?

— Рать идет! — глядя из-под щитка ладони, ответил Данила и с криком: «Ляхи идут! Воры идут!» — большими прыжками побежал вниз.

Пробегая мимо села Клементьева, Данила увидел Никона Шилова. Никон чинил ветхую изгородь вокруг огорода.

— Милой! — удивился он. — Куда те несет?

— Ляхи идут! Воры идут! — крикнул Данила.

Молоток выпал из рук Никона.

— Ляхи! Воры! — не своим голосом завопила Настасья, выбежав из огорода.

На мосту, около Келарского пруда, Данила увидел знакомых объездчиков из монастырских лесов. По взмыленным бокам коней Данила сразу догадался, что объездчики прискакали с плохими вестями. Да, они видели на московской дороге «полчища несмет-

ные», которые двигаются на Сергиев посад. Снаряжение полчищ — русское и польское. Ясное дело: ляхи соединились с войсками Тушинского вора. Объездчики пытались, но не смогли сосчитать, сколько же пушек везут враги.

— Того огненного боя едет несметное число! — в страхе повторяли объездчики. В обступившей их толпе кто-то крикнул дурным голосом:

— О-ой, горе нам!

Данила умолял объездчиков немедля скакать в село Молоково.

— Скачите, ребята, в Молоково, к Ивану Суете: пускай по всем ближним селам и починкам народ собирает!

Когда Данила пришел в монастырь, там уж все знали. Воеводы князь Григорий Долгорукой и Алексей Голохвостов уже распоряжались на стенах. Данила, вдруг осмелевший, подошел к ним и рассказал обо всем, что видел и слышал.

— Огненной бой у нас тож есть, мы в том, слава те господи, не нищи, — уверенно сказал князь Григорий.

Данила рассказал, как послал верховых по всем ближним селам собирать народ на защиту монастыря.

— Молодец! Вот молодец! — и князь хлопнул Данилу по плечу. Лицо воеводы сразу просветлело, мутные заплаканные глазки весело забегали. — Видал я тебя, — ты тутешний служка? Кто ж тебя надоумил верховых за народом разослать?

— Никто... сам удумал... — и Данила покраснел, дивясь про себя: как, действительно, это пришло ему в голову?

— Сколь же много мужиков наокруг нас наберется?

— Ино сотни четыре, князь, да в посаде нашем сотен до восьми будет... Да беглецов, что за стены пустили, я оглядел, — тож сот до семи наберется.

— Вот тебе без малого две тыщи, окромя наших стрельцов! — воскликнул Долгорукой. — Да ишшо прибудет — страх-то ведь страховит, людишки без ума повсюду побегут... Ну, в доброй час стал ты сотни считать, молодец!.. Звать-то как?

— Данило Селевин.

— Ино, Данило Селевин, оставайся тут, на стене, нам таки парни надобны.

Князь Григорий еще раз оглядел Данилу с головы до пят и с торжеством обратился к воеводе Голохвостову:

— Глянь-кось, воевода, какого я заслонника добыл!..

Федор Шилов с озабоченным лицом подошел к Долгорукому:

— Дозволь, воевода, слово молвить.

— Говори, пушкарь.

— Есть у меня дума: враги займут Клементьево поле, оно ж насупротив нас, да и пространно разлеглось. Даве поведал я про то Голохвостову, а он осердился на меня: не твоя, мол, пушкарь, забота...

«Смел и предерзок, иначе, разумом его бог не обидел» — подумал Долгорукой и выглянул из-за высокого рогатого зубца. Обширное Клементьево поле было пусто. Только по краю его, ближе к дороге, бродили овцы. В Троицын день девки завивали здесь березку, а летом водили хороводы. Было странно представлять себе это поле занятым вражескими войсками... Уж больно дошлый этот большеглазый пушкарь, и, кто знает, насколько верна его беспокойная догадка! Но желание «подкузьмить» маленького ехидного Голохвостова пересилило, и Долгорукой согласно кивнул Федору Шилору:

— Ино так попритчиться может.

— Дозволь еще слово молвить, воевода.

— Ну?

— Я, малой человек, а не слеп и зрю: великая сила на нас наступает. Пушкари, затинщики и ины военны люди здесь, на стенах, тревожатся: как мы тем поганым ляхам да ворах сустречь пойдем?

Долгорукой закусил губу: эго, людишки-заслонники быстрее воеводы размышлять хотят!.. Но, как ни нравен был князь Долгорукой, все-таки был он человек военный. За тридцать лет бессменной военной службы при Иване Васильевиче Грозном и ныне, уже при Шуйском, князь Григорий все же научился, когда это нужно, «брюхо подбирати» и сбрасывать с себя боярскую лень и спесь. Опасность надвигалась с

каждой минутой, надо было действовать.

Долгорукой немедленно созвал совет, на котором было принято предложение воеводы Голохвостова: сделать вылазку на московскую дорогу, чтобы жители ближайших монастырских сел и слобод успели добежать до крепостных стен. По слову воеводы Долгорукого порешили: врагу ничего не оставлять, хлеб из посадских лавок до последней пылинки вывезти, а все селения вокруг монастыря зажечь.

— Коли и вправду те окаянные на Клементьевом поле стан раскинут, пускай пожарище сустречь им задымит! — и дородный воевода Долгорукой, распалась ненавистью, погрозил большими мясистыми кулаками в сторону, откуда двигался враг.

Внизу уже собирались стрельцы, чтобы итти на вылазку.

Архимандрит в полном облачении, держа в дрожащих руках кованый золотой крест, благословлял им воинов. Старик был бледен, его белая борода тряслась, как привязанная. Архимандрит Иоасаф десятки лет в монастырских стенах жил мирно и благолепно. Жизнь его напоминала высокую обетную свечу белого рога воску, которая горит неспешным, ровным пламенем. Теперь же он почувствовал, как в распахнутые Красные врата обители ворвался буйный ветер бед и страхов, унылый шум человеческого горя и грядущих несчастий, которым он еще не знал имени.

От непривычки к шуму у архимандрита зазвенело в ушах и стало сумно сердцу, но он все обмахивал людей крестом и бормотал, не замечая, что никто не слышит его молитвенных слов.

Один из гонцов, которому было велено передать в Клементьево воеводский приказ, жилистый крепыш, с грубо высеченным лицом, служка Корсаков, направляясь к конюшне, приостановился и шепнул архимандритскому келейнику:

— Аль слеп, голова садова: старик-от твоей еле жив стоит... Веди-кось его в келию на покой...

Вместе с Корсаковым более десятка гонцов выехали во все монастырские

слободы и села с приказом: сжечь все надворные и жилые постройки, чтобы врагам ничего не досталось.

Когда Корсаков приехал в Клементьево, Никон Шилов заколачивал свою избу. Настасья с плачем выводила коровенку и сердитыми пинками сбивала в кучу испуганных овец.

— Эй, дядя, погоди! — крикнул Никону Корсаков. — Троицким воеводою велено строго-настрога: все избы сжечь и опосля уходить!

Настасья завывала, упала на колени.

— Батюшко, да видано ли... своими руками и свое ж гнездо зажигать... Да проси ты... телепень!.. — разъярилась она, с силой толкнув в спину молчаливого, словно окаменевшего, Никона.

Корсаков торопился, ему надо было объехать еще несколько деревень.

— Эй, дура! Башка куриная! — крикнул он, сдерживая нетерпеливого своего, сытого, молодого конька. — Аль охота, чтобы нехристи да воры тушинские в твоей избе спали-почивали да с гулящими женками душничали?

— Ладно, гонец, — вдруг глухо сказал Никон Шилов, — изладим, что воевода велел.

Корсаков ускакал, а Никон вынул трут с кремнем и начал высекать огонь.

— Тащи соломы, жена...!

Настасья уперлась было, затопала, закричала, но, увидев, что муж подсовывает солому под застреху, оставила корову и с ревом положила первую охапку у заколоченных дверей. Как ни спешно надо было уходить, Настасья не выдержала и разразилась жалобным причетом, как на похоронах.

Оплакала Настасья свою кривобокую, чернолобую, с подслеповатыми окошками, затянутыми бычьим пузырем, старую избу, в которой рождались и умирали ее дети.

Изда уже пылала. Никон снял шапку и низко поклонился пожарищу, потом посадил жену на свою мохноногую клячу, а сам зашагал рядом.

— Садись, Настенушка, садись, матушка... отыдем, благословясь... — сказал он, назвав свою сутулую поблекшую жену давно забытым именем ее молодости.

На московской дороге ударила пушка. То войска Троицкой крепости сдерживали продвижение ляхов и тушинских воров.

Опять и опять ударила пушка, — и звук этот потряс Никона. Почудилось ему: распахнулась грудь и приняла в себя раскаленный медный гул ненависти к врагам.

Никон озянул напоследок. Село Клементьево пылало, как сухой стог. Никон теперь уже не мог различить, где стояла его изба и где кончался плетень его огорода, — пламя вздымалось сплошной косматой стеной.

У Троицы били в набат. Сполошный колокол истошным зыком гудел на весь мир. Голуби, сверкая белыми подкрыльями, испуганно взлетали над башнями, ища приюта и спасенья.

Горели посадские дома, лавки и рундуки. Со всех сторон бежал народ — конные, пешие, целыми семьями, со стариками и детьми, с домашней рухлядью. Скрипели телеги, одичало ржали лошади, выли собаки, а люди стонали и вопили, как безумные. Тяжко гудел набат, и небо будто содрогалось, готовое расколоться и упасть на эту трепещущую лавину человеческих жизней, которая неслась к Красным воротам монастырской крепости.

В сумерки все сельчане, починковские жители, слобожане и посадские кое-как разместились. Всюду, где только был свободный клочок земли, теснились люди, ржали лошади, плакали дети. Кое-где зажгли костры. Пламя запрыгало над становищем бездомных и осветило измученные лица и убогую тяглицкую рухлядь.

Настасью и Никона притиснули к стене Успенского собора. От стены несло холодом и сыростью. Слабогрудая Настасья скоро озябла и закашлялась. Никон укутал ее армяком.

— Ништо, ништо... Ужо вот прогоним ляхов поганых... Ужо, вот погоди малость... — бормотал он, поглаживая жену по худой спине, но сам не верил ни одному своему слову.

В темноте вернулось троицкое войско. Тяжелые железные ворота крепости с лязгом и скрипом захлопнулись.

В Пятницкой башне старшой воевода Григорий Борисович Долгорукой-Роша и воевода второй руки Алексей Голохвостов, выслушав донесения сотников, призвали набольшого пушкаря Федора Шилова, который уже участвовал в вылазке на врага. Вылазка задержала головные отряды «воровского войска» на Московской дороге и, как правильно рассчитали воеводы, дала возможность окрестным беглецам добраться до монастыря.

— А какой урон стрельцы наши понесли? — спросил воевода Долгорукой.

— Урон не дюже какой, — отвечал пушкарь, — десятка два вкупе с убитыми. У воров урон велик, мы их, злодеев, попушили зело!

Воевода размахисто перекрестился.

— Начали битву без позору!

Костры потухли, лагерь понемногу утихомирился.

Тяжелые кованые ворота были накрепко заперты. На стенах ходили-похаживали, негромко перекликаясь, бессонные часовые.

Наступала ночь, первая ночь в осаде.

★

4...Лисовский задумал добыть монастырь Троицкий, который, отстоя от Москвы в 64 верстах, был прибежищем убегавшим отовсюду боярам и простолюдинам, складом сокровищ церковных и светских, крепостью и единственной этих мест опорой. Будучи окружен на пространстве 642 сажень крепкими стенами в 4 сажени вышины и в 3 сажени толщины, стоя среди гор и оврагов, на значительной высоте — Маковце, монастырь этот составлял одну из сильнейших крепостей всей России... Крепость была вооружена людьми, железом и мужеством. 29 сентября пригласили их к слаче Сапега с Лисовским, обещая милость Дмитрия и щедрую награду. Но слова эти пали, как ветер на скалу Троицкую».

Из статьи графа Маврикия Дзе-душского. «Bibliotheca Ossolinskich», 1842, том III.

Вражеские войска стали в виду монастыря, на Клементьевом поле, — как и предполагал Федор Шилов, — и было похоже, готовились расположиться там надолго и вольготно. Войска прибыло: несколько десятков тысяч тушинцев, ляхов и казацких полков,

как передавали монастырские лазутчики.

Пушек и пищалей лазутчики насчитали несколько десятков, да к тому еще тысячи казацких пик и самострелов, — последними щедро были вооружены все полки Лазутчики видели также камнеметы, которые вместе с разными «зломышлениями» представляли собой «чудище злодейско, стенобитной наряд».

Но больше всего изумила и испугала лазутчиков большая пушка, которую ляхи называли «Трещерою». Если для перевозки русской пушки запрягали до 48 лошадей, то «Трещеру» везло около семидесяти лошадей. Для нее даже начали изготовлять особую «путью» — устланную широкими плахами дорогу, которая вела на пригорок, откуда, ясное дело, удобнее будет пробивать монастырские стены.

Из-за «Трещеры» больше всего и забеспокоился воевода Григорий Борисович.

— Что за ехидну иноземцы сотворили?.. Только и розмысла у них, нехристей поганых, кабы русскому православному человеку зло учинить!..

Воевода задумался и хмуро погладил больную ногу — давала себя знать к погоде.

Григорий Борисович сидел в глубоком, обитом тисненой кожей кресле итальянской работы, которое недавно подарил ему архимандрит. Кресло воевода велел поставить на стене, около крайней башни, из узких окон которой видно было Клементьево поле.

Около стен, внутри двора, с утра толпился народ. Некоторые, самые беспокойные, даже взлезали туда, на «верхний бой», толкались среди стрельцов, затыльников и пушкарей, подолгу смотрели в узкие зубцовые щели, вздыхали и гадали вслух: что-то будет, что-то будет?.. Стрельцы несчетное число раз просили лишних людей уйти, потом уже стали ругаться, — однако, непрошенные гости уходили и сейчас же возвращались.

Толпились они и там, где большие и малые начальники судили и спорили о военных делах. Около воеводы Долго-

рукого, мешая всем ратным людям, толкались беглецы. Они жались к стене башни, выглядывали из-за нее, оттапывая друг другу ноги, теснились на каменной лестнице, что вела на верхний бой, и слушали, жадно вытягивая шею и боясь пропустить хоть слово. Стоящие ближе к воеводе шепотком передавали услышанное тем, что стояли внизу.

Расспросив сотников, стрелецких голов и Федора Шилова про пушку «Трещеру», воевода продолжал пребывать в молчании и задумчиво рассматривал свои заветные перстни: массивный золотой жгут с квадратным лалом¹ — подарок царя Бориса Федоровича — и широкый финифтяной перстень с крохотными, но чудесного мастерства изображениями святых — подарок царя Василья Шуйского.

«Неужто ноне доведется сраму прияти?» — тревожно думал воевода, но его пухлое волосатое лицо оставалось спокойным.

Младший воевода Голохвостов, сидя у башенной двери на низком рундуке, покрытом старым ковром, еле сдерживаясь, исподлобья смотрел на «большого воеводу». Голохвостову с самого начала, как заговорили о польской «Трещере», стало ясно, что надо было сделать: подсчитать весь «огненный бой» крепости и самые лучшие пушки поставить так, чтобы главная сила удара устремилась на эту проклятую «Трещеру».

Но так как молчаливого раздумья большого воеводы никто не прерывал, Голохвостов тоже молчал и злобился все сильнее. И везет же иногда этим богатыням-боярам!.. При царе Иване Грозном все семейство Долгоруких-Роща не только головы сохранило, но и все земли свои и богатство. Еще более обласкан князь Григорий последними двумя царями: вон и перстни дареные на телстых его пальцах красуются, посверкивают.

Да ведь и уродился он дородный и большой, этот князь Григорий, а бородину отрастил такую, что просто диву

даешься! Как не любоваться такой роскошной бородой — волнистая, густая, шелком так и отливает! По правде говоря, именно важной осанке и красивой бороде князя Григория больше всего и завидовал сухопарый и малорослый дворянин Алексей Голохвостов. Многие свои жизненные неудачи он даже привык объяснять своей неказистостью, из-за которой «в обличьи рода не видно». А это было тем обиднее, что был его род не какой-нибудь куцый, а насчитывал уж худо-бедно лет триста, — так что Алексей Голохвостов ничуть не хуже был дородного князя Григория.

У него, Голохвостова, невзирая на седину в бороде, прити еще сколько хочешь, и учить людей ратному делу он умеет, — на ногу легок, а вот гляди же: только приехал Долгорукой, так и у архимандрита, и у старцев, только и свету в окошке: Долгорукой-Роща, князь Григорий-свет, воеводушко-батьшко! И на тебе: вот уже князь Григорий — большой воевода, а Голохвостов — подначальный ему.

Младший воевода Алексей Иванович от злости и обиды даже прикусил губу и быстро оглянулся, чтобы, чего доброго, ненавистный Долгорукой-Роща не заметил: еще и это торжество доставить ему!

Но за младшим воеводой следили как раз с той стороны, откуда он меньше всего этого ожидал: темнокарие глаза пушкаря Федора Шилова замечали каждое движение обоих воевод. Данила Селевин, стоявший рядом с Федором, скоро приметил беглые искорки в глазах пушкаря. Данила взглядами спросил Федора: «О чем думаешь?», но пушкарь многозначительно двинул бровью: «Потом-де узнаешь».

Большой воевода, наконец, повернул на лысине расшитую шелками мурملку — это значило, что он что-то надумал.

— Надобно о той «Трещере»... — медлительно и важно начал он, пожевывая губами и поглаживая роскошную бороду, — надобно еще повыведать...

— Эх! — вдруг раздался быстрый и горячий голос. — Противу той прокля-

¹ Рубин.

той «Трещеры» сами грозны наши пушки поставить, да погибель ей издевать!.. Ой, прости, воевода, вырвалось слово не по чину...

И пушкарь Федор Шилов смиренно поклонился.

— Прывток, а дело бает! — торопливо подхватил Голохвостов, и его крикливый тенорок дрогнул насмешкой: пушкарь словно подслушал мысль, которую воевода Голохвостов только-что высказал одному из сотников.

— Мужик дело бает! — повторил Голохвостов и, увидя оживление на всех лицах, еще напористее продолжал:

— Да послать нам еще людишек — повыглядать, где ту окаянну «Трещеру» ляхи будут ставить...

Князь Григорий опять повернул свою мурмолку и снисходительно произнес:

— Ино пошлем. И сам я також размышляю, да вот, господи, твоя воля, до чего же все говорливы и отчаянны стали — наперед меня высочить кошут, слова не дают молвить! — пошлем, пошлем людишек... кого бы, а? Как мыслишь о том, Алексей Иваныч?

— А може, кто своим хотеньем... — начал было Голохвостов.

Но Федор Шилов опять выступил вперед и поклонился обоим воеводам:

— Дозвольте, воеводы, я скажу! Зашлите-ко меня для проводки, уж я пушкарь, повыгляжу все.

— А ино голову бы там не сложить тебе, пушкарь? — спросил Долгорукой.

— Бог милостив, воевода. Да и то сказать: знай край, да не падай.

— Ну, иди, пушкарь, — ласково сказал Долгорукой. — Вечеру иди, однако.

Когда Федор спустился со стены во двор, Данила стал просить, чтобы он взял его с собой.

— Эко, парень, с чего тебе захотелось? — мягко улынулся Федор.

— Жалко мне тебя, — признался Данила. — Коли подстрелят тебя, донесу до обители, супостатам в обиду не дам. Аль не веришь? — Он согнул руку в локте и подмигнул Федору: — Ну, кось, силенку мою пощупай!..

Федор, улыбаясь, нажал пальцами на взбугрившийся под рукавом твердый

мускул — пальцы будто встретили железо.

— Ого, молодец, худо тому придется, на чью хребтину такой навалится!.. Ладно воевода удумал — тебя на стены взять...

— Ты-то меня с собой возьмешь?

— Да уж ладно, богатырь, пойдём...

В ночь с 24 на 25 сентября Федор с Данилой пробрались к передовым линиям неприятельских войск и к утру благополучно вернулись в крепость.

Воевода Голохвостов похвалил их и тут же пожаловал каждого горстью серебра из собственной кисы, что висела у пояса под бархатной ферязью.

В монастырской трапезной Федор и Данила съели по большой чашке горячей гороховицы со свежим ржаным хлебом и выпили по ковшу ягодного меду. За медом Федор посвятил Данилу в одну из самых неприятных «докук» здешней ратной жизни: воевода Долгорукой-Роша и Голохвостов терпеть не могут друг друга, и от этого «великая препона делу может произойти». У обоих воевод не оберешься спеси, зависти и взаимной подозрительности, — если один приказал, другой обязательно отменит, не считаясь с тем, как это отразится на деле. А уж укулов и подвохов по мелочам — не счесть!

Федор уже научился обходить мелкую вражду воевод. Вот почему он, будто от себя, от «мужицкого косолапства» и «по простоте» вылезает вперед, просит «дозволить слово молвить», а сам предлагает вниманию воевод их же приказы, заранее выведенные им.

— Ястреба дерутся, а молодцам перья достаются — и то, парень, ладно. Помни: солоно тут нам, народушку, придется, ох, солоно!.. Воеводы уж больно притчеваты да спесивы, и надобно нам своим розмыслом жити, а то, пожалуй, толки воду на воеводу!

Федора прервал Слота, который прибежал в трапезную прямо со стен: воевода Долгорукой «ото сна встати изволил» и требует доглядчиков «пред свои очи».

Князь Григорий сидел в кресле чернее тучи. Он хмуро выслушал донесение Федора и Данилы о том, что они

видели во вражеском стане. Все пути и дороги уже заняты врагами, всюду расставлены заставы. Враги спешно укрепляются на горе Волкуше, на Терентьевской, Круглой и на Красной горе, возводят туры, откуда и будут обстреливать крепость со всех сторон.

— Ну, а «Трещера» окающая где будет стоять? — нетерпеливо спросил воевода.

— Насупротив западной стены, воевода, так я размышляю: посередине стену пробивать, — отвечал Федор, — ляхи чают в самое сердцевое место боем огненным бить, стены до времени порушить. Думаю я, воевода...

— Буде! — грубо прервал князь Григорий. — Уж не в меру говорлив ты, пушкарь! Предерзостны речи твои, наперед бояр со своим мужицким рылом суешься...

Воевода еще поворчал, отводя душу, а потом приказал приготовить все на стенах и затемно пойти опять «на проводку», чтобы точно узнать, сколько у врагов пушек и пищалей.

— Вот, возьми такого! — говорил час спустя Федор Шилов, в голосе его звучали презрение и обида. — Гляди, еще мало поработали мы с тобой, Данилушко! Внове на проводки пойдем, смертушки понюхаем, — ить по чужу голову итти — свою нести. А воротимся — и словом добрым нас не приветят...

В ночь с 25 на 26 сентября Федор и Данила опять пробрались в лагерь врагов и к утру принесли новые вести.

Вокруг троице-сергиевских стен собрано тридцать тысяч войска: ляхи, тушинстве изменники и несколько казачьих полков. Предводители войск у них: Ян Сапега, Лисовский, князь Вишневецкий, Тышкевич и другие. Пушек и пищалей у врагов шестьдесят три.

Но в Троице-Сергиевой крепости разных пушек наберется около ста, в полтора раза больше.

Князь Григорий совсем «взыграл духом», похвалил «доглядчиков» за удачную «проводку» и приказал выдать обоим из своего погребца по жбану броженного кислого меда.

Обсасывая после медовой влаги длин-

ные сивые усы, Федор сказал с задумчивой усмешкой:

— Истинно меда у князь Григорья отменные... одначе, парень, способнее было б новы сапожонки мне пожаловати... Ну, да что ж — досталось молодцу от орла перышко, и тому радуйся... Пойду-кось я сосну малость, иди и ты...

Федор пошел в пушкарскую избу, а Данила к себе. Проходя мимо Успенского собора, Данила увидел Алексея Тихонова. Склонившись к женщине в желтой душегрее и малиновом платке, заброшенном поверх парчевой шапочки, Алексей внимательно слушал ее. В эту минуту Ольга обернулась. Данила замер на месте — глаза Ольги смотрели прямо на него. Губы ее по-детски жалобно дрогнули. Данила заметил, что она осунулась, побледнела; запавшие глаза лихорадочно блестели.

— Аль занедужилось с перепугу? — робко спросил Данила. — Где место-то себе наша, Ольга Никитишна?

— Есть место, да не улежно сердце спокойя не дает...

Ольга, на миг закрыв глаза, словно решаясь на что-то, потом круто повернула и, не прощаясь, быстро ушла.

Человеческие боли и несчастья, среди которых она жила эти дни, разбудили ее душу и породили в ней гнев и смелость.

Слаще бы ей была неминуемая смерть, чем жизнь с Осипом. По сиротству, по бедности, окрутили ее. А она поддалась уговорам, — надоело ей жить попреками дядьев и подачками большой золотошвей. Будь она проклята, эта Варвара! Знал Осип, кого купить — ведь у Варвары корысть душу съела.

А уж у Осипа-то не душа, а отпетой торг-купилище, где только и слышно, как деньга звенит. Когда по улице стар и мал бежали к монастырю и пожарище уже достигало их дома, Осип еще бегал по сеним и горнице, собирая узлы. А Ольга видела перед собой только растворенную дверь и распахнутые настежь ворота. Она убежала в чем была, не слыша за собой яростных криков Осипа. Разыскав ее на монастырском дворе, он попрекал ее, что она-де не по-

могла мужу «кровное добро спасти», что она неблагодарная жена, — которая «убегла, яко иноверица и бесстыдница, дому разорительница».

— А чего моего в том доме осталось, — жаловалась Ольга брату, когда подошел Данила.

— «Тоскую по Даниле», говорит, — передал ему Алексей. — «Видно, говорит, бог мне судил возле него быть...»

Данила с трудом понимал, как все это могло произойти. Давно ли стоял он, как нищий с деревянной чашкой в руках? Теперь же он чувствует себя сильным и необходимым жизни, и счастье само идет к нему.

Данила украдкой ощупал себя: красно-рыжий стрелецкий кафтан, пожалованный воеводой Долгоруким, ловко охватывал плечи и широкую твердую грудь.

Из-под навеса десятка четыре стрельцов тянули лямкой верховые пушки и мозгиры.¹ Высокотный детина в новом стрелецком кафтане (он был ему коротковат) покрикивал:

— Э-э-ох-х, ишшо, да ишшо!.. Э-эх да навалилися разо-ок!

Данила узнал Ивана Суету и тоже ухватился за канат. Иван изумленно толкнул его локтем.

— Данилушко!.. И ты в боецком деле робить?..

Когда стрельцы остановились передохнуть, Иван Суета ласковым шлепком широкой ладони огрел Данилу по загривку.

— Вот те и служба-монастырщик!.. Дай-кось, погляжу на тебя. Ой, да боистой сокол!

Иван Суета рассказал, что воеводы собирают на стены не только молодых и пожилых мужчин, но и стариков, что покрепче. Никон Шилов и Слота тоже на стены ушли.

— А там, на стенах-то, Федор Шилов-пушкарь нас на подмогу пушкарям и затинщикам поставил...

— Мы с Федором-пушкарем уж дважды на проводки ходили и весь их устрой выглядели, — с невольной гордостью сказал Данила. Уже не в пер-

вый раз за эти несколько дней Данила Селевин ловил себя на маняще новом чувстве самоузнавания. Да неужто это он, Данила, еще совсем недавно с покорностью выполнял любую, самую черную работу, которой даже многие «постриженники» избегали? Не ему ли казалось, что все другие пути в жизни ему наконец заказаны?

«Чудно! — подумал Данила, пробираясь между возами с крестьянской рухлядью и плачущими ребятишками. — Чудно!»

Едва он вышел к Успенскому собору, как увидел брата Осипа. Немытый, взлохмаченный, распоясанный, он смотрел на Данилу с голодной и злобной тоской.

— Вона как наш-от тихонькой преуспеваает! — сказал Осип, скаля белые, как кипець, зубы. — Добры люди все серебро да золото, да все нажитое добро, да дома свои хозяйские кинули... а иные уже в стрельцовы кафтаны обрядилися!..

— Я стрелец, на стене заслонник, — наставительно ответил Данила. Впервые в жизни он не боялся, что брат может его унижить. Лишившись богатства и удачи, Осип сразу будто стал меньше ростом, сгорбилась и мало чем отличался от затрапезных мужиков.

— Вон оно что-о! — насмехаясь протянул Осип. — А поведай-ко, стрелец новобранной, окажи брату честь, скажи, долго ль мы тут страдать будем?.. Неужто я у бога овин сжег али теленка украл, — пошто же мне здесь, томному, ходить, пошто всем нам в сих стенах мыкаться... а?..

Осип вдруг подмигнул:

— А може, тем ляхам да тушинцам покорытоваться охота?.. Сунули бы начальникам ихним малу толику от богатства монастырского?

— Тьфу!.. дьявол искушает тебя, коли таки срамны слова говоришь! — И Данила гневно оттолкнул Осипа. — Те вражины поганые к нам по-душю пришли!..

— Истинно, стрелец-детинушко! — дед Филофей остановился рядом и оглядел братьев еще зоркими глазками, прячущимися под седыми мохнатыми бро-

¹ Мортиры.

вами. — Мы, люди русские, недосилками не бывали...

— Ладно тебе, старик, похвалиться! — прервал Осип. — Хвастью-то весь свет пройдешь, да назад не воротись.

— Ах ты, шибенник!.. — Филофей пристукнул клюкой от возмущения. — И говорить-то с тобой не буду, лукавой ты человеке...

И старик побрел по узкой дорожке, гневно качая седой головой и что-то бормоча себе в бороду.

★

Как было то у нас на святой Руси,
На святой Руси, на каменной Москве,
Было времячко военное, времячко
мятежное.
Заполонила то Москву... проклята
Польска сторона.

«Исторические песни русского народа».

В полдень 29 сентября 1608 года перед Красными воротами пронзительно запела труба. С десятков всадников в польском платье нетерпеливо гарцовали на сытых конях. Один из верховых, отделившись, подъехал под самую щель стены, где располагался «средний бой»¹.

— Воеводе Григорью — князю Долгорукому, да дворянину — воеводе Алексею Голохвостову, да архимандриту Иоасафу от преславных гетьманов, ясновельможных панов Сапеги и Лисовского имею грамоту-у-у! — зычно закричал нарядный всадник.

— Кто таков? — сурово спросили из стеной щели.

— Боярский сын, лыцарь Бессон Руготин, а с ним и иные ясновельможные паны и лыцари...

Но лыцарям пришлось ещё около часу потоптаться под стенами, пока, наконец, из той же щели опять раздался суровый и громкий голос:

— Эй ты... Бессон Руготин... Ступай к Каличьей башне...

Бессону Руготину завязали глаза и провели его на стену к воеводам. Долгорукой-Роцца принял его, сидя в крес-

ле и хмуро играя волнистыми прядями роскошной бороды.

— Русской? — спросил он, небрежно принимая грамоту.

— Ино русской... — усмехнулся боярский сын.

— Аль изнищал вовсе, своей одежи не имешь, чужую носишь? — продолжал воевода.

— Чти грамоту, боярин!. Не мешкай! — нагло бросил Руготин и спесиво закрутил белобрысый ус.

— А ты шапку сыми! — вдруг взорвался откуда-то горячий голос. — Никон Шилов, стоя на лестнице, погрозил кулаком Руготину.

— Сымай шапку! — вспыхнули негодующие голоса, среди которых выделился бас Ивана Суеты:

— Пред честным народом кланяйся, изменник!

— На колени пади, продажная душа! — зазвенел высокий голос Петра Слоты. Стоявший рядом с Петром Данила потянулся рукой к оранжевой польской конфедератке и сорвал ее с головы Руготина. Посол Сапеги с криком схватился за волосы, подстриженные в кружок.

— За это будете ответ держать!

Вокруг грянули хохот и брань. Руки угрожающе потянулись к голубому кунтушу ополячившегося боярского сына. Но воевода Долгорукой прикрикнул:

— Эй, помолчите малость!

И тут же приказал Федору Шилкову:

— Угомони их, пушкарь. Да приведите скорей отца-то архимандрита... Чай, и ему сия грамота писана...

Федор Шилов стал позади злополучного посла и спокойно проговорил, обращаясь к озлобленным людям:

— Подождите, помолчите пока-что — еще доведется блудливой кошке в обрат ползти...

— Архимандрит, архимандрит! — слышались голоса.

Архимандрит Иоасаф, поддерживаемый двумя старцами, уже поднимался по лестнице. Он был бледен и дышал тяжело. Его разбудили в час сладкого послеобеденного сна; в испуге Иоасаф, надев на себя золотой нагрудный крест, забыл выпростать из-под него длин-

¹ Защитники крепости стояли в три ряда: «верхний бой», «средний бой» и «подошвенный, или низший бой».

ную седую бороду. Старцы тоже не заметили этого беспорядка. Иоасаф устало опустил на бархатные подушки и слабой рукой благословил всех.

— Дозволишь ли начать чтение, отец-архимандрите? — спросил князь Григорий.

— Чти, сыне, — тихим голосом разрешил Иоасаф; сопровождавший его старец Макарий, опомнившись, быстро придал архимандритовой бороде надлежащее положение. Воевода чуть усмехнулся, развернул длинный свиток и начал читать послание из стана врагов.

Грамота обещала монастырю сделать его «наместником от государя», который-де «многие грады и села в вотчину вам подаст, аще сдадите град Троицкий монастырь...»

— Не сдадим — понеслось отовсюду. Мы им не бояре-перелеты, лжедмитриевы советники!..

Тут воевода Голохвостов злорадно сузил темненькие глазки, а князь Григорий неприметно вздрогнул; сердце в нем скверно екнуло: при Лжедмитрии он числился в совете окольничьих. Хотя и многие представители самых древних и знатных русских родов служили самозванцу, однако, при воспоминании о тех днях, когда Григорий Борисович — пусть даже и в числе прочих! — снимал высокую боярскую шапку перед поганым бродягой из Польши, — при этом воспоминании воеводе всегда становилось тошно, будто он поел дурной пищи.

Грамота архимандриту Иоасафу оказалась еще наглее.

«... И ты, святе божий, — читал князь Григорий, — старейшино мнихом, архимандрит Иоасаф, попомните жалование царя и великого князя Ивана Васильевича всея Руси, какову ласку и милость стяжал к Троицкому Сергиеву монастырю и к вам, мнихом, великое жалование, а вы, беззаконники, все то презрели...»

— О, господи! — не выдержал тут и сам архимандрит. — Нехристи нас, христиан православных, смеют обличать!.. Се диавол там укрепился и врагов научает...

— «Учите во граде Троицком все воинство и народ супротив стояти государя Дмитрия Ивановича, и его позорити и псовати неподобно и царицу Марину Юрьевну, такожде и нас...»

— Клясть и псовать его, сатанинского сына, будем весь век: без домов, без хлеба останетесь! — грозно и веско произнес Никон Шилов. Его слова будто взорвали толпу:

— Воры!.. Изменники!.. Довели, окаянные, до лихолетья!..

Архимандрит поднялся с бархатных подушек и беспомощно простер восковые руки:

— Чада мои! Чада мои!

— «...Отворите град без всякие крови, — читал Долгорукой. — Аще ли не покоритесь и града не сдадите, и мы, зараз взяв замок ваш и вас, беззаконников, всех порубаем...»

— А-а-а! Не сдадим! — вознеслись к небу вопли.

— Бей их, проклятых!

Если бы военное и монастырское начальство заблаговременно не распорядилось об охране Бессона Руготина, посланцу Сапеги и Лисовского не быть бы живым.

Приказав отвести Руготина «в место надежное и сторожити накрепче», Долгорукой громким голосом разъяснил всем:

— Пусть-ко ждет-пождет, пока мы свою грамоту напишем.

★

Утром на том же месте, в присутствии архимандрита, соборных старцев и всех стрелецких начальников, воеводы прочли ответную грамоту защитников Троице-Сергиевой крепости обступившим ее врагам.

— «...Да весть ваше темное державство, гордии начальници Сапега и Лисовской и прочая ваша дружина, вскую¹ нас прельщаете...»

На стенах, на лестнице и внизу, на земле, посылалось одобрительное гуденье. Многие стоят на телегах, на бочках, на приставных лесенках, чтобы лучше слышать.

¹ Тщетно, напрасно.

— «...и десяти лет христианское отроча в Троицыном-Сергиевом монастыре посмеется вашему безумному совету, а о них есте к нам пишете, мы сия приемше оплевахом...»

Раскатистый смех Ивана Суеты прокотал над толпой. Десятки глоток ответили ему, и хохот загредел вокруг трепещущего от страха посланца ляхов и воров.

— «Кая бо польза человеку возлюбити тьму паче света и преложити лжу на истину и честь на бесчестие и свободу на горькую работу...»

— Постойм за честь! — понеслось отовсюду.

— «...ложной ласкою и тщетной лестью и суетным богатством прельстити нас хотите?...»

— Верно! — зашумело в ответ. — Не прельстити им нас!

— Биться хотим!

Так в каждом слове и строке всенародно была утверждена ответная грамота.

Воевода Долгорукой собственноручно обвязал свиток белой витой тесьмой, а Иоасаф приложил к кипящему сургучу монастырскую печать. Грамоту вручили Бессону Руготину. Пришлось опять нарядить стрельцов — для охраны вражеского посланца. Но даже через головы и плечи стрельцов люди всякими хитростями доставали Руготина. Его лоб и щеки были в царапинах и крови. Роскошный голубой польский кунтуш превратился в лохмотья, а шапку сорвали с головы вместе с клоком волос. Со всех сторон улюлюкали, плевали, бросали в него камнями, песком, гвоздями. Бессон Руготин не чаял остаться в живых и был рад-радешенек, когда, наконец, завязав глаза, его подвели к какой-то калитке и вытолкали взащей.

Только очутившись за рвом и увидев польские туры, злополучный посланец Сапеги и Лисовского сообразил, что война объявлена.

★

Но до самого вечера 30 сентября ничего не случилось. 1 октября также прошло спокойно.

Второго числа лазутчики донесли воеводам, что Сапега и Лисовский обложили монастырь турами со всех сторон. На южной стороне были возведены три укрепления из «коробов, насыпанных землею», — за прудом, на горе Волкуше, подле Московской дороги и в Терентьевской роще. Кроме того, ниже пруда, против мельницы, было возведено четвертое укрепление.

Сильно укрепили поляки и западную сторону. Укрепления, туры, здесь расположились по Красной горе. Одна линия была направлена на южную наугольную башню, называемую Водяною. Другая линия туров приходилась против монастырских погребов и Пивного двора. Третья лежала против келарской палаты и монастырского казнохранилища. Четвертая против западной наугольной башни, называемой Плотничною, а пятая направлялась на северо-запад, как-раз против Конюшенной башни.

— Столь ли крепки стены наши? — спросил воевода Долгорукой младшего воеводу.

Голохвостов, никогда не упускавший случая уколоть князя Григория, похвастаться своей «легкостью на ногу», с резким смешком сказал:

— Кабы всюду да были бы крепки стены града сего! Намедни я четырежды обошел стены градские по верхнему бою, по среднему и подошвенному... и многие седовины¹ узрел...

Старец Макарий, присутствовавший на военном совете, вдруг обиделся и стал горячо уверять, что никаких «седовин» в стенах нет.

— Что вы, начальники наши благие, дел огненных вершители? — начал он, будто на проповеди. — Не мочно тому быти!.. Стены святого града нашего возведены были по повелению блаженной памяти христоролюбивого царя Ивана Васильевича...

— То боле полусот лет было, отче, — нетерпеливо прервал Долгорукой.

Крутые тугие щеки старца налились злой, горячей кровью.

— Святая обитель наша благостью

¹ Трещины.

и чудесами зачинителя ее, святого Сергия Радонежского, во веки веков сохранена будет!

— Дозволь, воевода, слово молвить, — раздался вдруг мягкий бас Даниила Селевина.

Воевода оглянулся — и только тут заметил, что сенцы, куда дверь была открыта, битком набиты людьми. «И всюду-то ныне народушко лезет, всюду ручищи запускать хотят!» — с досадой подумал Долгорукой.

Данила Селевин повторил:

— Дозволь, воевода, слово молвить!

— Говори, — разрешил воевода и добавил: — Да уж взойди в горницу — через порог слово сказать негоже.

Едва Данила занес ногу через дубовый порог воеводской горницы, как навстречу ему метнулся грозный взгляд старца Макария, приказывающий немедленно замолчать, исчезнуть, не смея вмешиваться не в свое дело. Но Данила вдруг понял, что молчать ему нельзя, и прежде всего потому, что монах беззастенчиво лжет. Данила по привычке отвесил старцу поясной поклон и тут же сказал, смотря прямо в свирепые, в красных жилках, глаза Макария:

— Помню я, отче, как велел ты мне лонись кирпичи да бревна к наугольной башне таскать: от Конюшенных-де ворот до наугольной не в одном месте своды испровалилися... Я тебя вопрошать стал: когда ж, мол, внове замес ладить будем?.. А ты, отче, велел мне все в обрат нести...

Лицо старца стало темносизым. Не глядя на Данилу, он обиженно воздел руки к иконам и обратился к Долгорукому:

— Зрит господь и святые его, яко есмь поносим ныне от последнего работника монастырска... и се в хоромах твоих, князь-воевода!.. Негоже ты, князь, раба нашего в доброй кафтан нарядил, к себе на порог пустил... аль не ведаешь: пусти мужика на порог, а он и под образа полезет... Да и негоже было, князь-воевода, нашего службу на стены брати без нашего на то соизволения...

— Но, но... — не сдержав раздражения, прервал Долгорукой. — Про то нам, военным людям, ведать, кто в ратные люди гожд...

С самого начала, как только царь Василий послал князя Григория «царскую обитель оберегати», Долгорукой столкнулся с «самовластьем» соборных старцев, из которых Макарий был особенно рьян. В каждой затее воеводы Макарий видел покушение на права церковных властей, вмешивался во все распоряжения воеводы, оправдывая каждый раз свои козни стремлением поступать «по божьему закону». Теперь, когда враги стояли под стенами монастыря, воевода решил действовать целиком «по своему ратному разумению». Это решение было тем более приятно, что давало Долгорукому (а его любовью к «властительству» бог тоже не обидел) возможность посчитаться с таким въедливым старцем, как Макарий.

— А касаето седовин в стенах и сводов проваленных, — прямо приказывал Долгорукой, — для сего, отче Макарий, изволь повелеть все амбарцы открыть, где каменны да деревянные запасы лежат.

Не успел старец Макарий и рта раскрыть, как из сеней раздался голос Федора Шилова:

— Имею слово до тебя, воевода.

— Да уж входи, пушкарь, — с легкой насмешкой позвал воевода, снова подумав: «Эко углядчивы людишки стали! Всюду поспеют!»

Федор Шиллов перешагнул порог:

— И я, пушкарь, все стены примечаю: надобно опосля огненного боя заделки на стенах ладить, не мешкая. Для того надобно каменных дел мастеров загодя нарядить...

— Сыскать их надобно, — сказал воевода.

— Да уж сысканы, воевода.

— Иде ж они, те мастера?

— Да уж тут, пред твоими очами. Дозволишь взойти?

Воевода кивнул. Порог перешагнули Никон Шиллов и Иван Суета.

— Ну и припасливы люди ноне, — с нескрываемым лукавством сказал вое-

вода Голохвостов. — На всяко заделье умельцев нашли!

Долгорукой встал с места и, метнув злобный взгляд в сторону Голохвостова, подошел к мастерам каменных дел.

— И точно вы умельцы, мужики? — мурувато спросил он.

— Печи и стены класть доводилось многожды, — спокойно, с достоинством, ответил Иван Суета. — Знамо, и здесь, на стенах, не опростоволосимся.

Оглядывая приземистого Никона, в старом, расползающемся по швам, дотканном зипунишке, воевода допрашивал:

— А точно ль вы, умельцы, будете под стрелянием огненным урон в стенах закрывать? Не убоитесь ли, что на том месте живот свой мочно положить?

— Да что ж, воевода, — негромко и внятно заговорил Никон. — Живы аль мертвы — иного не ведаем. На смерть родимся, для живота помираем.

«Ишь ты, философ какой нашелся!» — изумился про себя Долгорукой.

Оставшись один, он впервые совсем необычно задумался о народе, тягльцах, даточных людях богатейшей на Руси «царской обители», о монастырских служках, о посадских умельцах, о разного рода гулящих безместных людишках — обо всем этом пестром, обойденном жизнью народе, с которым пришлось ему, Долгорукому-Роще, как и всем другим родовитым военачальникам, а также инокам, быть теперь запертыми в стенах монастырской крепости и неизвестно, на какой срок.

Князь Григорий Борисович родился удачником и уже поэтому не привык думать о том, что выходило за пределы его привычного круга жизни. Ему шел семнадцатый год, когда «в день благоприятен» его заметил царь Грозный, обласкал, одарил щедро. Отец князя Григория, хитрый и расторопный боярин Борис Степанович, счастливо избежал опричины и сохранил все земли-богатины, поместья и хлебо-сольный дом в Москве. Григорий Борисович служил по ратному делу при Борисе Годунове и многожды был им награжден. Переход Григория Борисовича на сторону Лжедмитрия и пре-

бывание Долгорукова-Роши в «советниках» самозванца тоже счастливо сошло ему с рук — и царь Василий тоже наградил его и отличил среди многих, послав большим воеводой над войском прославленной «царской обители».

Как-то теперь выйдет князь Григорий из тяжелого испытания огнем и осадой? Не сегодня-завтра поляки и тушинцы начнут палить из пушек. У Сапеги и Лисовского тридцать тысяч войска, а у Долгорукова-Роши еле наберется три тысячи. Кто из этих трех тысяч самые надежные, на кого можно в первую очередь положиться?.. Конечно, на мужиков, на этих двуживильных тягльцов, которых лихоletье сделало бездомными и нищими. На них-то он и надеется, они-то и должны спасти монастырь от бедствия и срама. «Бояре — дубы раскидистые, а народишко — прах земли» — говаривал его отец, хозяйственный и хитрый боярин. И сам князь Григорий с младых лет привык видеть всех тягльцов и холопей сквозь эту отцовскую поговорку: уж если они все «прах земли», так и замечать в них ровно нечего. И он их не замечал, как землю, по которой ходил. Но вот эта земля раскрыла перед ним свои недра, — и его что-то задело.

Сначала удивил его Федор Шилор (который, как обнаружилось, совсем не «гость торговый», а бывший беглый), а теперь изумили и даже чем-то испугали Данила Селевин, Петр Слота, Иван Суета и Никон Шилор. За ними воевода увидел и многих других. Он, воевода, главный военначальник, еще и подумать не успел о сохранении целости стен во время боя (самому-то себе об этом сказать можно), а эти тягльцы, никогда не носившие на себе бранных доспехов, уже предугадали это и даже мастеров для этого припасли...

На столыце, покрытом синей с серебром обьярью¹, лежала толстая книга — «Житие Симеона-Дивногорца», раскрытая на первой странице. Воевода видел крупные изукрашенные золотом и кивноварью заставки и заглавные буквы

¹ Муаровая шелковая ткань.

начальных строк: «Благословен бог, иже вся человеки хотяй спасти...» Он давно хотел прочесть эту книгу и сегодня получил ее по личному повелению самого архимандрита из «большой шкапы» монастырского книгохранилища. Но читать охоты не было. Он машинально повторял вполголоса: «...хотяй спасти, хотяй спасти...»

И вновь, и вновь возвращались думы воеводы к народу, с которым заперт он был в крепостных стенах, и каждый раз его уверенность в воинских качествах осажденных русских людей сливалась с смутным беспокойством, что «людишки возгордятся», почувствуют себя не «прахом», а «солью земли»...

В ночном воздухе звучала музыка, доносившаяся из польского лагеря. Обычно там играли веселые, плясовые мотивы, большей частью мазурки (князь неплохо распознавал иноземные мелодии), а сегодня музыка была гремячая, очень бурная. Переливы труб, гром барабанов и литавр бешеной стаей неслись в ночь.

Воевода с тревогой думал о кормлении защитников, о запасах в житницах, о погребях и, наконец, должен был признаться, что в таком трудном положении еще не бывал никогда. Жизнь показалась ему сложной и запутанной.

«Эх, батюшко-царь, Василий Иванович, на лихое место послал ты меня!» — горько думал князь, беспокойно ворочаясь на пуховиках.

В день, когда князь получил грамоту на воеводство, царь Василий вызвал его к себе, допустил к руке, подал со своей руки перстень и сказал: «Ино послужи, князь, поспешествуй славе престола российского!» Ох, как-то удастся сохранить эту славу?

Воевода проснулся от грома, который частыми раскатами рвался над его головой. Вмиг он все понял и скатился с постели: то стреляли польские пушки.

Нахлобучив на голову шлем и еле застегнув охабень, Долгорукой побежал на стены.

Было 3 октября 1608 года. Заря только занималась; с бурого неба брызгал дождик, на берегу пруда косямато пылал стог сена.

Едва Долгорукой поднялся на верхней бой, как увидел пушкаря Федора Шилова, который уже распоряжался около большой медной пушки, прозванной «Змей». От сотрясения пушечного дула, установленного между стенными зубцами, крошился кирпич, и крупная рыжая пыль летела в лицо. За зубцами хоронились стрельцы. Они падали по врагу из узких каменных щелей.

Воевода обошел сначала стены верхнего боя. Он видел, как стреляют из скорострельных или полуторных пищалей, из гафуниц и мозжир, из длинных кулеврин, из зажимных и дробовых «замковых» пищалей, из камнеметов.

Потом Долгорукой обошел средний бой и хотел уже подняться на Пятищюкую башню, как вдруг кто-то окликнул его. Князь круто обернулся и увидел задыхающегося, в распахнутом, прорванном на плече зипунишке, Петра Слоту. Отчаянный взгляд быстрых черных глаз и лихорадочное движение губ настойчиво требовали, умоляли о чем-то.

— Чего надобно-о-о? — заорал воевода.

— Беда-а! — закричал ему в ухо Слота. — Ляхи в Западную стену дуже бьют... а она вовсе утла и ветха-а!.. Пробоины надобно, не мешкая, чинить, а старец Макарий кирпича не дает... А мешкать с Западной никак не мочно... Поди хоть сам глян, боярин!..

Воевода повелительным жестом отослал Слоту вперед и прибавил шагу. Ночные думы вспомнились ему.

Хмурясь, он подумал, что сейчас придется срочно требовать у этого выжиги Макария всякого строительного добра, чтобы предотвратить разрушение «утлой» Западной стены.

Неподалеку от Житничной башни занялась крыша одной из иноческих келий. Нескольким седобородым инокам неумело тушили пожар, больше обливаясь водой, чем попадая на огонь.

«Неумехи!» — сердито подумал Долгорукой. Он хотел было податься в сторону, как вдруг в толкотне наткнулся на что-то плотное плечо.

— Здрав будь, воевода! — зычно прокричал сквозь грохот знакомый голос келаря Симона Азарьина. Келарь насмешливо двинул плечом в сторону иноков, суетящихся вокруг кельи. — Лестницу приставьте, отцы-ы... Лестницу-у-у! — опять закричал он, энергичным движением показывая, как это сделать.

Долгорукой решил обратиться со своей просьбой к Азарьину, чтобы не разговаривать с неприятным ему Макарием. С Азарьиным воевода встречался редко, но его неизменно привлекал к себе этот энергичный тридцатилетний человек с широкоскулым матовым лицом и умными темносерыми глазами, которые смеялись чаще, чем его твердые бледноватые губы.

Долгорукой рассказал ему, что творится на Западной стене. Азарьин радушно согласился помочь и тут же велел двум здоровякам-служкам поднять на стены кирпичи, известь и глину.

Едва Долгорукой с Симоном Азарьиным взобрались на верхний бой Западной стены, как крайний к ним зубец разлетелся вдребезги, словно он был стеклянный. На их глазах ранило в шею Данилу Селевина. С остервенелым лицом человека, которому мешали среди самой горячей работы, Данила одним махом вырвал из своей рубахи целое полотнище, торопливо обвязал себе шею и бросился опять к бойницам.

Симон Азарьин выразительно кивнул воеводе — вот-де служба-то, сразу к военному делу пристал.

Прибежал Никон Шилов, осыпанный рыжей кирпичной пылью. Его круглое в мелких оспинках лицо почти счастливо улыбалось, когда он на бегу показал свои вымазанные свежей известью и глиной руки.

Как-раз против двух убитых стрельцов, — которых голова к голове положили вдоль стены, выходящей во двор, — возвышалась богатырская спина Ивана Суеты. Его широкие плечи равномерно

двигались, а руки быстро взбивали серо-белую массу. Зачерпнув на лопату известкового теста, Суета неспеша скинул его обратно в бадейку, потом потрогал пальцем и довольно мотнул льяной головой. Потом он знаком призвал Никона Шилова и Петра Слоту: дескать, берите, сколько надо.

В большую пробойну на уровне груди Ивана Суеты было видно, как ляхи и воры стягивали все новые отряды к Западной стене. Среди укреплений все гуще мелькали разноцветные шапки, кунтуши; сверкали сабли, щиты, кольчуги, копыя, шлемы. Вмазывая в пробойну кирпич, Иван Суета увидел отряд мушкетеров, которые важно строились, ожидая команды. На их широкополых шляпах развевались белые перья, будто все голуби с крепостных башен перелетели к этим спесивым молодчикам.

Иван вспомнил окрестные леса, рябцев и тетеревов, которых метко бивал на охоте со стрелецким головой Васильем Бреховым. Мушкетеры, должно быть, были твердо уверены, что никому не уйти от их мушкетов и что на троюцких стенах не найдется таких стрелков, которые могли бы достать их. Начальник мушкетеров разговаривал с каким-то важным ляхом. Тот, сидя на белом коне, указывал на Западную стену. Мушкетеры же, охорашиваясь, играючи, вскидывали свои мушкеты. Охотничье сердце Ивана Суеты буйно и гневно разыграло. Он схватил брошенное убитым стрельцом ружье и, целясь в самую середину отряда, выстрелил. Ряды мушкетеров сразу сбились, и Иван Суета выстрелил опять.

Стрелецкий голова Василий Брехов, высокий, сухопарый, и, не глядя на свои сорок лет, легкий, как мальчонка, потянувшись за пыжом, увидел, куда стреляет Иван Суета, — и махнул пидальником. Разом грянули четыре длиннотулых кулеврины: «Василиск», «Шарфмец», «Игрец» и «Ящерка». На месте нарядного мушкетерского отряда задымилась груда взметенной земли.

А Иван Суета, увидев неподалеку новую пробойну в стене, подхватил все

свое немудрое имущество «мастера каменных дел» и направился туда.

Никон Шилов и Петр Слота опять очутились рядом с ним. Едва успели они заделать пробоины, как прибежал стрелец с новыми тревожными вестями: вражеские пушки в нескольких местах пробрили средний пояс Западной стены.

Иван Суета отправил туда Никона Шилова и Слота. Показывая свои могучие ладони, он рокотал сквозь пушечный грохот:

— Аль я один с такими заплатами не управлюсь?..

Никон Шилов и Петр Слота спустились на средний бой.

Иван Суета работал, забыв о времени, о еде и об усталости, озабоченный только тем, чтобы хоть на сегодня заделанные им большие и малые пробоины в стене не подверглись разрушению,—известковый состав его приготовления уже через день затвердевал, как кость. Временами приходилось прерывать работу, брать самопал и стрелять в врагов, появившихся на крепостном валу. Надо было также поднимать раненых, которых монастырские служки тут же уносили в больничную избу, принимать последний вздох и взгляд сраженных вражеским ядром.

Было уже за полночь, когда Иван Суета почувствовал, что его пальцы пронзают странная дрожь. Он отнял руку от стены, и дрожь прошла. Начал вмазывать кирпич, и дрожь в пальцах появилась снова. Он понял: это дрожала стена. Она тряслась мелкой дрожью эта стена,—защита трех тысяч человек. Вокруг него все грохотало, гремело, будто небо лопалось, раскалывалось на части. Суета чуял, как дрожит и сама земля, потревоженная пушечным огнем и гудом. Его широкая грудь вдруг наполнилась ужасом.

Никон Шилов и Петр Слота, работавшие на стене среднего боя, тоже заметили, что старая кладка дрожит и осыпается. Оба тревожно переглянулись, и руки их заработали еще быстрее.

Данила Селевин видал высоко над головой слабое сияние голубизны,— то

ветер очищал небо, рассеивая пороховые облака. Голубое ядрышко росло на глазах, наполнялось силой и светом. И тут вдруг теплая дурманная истома разлилась по телу Данилы, и сам он, весь легкий, потянулся навстречу этому свету и ветру...

Как во сне, донесся до него голос стрелецкого головы Василья Брехова: — Держите его, ребята... держите!..

Данила вдруг глотнул чего-то липкого, солоноватого и смутно понял, что это кровь. Он хотел было попросить, чтобы ему утерли губы, но тут же мягко провалился во тьму.

★

Когда миновал первый приступ страха, Ольга пошла искать Данилу. Она обошла стены, но в дыму ничего нельзя было разглядеть. Со стен уносили мертвых и смертельно раненных. Многие, по стародавнему обычаю, просили постричь их, чтобы умереть в иноческом чине.

Их несли прямо в Успенский собор, спешно совершали обряд пострижения и надевали монашескую рясу— часто уже на мертвое тело. Среди них Данилы не было.

Наконец Ольга встретила просвирника Игната. Он шел со стены, взлохмаченный, потный, с измазанным гарью и пороховой пылью лицом. За эти десять дней жизни в крепостных стенах Ольга успела узнать всех друзей Данилы.

— Дяденька Игнат! — обрадовалась она. — Никак на стены ходил?

— Ходил, молодка, ходил! Просфорок горяченьких снес нашим соколам!..

— Дяденька Игнат, — взмолилась Ольга, — видал Данилу Селевина?

— Эко, хватилася, молодка! Его в больничну келью унесли. Там он ныне...

Но Ольги уже ч след простыл.

В больничной келье она сразу узнала Данилу. Он лежал, закинув голову и смежив глаза. Молоденький служка.

и старый монах-лекарь неловко стаскивали с Данилы намокший от крови стрелецкий кафтан.

— Умучаете вы его, недосилки!.. — вспылила Ольга и бросилась к его бесчувственному телу. Ловкими руками она сняла с Данилы кафтан и перевязала раны. Данила был ранен дважды: в шею и плечо. Монах-лекарь сказал, что раны «не зело опасны, токмо кровушки много вытекло».

Ольга, не отводя глаз, смотрела на лицо Данилы, на почерневшие от жара губы. Вдруг ей показалось, что он не дышит. Она припала ухом к его груди—и замерла. Сердце Данилы стучало горячо и часто, словно торопясь работать наперекор всему.

— Загостилися ты, молодица... — прешамгал монах-лекарь.

— Не гони меня, отче, не гони...

— Муж он тебе аль брат?

— Муж!.. — прошептала Ольга и еще жарче повторила: — Муж, истинно!..

Сполошный колокол уже перестал гудеть. Пушечная пальба все резче взрывала вечерний воздух. Крики и стоны людские все глуше доносились с обширного двора. Страшный кровавый день кончался.

Несколько крупных капель стукнули в окно и тут же замолкли—случайный, неверный дождь. И сама тишина была неверной, ненадежной, но и она была благословенна. Ольга и Данила были словно одни в мире. Ее руки обнимали его, она слышала стук его сердца, ощущала жар его тела. Его сомкнутые уста и очи хранили бесчисленное множество слов и взглядов, предназначенных только для нее. И как же она могла хоть на минуту оторваться от него, когда в жизни ей только он один был нужен!.. Вина ее перед ним вдруг показалась неопуной, даже если б она всю кровь свою отдала ему.

— Выхожу тебя, милой, моленой ты

мой!—шептала Ольга, меняя сохнущую повязку на его пылающей голове.

Вдруг на соседней постели кто-то простонал:

— Пи-ить!

Ольга вздрогнула, огляделась. Ни старого монаха, ни послушника в келье не было.

— Пи-ить... — еще жаднее простонал голос.

Ольга нехотя встала, зачерпнула квасу и подала кружку в чьи-то дрожащие руки, такие же горячие, как у Данилы. Пожилой стрелец, раненный в ногу и руку, сляясь приподняться, опять упал на подушку.

— Кто тут жив-человек... поднеси квас-от... богом молю!..

Ольга поднесла питье к его пересохшим губам. Раненый жадно пил частыми глотками, а Ольга плечом поддерживала его грузное тело. Только он напился, чей-то осипший от боли и жара голос тоже попросил пить. Потом кто-то умоляющим голосом попросил сменить повязку, кому-то надо былоправить подушку, кого-то надо было укрыть, — вокруг Ольги и Данилы кипел страдающий, истекающий кровью мир. Ольга ходила от постели к постели, будто она была милосердным другом и сестрой всех этих окровавленных в бою людей.

Всю ночь Ольга проходила между ранеными. Данила спал тяжким сном, плотно смежив веки. Ольга припадала головой к нему на грудь, слушала горячий стук его сердца, но, едва кто вскрикнет, — отходила от своего единственного и шла облегчать боль неизвестному человеку. Наконец, присев на скамью, Ольга заснула.

Ее разбудил шум. Железная рама слюдяной оконницы распахнулась от ветра и стучала о стену. Солнечный, погожий рассвет входил в комнату.

Данила лежал на боку и смотрел на Ольгу сияюще-испуганными глазами, словно не веря, что видит ее наяву.

(Окончание следует.)

Храбрость

Рассказ

П. И. ЩЕГОЛЕВ

★

Двадцать лейтенантов, только-что прибывших на фронт, в ожидании назначения расположились под прикрытием небольшого холма, неподалеку от штаба соединения. Двухдневное безделье испортило им настроение, и они склонны были повсюду видеть нежелание «кого-то» дать им возможность поскорее сцепиться с врагом: из училища их отправили с большой поспешностью, а здесь, на фронте, в течение целых двух дней они не могут попасть в части!

Командование обещало отправить лейтенантов в части вечером. Но время тянулось очень медленно, и молодые командиры, разделившись на несколько групп, вновь пошли осматривать «окрестности», — в щелях им не сиделось.

Неподалеку, зарывшись в землю, стояла батарея. Подошли к ней. Боец, стоящий около входа в яму, вежливо, но настойчиво предложил любопытным лейтенантам отойти в сторону; те обиделись, но подчинились необходимости. Подошли к кухне; получили у занятого своими делами повара тот же неласковый прием. И только в щели, занятой доктором, лейтенантов ждала более радужная встреча. Завязался разговор.

— Скучненько на войне-то, — говорил доктор, — надоело ждать? А вы не спешите! На войне поспешишь — врага насмешишь. Успеете еще испачкать ваши новенькие мундирчики. Я, конечно, сочувствую вам, но рекомендую все-таки сидеть в щелях: с одной

стороны, противник не дурак, — заметит, по голове может стукнуть, а с другой стороны, начальство увидит — неприятности могут быть.

— Мы не трусы, — угрюмо ответил лейтенант Курбатов, — и не затем приехали, чтобы тереться по щелям. Особенно тогда, когда и необходимости в этом нет...

— А я разве сказал, что вы трусы? — хитро прищурился, ответил доктор. — Вы, я бы сказал, чересчур храбры. В этом, пожалуй, самая большая беда...

Курбатов, как многие здоровые и физически крепкие люди, почему-то недолюбливал медицинских работников. Сам он относился к тому разряду молодых людей, о которых принято говорить, что они «в сорочке родились».

До 22 лет жизнь его текла размеренно и плавно. Единственный сын всеми уважаемого рабочего-металлиста, он с раннего детства тоже пользовался всеобщим вниманием и любовью. Обладая недюжинными способностями, Курбатов преуспевал в учебе. Избрав своей специальностью военное дело, он легко и уверенно двигался вперед, опережая товарищей. Это развило в нем некоторое самомнение. И, конечно, слушать теперь поучения какого-то гражданского врача ему было неприятно.

— А что, доктор, вы всю войну собираетесь просидеть в щели? — выпалил он. — Плохие вы вояки!..

Лейтенанты захохотали:

— Правильно! Вечно они сзади околачиваются...

Доктор не обиделся и, улыбнувшись, ответил им в тон:

— Мы народ миролюбивый, нам, «касторке», и убивать-то не разрешается. Были, правда, и среди нас лихие люди — на Хасане в атаку ходили по недосмотру начальства. Но ведь это не наше дело — гранаты бросать, да штывком брюхо вспарывать. Эту честь мы охотно уступаем вам. А вот если кому-нибудь из вас пальчик ушибет, мы повязочку, так и быть, соорудим...

Веселый розовощекий лейтенант немного снисходительно спросил:

— А был ли у вас, доктор, хоть какой-нибудь значительный эпизод во время этой войны? Ведь вы уже два месяца здесь!

— Нет, — простодушно ответил доктор, — не героическая я личность, — вы же сами отметили это. Но, вы знаете, и среди медиков есть славный народ. Вот пример — мой товарищ. Я вам сейчас прочту, что ему пишут.

Доктор достал из искусно вделанного в землю ящика пачку писем. Вынув одно из середины, он прочел:

«Еще раз, дорогой Семен Петрович, от души желаю вам много здоровья. Поверьте, я никогда не забуду того часа, когда вы, не обращая внимания на кружившую над головой смерть, вырвали меня из лап врага и спасли мне жизнь. Я быстро поправляюсь: ем, сплю, отдыхаю, хожу гулять. Еще раз желаю вам здоровья, дорогой Семен Петрович. До скорого свиданья. Берегите себя. Преданный вам старший лейтенант Козлов».

Бережно сложив письмо, доктор сказал:

— Вот какие письма пишут моему товарищу. Он там, — показал доктор в сторону передовых линий, — а письма он отдает мне на хранение. Ему часто приходится прыгать с места на место — боится потерять.

Помолчав, он добавил, улыбнувшись:

— Как видите, нелюбовь к «кастор-

ке» иногда сменяется нежной привязанностью.

— Бывают и такие, — неохотно согласился Курбатов, — но ведь таких лишь изредка встретишь...

Доктор продолжал:

— Или вот, есть еще у нас санитар один — Вася Жмурин, великолепный паренек!..

В щель спрыгнул связной и доложил:

— Товарищ врач! Взорвана левая переправа; за переправой скопились раненые, их обстреливают из пулемета.

— Машину, — негромко сказал доктор.

За бугром заработал мотор, и из хорошо замаскированной ямы выскочила крытая брезентом полторатонка.

— Вы уберите здесь все, а я поеду, посмотрю, что там случилось, — обратился доктор к помощнику, — а вам, герои, советую разойтись — беду накличете!

Доктор уехал. Лейтенанты разошлись кто куда. Опротивели им щели, — надоело без конца стряхивать песок с новеньких гимнастеров и брюк. Поговорить было не с кем; в штаб, где можно было кое-что узнать, ходить запретили.

— Там воюют, а мы без дела шляемся... Надоело, — ворчали молодые командиры. — Когда же?..

«А врач — чудака. Не ему ли пишут такие письма? — подумал Курбатов. — Нет, что-то не похоже — вялый он какой-то, сидит в норе, бумажки перекладывает с места на место... Ему говорят — раненых расстреливают, а он продолжает нравоучения читать. Будто его не касается! Мораль читает... Что мы на самом деле — дети, что ли?..»

Дальнейший ход мыслей прервал сигнал на обед. Лейтенанты окружили походную кухню, загремели мисками — для них это было хоть каким-нибудь развлечением.

— Товарищи командиры, тише! Нельзя так, по одному подходите. А то и вас пристукнут, и обед мне испортите, мне штаб еще кормить надо, — ворчал повар, разливая в миски жирный суп.

Внезапно зазвенели удары о пустую гильзу снаряда, и с разных сторон послышались приглушенные голоса: «По щелям!» Повар захлопнул крышку кухни, легко соскочил с подножки и исчез в щели. Лейтенанты, — трое с супом, а остальные с пустыми мисками, — разбежались в стороны. Уже много раз за эти два дня — как им казалось, зря — объявляли «воздух», — вражеские самолеты ни разу не залетали сюда, отгоняемые где-то далеко бьющей зенитной артиллерией. Но теперь на горизонте, густо окруженный белыми облачками взрывов, показался чужой самолет.

Летчик, видимо, был с крепкими нервами, — окруженный тесным кольцом взрывов, он продолжал лететь на небольшой высоте. Лейтенанты присели. Почти над головами у них самолет развернулся и полетел обратно, зенитчикам не удалось его сбить. Получив суп и вкусный гуляш, лейтенанты расселись на траве обедать.

К кухне подъехала машина, из нее вышел врач.

— Ну, как обед сегодня? — устало спросил он.

— Как будто ничего, товарищ врач, — ответил повар, — зелени нет, из-за этого плохо. Гуляш я диким чесноком приправил, надоел сушеный лук. Вам дать покушать?

— Не очень хочется, жарко. А, впрочем, пообедать все равно надо, неизвестно — придется ужинать или нет...

К врачу подошла группа лейтенантов. Он приветливо улыбнулся.

— Покушали? А, правда, наш повар неплохо готовит? Он в ресторане «Медведь» до призыва работал. Ворчит только, что специй нет, да боится — кухню подстрелят. Ну, я пойду кушать в щель, там спокойнее. Да и повару мешать не стоит.

Лейтенантам хотелось узнать, что делается на линии огня, — несколько человек последовало за врачом.

— Ну, как, товарищ врач, удалось вывезти раненых? — спросил Курбатов после того, как тот удобно уселся в щели.

— Удалось. Двенадцать человек скопилось около переправы. Пока я при-

ехал, Вася Жмури́н, — тот самый, о котором я вам давеча начал рассказывать, — почти всех их переправил на другой берег. Он очень остроумно придумал: резиновая лодочка вмещает только двоих, а он клал в нее троих и сам толкал ее вплавь, — так он сэкономил четыре рейса. А ведь это при непрерывном пулеметном обстреле существенно. Хороший паренек. Этот Вася Жмури́н...

— А вы где ухитрились так вымокнуть? — спросил один из лейтенантов, заметив на враче невысохшую одежду.

— Это по неосторожности, — смущенным голосом ответил врач, — чуть не утонул, хорошо, что было неглубоко. Видите ли, противник, заметив мою машину, усилил пулеметный огонь и для большей убедительности добавил артиллерийского. Я и спрятался под бережком около самой воды. Уцепился за кустик и сажу. Сажу я так, удобно устроившись, как вдруг овод вцепился мне в шею. Я, надо вам сказать, не выношу боли, и чуть не заорал. Хватил правой рукой за шею, а веточка, которая была в левой, возьми да обломись. Я и полетел в воду...

Ездивший с врачом шофер, слушая эту историю, улыбался. Не раз, вернувшись из опаснейших поездок по фронту, он слышал, как доктор виновато рассказывал о своих удивительных незадачах.

«Ну, и типец, — решил Курбатов, — ему поручают жизни людей, а он в воду шлепнулся... За кустиком просидел, пока Вася Жмури́н раненых перевозил! Противная шляпа».

Теперь Курбатов не мог без неприязни глядеть на самодовольно чавкающего доктора, на его лоснящиеся жиром губы, на крупинки гречневой каши, повисшие на усах.

«Попадись мне такой там, боюсь, что не сдержусь» — зло подумал Курбатов.

— А теперь можно и соснуть часок; плотный обед требует по русскому обычаю горизонтального положения, — вытирая усы, сказал врач. — Покурим и набоковую. И вам, товарищи лейтенанты,

рекомендую то же сделать. Поспать на войне — премилое дело!..

Еле сдерживая себя, Курбатов без всякой цели пошел бродить по степи. Буйный восторг, с которым он приехал сюда, сменился мрачной злобой. Хотелось на ком-нибудь ее выместить. Навстречу, пригибаясь, шел капитан, принимавший их в штабе. Увидев Курбатова, он приветливо улыбнулся и спросил:

— Что вы какой мрачный, товарищ лейтенант?

— Надоело до чортиков, — отрезал Курбатов. — Когда будете отправлять?

— Успокойтесь, все в свое время. Спешить некуда.

— Спешить некуда!.. Здесь сдохнуть можно с тыловыми крысами.

— С кем? — насторожился капитан.

— Да хотя бы с вашим доктором... Чудак какой!..

— Что это вы с ним не поладили? Он у нас ничего, дельный, — улыбаясь, ответил капитан.

— Какой, к черту, дельный, — сидит в норе, да еще поучает. Поехал за ранеными, — в воду свалился. — И Курбатов с раздражением передал все, что слышал от врача.

— Так... так... Это с ним иногда бывает. Ничего, познакомьтесь поближе, измените о нем свое мнение. Командир дивизии уважает и ценит его, — подчеркнул сказал капитан.

— А может, он не видит всего?

— Ах, вот оно что... Ну что ж, при удобном случае доложите командиру дивизии сами. А пока-что ждите приказа и, как говорят, не рыпайтесь!..

Перед заходом солнца лейтенантов позвали к начальнику штаба. Дав назначения, начальник штаба сказал:

— С этой ночи вы получите подразделения, вам ввернутся жизни людей — наших советских людей, ввернется участок фронта, на котором вы будете выполнять боевую задачу, ввернется неприкосновенность границ родины, на которую посягнул враг. Решая боевую задачу, не горячитесь, не зарывайтесь. Вначале осмотритесь, взвесьте все, а потом действуйте. Помните, что уме-

реть зря, не обеспечив выполнения боевой задачи, — это то же самое, что совершить предательство.

Начальник штаба взволнованно оглядел молодых лейтенантов и закончил:

— Желаю вам успеха. Сейчас вас отвезут в ваши части... Доктор, — сказал он, — вы поедете в Третий полк, заберите с собой десять человек. Остальные поедут на другой машине.

Курбатова назначили в Третий полк, и ему не очень то хотелось ехать с врачом, но пришлось подчиниться.

— Пошли, — сказал врач.

Шоферу он приказал снять верх с машины:

— Так будет лучше. И лейтенантам виднее, и спокойнее ехать; выгоревший брезент подвечер за сто километров видно. — Лейтенанты шумно разместились в машине. Один Курбатов чувствовал себя неловко, он не мог побороть неприязненное чувство к врачу.

До позиции полка было километров двадцать. Машина быстро катилась по гладкой степной дороге, кое-где искусно лавируя между воронками от снарядов.

Перед спуском к реке случился небольшой казус, вначале испугавший, а потом развеселивший лейтенантов. Неожиданно по спуску к реке начала бить неприятельская батарея. Курбатов жадно глядел на столбы дыма и земли: вот она, линия огня! Наконец-то фронт... Вдруг машина сделала резкий поворот, кузов отбросило в сторону, и он повис над обрывом. Лейтенанты посыпались в грязную лужу. Почти около самых передних колес разорвался снаряд.

— К машине! — быстро скомандовал доктор. — Подтолкните сзади кузов.

Под напором десяти грязных молодых легкая полторатонка мгновенно стала на дорогу. Лейтенанты вскочили в кузов, шофер дал газ, и машина вновь покатила по лугу к переправе.

Только теперь дошло до сознания лейтенантов, что купание в грязной луже спасло нескольких из них от верной смерти. Сделай шофер поворот секундой позже, снаряд угодил бы под колеса.

— Ну и чутье... Так вывернуть машину — надо уметь, — сказал Курбатов.

Осмотрев машину, лейтенанты обнаружили в бортах три дыры, пробитых осколками.

За переправой, под бугром, машина остановилась.

— Приехали; можете вылезать. Осторожно идите вон по той тропинке, — указал доктор рукой на кусты, — до штаба километр. Вас там, наверное, уже ждут. Приехали во-время. Запоздай мы минут на десять, — сидеть бы до ночи. Видите полетели? — указал он в небо, где виднелось десятка два самолетов. — Сейчас начнут куролесить!

Лейтенанты, мокрые, грязные, но довольные, веселой гурьбою направились в штаб. Врач побрел на медпункт, закопанный недалеко под бугром. По берегу реки беспорядочно била артиллерия противника. Вражеские самолеты возвращались обратно, преследуемые нашими истребителями. Один из них, написав в воздухе огнем огромный восклицательный знак, догорал на лугу. По реке стлался едкий дым.

Лейтенанты добрались до штаба благополучно. Встретивший их начальник штаба ахнул и беззвучно расхохотался.

— Где это вы вывозились? Вы же бойцов перепугаете! С кем вы ехали? Ну, как я вас представлю полковнику в таком виде?

Курбатов рассказал начальнику штаба о дорожном приключении.

— Хорошо, что вы с доктором ехали, он везде сумеет проскочить, мастер на этот счет! А приехали вы как-раз во-время; если бы застряли, испортили бы нам всю музыку. А теперь—по местам! Сегодня ночью вам придется делом заняться...

У Курбатова радостно сверкнули глаза. Сознание того, что сегодня ночью он будет на передовых линиях, кружило голову, поднимало в высь. Доктор с его несносными поучениями отодвинулся куда-то далеко.

— Чорт с ним! В конце-концов, больше мне с ним не сидеть в тылу, — зря только тогда погорячился...

Курбатов получил взвод во втором батальоне. Наутро ожидалась атака противника; батальон готовился к контрудару. Командир батальона, разобрав задачу, предупредил новичков:

— Продумайте все до мелочей. Дайте хорошенько отдохнуть бойцам, не дергайте их зря, да и самим при первой возможности не мешает соснуть...

Получив задачу, Курбатов вызвал командиров отделений и долго объяснял им, что они должны будут делать... По мере того, как он излагал задачу, уверенность его покидала: не приложенные к конкретной действительности, прекрасные уставные положения теряли убедительность, а обстановки Курбатов пока еще не знал. Как ни старался, он не мог разглядеть не только объекта контратаки, но и бойцов своего взвода. Чтобы хорошенько осмотреться, он на мгновение высунул голову и сейчас же услышал свист пуль; около самой головы задымился песок.

Перед глазами расстилалась степь, поросшая редким мелким кустарником. Местонахождение вражеского пулемета, который должен будет захватить утром его взвод, он не мог определить даже приблизительно.

«Это не маневры, — подумал он, — там как ни маскируются, а все же кто-нибудь чихнет, кашлянет, кусты задвигнутся, котелок загремит, — быстро поделишься. А здесь — как будто все вымерло...»

Из первого отделения приполз связанной и доложил:

— Товарищ командир, справа от нас за кустом движение.

«Чорт его знает, что делать с этим движением» — мысленно выругался Курбатов, а связанному приказал: «Наблюдайте».

— Есть наблюдать, — ответил связанной и исчез.

Курбатов донес командиру роты и получил короткий, предельно ясный ответ:

— Наблюдайте. Если один, двое, — пропустить и взять живьем, если больше, — уничтожить...

«Вот балбес, — выругал себя Курбатов, — простую задачу не мог решить».

Когда стемнело, Курбатов решил поближе познакомиться с расположением взвода и пополз с командиром первого отделения. Командир отделения, прослуживший здесь уже два месяца, ползал не хуже ящерицы. Курбатов, стараясь не отставать от него, исцарапал в кровь руки. Все же после обхода он довольно определенно представлял себе расположение отделений.

Ночью Курбатов заснуть не смог. В разгоряченной голове возникали самые разнообразные комбинации предстоящей атаки. На рассвете местность начала оживать; еле заметно задвигались кусты. Курбатов отчетливо увидел, как из-за одного бугорка высунулся ствол винтовки. Кое-где задвигались кочки.

«Готовятся» — подумал он.

И сразу же тишину прохладного августовского утра задушил грохот: вражеская артиллерия начала подготовку, наша ответила.

Справа от Курбатова, захлебываясь, загрещал пулемет. Куст, торчавший против него не более чем в трехстах метрах, ответил огнем. Снаряды стали ложиться совсем близко, — враг стремился подавить огневые точки взвода Курбатова.

«Вот он, мой пулемет! — жадно всматриваясь в стреляющий куст, радостно думал Курбатов. — Цель найдена, теперь осталось ее взять».

К Курбатову явилось потерянное за ночь самообладание.

Бойцы спокойно ждали.

— Огонь, — скомандовал Курбатов.

Заработали еще два пулемета.

Враги залегли. Но тут же раздаются крики:

— За-а-а-й-й-й... з-з-а-а-й-й-й!

И снова на Курбатова бегут маленькие фигурки в аккуратных мундирчиках цвета хаки.

У Курбатова перехватило горло; нечем стало дышать; язык облизал сухие губы. Глаза ничего не видели, кроме бегущих фигурок да куста, из-за которого все еще стрелял вражеский пулемет.

Бегут... падают... опять бегут... уже близко...

— Ура-а-а-а... — рванувшись вперед, закричал Курбатов. — За родину!.. За Сталина!..

Вот перед глазами изуродованное страхом лицо врага... Стрельнул — и побежал мимо. Вот он и куст... Полетели гранаты... одна... другая... откуда-то третья... четвертая... Вой... Визг... И вдруг все стихло...

Курбатов вытер рукавом потное лицо и тут только заметил около себя командира первого отделения и нескольких бойцов.

«Что же дальше?.. — мелькнуло в голове. — Ах, да... — И Курбатов скомандовал: — Ложись... окопайся.

Взвод залег.

Через минуту команда из роты:

— Отойди на прежнее место.

Курбатова и других командиров вызывал командир батальона. Разобрав выполнение задачи, он сказал:

— Хорошо, очень хорошо, товарищ Курбатов, — задача вами выполнена полностью. А каковы ваши потери?

На этот вопрос Курбатов ответить не мог. Оглушенный атакой, он все еще был во власти нахлынувших ощущений и не поинтересовался тем, что делается во взводе.

— А вот это плохо, — строго сказал командир. — Кто бросает своих людей в бою и не интересуется, что с ними после боя, — плохой командир. В таких условиях его личная храбрость и преданность могут свести к нулю общие успехи. Исход боя решает не только личная храбрость командира, но и организованное мужество бойцов. Идите, товарищ Курбатов, приведите в порядок взвод, доложите командиру роты и можете отдыхать. После такой трепки враг вряд ли попытается предпринять что-либо существенное...

Во взводе трое были ранены и один убит. Курбатов обошел всех бойцов, у каждого спросил о самочувствии и у каждого получил стереотипный ответ: «Хорошо». Необходимого сближения еще не было, бойцы держались как-то настороженно. Курбатов случайно услышал, как двое, разговаривая о новом командире, так охарактеризовали его:

«Храбрый, хороший парень, но бестолковый: с ним попадешь в кашу».

Курбатов весь день находился под впечатлением своей первой атаки, которая открыла ему глаза на многое, до сих пор не известное, и вместе с тем разожгла огонек тщеславия. Хотелось чем-то отличиться, показать, на что он способен, а способным он себя считал на многое. Замечания командира батальона глубоко его не задели. Опасность не пугала, он просто не был знаком с ней. Молодое двадцатидвухлетнее тело испытывало лишь тоску по движению, особенно тогда, когда оно на многие часы было втиснуто в узкую щель.

Опасность все же пришла. Курбатову пришлось перенести и мучительную физическую боль, и ужас одиночества.

Случилось это так.

Против его взвода противник произвел местную провокационную вылазку. Не сдержавшись, Курбатов поднял взвод для контрудара. Враг побежал, Курбатов бросился его преследовать и, когда вражеские окопы уже можно было хорошо различить, взвод в упор был встречен уничтожающим пулеметным огнем. Бойцы откатились, Курбатов свалился между линиями, ближе к вражеской стороне. Пулей пробито ногу.

Потеряв возможность двигаться, испытывая мучительную боль, Курбатов первый раз в жизни почувствовал себя беспомощным.

«Теперь и ребенок справится со мной» — подумал он грустно.

При падении пистолет отбросило в сторону, воспользоваться им Курбатов не мог. Свои далеко, — сумеют ли помочь, да и знают ли они, что лейтенант жив? Курбатову мучительно хотелось жить; ему стало жалко себя, на глаза навернулись слезы отчаяния. Если бы остаться в живых, — сколько бы он еще сумел сделать!..

Командир батальона и рядом находившийся врач искали выхода из создавшегося положения. Отдать Курбатова врагу они не могли. Надо было спасти Курбатова во что бы то ни стало, но как? Опоздай они, — и враг добьет

его или утащит живьем, что в тысячу раз хуже.

— Ну что же делать? — в сотый раз повторял командир батальона. — Послать санитаров — наверняка убьют: местность открытая, головы нельзя поднять...

Доктор заметил, что со стороны противника к Курбатову поползли четверо, — значит, решили взять лейтенанта в плен.

— Вася, — дрогнувшим голосом сказал врач Жмурину, — надо огнять у них Курбатова!

— Есть огнять! — коротко ответил Жмурин и, извиваясь, пополз.

Враг не стрелял, видимо, решили вместо одного взять в плен двоих. Жмурин полз быстро. Но четверо были уже почти рядом с Курбатовым.

Лейтенант отчетливо видел их. Судорожно сцепившись пальцами в землю, он следил расширенными глазами за их движением. Созрело единственно правильное в его положении решение: пересиливая боль, он пополз к пистолету.

Лишь бы не потерять сознания! На помощь своих Курбатов уже не рассчитывал. Только бы добраться до пистолета, — эта мысль владела всем его существом. И вдруг, повернув голову, Курбатов увидел Васю Жмурина. У него закружилась голова, и он, сразу обессилев, припал к земле.

Курбатова и Жмурина разделял всего десяток шагов. Санитар, выпрямившись во весь рост, послал в четверку врагов две гранаты. Враги, не ожидавшие такого смелого удара, на мгновение опешили, отскочили. В два прыжка Жмурин был около Курбатова; рывком правой руки он положил раненого на плащ-палатку и укрепил ее подмышками.

Не успел враг сообразить, в чем дело, — Жмурин с Курбатовым перебрался за небольшой бугорок. В догонку им беспорядочно застучали пулеметы.

У командира батальона выступили на лбу крупные капли холодного пота. Врач энергично потер кулаком переносицу, скрылся в кустах, и тогда оттуда с ревом выскочила полугоратонка.

«Что он делает?» — успел только подумать командир батальона, — и машина, прыгая по буграм, уже помчалась к Курбатову. Секундная остановка, и Жмуриин с Курбатовым очутились в кузове. Машина, поливаемая пулеметным огнем, мчалась обратно.

— Огонь! — скомандовал командир батальона приданной батарее. — Высыпать, как следует!

— Есть высыпать, как следует...

И в том месте, где неистовствовали вражеские пулеметы, вздыбилась земля...

— Вот он какой у нас, Вася Жмуриин, — говорил врач с лаской в голосе перевязанному и пришедшему в себя Курбатову, — из любого положения выход найдет! Таких людей очень ценить надо...

Курбатов с изумлением открыл глаза. Над ним склонился тот самый врач, которому он наговорил резкостей несколько дней тому назад.

Доктор примиряюще сказал:

— А я здесь случайно: товарища ранило, временно замещаю его.

Нервы Курбатова не выдержали, он застонал.

— Вот это хорошо, очень хорошо, — забормотал врач себе под нос, комкая руками полу гимнастерки, — дайте ему немного спирту. Передохнет — и в госпиталь. Через месяц он покажет себя. А переплет был опасный. И, пожалуй, хорошо, что он потерял пистолет, — мало ли что могло случиться?..

Курбатов показал себя раньше, чем через месяц. За две недели пребывания в госпитале он настолько окреп, что смог вернуться в часть. Теперь это был уже не тот порывистый и несдержанный юноша, который так нетерпеливо требовал отправки на фронт. Он возмужал, стал серьезнее, солиднее.

В одну из ночей батальон попал в сложную боевую обстановку. Вдруг ранило командира роты, за ним командира батальона. Враги окружали батальон, пытались отрезать его. Связь еще не была порвана. И командир полка приказал Курбатову:

— Принять батальон и вывести из окружения.

У Курбатова чуть трубка не выпала из рук.

— Командовать батальоном, находящимся в окружении?.. Есть!..

Куда прорваться, чтобы меньше было потерь? — вот вопрос, который надо было решить немедленно, и Курбатов решил его по-своему. Первой ротой он ударил в сторону противника, — там, как он и предполагал, было самое слабое место: основные силы враг бросил на разъединение наших частей. За первой ротой в прорыв просочились вторая и третья.

Увидев, что батальон ушел в сторону врага, командир полка сказал:

— Вот это ход! А я боялся, что он будет прорываться к своим и по рукам свяжет нас. Теперь дело в шляпе. Первому батальону обойти справа, третьему слева, танкам ударить в центр, а Курбатов, наверное, догадается встретить. Таким образом, мы окружим противника полностью и уничтожим...

Курбатов, как и ожидал полковник, начал охватывать врага, обеспечив свой тыл небольшим охранением. Танки раскололи вражеские части. Беспорядочно отходивший противник был встречен батальоном Курбатова. Уничтожение полное...

Командующий оценил эту операцию как примерную.

Курбатов вспомнил, как хотелось ему славы после первой атаки, и стало стыдно. Теперь похвалы его смущали, — он был уверен, что каждый командир сделал бы то же самое. Вспомнил доктора и написал ему теплое письмо...

— Зря вы медицину недолюбливаете, хотя здоровой молодости это свойственно, — говорил ворчливо доктор новой группе молодых командиров, — есть и среди нас неплохие люди. Я вам сейчас прочту, что пишут моему товарищу: «...Окончательно признаю, дорогой Семен Петрович, что в состязании на храбрость вы меня победили. Бойцам и командирам при удобном и неудобном

случае я рассказываю о беспримерной вашей и Васи Жмурина доблести. Теперь я знаю, как надо воевать. Если бы вы не вытащили меня тогда, я бы не был тем, чем являюсь сейчас. Преданный вам до конца жизни лейтенант Курбатов».

И врач очень тепло рассказал о том, кто такой Курбатов, что с ним случилось и чем он знаменит. Рассказал он также и о Васе Жмурине, о его многочисленных беспримерных подвигах.

— А кто этот Семен Петрович и где

он сейчас? — осведомился один из молодых командиров.

Доктор приготовился рассказать подробную историю о своем товарище Семене Петровиче, который мечется по передовым линиям и, боясь потерять драгоценные письма, отдает их ему на хранение. Но сегодня это ему не удалось. Слушавший здесь же шофер, не сдержавшись, вдруг выпалил:

— Это он сам!

Доктор покраснел и сердито посмотрел на шофера.

А если их стопчут, ему вовеки
уже не обуть исхудалых ног.
Если их стопчут, он погибнет,
с кровати больше не ступит ногой,
И никогда весны не увидит —
ни этой и никакой другой.
Я и сейчас отчетливо вижу
пустую, пугающую кровать.
(Весенний дождь над его могилой
пошел без удержу танцовать.)
И нет башмаков под скрипучей кроватью —
последние деньги пришли к концу,
Ботинки продали мы соседям,
чтоб саван дешевый купить отцу.

Перевел с еврейского *Лев Длигач*

Даленый город

АЛЕКСАНДР ОЙСЛЕНДЕР



Это край, где солью пахнут
Мох и камушек любой,
Где у мальчиков распахнут
Ворот темногубой.

Где, кого ни встретишь, — штурман
Или юнга с корабля,
Где ветров упорным штурмом
Сбита накрепко земля.

Если взгляд цветет веселый,
Если плечи широки
И по локоть руки голы, —
Это значит: моряки!

В каждой улочке витает
Резким запахом треска,
В каждом доме проживает
Сын иль дочка моряка.

Даже девушка в бушлате
По-особому тиха,
Провожая в море брата,
Ждет из рейса жениха.

И слеза не застит взора,
И струной натянут слух.
Говорят, что это город
Встреч недолгих и разлук!

Входит траулер — и снова
Цепь свернувшаяся ждет,
Что вот-вот змеей багровой
В глубь морскую упадет.

И стоят у пирса дети, —
Полный запахов простых,
Моря Баренцова ветер
Закаляет щеки их.

Начдив Киквидзе

К. ОСИПОВ

★

Его звали «грузинским Чапаевым»... Имена, рождающиеся в недрах масс, придуманные коллективным разумом, почти всегда бывают очень меткими. Но это — из особенно удачных: Киквидзе и Чапаев — люди одного склада, — тот же неукротимый темперамент, то же умение слить дивизию в одном порыве, повести ее за собой навстречу лишениям и опасностям, умение пронизать каждого бойца непреклонной волей к победе...

С каждым годом уходит все дальше в прошлое гражданская война с ее героизмом, с ее титаническими усилиями; уже выросло целое поколение, которое знает ее только из чужих уст, которое представляет сквозь дымку прошедших лет могучие характеры, выдвинутые гражданской войной.

Память и воображение жадно тянутся к этим людям. В детских играх, в студенческих общешитиях, в красноармейских клубах, с правительственных трибун звучат имена Чапаева, Щорса, Лазо; они увековечены в книгах, в музыке, в бронзе и камне.

К этой славной плеяде героев советского народа принадлежит и Киквидзе.

I

Едкая пыль, поднятая над дорогой колесами орудийных повозок, медленно оседала на росшие по краям чахлые кусты с ломкими, истомленными жарой листьями. В безветренном воздухе плавал острый запах полыни. Проносились

с тревожной торопливостью грачи, слышался свист конишнепа.

В этот час хотелось лежать, закинув под голову руки, слушать замирающие крики птиц, шелест деревьев и медлительный топот стреноженных коней. Гулкие удары орудий, стрелявших где-то совсем близко, теряли свое зловещее значение, вплетаясь в тишину вечера.

По примятой траве, вдоль изрытой дороги, загроможденной телегами, двуколками и дымящими походными кухнями, быстро шагали двое людей. Один — худощавый, среднего роста, с тонкой талией и широкими плечами. Несмотря на жаркий, душный вечер, на нем была надета бурка и черная папаха; за поясом заткнут маузер, на боку висела кривая шашка в дорогах, украшенных серебром ножнах. Это был начальник красноармейской дивизии Василий Киквидзе. Другой — плотный, с густыми темными бровями и темными пушистыми усиками — был его помощник Самуил Медведовский.

— Двенадцатого июня атакуем Алексиково, — говорил Киквидзе, — введем четыре тысячи человек... Казаре¹ солоно придется. Ты, Самуил, проследи, чтобы к утру все приготовления были закончены. Броневики исправных сколько у нас?

— Четыре, Василий Исидорыч. И две бронированные летучки.

— А как горючее?

¹ Казара — белоказак.

— Маловато бензина.

— Вели смешать бензин со спиртом. Надо беречь каждую каплю.

Некоторое время они шли молча.

— Товарищ Киквидзе, — заговорил Медведовский, — есть сведения, что Краснов на Царицын с севера ударить хочет. На нас, значит, навалится... Нужно по всему фронту дивизии подготовить оборонительные позиции.

Киквидзе покачал головой.

— Нехватит у нашей дивизии сил, чтобы на тридцать пять верст сплошной фронт держать. Посадим людей в окопы тонкой цепкой, а казаки в любом пункте прорвутся, зайдут в тыл — и крышка. Ты, небось, германскую вспомнил. Тогда укрепление позиций носило линейный характер. Но для этого нужны громадные средства. Нам не под силу...

— Как же быть?

— Нужно избрать более современную систему. Организуем узлы сопротивления. Об этом большой разговор с командирами будет. — Он остановился, огляделся по сторонам. — Ступай пока, а я в секреты пройду.

Но Медведовский не уходил. Поглаживая усы, он сказал с преувеличенной вежливостью:

— А не лучше ли вам, товарищ начдив, отдохнуть? Вы, кажется, две ночи не спали...

— Три. — Киквидзе улыбнулся. — Я в Алексиково выплещу.

— А все-таки... Хоть часок, — настаивал Медведовский, — секреты я сам проверю или пошлю Чайковского. А ты — в палатку и вздремни.

— Вот искуситель... уговаривает, словно любимую девушку! Ладно! Если берешь на себя секреты, я, пожалуй, полежу часок. Только не в палатке: прямо здесь, на траве. Звезды какие высыпали... Я уж не помню, когда глядел на них; за недосугом скоро забуду, какие они...

— Ну вот и отдохни, посчитай звезды... — Медведовский был обрадован. Потом он перешел на официальный тон: — Какие будут распоряжения, товарищ начдив?

— Собери командиров всех частей.

Сегодня в двенадцать часов ночи. Доложишь переданный мною тебе план наступления на Алексиково. Пока все!

— Слушаюсь. — Медведовский повернулся и пошел, слегка переваливаясь на ходу.

Киквидзе проводил теплым взглядом его плотную, несколько грузную фигуру: «Славный вояка и хороший товарищ!» Сам зашагал прочь от дороги, с наслаждением приминая сапогами чуть влажную от росы траву. Потом расстелил бурку и лег...

На иссиня-сером небе висел бледный месяц. На западе еще виднелся блеклый румянец заката. В неверном освещении все казалось необычным, лапчатые кроны грабов и кленов в ближней роще представлялись призрачными чудовищами.

Издаেকে, послышался смех бойцов. Киквидзе подумал, что завтра в сражении многие из этих веселых, простых и таких дорогих ему людей погибнут. Резким движением он поднялся и побрел на шум. «Скоро полночь. Совецание с командирами... Надо до этого хоть немного побыть с бойцами».

II

У одного из костров, на опушке маленькой кудрявой рощи, сидела группа красноармейцев. Над огнем на двух скрещенных палках висел объемистый закоптелый котелок.

Люди сосредоточенно курили, сплевывая в огонь густую слюну.

— Благодать какая... — вполголоса проговорил один из, сделав глубокую затяжку, добавил, — вскорости Ильин день будет¹. На Илью до обеда — лето, а после обеда — осень.

— И откуда ты, Антон, столько дедовской премудрости знаешь? — раздался молодой насмешливый голос. — Кажись, борода рыжая, не седая, а судишь все по-стариковски.

— У него борода не рыжая, а забеловская², как у нашего графа кобыльи были, — подхватил другой.

¹ Ильин день — 20 июля (ст. ст.)

² Изабелловая конская масть — изжелта-белесоватая, при белом хвосте и гриве.

Вокруг захохотали.

— Ан, нет, — сказал вдруг кто-то густым басом, — это и у нас, под Рязанью, известно: до Ильи мужик купается, а с Ильи с рекой прощается. Быть, значит, перемене погоды.

— Эге, и у тебя на уме то же, — протянул молодой насмешливый. — С угодничками да со всякими приметамы счастья своего не отыщем.

— Счастья искать — от него бежать, — сказал Антон. — Человек ты, Алеша, ладный, справный, и в бою не робеешь, а только думаешь о себе много. Верно старики говорят, что порожний колос выше стоит.

Снова громыхнул хохот.

— Отбрил... Ловко...

Антон добродушно махнул рукой.

Наступило молчание. Высокий усатый красноармеец переломил, кряхтя, на колене толстый сук и бросил в огонь. Дымное пламя взметнулось кверху, причудливо осветив сидящих.

Звуки оружейной стрельбы стали слышнее. Отчетливо донеслась трескотня пулеметов.

— Кажись, наших гонят, — заметил высокий, подвешивая над огнем котелок с водой, — должно думать, скоро нас двинут.

— Надо будет, двинут... А пока сиди, чай распивай.

— Чай... Я вот год чая не пил. Накушил малины, травок, — и весь чай. Вместо сахару два леденчика на день...

— Зато буржуи сладко пьют. Ты им — коленом под зад, да и забери весь сахар...

— Коленом... Тоже нелегко. Он крепко.

— Он крепко, а мы покрепче, — вмешался Антон. — И командир у нас с мозгой. Где Краснову против него? Слыхал ты, как он германца в дураках оставил?

Антон осторожно высыпал из кисета на газетный обрывок щепоть махорки, старательно подобрал каждую пылинку и свернул козью ножку.

Бойцы придвинулись поближе.

— Месяца полтора назад пришлось нам, хоть и бились мы геройски, отдать германцу Украину. Но слух про нас

большой был: в самой Москве заговорили. И приказали нам, хорошие мои, прибыть в Тамбов для нового формирования. Но тут загвоздка: на границе советской германские кордоны стоят и разоружают всех. Зайцу не проскочить, не говоря про отряд. А Василь Исидорыч все-таки нашел лазейку... — Антон с хитрой улыбкой огляделся по сторонам. — Начертили мы по его распоряжению на всех вагонах красные кресты, обрызгали барахлишко карболкой, оружие хорошенько притрятали, повсюду скляночек аптекарских поставили. Бойцы на нарах легли, головы обвязали бинтами. Василий Сидорыч тоже забинтовался. Приходят немецкие лейтенанты — и отшатнулись: люди бредят, стонут, мечутся. И так — во всех вагонах. «Гут, говорят, хорошо, то-есть, пускай тифозные и калеки едут в Совдепию». И пропустили нас без проволочки.

— Ах, шут возьми, — с восхищением вскричал усатый, — ну и сумел же Василий Сидорыч!

— Смелость — силе воевода, — пробормотал Антон, широко зевнул, перекрестил рот и начал стягивать с себя рубаху. — Поискаться разве.

Позади раздался легкий треск валежника. Все встрепенулись, оборвав беседу.

Из кустов вынырнула знакомая фигура в широкой бурке:

— Товарищи!

Слово было произнесено негромко, но оттого ли, что нервы у людей были напряжены, оттого ли, что в голосе и во всем обличье подошедшего чувствовалась сдержанная страстность, все вздрогнули от этого знакомого слова.

— Что же вы умолкли? Продолжайте!

— Побалакали—и хватит, Василий Исидорыч, — сказал Антон, торопливо натягивая рубаху. — Вот насекомую поискать хотел. Ежели подстрелят, загрызет она меня в сырой землице.

Киквидзе заразительно засмеялся.

— Ай, Антон Степаныч! Что плечо твое — вовсе зажило? А у тебя, Леша, ногу не сводит больше?

— Будто нет, Василь Исидорыч. Ваша мазь помогла.

— Знатная мазь... А кстати, где же Ламенцев? — спросил Киквидзе. — Я же приказал ему, как только вернется из командировки, тотчас ко мне.

Никто не ответил. Киквидзе молча смотрел на угрюмые лица.

— Та-ак... — протянул он, — отворачиваясь, значит... — Повернув голову, он сказал через плечо в темноту: — Чайковский! Отдать в приказе: «Убывшего в командировку и невозвратившегося фельдшера Ламенцева считать в бегах, исключить из списков и снять со всех видов довольствия».

Наступило тяжелое молчание.

— Чужое добро с возу упало — нашему коню легче, — сказал Киквидзе, и в его низком голосе послышались звенящие нотки. — Оно теперь лучше: не нужно чистое дело грязными руками вершить. А третий батальон как был лучшим в полку, таким и останется. Мы это докажем. Верно, товарищи?..

Он улыбнулся широкой, дружелюбной улыбкой и, окруженный бойцами, пошел легкой, упругой походкой, задавая вопросы, перекидываясь шутками и отдавая по пути приказания.

★

Киквидзе было всего двадцать четыре года, но он уже пережил столько, что этого хватило бы на полную человеческую жизнь.

Родился он в грузинской семье в городе Кутаиси. Отец, мелкий чиновник, приходил со службы усталый и норовил поскорее улечься в тени с папирсой в зубах. Мать беспрерывно хлопотала по хозяйству.

Предоставленный самому себе, мальчик уходил в лес собирать ягоды или в горы — охотиться на увертливых змей, или купаться в студеной воде горных потоков. Но интереснее всего было играть в солдат и разбойников; причем разбойники представлялись детям благородными, отважными людьми, бунтующими против злых начальников. Тут была подлинная стихия маленького Ва-

си, — даже старшие мальчики не оспаривали у него роль атамана.

Потом — гимназия в том же Кутаиси. Еще нося гимназическую фуражку, Вася Киквидзе начал вести пропаганду среди студентов, распространять революционные прокламации. Через короткое время — первый обыск, за ним — второй. Из 8-го класса его исключили «за агитацию против самодержавия». Волчий билет... Ни одно учебное заведение не примет с таким документом.

Немного времени спустя по улицам проходят манифестации с портретами императорской четы: война. Василья мобилизуют и отправляют в кавалерийский полк. Одного за другим вербует он там бойцов для будущих классовых битв. Его выслеживают и бросают в тюрьму. Предстоит военный суд, Киквидзе грозит каторга, а может быть, и расстрел.

Неожиданный поворот судьбы: царизм пал, двери казематов широко распахиваются перед политическими заключенными.

Киквидзе вступает в Глуховский полк. Солдаты сразу чувствуют в своем новом товарище недюжинный ум, непреклонную волю и очень скоро избирают его председателем дивизионного комитета. В июле 1-й Турский¹ корпус отзывается начать затейное Керенским, в угоду французской и английской буржуазии, наступление. 6-й кавдивизии предписывается участвовать в карательной экспедиции против возмущившегося корпуса. Но Киквидзе удается предотвратить кровопролитие и организовать братание с Турским корпусом.

Осенью после октябрьского переворота Киквидзе сформировал отряд для борьбы с гайдамаками. Стояла декабрьская лютая стужа. Кутаясь в пестрые, случайно добытые одежды, люди шли, прижимая к себе окоченевшими руками винтовки. На пути из Полтавы в Харьков отряд окружили гайдамаки. Их было втрое больше, и они выставили десять пулеметов против единственного, имевшегося у красных.

¹ Туркестанский (сокр.).

За пулемет лег Киквидзе. Вражеская пуля ударила его в руку, но он, бледный, без кровинки в лице, стискивая зубы от страшной боли, продолжал стрелять. Разорвав кольцо врагов, отряд продолжал свой путь. После этого яростного боя ни один из гайдамацких «полковников» не решился больше напасть на горсточку людей — в сотню человек, — которой командовал Киквидзе.

В Харькове в отряд Киквидзе влилось еще четыреста человек. Для Киквидзе этого было достаточно. Полтысячи отважных бойцов и несколько орудий в его руках — это была грозная сила.

Первого января 1918 года он выбил крупные силы гайдамаков из Ровно. Взятие Ровно, а вскоре после этого взятие Бердичева сделали имя Киквидзе очень популярным. Многие, приходя в Красную гвардию, просили записать их обязательно к Киквидзе. Вокруг него уже начинал складываться ореол непобедимости.

Советское командование поручило Киквидзе организовать Красную гвардию на всем фронте борьбы с гайдамаками. Организованные Киквидзе отряды были вскоре сведены и переименованы в 4-ю армию советских войск на Украине.

Киквидзе готовился к решительному наступлению на гайдамаков, но тут все повернулось по-другому: на Украину хлынули немецкие дивизии. Киквидзе был одним из тех, кто в невыносимых условиях задерживал продвижение немцев; с винтовками, иногда с револьверами люди сражались против дальнотной артиллерии и броневиков.

Киквидзе был опять ранен, но и в этот раз, преодолевая боль и слабость, продолжал командовать...

Вскоре после этого он перебросил поредевший отряд через германские кордоны в Тамбов.

Уже не отряд, а целая дивизия собралась здесь у Киквидзе: 1-й рабоче-крестьянский полк, Интернациональный полк и 6-й замурский конный полк. Командование Красной армии направляет эту дивизию внеочередного формирования или просто «дивизию

Киквидзе» на Царицынский фронт.

«...взятие Царицына и перерыв сообщения с югом, — писал в 1918 году товарищ Сталин, — обеспечило бы достижение всех задач противников: оно соединило бы донских контрреволюционеров с казацкими верхами Астраханского войска и Уральского, создав единый фронт контрреволюции от Дона до чехо-словаков, оно закрепило бы за контрреволюционерами, внутренними и внешними, юг и Каспий, оно оставило бы в беспомощном состоянии советские войска Северного Кавказа».

Здесь, у Царицына, хотели соединиться южная и восточная армии контрреволюции. Здесь решались судьбы гражданской войны.

Сюда-то, не дав времени передохнуть после боев с гайдамаками и немцами, командование Красной армии направило в начале июня Киквидзе. И уже через две недели белоказаки с ненавистью, страхом и почтительным уважением повторяли его имя.

III

Киквидзе в черной сатиновой косоворотке, перепопсанной кавказским ремнем с серебряными пряжками, стоял у окна и ждал командиров частей.

— Двенадцать часов, а еще двоих нету. Когда разучимся опаздывать? — сказал он, подошел к столу и потушил папиросу, которую держал в руке.

В комнате сразу стало тихо.

— Товарищи! Положение, думаю, в основном вам известно. Наша дивизия прибыла сюда из Тамбова на участок Поворино — Филоново — Елань. Это — ответственный участок, прикрывающий с севера Царицын. Шестого июня, товарищи, в Царицын прибыл Сталин и, по поручению партии и Ленина, возглавил оборону. Ленин поручил Сталину навести порядок, установить правильное командование, изгнать всех неповинующихся. Белогвардейцы заняли станцию Урюпино и станцию Алексиково. Царицын отрезан от Москвы. Военный совет по обороне Царицына дал нам почетную задачу: очистить от белых

Алексиково и Урюпино и удерживать по линии железной дороги станции Арчеда, Себряково и Филоново. Сегодня, ровно в пять часов утра, мы начинаем наступление на Алексиково. С планом атаки вас ознакомит товарищ Медведовский.

Киквидзе опустил ся на скамью и чиркнул спичкой, осветившей его энергичный подбородок и длинный, немного изогнутый нос.

Медведовский откашлялся и начал раздельно читать приказ, следя за тем, успевают ли командиры делать заметки. Киквидзе сидел, закрыв глаза, и всеми силами старался не уснуть. Усталость, накопившаяся в нем от двух бессонных ночей, от страшного напряжения последнего дня, когда он лично вел в контратаку войска, — эта усталость, скрытая, пока он был в действии, теперь вспыхнула в нем с непреодолимой силой. Он и доклад передал Медведовскому, рассчитывая полчаса посидеть спокойно и отдохнуть; но оказалось еще хуже.

«Нужно уйти с совещания, — думал он, — нето утром я глупостей натворю». Но уйти было невозможно, и он продолжал сидеть, нервно попячивая папирсой, прилагая все усилия к тому, чтобы скрыть овладевшую им сонливость.

— «Артиллерию распределить и пристрелять батареи с таким расчетом, чтобы ни одна складка местности не осталась непораженной» — читал Медведовский.

Эти слова, написанные самим Киквидзе, тщательно взвешенные и обдуманые, теперь с трудом входили в утомленный мозг начдива.

— «По мере продвижения нашей пехоты переносить огонь вглубь, не давая возможности противнику подводить резервы. В случае контратаки врага, открыть ураганный огонь. Обратит внимание на бронепоезда противника. Забивать артиллерию врага...»

Неожиданная мысль возникла в мозгу Киквидзе. Усталость разом исчезла.

— Погоди-ка, Медведовский, — сказал Киквидзе, подымаясь, — надо в приказе добавление сделать. Дело в том,

товарищи, что 11 июня, при занятии казначьими бандами Алексикова и Урюпина, были отрезаны от дивизии и остановлены на станции Поворино один наш воинский эшелон 1-го кавалерийского полка и два продовольственных эшелона. Необходимо предусмотреть соответствующие меры.

Медведовский утвердительно кивнул головой. В эту минуту в дверях раздался резкий голос:

— Позвольте мне... Срочное дело...

Все обернулись. Дородный мужчина с отличной военной выправкой, в длинной кавалерийской шинели, приложил два пальца к фуражке и подошел к столу.

— Селиверстов, — отрекомендовался он, — прислан в дивизию из Царицына военруком товарищем Снесаревым в качестве военного наблюдателя... Имею предписание заместителя военрука. — И скупым, немного театральным жестом он протянул мандат с большой жирной печатью.

Киквидзе болезненно поморщился: он только раз побывал у военрука, бывшего царского генерала, и ушел оттуда в полном недоумении. Всюду были кадровые офицеры — «военспецы», они пренебрежительно отзывались о начальниках красноармейских отрядов, поминутно говорили о своих особых полномочиях, предоставленных им председателем Реввоенсовета Троцким.

Киквидзе вышел от военрука, пораженный и негодующий, твердо решив не считаться с ним и поделиться при первой же встрече своими сомнениями со Сталиным. И вот — «наблюдатель». Но приходится повиноваться...

Селиверстов брезгливо дунул на край стола и, опершись на него, заговорил холодным, немного высокомерным голосом:

— Заместитель военрука отдал следующее приказание: один пехотный полк нужно поставить на позицию в Арчеде, так как там возможны набеги неприятеля; один батальон оставить в Себрякове, один батальон с батареями — в Филонове. Остальные части в количестве 900 человек двинуть на Алексиково и Урюпино. Боевую задачу выполнить в сорок восемь часов.

Он слегка поклонился и присел на край скамьи, глядя прямо перед собой.

Киквидзе угрюмо проговорил:

— Вы предлагаете мне распылить силы. Что за атака с девятьюстами человек?

— О, не беспокойтесь об этом... — расцвел в улыбке Селиверстов. — У нас имеются точные сведения: неприятеля всего 800 человек, у него нет ни винтовок, ни патронов, ни снарядов.

— Гм... По вчерашнему дню непохоже, — пробормотал Медведовский.

— Вы, что же? Считаете эту задачу для себя непосильной? — сощурился Селиверстов.

Командиры зашумели, но Киквидзе движением руки остановил их.

— Мы считаем эту задачу плохо составленной... — отчеканил он. — Но спорить уже некогда. Придется подчиниться. Мы надеемся, что сумеем решить и такую задачу.

Он поднялся и дал знак расходиться.

IV

В пять часов началась атака.

Под прикрытием редкого артиллерийского огня цепи дружно шли вперед, перебегая от холмика к холмику и падая лицом в чертополох, когда начинал стучать вражеский пулемет. На флангах двигались броневики, обстреливая из пулеметов наскоро сделанную неприятелем земляную насыпь. Киквидзе шел в центре атакующей волны, зорко следя за всем, что происходило вокруг, подбадривая необстрелянных.

— Беги на батарею, скажи, чтоб били по водокачке, там у них, наверно, наблюдатель сидит, — приказал он ординарцу. — Да пусть берегут снаряды.

Он хмуро покусывал губы. Ему не нравилось, что белые, так напиравшие в течение всего вчерашнего дня, теперь отстреливаются вяло. Боевое чутье подсказывало ему, что тут что-то неладное.

— Где Медведовский? — спросил он.

— На правом крыле.

— Беги к нему одним духом, передай, чтоб не зарывался; особенно пусть опасается конной атаки с фланга.

Селиверстов, шедший рядом с Киквидзе, расхохотался.

— Да вы, батенька, преувеличиваете трудности. Говорю же я вам, что у неприятеля на этом участке боеприпасы иссякли.

И, словно в ответ на его слова, воздух застонал от бешеной стрельбы. Отвратительное повизгиванье пуль и вой снарядов слились с криками атакующих и воплями раненых. Один из броневиков, подбитый снарядом, опрокинулся на межу, другой остановился с развороченной башней.

— Крепко бьет, гад, — сказал кто-то поспе начдива.

Киквидзе с мрачным лицом, не нагибаясь, бежал вперед.

— Хороши же ваши точные сведения! — прокричал он Селиверстову. — Разве можно с девятью сотнями на такие позиции ходить? Теперь, если кто и прорвется сквозь огонь, того казаки руками возьмут.

Ему никто не ответил. Скосив глаза в сторону наблюдателя, Киквидзе ничего не увидел.

«Отстал, сволочь, — подумал он со злобой, — не понравилось».

Люди вокруг Киквидзе все чаще спотыкались и, роняя винтовки, валились на землю. Ливень пуль усиливался. Киквидзе бежал вперед и думал: «Человек сто потеряли... и половину броневиков. Так нельзя... Надо по-другому». Его осенила какая-то мысль, и он приказал отступить.

Выведя бойцов из-под обстрела и распорядившись насчет раненых, Киквидзе сказал Медведовскому:

— Ты разъясишь пока — тут беды нет, что мы воротились. Враг укрепился здорово. Нужно его на чистое поле выманить.

— Да как выманишь?

— А вот попробую. Ты наготове ребята держи, особенно конницу.

Он вытер пот, опрокинул в горло кружку воды и крупными шагами пошел к стоявшему неподалеку полосатому броневнику, в котором заводили мотор.

— Да где этот наблюдатель? — закричал он, приостанавливаясь. — Я его с собой хочу взять.

— Лежит... говорит, что контужен...
А доктор только плечами пожал.

Киквидзе выругался.

— Садись! — приказал он команде, влезая в машину. — Давай ходу!

— «Тигр»... «тигр» пошел, — пронеслось по рядам бойцов, когда они увидели несущийся полосатый броневик. — Да что ж Василь Исидорыч? Один думает казаков снять? Погибнет за-зря.

Белые, очевидно, также были ошарашены неожиданной вылазкой одинокого броневика. Несколько пулеметов взяли его под обстрел. Пули стучали о броню, не причиняя ей вреда. Казаки стали бить по машине прямой наводкой из орудия. Но машина, непрерывно меняя курс, шла зигзагами, и снаряды ложились мимо.

Вдруг «тигр» круто метнулся влево, съехал в глубокую рытвину и остановился.

— Подбили... — пронеслось по рядам. — Эх, пропадет командир. Выручать надо.

— Ни с места!.. Жди команды, — загредел Медведовский.

Люди, затаив дыхание, следили за происходящим.

Белые быстро пристрелялись, и несколько снарядов упало совсем близко от броневика. Внезапно стрельба прекратилась. Со станции вырвался эскадрон казаков и карьером помчался к застрывшей машине.

— Живем взять хотят... начдива нашего... Чего ждать еще? Айда на выручку! — шумели бойцы.

Медведовский, для которого был уже вполне ясен смелый до безрассудства план начдива, с большим трудом удержал людей от выступления.

Все последующее произошло с быстротой непостижимой. Из башен «тигра» вдруг застучали длинные очереди пулеметов, десятка полтора казаков скатились под ноги лошадям, а остальные, сделав петлю, стали тем же карьером уходить обратно.

— Видал? Видал, как частит!.. — захлебывались от восторга бойцы. Они уже забыли про недавнюю неудачу и,

сжимая крепче винтовки, рвались снова вперед.

— Глянь-жо! Братцы мои! Глянь, что делается... — тревожно крикнул Антон.

Уже не эскадрон, а целый казачий полк, не меньше пятисот сабель, вынесся из-за прикрытия. Всадники растянулись редкой цепочкой, образовав гигантскую дугу с выгнутыми вперед краями, и бешеным аллюром помчались к машине.

— Теперь крышка! Не отобьется, — плачущим голосом проговорил один из бойцов.

Внезапно «тигр» зашевелился, выполз из канавы и, посылая во все стороны пулеметные очереди, пошел навстречу казакам. В ту же минуту Медведовский страшным голосом прокричал:

— Давай! Бей гадов!

Бойцы, обгоняя друг друга, устремились в атаку. Обдав бойцов пылью, проскакала красная конная сотня. Часть белоказачков повернула было коней, но другая часть уже ввязалась в рубку, и тогда весь полк, сплотив ряды, принял атаку.

Белые, горяча коней, с оглушительным свистом и улюлюканьем налетели на пехотные части красных. Бежавший впереди русский босой красноармеец направил штык в грудь выросшей перед ним лошади, но промедлил: видимо, ему трудно было калечить прекрасного коня. Эта секунда колебания погубила его: казак взмахнул ослепительно сверкнувшей на солнце шашкой, и парень с раскроенным черепом свалился под копыта коня. Дикое ожесточение боя передалось лошадям, раненые кони пытались встать и с громким ржанием падали обратно на побуревшую от крови землю.

— Выманили казачков, вылезли из норы, — шептал про себя Антон, обтирая о траву штык, с которого капала кровь, и вдруг отчаянно закричал какому-то молодому бойцу: — Винтовку, винтовку над головой держи! А отобьешь саблю, коли его!

— Меня казаки еще в прошлом году на заводе лупцовали, — сказал Алеша, хладнокровно перезаряжавший винтовку. — У меня с ними давние счеты.

— Вот он тебе сейчас башку развалит — только и делов, — пробурчал Антон.

— Не, шалишь, брат. Я сегодня вечером гулять буду, — и Алеша яростно устремился на приземистого казака, зарубившего уже двоих.

— Жмем гадов, — сказал Медведовский, — возьмем Алексиково. Это им не из пулеметов строчить. Спасибо Василию Исидоровичу...

Он не закончил фразы. Навстречу красным скакал свежий полк казаков. Часть его устремилась на поле сражения, часть, отделившись, понеслась по кромке поля туда, где были разбиты перевязочные палатки и где стояли батареи.

— Эх, нам бы еще конников, — с тоской выговорил Медведовский, — не успеем перехватить, порубят наших артиллеристов.

С «тигра» тоже заметили белую подгогу, и броневик понесся ей наперерез. Казаки, обтекая грозную машину, торопясь поскорее миновать хлещущие от туда струи свинца, устремились на единственную конную сотню красных. Сотня героически приняла неравный бой, но через несколько минут, яростно отбиваясь, стала оттягиваться. «Тигр» и второй уцелевший броневик поспешили ей на помощь.

Тем временем на батарею кипел ожесточенный, яростный бой. Артиллеристы из пулеметов и винтовок отстреливались от бешено наседавших, остервенелых врагов. Из снарядных ящиков и повозок было молниеносно воздвигнуто подобие баррикады. Все же исход схватки был ясен, и командир батареи уже готовился заклепать орудия, как вдруг неподалеку послышались крики. То Медведовский пришел на выручку с группой бойцов.

Сражение длилось уже четыре часа, и успех явно начал клониться на сторону красных. Потеряв почти половину состава, казачьи полки отхлынули обратно. На плечах у них, не давая возможности установить огневую завесу, ворвались на станцию красноармейцы.

Киквидзе пересел в легковой автомобиль. Сидя за пулеметом, проносился он

сквозь ряды белой кавалерии, сея вокруг себя смерть. Неожиданно машина, издав несколько громких выхлопов, остановилась. Поблудневший шофер выскочил и стал возиться у мотора. Толпа казаков, стреляя на скаку, окружила автомобиль. Казаки осторожно суживали кольцо. Видно было, что они боятся новой ловушки. Киквидзе, вращая пулемет, уничтожал смельчаков, подскакивавших чересчур близко.

Мотор, наконец, заработал. Шофер вскочил обратно в машину, но казачья пуля пробила ему голову. Как-раз в этот же момент в пулемете кончилась лента. Казаки со всех сторон ринулись на ненавистного им начдива. Киквидзе успел только швырнуть две гранаты, как совсем рядом с ним раздался конский храп. Не было времени защититься лежавшей в ногах винтовкой, увернуться от удара было некуда.

«Вот она, какая смерть» — пронеслась мгновенная мысль.

В эту секунду сменивший убитого запасной шофер, которого всегда брал с собой Киквидзе, дал газ, и автомобиль резким броском рванулся вперед. Казачья сабля со звоном ударилась о кузов машины.

— Ну, Василь Исидорыч, бог спас, — сказал шофер.

— Только и дела у твоего бога, что об нас заботиться, — отозвался Киквидзе.

Ему было не по себе. Правда, главное было сделано, — белых выбили из Алексикова. Но два обстоятельства омрачали радость победы: первое, что красные части понесли огромные потери, и второе, что он сам пережил миг смертной тоски. В начале каждого боя Киквидзе говорил себе: «Я должен считать себя как бы мертвым». Это укрепляло в нем пренебрежение к опасностям. Быть убитым во имя революции — с этой мыслью он свыкся, и она не страшила его. Так отчего же дрогнуло сердце, когда взвилась над ним казачья сабля?

На поле там и тут лежали трупы. Над ними уже кружились мухи.

Киквидзе хмуρο озирался по сторонам.

— Я отдал бы половину своей крови за стакан воды, — раздался знакомый голос.

То был Медведевский. У него было усталое, но счастливое лицо.

— Пленных допрашивали? — спросил он. — Рассказывают, что белые выделили две сотни, чтобы грабить и жечь хутора, признавшие советскую власть. И еще рассказывают, что бедное казачество неохотно идет к Краснову. Но, если кто не явится на сборный пункт, того объявляют врагом станицы.

Машина подошла к вокзалу, усеянному обрывками бумаги, пустыми коробками из-под патронов, бутылками и всевозможным оружием.

Командиры, с еще неостывшим возбуждением на лицах, подошли к начдиву с рапортом. Он внимательно выслушал их.

— Пиши донесение, — сказал он Медведевскому, садясь на первый попавшийся стул. — Части дивизии, перейдя в наступление, восстановили линию Алексиково — Поворино. 1-й кавалерийский эскадрон в конной атаке отбил у противника два пулемета, но принужден был отойти, потеряв 60 процентов убитыми и ранеными. Артиллеристам приходилось отбивать пулеметным огнем сотни атакующих, а пехоте — бросаться в штыки на целые кавалерийские полки. В общем, наши потери исчисляются в 412 человек и 82 лошади. Потеря неприятеля гораздо больше.

— Патронов маловато, Василий Исидорович, — сказал один из командиров. — Здесь не очень разжились, а что было, то в бою израсходовали.

— Знаю. — Киквидзе утвердительно кивнул головой. — Только навряд Севкавкр¹ поможет. Пока там Снесаревы орудуют, не жди особо... Впрочем, пиши: остались без снарядов, без винтовочных патронов и без пулеметных лент...

Со стуком распахнулась дверь. Вбежал Алеша, направляя на ходу выбившуюся рубаху.

— Товарищ начдив! Сообщаю, что, преследуя неприятеля, мы взяли в плен

штаб командующего Хоперским военным округом Дудакова.

— Славная добыча! — Киквидзе повеселел. — Пойдем, послушаем, что эти птички чирикают. Кончай, Медведевский, без меня донесение.

Идя с Алешей вдоль перрона, он сказал ему:

— Наблюдал я сегодня за тобой в бою. Хорошо держишься. И с ребятами потолковать за кипяточком умеешь. Решил я назначить тебя батальонным.

— Меня? — Алеша смутился.

— Да, тебя. — Киквидзе помолчал немного. — Если сегодня победа обошлась так дорого... Да притом белые только отступили, а не разгромлены... Причина отступления — приказ Снесарева. Будь сегодня не 900 человек с четырьмя броневидами, а вдвое больше, сражение приняло бы другой оборот. Можно бы комбинировать фронтальный удар с обходом, угрожать выходом к железнодорожному полотну и быстро спугнуть белых. А Снесарев с Носовичем все норовят прикрыть фланги, укрепить тыл, обеспечить коммуникации... Хотят избежать риска, а ведь вся война — риск. И в результате приходится предпринимать атаки с недостаточными силами.

Леша сочувственно подтвердил:

— И мне, сказать по правде, не понравился этот наблюдатель. Чуть под огонь попал, и тут же обратно драпанул. Потом и вовсе укатил.

— Как укатил? Когда? — вскричал Киквидзе.

— Да с полчаса будет. Мне, говорит, необходимо доклад сделать Снесареву и Носовичу.

— Та-ак... — протянул Киквидзе, и опять появилась настойчивая мысль: «Нужно обо всем переговорить со Сталиным, тот сумеет разобраться в темных происках компанийки из Севкавкра».

— Если смотреть дальше, — снова заговорил он, — то наше положение незавидное. В любой момент можно ждать ответного удара. А с пятьюстами усталых бойцов станцию против свежих сил не удержать. Отыщи Медведевского, сейчас же необходимо подтянуть подкре-

¹ Северокавказский военный округ.

пление. Может, казаки дадут нам время для этого...

Киквидзе легко вскочил на подножку вагона, в котором были помещены пленные.

«Попробуем у господ офицеров разузнать о планах Дудакова. Тогда видно будет, что делать».

V

Оставшись один, Алексей сдвинул на затылок фуражку и протяжно свистнул.

— Вот они, дела-то... Больше, значит, не будешь, Алеша, на гармошке играть на привалах.

— Отчего так? — спросил часовой, всматриваясь в конец платформы, где группа красноармейцев со смехом тащила визжавшего поросенка. — Где это у тебя картуз пробило? — часовой указал на круглое отверстие в фуражке Алексея.

— Позавчера... на разведке, — нарочито небрежно бросил Алеша, хотя в глубине души очень гордился этой дырочкой.

Часовой ничего больше не сказал. Алексей постоял, посвистал, деловито огляделся вокруг.

— Однако беляки немало добра всякого порастеряли. Надо завхоза нашего сыскать, товарища Рыжова. А то растаскают.

Засунув руки в карманы и перекинув винтовку через плечо, он пошел по путям вдоль облупленных товарных вагонов. Эти вагоны давно не были в употреблении. В некоторых из них стояла самодельная грубая мебель, на веревках висели заскорузлые портянки. Кое-где между колесами буйно проросла зеленая трава.

— Застоялись, голубчики, — сказал Алеша, — скучно, небось? Ничего, еще поездим с вами.

Он чувствовал себя сродни всему, что окружало его. Сияющий день, кувыркавшиеся над головой птицы, свежий воздух как-то переплетались с мыслью о победе, с радостным сознанием того, что вот провел несколько часов в жестокой схватке, уложил двоих казаков и остался невредим.

— Эх, калина-малина моя... — затаил он негромко, с наслаждением шаркая ногами по бархатистой траве.

— Дяденька, дяденька, — пропищал над ним чей-то голос.

Алексей удивленно поднял голову. На высоком грабе сидел босоногий мальчишка и таинственно манил его пальцем.

— Ты что здесь делаешь, пигалица?

— А я, дяденька, гляжу, как войско идет. Бо-ольшое...

— Да ты очумел... Какое войско?

— Влазь сюда... Туточки видно.

Алексей проворно вскарабкался на дерево. Вдали, в светлом мареве сверкающего дня, колыхалось громадное облако пыли.

Судорожно цепляясь руками за шершавый сук, Алеша смотрел, пока в полуслепленных глазах его не запрыгали зеленые огоньки.

— Пехота идет... — бормотал он. — А вон то — конники! И дымок вьется, верно, бронепоезд ползет. Где же разведка наша? О чем думает?

Соскочив одним прыжком на землю, он помчался вдоль железнодорожной насыпи. «Нужно отыскать разведку, проверить, сообщено ли в штаб, да по-лучше высмотреть».

— Уходи, малец, — крикнул на бегу, — подстрелят тебя тут.

— Не, дяденька, не стрелят... — донесся тонкий голос мальчика.

Пробежав с полверсты, Алеша услышал голоса и хохот. Свернул в сторону и обомлел: под насыпью в холодке трое бородатых красноармейцев закусывали свежими огурцами. Винтовки были аккуратно составлены в пирамидку, на штыке одной болтался полевой бинокль в футляре.

— Братва! Что же вы делаете? — закричал отчаянно Алеша, — да вас за это к стенке надо. Ведь, белые подходят.

— Чего орешь? — насмешливо отозвался один. — Какие там белые? Садись лучше, огурчиком угощу.

Алексей крепче стиснул ствол винтовки. Никогда не испытанная злоба плеснулась в нем.

— На что вам бинокль даден, сукины дети? — яростно сказал он, — чтоб ворон считать? На что вам винты даны, сволочи? Беги сейчас, что есть мочи, на станцию, скажи — казаки наступают. Да посты по дороге оповещай. А вы со мной идите, чуток поближе к белым, повысмотрим.

Красноармейцы продолжали сидеть вразвалку.

— Жарко бежать, — насмешливо сказал первый, — а казаки нескоро доберутся.

— Да вы сами не из казаков ли? — сказал Алеша. Неожиданная догадка осенила его: на-днях из соседней дивизии Миронова был переведен полужескадрон для усиления разведки; дивизия Миронова была почти сплошь казачья, и мионовцы нередко перебегали к Краснову.

Он сделал шаг назад, щелкнул затвором и скомандовал:

— Встать! Оружия не трогать. Итти к железной дороге!

Красноармейцы переглянулись между собой и молча, неохотно поднялись.

— Что же это, товарищ? — плаксиво забормотал один. — Разве ж мы дезертиры, что безоружных вести хочешь? Ты хоть бинокль дозвошь взять. Батальонный наказывал беспременно принести его.

— Ладно, бинокль заberi.

Красноармеец шагнул вперед и вдруг, сделав прыжок, упал всей тяжестью на Алешу. Алеша пошатнулся, но удержался на ногах. Прежде чем он сообразил, что произошло, инстинкт уже продиктовал ему нужное движение. Руки сами поднялись вверх и вонзили штык в спину врага. Но тут же он почувствовал, как что-то тяжелое обрушилось на его голову, все вокруг завертелось, окуталось тьмой, и он стал падать, — падать куда-то и никак не мог долететь до дна.

«Когда же конец? Как это глубоко» — подумал он, и в ту же секунду новая тяжесть, больше прежней, обрушилась на него, нестерпимая, сверлящая боль пронзила все его существо, и эта боль — последнее, что он осознал.

VI

Вернувшись с допроса пленных, во время которого ему почти ничего не удалось выяснять, так как белые штабисты отказывались от всяких показаний, Киквидзе расположился в кабинете бежавшего начальника станции и дал уговорить себя прилечь отдохнуть.

— Через три часа разбудишь, — в пятый раз повторял он Медведовскому, стаскивая тем временем сапоги и всем телом ощущая уже сладостную истому сна.

— Разбужу, будь уверен. — Если тебе каша приснится, торопись есть, а то не поспеешь, — смеясь, говорил Медведовский.

Киквидзе с блаженной улыбкой потянулся, по-детски подложил под щеку руку и тотчас ровно и глубоко задышал.

— Василь Исидорыч, — заорал кто-то под окном, — почему мне подвод не дают? На чем я казачье добро свозить буду?

Медведовский со страшным лицом высунулся наружу.

— Если ты, Рыжов, хоть еще слово скажешь, я тебе голову оторву. Начдив спать лег. А насчет подвод сейчас уладим, без него.

Он на цыпочках вышел из комнаты и осторожно прикрыл за собой дверь.

Киквидзе спал чутким сном готового ко всяким неожиданностям человека.

Большая муха влетела в раскрытое окно и с громким жужжанием стала летать по комнате. Киквидзе уловил это жужжание, открыл глаза, пошевелился и, успокоенный, уснул снова. Но вот опять ухо уловило жужжание, которое делалось все громче, назойливее и вдруг перешло в знакомую трель пулемета.

— Тьфу, чорт! И во сне мерещится, — выругался Киквидзе и, широко зевая, спустил ноги на пол.

Комната была все та же, только по углам легли тени; все было несомненной явью, и тем более зловещими были отчетливо раздававшиеся звуки боя. Натянув сапоги, Киквидзе бросился на улицу. Навстречу ему скакал на проворной казачьей лошади бледный Медведовский.

— Белые!.. — крикнул он, прерывисто дыша, и виновато поглядел в глаза начдиву. — Рошей прошли... Проморгали мы. С трех сторон заходят.

Лицо Киквидзе исказилось.

— Вот что... — сказал он, и Медведовский увидел в его глазах знакомое ему выражение непоколебимой настойчивости и упорства. — Кто проморгал, о том разговор впереди... А только как отступать по дороге, на которой утром четыреста бойцов уложили? Да они из могил встанут!

Он умолк и продолжал стоять с нахмуренными бровями, видимо, обдумывая положение. Вокруг уже пели пули. У пробегавших мимо красноармейцев были растерянные, оторопелые лица.

— Очищаем Алексиково, — сказал Киквидзе чуть дрогнувшим голосом, — а то захлопнет нас здесь казара, как в мышеловке. Но далеко не уйдем. Стягивай ребят к тем холмикам подле шлагбаума и все пулеметы там собери. Разведаем, как и что... Может, это шальная атака, на испуг хотят взять... А если крупные силы, то будем держаться, пока подкрепления подоспеют.

Спустя четверть часа, он лежал за пулеметом и обычным, нисколько не взволнованным голосом громко объяснял соседним пулеметчикам:

— Теперь жди атаки... До темноты часа два осталось. Белые, конечно, попытаются смять нас, и если удастся им, то в капусту порубят. Только мы сами с усами. Жди моей команды, прицел хорошенько проверь, а тогда строчи, не ленись.

— Василий Исидорович, — подошел к нему командир одной из частей, — такое дело вышло...

— Что там еще? Чего мнешься?

— Да, видишь, беяки как налетели, стали мы пленных офицеров из вагона выводить. А они не идут, отбиваются, грозятся. Казачье уже в тыл заходит, тикать надо. Ну, я и подумал: не оставлять же их, чтобы нас опять крошили. И, значит, того — постреляли мы их... Такая, видишь, загвоздка вышла...

— Да... Ну, раз другого выхода не

было, правильно поступили. Они рассчитывали на атаку своих резервов.

Он тяжело вздохнул: эх, не заставь военрук разбросать силы, разве бы сидел он теперь на холмике?

— Идут! Идут! — зашептались пулеметчики. Впереди показались цепи белой пехоты.

— Хорошо идут, — одобрительно сказал Киквидзе, — видно, матерые волки... Тем не менее, итти — одно, а притти — другое. Проверить прицел! Огонь!

Две атаки белых были отбиты пулеметным огнем. Артиллерия казаков открыла беглый огонь, стремясь нащупать расположение пулеметов у красных. Когда снаряды стали рваться почти рядом, Киквидзе перевел пулеметчиков метров за полтора в сторону.

Солнце уже заходило. «Еще час, — думал Киквидзе, — ночью они не полезут».

На левом фланге затрещали беспорядочные выстрелы, большой отряд казаков приблизился, укрываясь в балках, почти вплотную и теперь с гиканьем стал заходить в тыл пулеметчикам.

— Обошли, отрезали, — закричал кто-то и во всю прыть побежал к придорожным кустам.

Киквидзе, почти не целясь, выстрелил в него из револьвера; бежавший упал, неестественно раскинув руки.

— Кому жить не охота, пусть попробует удрать! — гневно крикнул Киквидзе. — А казаки рано «ура» закричали. Мы им еще соли на хвост насыплем.

В два прыжка начдив очутился возле легковой машины, в которой разъезжал утром.

— Давай, Петя! — отрывисто бросил он шоферу, вкладывая в пулемет новую ленту, и через минуту почти в упор выпускал пулеметные очереди в оторопевших казаков. На помощь ему подоспели остатки конной сотни, потом стали подбегать пешие красноармейцы, и после непродолжительного боя белые повернули обратно.

Как и предполагал Киквидзе, казаки не предприняли новых попыток к наступлению. Бойцы прилетели, положив окр-

ло себя винтовки. Начдив, закутавшись в шинель, прикорнул на земле около пулемета.

Одинокая звезда, названия которой он не знал, слабо сияла в вышине голубоватым светом.

— Василь Исидорыч, — услышал он осторожный шопот, — не спишь?

— Чего тебе, Антон?

— Ты Ляксея не видал? Может, послал его за чем... Нигде нет Ляксея.

— И верно, старик... Лешу приметить не трудно было бы. Ты расспроси ребят.

— Спрашивал... — горестно сказал Антон, — не знают... Пропал Ляксея. Ну, извини, Васидорыч!

Киквидзе снова опустил голову на кожаную походную сумку, служившую ему в ту ночь вместо подушки.

— Товарищ начдив, — раздался громкий оклик, — из Царицына военрук Снесарев прибыл.

Киквидзе мгновенно на ногах. Окруженный многочисленными адъютантами, Снесарев стоит подле зудящих автомобилей и, брюзжа, выговаривает кому-то за беспорядок. Огромным усилием воли Киквидзе принуждает себя сохранить самообладание и, отдав короткий рапорт, просит военрука переговорить с ним наедине.

— Ну, что там еще? — недовольно морщится Снесарев, когда они остаются вдвоем. — Как это вы не сумели удержать станцию против слабейшего противника?

— Противник утром был вдвое, а сейчас вчетверо сильнее нас, — сухо говорит Киквидзе, до боли закусывая себе губу. — Я полагаю, что следует говорить откровенно: положение отряда критическое. Необходима немедленная помощь людьми, боеприпасами; желательна также присылка бронепоезда или хотя бы нескольких броневиков. Тогда я ручаюсь за прочный захват Алексикова.

— Так-с, — неопределенно мычит Снесарев. — Я подумаю об этом. Во всяком случае, оснований для паники не вижу.

— Никто здесь не делает паники, — возражает Киквидзе, и только легкая

дрожь в его голосе выдает его волнение, — но сила солому ломит. Судя по всему, части моей дивизии не успеют подойти, поэтому прошу вашего распоряжения о немедленной переброске подкреплений из стоящих поблизости эшелонов Сиверса или Миронова.

— Я подумаю, — повторяет военрук и устало зеваает. — Молодые командиры всегда думают, что самый опасный участок — это тот, на котором они находятся. Хе-хе...

Киквидзе хотел спросить, какое же положение Снесарев считает действительно опасным, но неприятная усмешка военрука подсказала ему, что генералы Носович и Снесарев знают его неприязнь к ним, и отвечают ему тем же.

И, не находя сил сдерживаться дальше, Киквидзе заговорил, почти закричал, не узнавая своего голоса:

— Товарищ военрук! Ваши действия вредят успеху дела. Мой долг революционера я знаю и выполняю, как выполнял раньше. Но ваши отшучивания и мудрствования хуже, чем непристойная брань.

— Я прошу вас замолчать, — надменно проговорил Снесарев, — о вашем поведении я подам рапорт председателю Реввоенсовета.

— Нет, это вы замолчите! — выдохнул Киквидзе, почти вплотную придвигаясь к военруку. — Я считаю ужасным, что по многу раз меняются приказания, новые распоряжения вносят путаницу; вы отдаете эти распоряжения, не считаясь с фактической ситуацией. Вот хоть бы теперь: отняли у меня резервы, заставили дать бой в неравных условиях. Сообщили мне, что западная бригада выступила, а после выяснилось, что она в Балашове. Вы телеграфировали, что петроградский маневровый батальон передается в мою дивизию, а потом оставили его в армейском резерве...

— Довольно! — в свою очередь крикнул Снесарев. — Это.. это...

Он круто повернулся и пошел к машине, возле которой толпилась жадно прислушивавшаяся свита.

Через несколько часов стало известно, что военрук не только отказал в подкреплении, но даже распорядился

отвести назад расположенные поблизости эшелоны соседних дивизий.

...Из-за дальнего леса брызнуло солнце. На позиции началось движение. Киквидзе вызвал командира 1-го рабоче-крестьянского полка Матусова.

— Слышал ты, Иван Осипович, как нам военрук помог? Пока там Носович в начальниках штаба ходит, а Снесарев в военруках, не жди пользы от Севкавкра. Придется тебе в Царицын ехать, к Сталину или к Ворошилову... А сейчас надо держаться до подхода наших частей. Не пришли к утру, придут к вечеру. Алексикиво отбивать сегодня, ясно, не можем. Но отступить дальше тоже нельзя.

Вслед за тем он вызвал командира Заамурского конного полка Рогликова. 6-й Заамурский полк одним из первых вошел в дивизию, и Киквидзе очень любил его. Рогликова, потомственного пролетария и смелого бойца, он всегда брал с собой в ответственную разведку. Так и на этот раз они, взяв еще пятерых всадников, отправились в разведку и вернулись только перед полуднем.

До полудня белые ограничивались артиллерийским обстрелом, затем осторожной перебежкой повели наступление. Красноармейцы сумрачно перетряхивали подступки: патроны были на исходе.

Наступавшие стали подвигаться быстрее.

Казачи дважды проходили сквозь редкую огневую завесу, но в рукопашной схватке не выдерживали отчаянного броска атакуемых и откатывались обратно. В середине дня к белым подошли новые подкрепления, и Киквидзе, потеряв еще около сотни бойцов, начал медленно отступать. Вечером показали спешившие на помощь части его дивизии. Отступление было приостановлено. Две новых атаки белых, введших в бой уже четыре тысячи человек, были уверенно отражены.

Дивизия Киквидзе заняла устойчивое положение на боевом участке Филоново — Поворино.

VII

В конце июля белоказачьи части закончили подготовку к новому наступле-

нию на всем протяжении Царицынского фронта. Наступление это мыслилось командованием «Всевеликого войска Донского» как решающее; его собирались проводить с максимальным напряжением, не останавливаясь ни перед какими жертвами.

Первый удар был нанесен по северному участку царицынских позиций. На центральном участке, в районе, непосредственно примыкающем к Царицыну, Сталин и Ворошилов создали такую оборону, о которую разбивался вдребезги казачий натиск. Эта изумительная система активной обороны была создана ими вопреки директивам Троцкого, вопреки предательству и двурушничеству посаженных им военспецов.

Убедившись в своей бессилии преодолеть эту оборону, белые решили предпринять фланговую операцию. Тут обстановка была иная. Тридцатидвухтысячной армии генерала Фицхелаурова в начале наступления были противопоставлены три тысячи бойцов дивизии Киквидзе, две тысячи — дивизии Сиверса и менее двух тысяч — дивизии Миронова. К тому же, командующий этими силами бывший царский генерал Княгиницкий не умел, либо не хотел, воспринять опыт войск, сражавшихся под командованием Сталина и Ворошилова. Между отрядами Сиверса, Киквидзе и Миронова не существовало тесной боевой связи и взаимодействия. Войска стояли в станицах да на железнодорожных станциях, интервалы между ними только освещались разведкой, и разъезды Краснова бродили по тылам красных, снося с действующими там кулацкими бандами.

Белые наносили удары поочередно каждому отряду: сперва обрушились на Сиверса, затем на Киквидзе и Миронова. Под давлением превосходящих сил врага красные части дрогнули и начали отступать. Двадцать шестого июля белоказачи заняли Лог и Арчеду, защищавшиеся конницей Миронова, через два дня — Панфилово и Бударино, где стояли части Киквидзе.

Киквидзе тяжело переживал отход своей дивизии. Он понимал, что пло-

хая организация северного участка Царицынского фронта, явившаяся одной из важнейших причин отступления, имеет глубокие корни. Ему была хорошо известна борьба, которую вел Сталин не только против явных предателей, но и против беспечных, неспособных или вялых руководителей. Он мучительно сожалел, что его дивизия подчинена нерешительному, посредственному и, главное, не заслуживающему доверия Сытину, а не участвует в славных делах ворошиловской армии. Но в то же время он понимал, что революционный долг обязывает его оставаться здесь, и чем труднее будет положение, чем хуже будет действовать командование армии, тем нужнее его присутствие на этом посту.

Бесчеловечные экзекуции белых на хуторах и в селах вызвали огромный приток рабочих и бедняцкого крестьянства в советские войска. Сотни людей из селений Рудня, Абадурово, Кресты, Большие Копани влились в части Киквидзе. Но это были неопытные, недисциплинированные бойцы; почти никто из них не имел оружия, а некоторые даже не умели обращаться с ним. Ценное пополнение дала только слобода Титовка; из добровольцев этой слободы был образован целый полк, который храбро сражался в рядах дивизии.

Враг не ослаблял натиска. Киквидзе бросал наиболее стойкие части дивизии во все опасные места, затыкал ими все дыры. Он видел, что люди валяются с ног от изнеможения, что снова началась катастрофическая нехватка снарядов, — из тридцати орудий фактически действовало не более половины; он хорошо понимал, что такое положение может закончиться гибелью дивизии, но изменить его был не в состоянии.

Однажды, выслушав доклады командиров, увидав их угрюмые, серые от усталости лица, он послал отчаянную телеграмму: «Части вверенной мне дивизии, окруженные неприятелем, после упорных боев должны были отойти в сторону Елани. Последних боях строя выбыли более одной тысячи человек. Несмотря на мои неоднократные прось-

бы, пополнения в нашу дивизию не дают. Дивизия находится два месяца непрерывно в боях, солдаты все измучены, нет обмундирования, денег. Во имя спасения дивизии прошу вас сделать распоряжение о снабжении дивизии всем необходимым и присылке пополнения».

Телеграмма не дала результатов.

Бои не ослабевали. Дневные атаки сменялись ночными, удары в лоб перемежались с неожиданными фланговыми налетами конницы.

Как-то поутру к начдиву ворвался Медведовский.

— Идем-ка на позицию! Беяки чуют...

Всю ночь не прерывалась оживленная перестрелка. Большинство бойцов, пользуясь наступившим затишьем, завалилось спать, в окопах несли дежурство преимущественно крестьяне, недавно пришедшие в дивизию. Киквидзе еще издали услышал их взволнованные голоса. Подойдя ближе, он заметил в окопах небывалое возбуждение. Кричали все разом, почти не слушая друг друга.

— Нипочем не стану в святые лики стрелять, — хрипло гудел здоровенный рыжий крестьянин.

— Они к нам с молитвою, а мы-то... никак невозможно, — поддакивал ему другой.

— Шо ж це за святые, коли они с беляками, — покраснев от натуги, возражал рябой парень.

— Лжу говоришь, — надрывался рыжий, — они по христовой заповеди... С любовью, значит.

— Жена мужа любила, в тюрьме место купила, — прогудел зычный бас, в котором Киквидзе узнал Антона. — На таких дураках они и ездют.

«Да что там у них приключилось?» — в недоумении думал Киквидзе. Небольшой бугор мешал ему разглядеть пространство перед окопами; вскочив на этот бугор, он остановился в совершенном изумлении.

— Ах, дьяволы, что изобрели, — выговорил он наконец.

С той стороны, где стояли белые, медленно двигалась густая толпа мона-

хов и попов. Впереди несли два огромных плаката; на одном было выведено «Полк Иисуса», на другом синей жирной краской — «Не убий!»

Монахи шли довольно стройно, громко распевая псалмы. Над их головами колебались позолоченные кресты и хоругви.

— Глянь, Василий, — сказал ехидно Медведовский, протягивая бинокль, — под рясками-то обрезы. У попов обычай заведен: не крестом, так хлыстом... али обрезом.

Киквидзе молча шагал вперед. При его появлении бойцы, подталкивая друг друга, стали умолкать.

Киквидзе подождал, пока водворилась полная тишина, и, насмешливо поблескивая глазами, сказал притворно смиренным голосом:

— Что же, братья во Христе, сдаваться будем... Винтовочки да пулеметики в кучки сложим, а сами под благословение. Не все сразу, по очереди! Может, вас батюшки осудят, что кадеты либо помещика когда обидели, так вы штаны спускайте, под плетку ложитесь. Не то казаки подоспеют, тут уж не о плетке дело будет...

— Энти рубать станут, — прозвучал в напряженной тишине голос Антоны, — лес сечь, не жалеть плеч...

Киквидзе повернулся к стоявшему рядом с ним парню:

— Сдавай винтовку! — сказал он сурово. — И можешь уходить отсюда. Мне такие бойцы не нужны.

— Я — что... Я, как все, — забормотал парень, сжимая обеими руками винтовку.

— Как все, — закричал Киквидзе, — тогда все ступайте к чортовой матери! Служи молебны да ломай шапку перед баринном. А кто за трудовое рабочее дело сражается, тот иди за мной!

Не глядя, следует ли кто-нибудь за ним, он выпрыгнул из окопа и побежал навстречу приближавшейся процессии. Антон и еще человек пять побежали за ним.

Киквидзе ясно различал расширенные от страха глаза плечистого дьякона, шедшего в первом ряду. Попам и

монахам стало не по себе при виде этого бешено несущегося на них человека, пение их пошло вразброд, и некоторые попятнулись, сломав стройный дотоле ряд. В тот же момент из середины толпы раздались выстрелы, и несколько пуль просвистело мимо головы Киквидзе.

Киквидзе приостановился и выхватил из-за пояса гранату.

— Что ж вы, сволочи, пишете «Не убий», а сами стреляете?! — крикнул он и размахнулся гранатой.

Плечистый дьякон швырнул плакат и присел на землю. За ним и другие начали бросать кресты и хоругви. Из задних рядов выбежало человек тридцать казаков и, не таясь более, сбросив мешавшее им облачение, открыло беспорядочную стрельбу. Позади Киквидзе раздался рев возмущения: там поняли, что чуть было не попали впро�ак, и все полезли, из окопов расправиться с мнимыми и настоящими монахами. Но те не стали ждать их. Побросав священные атрибуты, они пустились наутек, высоко подобрав длинные рясы.

— Ай, батя, — хохотал Антон, указывая на толстенького коротконогого священника, — вот наворачивает. Вот это да!

Бегущих проводили оглушительным свистом и улюлюканьем. Даже Киквидзе не мог сдержать улыбки, глядя на неуклюжие фигуры улепетывавших.

Однако не всегда дело кончалось так благополучно. В конце августа, когда Сталин и Ворошилов разгромили белоказачков на главном направлении и подготовили мощный контрудар по всему фронту, на северном участке создавалось критическое положение. Левый фланг дивизии Киквидзе оказался открытым, потому что соседняя с ним дивизия Миронова отступила, совершенно потеряв связь. Белые немедленно ввели войска в образовавшийся промежуток и прорвались на 30 километров вглубь. Казачьи разъезды появились в районе Ильменя и Малышева. Одновременно крупные силы белых проявляли усиленную активность в районе Тростянки.

Бледный, худой, с опухшими от бессонницы глазами, Киквидзе не уходил с линии огня. Он требовал от бойцов предельного напряжения, требовал, чтобы они, не сменяясь по целым неделям, не получая часто горячей пищи, имея считанные патроны в подсумке, отбивали бесперывные атаки свежих, отлично вооруженных казачьих полков. Но он не закрывал глаза на то, что если не подоспеют подкрепления, все усилия окажутся тщетными.

Первого сентября он получил срочный пакет от командующего армией. Надеясь, что в нем содержится известие о посылке подкреплений, он сломал печати и... поблдевав, опустил руки: ему предписывалось немедленно откомандировать в распоряжение командарма Еланский полк, одну из самых стойких частей дивизии.

Он вызвал к себе Матусова. Тот с удивлением глядел на начдива, которого никогда еще не видел в таком состоянии.

— Поезжай в штабarm, — сказал Киквидзе простуженным, сильным голосом, — передай, что дивизия держит фронт без шинелей, без обмундирования, без патронов. Передай, что люди выбились из сил, что левый фланг еще висит в воздухе, покинутый частями Миронова. Передай, — он посмотрел на Матусова воспаленными глазами и тихо закончил, — что для восстановления положения и во имя революции рабочих и крестьян прошу Еланский полк оставить в моем распоряжении.

Появились первые предвестники осени. Поблекли тона лугов, засох тростник, надломались и переплелись хвощи. Над озерами появились стаи уток. Зазеленели озимые поля. Но почти никто в дивизии не замечал этих изменений. Все были поглощены одной мыслью: устоять под градом металла, выдержать напор непрерывно набегавших штурмовых волн противника.

Девятого сентября белые, подтянув из Ярыженской конную бригаду в две тысячи сабель, начали наступление на хутора Терещанский, Якушов и Стое-

жевский. Наступление велось густыми цепями на широком фронте. Первая и четвертая сотни казачьего революционного полка, обстреливаемые артиллерийским огнем, отошли под натиском превосходящих сил врага. Киквидзе выслал на помощь им вторую и третью сотни и Титовский донской революционный полк. Завязался ожесточенный бой. В пять часов вечера белые отступили.

Этот успех несколько упрочил положение дивизии. Плохо было то, что из соседних отрядов очень неаккуратно приходили сведения об их операциях. Киквидзе запрашивал по телефону, рассылал верховых и все-таки не мог выяснить в точности, каково местоположение войск Сиверса и Миронова.

— Ты подумай, — жаловался он Медведовскому, — может, они отступили и мы уже в мешке, а может, они вперед продвигаются, и тогда беляков прижать не трудно.

— Дай еще телеграмму.

— Чорта лысого помогают мои телеграммы, — стукнул кулаком Киквидзе.

Но все-таки в тот же вечер телеграфировал в несколько адресов: «Самым категорическим образом требую от военруков ежедневно присылать оперативные сводки хотя бы один раз сутки и сообщать о положении фронта других участках. Я два дня не получал сведений и не знаю, что делается. Комбригов Сиверса и Миронова прошу сводки непосредственно присылать мне».

На другой день ему принесли депешу. Киквидзе вскрыл ее, не прерывая беседы с Медведовским, но вдруг брови его удивленно поднялись, усталые глаза оживились, бледные щеки покрыл румянец радости.

— Послушай-ка, что нам пишут: «Передайте начальнику дивизии Киквидзе и частям его дивизии, что военный совет от лица всей страны благодарит их за лихие действия и верит, что доблестные войска этой дивизии сокрушат наглого врага и создадут боевую славу своим революционным знаменам». — Депеша была от начальника штаба Южного фронта.

Киквидзе сделал пометку на телеграмме, затем передал ее Медведовскому.

— Иди, прочитай во всех частях! Иди сейчас же, договорим после.

VIII

Ночью, когда утихла канонада, Киквидзе в наброшенной на плечи шинели, ежась от сырости, вышел из палатки. Ему не спалось. Едва закатывалось солнце, его начинала трепать лихорадка, давали знать о себе старые раны, и он порой, лежа на своей походной койке, стискивал зубы, чтобы не застонать.

Дойдя до третьего батальона, он замедлил шаги. Слышался неторопливый, мерный голос Антона, который рассказывал про войну с немцами.

Заметив Киквидзе, Антон прервал рассказ.

— Садись, Васидорыч. Гостем будешь. Неможется все?

Бойцы потеснились. Они привыкли, что начдив подсаживался к ним на привалах, подолгу беседовал, давал советы по хозяйству и даже врачевал сердечные раны.

Киквидзе обменялся приветливым взглядом с Антоном, и у обоих мелькнула одна и та же мысль, про Алексея.

— Скучаешь? — тихо спросил Киквидзе.

— Жалко, — так же тихо ответил Антон, — сколько народу на моих глазах погибло, а Леша из ума нейдет.

Киквидзе тряхнул головой.

— Ну, продолжай рассказ! — громко проговорил он. — Да чайком не попотчуете ли? У меня в шинели сахар есть. Я весь паек не съедаю.

— Рядого, мы привычные, — проговорил один из бойцов.

Киквидзе встал, обшарил карманы шинели и выложил два завернутых в бумагу пакетика.

— Чего стесняетесь? Берите!.. Да, кстати, я давно сказать хотел... Докладывали мне, что некоторые из вашей роты стреляют в провода для забавы. Больше чтоб этого не было, товарищи.

Ведь вы связь нарушаете. Кому забава, а мы снести с другими дивизиями не можем.

— Правильно, — заговорили вокруг. — Есть у нас такие, кто дурью страдает.

— Иной от дурости, — сказал Киквидзе, — а иной, может, нарочно навредить хочет. Вы все за этим следить должны.

— Товарищ начдив! Василий Исидорыч! Товарищ Киквидзе! — раздался вдруг отчаянные возгласы.

Кто-то вынырнул из темноты, задыхаясь от быстрого бега.

— Чехи к белякам ушли.

— Что?!

— Чехи, говорю, к белым...

Киквидзе уже бежал, и шинель на его плечах развевалась, подобно крыльям.

— Эх, опять не свою шинель захватил, — вздохнул Антон. Несмотря на тревогу, все улыбнулись: было известно, что начдив часто надевал второпях чужую шинель.

В районах Самары, Саратова и Тамбова царское правительство устроило много лагерей для военнопленных империалистической войны. После революции часть находившихся в этих лагерях чехословаков вступила в ряды Красной армии. В составе дивизии Киквидзе был сформированный из таких чехословацких волонтеров полк; командиром этого полка, носившего название «2-й Интернациональный полк», был чешский офицер Книжек. Интернациональный полк являлся внушительной силой, потеря которой была бы очень чувствительна. Кроме того, переход на сторону белых этого полка тягело отразился бы на моральном состоянии бойцов, подорвал бы их суровую стойкость и готовность вынести любые лишения во имя революции.

Привычным жестом Киквидзе опущал кобуру, — револьвер был на месте. Но тут же усмежнулся: не будет же он один сражаться против целого полка. Применить силу, попытаться разоружить чехов?.. Это крайность. Он должен найти нужные слова, должен суметь удержать их без столкновения.

Киквидзе миновал позиции и бежал по «ничьей земле», как он называл иногда пространство между своими и неприятельскими укреплениями. Сердце его колотилось, горло пересохло, в ушах стоял звон. Он делал несколько длинных прыжков, стараясь не дышать, потом замедлял бег, набирал в легкие воздуха и снова мчался прыжками.

Наконец, перед ним замаячила медленно идущая людская масса. Полк шел стройно, соблюдая интервалы между рядами, имея на флангах пулеметы.

Киквидзе из последних сил громко крикнул:

— Стой!

Чехи остановились. Книжек, высокий, в железных очках, с которым Киквидзе неоднократно ходил вместе в атаку, командовал негромко:

— Марш!

После секундного колебания люди двинулись дальше тем же твердым, тяжелым шагом.

Киквидзе догнал командира:

— Куда?

Не глядя на него, тот ответил:

— К белым...

— И я с вами, — просто сказал Киквидзе и зашагал рядом с командиром.

Чех удивленно покосился на него, но ничего не ответил.

Полк приближался к позициям белых.

— И пулеметы сдадите? — вполголоса спросил Киквидзе.

Командир утвердительно наклонил голову.

— Ви ушел бы, Базиль Изидор, — сказал помощник командира полка Цмунд, — ми вам худого не сделать.

Киквидзе шагал, и под скулами у него переливались желваки. Для него было несомненно одно: если он не сможет удержать полк, он не вернется обратно.

Из расположения белых показались несколько человек и быстро пошли навстречу чехам.

«Сговорились... встречают» — со злобой подумал Киквидзе. И вдруг, повинувшись внезапной интуиции, столько раз выручавшей его в бою, выхватил из

кармана наган и повернулся лицом к полку.

— Товарищи, — крикнул звенящим голосом, — долой изменников! За мировую революцию!

— Halt!¹ — крикнул отчего-то по-немецки Книжек и рывком расстегнул кобуру. Отскочив в сторону, Киквидзе два раза выстрелил. Чех упал на колени, попытался что-то сказать, но захрипел и свалился набок.

Полк угрюмо глядел на труп. Киквидзе знал, что все решится в эти секунды: либо чехи поднимут его на штыки и находившиеся уже совсем близко белые офицеры станут во главе их, либо весь полк пойдет за ним, как ходил не однажды. Ему казалось, что он ощущал в себе мучившие каждого солдата колебания и то, как каждый не решался принять на себя тяжесть решения, а ждал, что сделают другие. И это ощущение, в котором он увидел симптом установления незримой связи с мрачно стоявшими людьми, придало ему уверенности и твердости.

Спокойным, властным движением он взял у одного солдата винтовку, передал ему взамен свой револьвер.

— Полк! Слушай команду! За революцию! За дело Ленина! Вперед!

И, уже не сомневаясь в том, что перелом совершился, что чехи не оставят его, он бросился к позициям белых. За ним, топчя труп Книжека, ринулся в атаку весь полк.

Белые не сразу поняли, что произошло, и только через минуту открыли огонь.

Киквидзе бежал, испытывая хорошо знакомое ему спокойное ожесточение. Он с радостью отмечал, как умело атакуют чехи, залегая в моменты наиболее интенсивного обстрела и в то же время неуклонно подвигаясь к неприятельским окопам.

«Возьмем, пожалуй» — мелькнула у него радостная мысль.

Вдруг он испытал резкий толчок в бок. Взглянул, но никого не увидел.

«Показалось, верно» — подумал он.

¹ Стой.

Но боль не проходила. Ноги налились свинцом. Странная слабость овладела всеми членами. Он остановился и, улыбаясь растерянной, недоумевающей улыбкой, упал плашмя на землю.

IX

Телеграмма из Реввоенсовета: «Елань. Начдиву Киквидзе. Приветствую вашу доблесть в последнем бою. Узнал о вашем ранении и жду известий о выздоровлении. Приветствую доблестную дивизию проявившую стойкость и продолжающую теснить врага».

Медведовский сложил телеграмму и украдкой посмотрел на лежавшего Киквидзе.

— Больно тебе, Василий? — спросил он. — Может, врача привести?

— Нет... Прочти оперативную сводку. Я подпишу.

— Сказано было, чтоб ты делами сейчас не занимался.

— Ладно... Читай!

— Эх, Василий, хорошо, что ты не женат. Довел бы ты молодую жену до могилы. Слушай, коли так. «Еланский участок. Противник бросил очень крупные силы и ведет наступление по всему фронту участка. Целый день шел бой в районе хутора Архангельского, где обстреливали нас и батарею бризантными снарядами, отбив одно наше орудие. Один из кавалерийских полков противника незаметно пробрался к нам в тыл и бросился в атаку на нашу конную батарею. Несколько пулеметов начали угрожать нашему тылу, но благодаря сильной атаке и храбрости нашего Орденского кавалерийского полка, который несколько раз ходил в атаку, противник был ликвидирован, оставив на поле сражения очень много раненых и убитых. Вчера нами у Архангельского захвачен у противника один пулемет Максима». Так?

— Так.

Киквидзе подписал донесение и, возвращая Медведовскому перо, задержал его руку в своей.

— Теперь скажи прямо, в чем дело. Я вижу, что ты мнешься все время.

— Видишь ли...

— Не юли, — утомленно сказал Киквидзе.

— Ладно! Первая статья — это то, что сегодня от Матусова из Царицына письмо пришло.

— Что ж ты молчал! — воскликнул Киквидзе. — Видел он Сталина?

— Видел ли его самого, не знаю. Во всяком случае, говорил с кем-то из его помощников, потому что подробно излагает мнение товарища Сталина о наших делах.

Киквидзе приподнялся на кровати.

— Ну же... Ну!..

— Вот ты и разволновался. Зря я тебе сообщил. Да не злись, все расскажу. Сталин очень сожалеет, что потеряна железнодорожная линия Поворино—Царицын. Успех белых на северном участке фронта он объясняет тремя причинами. Во-первых, тем, что крепкий, «справный» мужик повернул против советской власти, так как ему не понравилась наша политика: не понравилась борьба с мешочничеством, реквизиции, твердые цены, хлебная монополия. Во-вторых, тем, что казачий состав дивизии Миронова дал себя знать: оттуда целые части переходили к белым. И в-третьих, отрядным построением нашей дивизии, препятствовавшим координации действий и связи.

Наступила пауза. Медведовский с деланным вниманием следил за голубоватыми кольцами дыма, которые он искусно выпускал изо рта, скашивая на сторону рот и щелкая языком.

— Все это правда, — глухо произнес Киквидзе, — все верно. Надо превратить дивизию в часть регулярной армии, истребить без остатка партизанщину, лихачество, отсебятину, самоволие... Ведь достаточно одного случая ротозейства, чтобы погибли плоды героических усилий. Плохой из меня командир... Не сумел сделать, что нужно.

— Когда же было делать, — горячо сказал Медведовский, — если, что ни день, — бои. Во время брода лошадей не перепрягают. И к тому ж постоянно отряды станичников вливаются, а с каждым надо все заново начинать. Не

будь тебя, все по швам давно расползлось бы.

Киквидзе покачал головой.

— Нет! Чего-то я не сумел, — повторил он упрямо. — Провел же Ворошилов по безводной степи свою колонну, с громадным обозом, и белым только конское дерьмо досталось. Будь у него в частях партизанщина, белые их бы с потрохами съели. — Он вдруг покраснел и натуженным голосом договорил: — Но я сумею! Или в земле лежать буду, или сделаю дивизию такой, что не стыдно будет и Ворошилову показать.

Медведовский поднялся.

— Все ты сердчашь, Василий, все сердчашь да сердцем болеешь. Оттого и рана не заживает.

Он начал неспеша складывать бумаги, что-то мурлыча под нос.

Солнечный луч скользнул в окно и, отразившись в стекле будильника, стоявшего на полочке, заиграл зайчиками на развешанном оружии. Киквидзе рассеянно наблюдал за ним.

— Как хорошо, Самуил, — произнес он тихо, — как хорошо будет, когда окончится война. — Он помедлил и с силой добавил: — И все-таки, какая это замечательная война! Глупо рисковать жизнью из-за бравады, из тщеславия; но рисковать во имя того, что ты считаешь справедливым и высоким... — Он приподнялся на локте, посмотрел куда-то вдаль, поверх головы Медведовского. — Я помню, Самуил, как прежде, когда я мальчишкой был, люди делились на сытых и голодных, на тех, кто бьет, и тех, кого бьют. После — совсем недавно — я видел, как белые вырезают ремни из кожи пленных, видел жен красноармейцев, которых кадеты ежедневно пароли; кожа у них висела доскутьями, рубашка прилипла к окровавленному мясу. И потому, что я видел все это, я считаю радостью биться и, если надо, умереть в борьбе против этого. А только хочу одного: подороже продать свою жизнь...

Страстная тирада утомила его, он откинулся на подушки и закрыл глаза.

Медведовский, неуклюже ступая на носках скрививших сапог, вышел из

комнаты и плотно прикрыл за собою дверь.

Х

Успешно начавшееся августовское наступление Краснова закончилось крахом. Уже в конце этого месяца в военных действиях наступил перелом, а первые дни сентября стали днями совершенного разгрома белоказаков. Красной армии достались крупные трофеи: боеприпасы, амуниция и продовольствие. Был захвачен большой, в пять тысяч голов, гурт скота.

Потерпев неудачу в августе, руководители белых казаков решили повторить попытку овладеть Царицыном в октябре. Краснову удалось сосредоточить сорок пять тысяч штыков и сабель, сто пятьдесят орудий, двести двадцать восемь пулеметов и восемь бронепоездов. Кроме того, донское командование располагало двадцатью тысячами человек так называемой молодой армии, частями которой пополнялась убыль основных кадров.

Белые заняли станции Кривая Музга, Карповка, Лог, форсировали Волгу у Светлого Яра и распространились по левому берегу. Смертельная опасность нависла над цитаделью революции. Именно в эти дни был отдан приказ Ворошилова: «Приказываю с занимаемых позиций не отступать ни шагу назад, впредь до распоряжения. Неисполнители настоящего приказа будут расстреляны».

Четырнадцатого октября Ворошилов телеграфировал Свердлову в Москву и Реввоенсовету Республики в Арзамас: «...противник крупными силами наступает против Центрального и Северного участков Царицынского фронта. Наши части отступают. Противник отрезал Волгу на юге, пытается отрезать на севере и взять Царицын. Положение критическое, снарядов нет. Необходима немедленная помощь по Волге военными судами, живой силой, снарядами, патронами, после исправления положения будет уже трудно. Армия сражается героически, но всему есть предел».

В результате этой телеграммы командующему Южным фронтом Сы-

тину было предписано двинуть свою 9-ю армию «в наступление, до полного напряжения, с таким расчетом, чтобы оно самым существенным образом отражалось на действиях казачьих отрядов против Царицына». Наступление это велось пассивно и ни на йоту не облегчило положения под Царицыном. Виною этому было исключительно вялое руководство Сытина и Княгиницкого. Дивизии, от командира до последнего бойца, дрались храбро — особенно дивизия Киквидзе.

Шестнадцатого октября Киквидзе срочно вызвал к себе всех командиров. Он еще не совсем оправился от ранения, был бледен и очень слаб.

— Прежде всего, — сказал он, — поздравляю вас с преобразованием нашей дивизии в регулярную воинскую часть Красной армии.

Он положил на стол только-что доставленный из Козлова документ. Командиры, теснясь, вырывая друг у друга, стали читать:

«Приказ № 26

Армиям Южного Фронта Российской Республики

г. Козлов 14 октября 1918 г.

5) Пехотную дивизию Киквидзе переименовать в 16-ю пехотную дивизию. Начальником дивизии назначается Киквидзе».

— Все прочли? — спросил через минуту начдив. — Не знаю, как для вас, товарищи, а для меня это большое счастье. Меня всегда огорчало наименование «отряд Киквидзе» или «дивизия внеочередного формирования», или еще что-нибудь. Надо оправдать оказанное нам доверие. И случай к этому уже представился. Вот приказ войскам 9-й армии, переданный нам по телеграфу.

Он собирался приступить к чтению, но мучительно закашлялся, держась за бок. Медведовский подал ему стакан воды.

— Дай, я оглашу, — тихо сказал он и, не дожидаясь согласия, стал громко читать: «Приказ номер семьдесят четыре... Противник превосходными силами ведет настойчиво и упорно атаки

на Царицынскую группу, угрожая самому Царицыну, положение которого критическое. Для спасения участи Царицына и для соединения с войсками 10-й армии Главкоуж приказал, в связи с общим наступлением всего Южного фронта вверенной мне армии перейти в решительное наступление. Для чего: особой дивизии внеочередного формирования (Киквидзе), — тут Медведовский прищелкнул пальцами: нет, шалишь, пора по-новому величать! — сильной группой правого фланга энергично наступать на Лукьянов, Кардаильский, Зубрилов, Челышев. Особой казачьей дивизии Миронова, не нарушая связи с частями Киквидзе, вести энергичное наступление за обладание Себряково — Кумылга...»

Медведовский долго читал и, наконец, торжественно проскандировал заключительный пункт приказа:

— «Выполнение операции по своей важности носит исключительный характер. Реввоенсовет 9-й армии ставит командирам, комиссарам и всем частям войск армии непреложной обязанностью необходимость проявления самого высокого революционного долга».

Он положил бумагу на стол.

— Кто просит слова? — спросил Киквидзе.

— Предоставь мне, — встал командир Чайковский.

Высокий, подтянутый, с выправкой, обличавшей старого кадровика, Чайковский был на сей раз необычно бледен. В бою у хутора Грачевского он был ранен; пришлось ампутировать руку. Это был первый совет, на котором он присутствовал после операции.

— Я должен, товарищи, сообщить тяжелую новость. Сегодня утром на участке Зубрилово — Ярыженская полностью уничтожен только-что прибывший из Москвы учебно-кадровый полк. Спаслись только ездовые и обозные.

— Почему? Как случилось? В чем дело? — посыпались вопросы.

— Я отвечаю, — поднялся Киквидзе. — Казаки предприняли массированное наступление на позиции полка. Вина отчасти падает на 15-ю дивизию, которая обнажила тыл и фланг учеб-

но-кадрового. В довершение, в полку скоро иссякли боеприпасы...

— Всегда та же беда, — горько сказал Рогликов, — спасибо Княжническому...

— Командир полка растерялся, — продолжал Киквидзе, — не успел вывести бойцов из окружения. Помощь опоздала... Об остальном можно не говорить... Пока были патроны, отстреливались, а после стали последний патрон на себя тратить...

Он переждал, пока по комнате прокатился подавленный гул восклицаний.

— Это тяжкий урок, — сурово заговорил он опять, — но пусть он принесет пользу. Я указал уже штабарму, что, если не будет обеспечена координация действий между дивизиями, успех не может быть достигнут, и всегда возможны трагедии, вроде сегодняшней. — Он замолчал и опустил, вернее, рухнул на стул.

Командиры встревоженно смотрели на него.

Киквидзе сидел, свесив голову, с меловым лицом; глаза его были закрыты, капли пота блестели на подернутом ранними морщинами лбу.

— Обморок, — вздохнул один из командиров.

★

Решение о переходе в общее наступление имело одно неожиданное следствие: командующий 9-й армией Княжницкий удовлетворил давнишнюю просьбу Киквидзе и прислал три грузовика с шинелями.

Это известие облетело все части и вызвало волнение неопишное. Даже степенный Медведовский вышел из равновесия, и его невеселая, плотная фигура суетливо мелькала во всех ротах. К концу дня удалось, наконец, распределить запас шинелей. Киквидзе собирался уже отправиться в обычную поездку на позиции, когда ему передали, что Интернациональный полк требует его к себе.

— Что еще? — нахмурился он. — Недовольны? Передай, что разверстали всем поровну. Больше все равно не дам.

— Два раза приходили, — ответил новый ординарец Масюков. — Кубыть, что-то важное сказать имеют.

Киквидзе сумрачно направился в Интернациональный.

— Насчет шинелей? — прямо спросил он.

— Совершенно верно, товарищ начдив. На полковом митинге вынесли резолюцию: так как завтра ожидается крупный бой, то лучше раздать шинеля после боя. Нас тогда меньше останется, и свободное количество другим революционным бойцам пригодится.

Киквидзе почувствовал, что в горле у него запершило.

— Спасибо, друзья! — сказал он. — А я думал...

Он повернулся и легкой походкой пошел к коню.

— Похоже на то, что думка их правильная, — рассуждал, идя вслед за ним, ординарец. — Завтра многие в музгах¹ лежать будут. Такая им доля, значит. А шинель жалко...

★

Шли жестокие бои. Красноармейцы гурью шли на врага.

Киквидзе все время был в огне. Он водил в атаку пехотные части, возвратившись, садился в броневики, а когда пулеметы в броневики настолько раскалялись, что надо было дать им остыть, пересаживался на лошадь и скакал во главе конных частей. В разгаре боя он был ранен. Пуля на излете ударила его в голову. Командир полка Клименко подхватил падавшего начдива, вынес его из боя и передал начальнику санитарной части дивизии Артемьеву.

— Кость цела, — сказал врач, осмотрев рану, — нужен покой, и через неделю все будет в порядке.

Киквидзе, успевший притти в себя, при последних словах встал на ноги.

— Забинтуйте мне хорошенько голову, товарищ, — сказал он, — а ты, Масюков, приведи легковую машину с пулеметом. Я из строя не уйду. Если каждый от таких пустяков в лазарет ляжет, то казаки быстро нас посекут.

¹ Музга — болотце в степи.

Вопреки запрещению врача и уговорам окружающих он вернулся на позиции.

В середине дня в бою, как бы по безмолвному соглашению противников, наступила передышка. Истомленные усталостью и жаждой, люди бросились на землю. Кашевары напрасно разносили котелки: почти никто не хотел прерывать сладостного отдыха.

В это время Киквидзе доложили, что третьим батальоном Тамбовского социалистического полка захвачен белый офицер, судя по погонам, штабной.

Надеясь получить полезные сведения, надив отправился туда.

В батальоне гремел хохот. Забыв об усталости, бойцы тесным кольцом окружили пленника и Антона (он-то и стащил с коня офицера).

Офицер стоял в черной бурке, изпод которой виднелись шитые золотом погоны. Черные волосы свисали над высоким лбом и ястребиным, изогнутым носом.

«Похож на меня» — подумал, усмехаясь, Киквидзе.

Он приостановился и прислушался к разговору, доставлявшему такое удовольствие бойцам.

— Как же тебя зовут, ваше благородие? — спрашивал Антон.

— Зовут зовуткой, а величают дудкой, — отвечал пленник, беспокойно рыская глазами. Киквидзе сразу определил по акценту, что пленный грузин.

— Го-го, — закатывались окружающие. — Он, что наш Антон, разговаривает. Коса на камень...

Антон, чувствуя, что бойцы ждут его ответа, небрежно обронил:

— Ты не извлияйся... Расскажи-ка лучше, по каким-таким резонам вы против нас воюете. Всяк о правде говорит, да не всяк ее творит... А вашу барскую правду мы давно знаем. Я вашего брата, офицера, нагладелся. Вы солдата и поите, и кормите, и спину порете.

— Ай, здорово, — грохнули вокруг. — Антон за словом не полезет.

— Что ж, ваше благородие, отвоевался, значит? — продолжал Антон. — И еще бы воевал, да воевало потерял?

А скажи-ко-сь, много ли землицы имешь? Далече ли хуторок твой?

— Дорогой пять, а прямо десять, — ответил офицер.

— Ты не очень изголяйся, — помрачнел вдруг один из бойцов. — Очень даже соображай, где находишься. А не то живо успокою.

Киквидзе негромко кашлянул.

— Дайте-ка мне с этим орлом толковать, — обратился он к бойцам, и жестом пригласил офицера следовать за собой.

Час спустя Киквидзе приказал подать ему легковую машину.

Когда он вышел, шофер оторопел: начдив был в офицерской форме с золотыми погонами, на плечах щегольски накинута бурка.

— К белым!

Стерев с лица недоуменный вопрос, шофер дает газ.

— Погоди. Нацели вот на плечи, — Киквидзе протягивает пару погон.

Машина ныряет в темноту. Тусклый свет фар едва освещает плывущие навстречу деревья.

— Кто едет? Стой!

Шофер резко стопорит. В полосе бледного света появляется фигура статного урядника с выхоленными усами.

Киквидзе небрежным, почти высокомерным жестом протягивает удостоверение. Урядник почтительно рассматривает подпись самого Краснова, косится на обнажившиеся под буркой золотые погоны.

— Пропустить их высокоблагородие, — говорит он в темноту. — До штаба версты две будет. Второй дом от школы. — И, наклонившись к шоферу: — Как через мост поедешь, давай самый тихий: доски там погнили.

В штабе Киквидзе вызывает дежурного офицера:

— Прошу начальника штаба принять меня по срочному делу. Я — ротмистр, князь Чавчавадзе. С поручением от атамана Войска Донского.

Офицер изысканно, светским жестом (и мы, мол, не лыком шиты) приглашает садиться, исчезает за дверью и через несколько минут возвращается.

— Полковник ждет вас.

— Так скоро? А я надеялся отдохнуть немного: растрясло так, что будь на моем месте беременная женщина... — наклонясь к уху заранее улыбающегося адъютанта, он игриво заканчивает фразу. Но тотчас же становится серьезным и, оправив узкий мундир, проходит к начальнику штаба.

Старенький, подслеповатый полковник, потирая руки, идет ему навстречу. «Точь-в-точь, как описал его пленный беляк» — удовлетворенно подумал Киквидзе.

— Давно не виделись, ротмистр, — дребезжающим голосом говорит полковник, — в последний раз в ставке его величества. — Он размашисто крестится. — Но вы, если не ошибаюсь, порядочно возмужали... Я не узнал бы вас.

Начдив вынимает из кармана наган и подносит дуло к самой переносице полковника.

— Я — Киквидзе! Если вы издадите хоть один звук, вы мертвы.

Полковник, инстинктивно заслоняясь рукой от зияющего дула, с выпученными глазами пятится к столу.

— Где бумаги? — холодно спрашивает Киквидзе. — Мне нужны секретные приказы, коды шифров, сведения о людском и конском составе.

Киквидзе знает: если произойдет что-либо неожиданное, никто из них двоих не выйдет живым из этой комнаты. Полковник чувствует эту непреклонную решимость и слабеет перед нею. Он даже сам помогает сложить в один портфель наскоро отобранные бумаги.

Забрав нужные документы, Киквидзе многозначительно говорит:

— Теперь я попрошу вас совершить со мной небольшую прогулку в автомобиле. Заверяю вас честным словом, что ни сейчас, ни после вам не будет причинено никакого вреда. Даже обещаю вам один сюрприз, полковник. Но при малейшем жесте, попытке позвать на помощь, вы не проживете и десяти секунд.

Скучающему адъютанту страшно хочется узнать, в чем заключается миссия блестящего ротмистра. Однако он тщетно пытается подслушивать: через

плотно прикрытую дверь доносится только ровное гудение голосов, вернее, одного голоса. Полковник молчит, но это не удивляет адъютанта: он знает, что его начальник всегда предпочитает слушать.

Внезапно дверь распахивается. На пороге стоят под руку князь Чавчавадзе и полковник.

— Я скоро вернусь, — жалобно говорит полковник и запахивает воротник шинели, — вот проеду неподалеку с ротмистром.

Гость прикладывает два пальца свободной руки к фуражке, очаровательно улыбается и, оживленно рассказывая что-то своему спутнику, идет к выходу.

Уже когда машина миновала последнюю белую заставу, Киквидзе дружелюбно произносит:

— В вашем возрасте — и такая беспоконная, тревожная деятельность. У нас вы будете отдыхать. Вы должны радоваться. А плохого вам, повторяю, ничего не сделаем. — И вдруг, вспомнив, заразительно смеется. — Я обещал вам сюрприз. Извольте. Через четверть часа вы увидите настоящего князя Чавчавадзе. Будет с кем старину вспомнить...

XI

Реввоенсовет Южного фронта уже давно задумал послать по дивизиям своих представителей. Политработников в частях не хватало; надо было провести митинги, поднять дух бойцов, выявить их претензии. Двадцать первого ноября в 16-ю дивизию выехал член ВЦИК'а Перчин, а с ним члены Политотдела Южного фронта Тележкин и Ефремов.

Делегация прибыла в Елань утром. Штаб дивизии находился в нескольких верстах от станции, и Киквидзе прислал за приезжими грузовичок. Делегаты, посоветовавшись, решили:

— А нельзя ли прямо в часть? Сперва в резервную, а завтра на позиции.

Встречавший гостей Медведовский кивнул головой.

— В семи верстах от слободы Елани стоит Заамурский конный полк, конная батарея и пулеметная команда при нем. Можно туда.

Штаб полка помещался в доме священника. Извещенный заранее о посещении, командир полка ждал на крыльце.

— Красноармейцы желают вас встретить по-военному, то-есть в боевом виде, — заявил он, поздоровавшись.

Падали сырые хлопья снега. Командир стоял в подбитой мехом бекеше и нервно стряхивал налипавшие снежинки. Медведевский спрятал улыбку: командир явно волновался, а между тем под огнем это был один из первых храбрцов в дивизии.

Отправились к полку. Завидя приближающуюся группу, хор трубачей грянул «Марсельезу». Прозвенела голосистая команда:

— Смирно! Слушай! На караул!

— Что твои гвардейцы, — восторженно шепнул Ефремов.

Командир полка с поднятой над головой обнаженной шашкой подскочил на кровной английской кобыле, верно и четко отдал рапорт.

— Приступаем к митингу, — объявил Медведевский. — Выступать будет представитель советской власти Российской Социалистической Федеративной Советской Республики...

— А смотри? — плачущим голосом сказал командир. — Надо же полк посмотреть...

— Ну, давай смотри! — улыбнулся Медведевский, — покажи своих конников...

Командир с сияющим лицом помчался, горяча лошадь, к сотням.

Вечером этого дня Тележкин, преодолевая сон, строчил доклад в Реввоенсовет Южного фронта. Штаб дивизии был расположен в школе; Тележкин сидел на учительской кафедре в пустом классе со сдвинутыми партами и, дую на стынущие пальцы, исписывал страницу за страницей.

«Стройными рядами, с обнаженными шашками, сотня за сотней проходили строевой рысью с своими пулеметами и артиллерией. Чувствовалась грозная си-

ла, закаленная в непрерывных боях сначала на Украине, потом здесь, на Южном фронте, против донской контрреволюции. Полк на саблях принес клятву твердо, как и прежде, до конца стоять за советскую власть против всех врагов, кто бы они ни были.

Тогда мы приступили к беседе. Заамурцы окружили кольцом нас. Беседа была на тему международного движения, — чего хотят империалисты всего мира, революции в Германии, Австрии, задачи Красной армии. По окончании речи каждого оратора было произнесено громкое «ура» под хор трубачей.

Поднимался вопрос о ходатайстве пред высшим органом советской власти о выделении части дивизии и посылке на Украинский фронт для борьбы с контрреволюционным восстанием на Украине, так как в рабоче-крестьянском полку находится большинство украинцев. Но на это ответили Ефремов и Перчин, что там, где нужна помощь в завоевании полной свободы трудящихся, высший орган позаботился и поставил посты из таких же свободолюбивых товарищей. Если мы снимем часть дивизии, мы сделаем преступление перед революцией, открывая тем самым фронт, чем может воспользоваться буржуазная власть капиталистов. А также за оставление всей дивизии на месте высказался начдив тов. Киквидзе. После всего этого красноармейцы удовлетворились тем, что им было сказано.

На второй день была таким же порядком собрана в том же театре часть Тамбовского полка, которой было объяснено, за что она сражается. Красноармейцы внимательно выслушивали всех ораторов и каждого провожали с криком ура и аплодисментами под хор трубачей».

Было уже далеко за полночь, а Тележкин все писал, испещряя крупными буквами разлинованные страницы ученической тетради.

★

Продвижение советских войск в Донской области облегчалось партизан-

ской борьбой освобожденного из-под власти белых населения.

Весть о приближении дивизии Киквидзе находила живой отклик среди трудового казачества. Всем было известно, что в этой дивизии особенно строго соблюдается правило: жителей не обижать, на чужое добро не зариться. Из уст в уста передавали суровые слова Киквидзе:

— Если красноармеец ворует, его надо на месте расстрелять.

Узнав, что неподалеку сражается Киквидзе, целые села поднимались, чтобы помочь ему справиться с белоказачками. Восстала станица Преображенская, восстали села Семеновка, Тростянка, Мачеха... Из партизан этих станиц и сел был сформирован особый полк, названный Преображенским, который занял не последнее место в дивизии.

В станице Кумылженской образовался конный отряд под командой казака Куропаткина. Киквидзе включил его в свою дивизию, назвав 3-м кавполком. Имевшаяся при отряде одна пушка была названа казачьей батареей.

Киквидзе зорко следил за тем, чтобы в очищенных от белых районах немедленно создавались ревкомы. Проезжая однажды по улочкам только-что отбитого у казаков хутора, он увидел висевшее на стене объявление, писанное от руки печатными буквами:

«Приказ ревкома хутора Зенина.

Власть мировых разбойников белогвардейцев под натиском нашей доблестной Красной армии пала, их банды позорно отступают накануне разложения. За короткое время белогвардейцы нам показали, что они снова хотят втянуть в кабалу рабоче-крестьянскую массу.

В нашем хуторе организован временный ревком.

О всяком бесчинстве проходящих частей и отдельных лиц ставить в известность ревком. Самовольные реквизиции и конфискации воспрещаются — вплоть до суда Ревтрибунала».

— Вот молодцы, — улыбулся Киквидзе, — выражаются немножко вычурно, зато действуют правильно.

Где только мог, он выступал на митингах, посылал командиров. Комиссаров в частях дивизии не было.

Политкомиссар дивизии Боровский смеялся, что ему только среди глухонемых выступать, он совершенно сорвал голос и говорит на собраниях преимущественно жестами.

Громадную услугу в агитационно-пропагандистской работе оказало «Письмо к донской бедноте», опубликованное в октябре реввоенсоветом Царицынского фронта. Письмо это, подписанное Сталиным и Ворошиловым, зачитывалось до дыр:

«Товарищи!

Со слов перебежчиков, из черных газет и из листков генеральско-кулацкого круга мы видим, какой гнусной ложью кормят вас ваши командиры, ваши власти, ваши вековые господа, которым теперь приходит конец. Они дурачат вас, как дурачили веками. Они знают, что подлинная правда оттолкнет вас от генералов, что подлинная правда страшна и грозна для всех, поднявших руку на рабоче-крестьянскую Россию.

...Час возмездия близок, и страшен будет суд рабоче-крестьянской России против холеных барчуков, дворянских последышей, поднявших руку на Красное знамя труда.

...Выше подними голову, донская беднота!»

Последние слова письма звучали в напряженной тишине подобно ударам колокола, и не раз вслед за ними из сотен грудей лились звуки Интернационала, хотя хуторяне не всегда твердо знали слова пролетарского гимна.

Начало декабря было для дивизии удачным. В жестоком бою она разбила отряд генерала Ситникова и заняла хутор Зубрилов. Белые отступали, бросая раненых. Дивизия захватила пять орудий, девять пулеметов, большой обоз и много пленных.

На второй день этого кровопролитного боя начдив, воспользовавшись короткой передышкой, отправился с командой разведчиков в секрет. Стояла оттепель, но Киквидзе был в валенках: он не успел переобуться. В лесу команда

рассыпалась, люди поползли в разные стороны. Киквидзе остался один. Он неторопливо шел по тропинке, змеившейся между купами раkitника и пухлыми подушками кочек.

Вокруг кипела лесная жизнь. По стволам деревьев шмыгали юркие крапивники-подкоренники, на кустах покачивались снегири, на сучках прыгали, подобно акробатам, чечетки, сбивая белую пыль с оснеженных охровых ветвей дубков.

Киквидзе шел, глубоко вдыхая лесные запахи, поддавшись очарованию природы, которую он так редко успевал теперь замечать. Всегдашняя осторожность покинула его, притупилась посреди безмятежного спокойствия леса. И когда прямо против его груди сверкнул граненый штык, он не сразу понял, в чем дело.

— Руки вверх!

Страхнув задумчивость, Киквидзе глянул вокруг себя. Почти за каждым деревом стоял казак; всего было человек десять-двенадцать. Трое целились в него, остальные злорадно ухмылялись.

— Попался, золотистый, — сказали позади, — попался, красноперый. Не ждал, видать, засады.

Стоя с поднятыми руками, Киквидзе испытал прилив холодного бешенства. Так глупо, так бездарно погибнуть!

Он медленно опустил руки и повелительно сказал:

— Клади оружие, если хочешь быть живым! Не я попался, а вы. Разрешаю кому-нибудь пойти проверить: вокруг все оцеплено моими заставами. Даю две минуты сроку.

Вынув из кармана часы, он внимательно заметил время.

Казки оторопели, кто-то хохотнул, но тотчас осекся. От этого одинокого, бесстрашного человека исходила покоряющая уверенность в собственной силе. Он стоял перед ними с часами в руках и, казалось, это сама беспощадная судьба отсчитывает оставшиеся им миги жизни.

— Да ты кто будешь? — крикнул, наконец, один. — Ты на пушку не бери.

Начдив властно поднял руку.

— Я — Киквидзе.

Белые попятились. Это имя они слишком хорошо знали.

— У вас осталось всего полминуты, — бесстрастно сказал Киквидзе и обвел всех холодным взглядом; каждому показалось, что он смотрит именно на него. — Кто положит оружие, тому гарантирую жизнь; моему слову можете поверить. Кто станет сопротивляться, будет убит на месте. В последний раз предлагаю сдаться.

И, спрятав часы, он приложил к губам висевший у него на тонкой металлической цепочке свисток.

Этот жест почему-то окончательно победил казаков; один за другим они положили на землю винтовки и шашки.

«Идут они передо мной и чертыхаются, — смеялся потом Киквидзе. — Поняли, что я один. Но шутки для них и в самом деле были плохи: я ведь на таком расстоянии промаха не даю. Так и дошли...»

XII

Девятого декабря командование 9-й армии установило, что белые стягивают крупные силы. Дивизии Киквидзе было поручено овладеть и закрепиться на линии Осипов — Куликов — Фокин — Высокодубровская. Участок от Высокодубровской должна была занять 23-я дивизия.

Директива эта запоздала: белые в тот же день нанесли подготовлявшийся ими удар. Связь между 16-й и 23-й дивизиями была прервана. Дивизия Киквидзе была со всех сторон окружена врагами. Весь резерв ее состоял из двух батальонов интернационального полка, да и те были сильно растрепаны.

Начальник штаба 15-й дивизии телеграфировал Княгницкому: «Положение 16-й дивизии катастрофическое. Она окружена, но отбила до сего времени все атаки. Мы отлично понимаем ее положение и примем самые энергичные меры, на которые способен только истинный революционер, чтобы подать ей руку помощи. Будем надеяться, что помощь не запоздает».

Четырнадцатого декабря Княгницкий получил донесение, подписанное Кик-

видзе и политкомиссаром Боровским. В скупых словах донесения сквозил гнев на бездеятельность старшего командира: «Противник ведет наступление большими силами... Жестокие бои длятся по 24 часа. Кругом отрезаны, несем чувствительные потери. Мы будем биться до последнего человека... Пришлите патроны и снаряды, с которыми давно очень плохо... Люди день и ночь, несмотря на ужасную погоду, — в окопах; раненные находятся в ужасном положении. Перевязочный материал весь вышел. Пришлите немедленно летучий санитарный отряд и теплые вещи для раненных... Шлите патроны, снаряды, патроны, снаряды».

Но дивизия ничего не получала. Бойцы сидели без патронов, раненных нечем было перевязать.

Киквидзе лучше других понимал тяжесть, почти безысходность положения. Нужен был повседневный, непрерывный подвиг, нужно было нечеловеческое напряжение сил и нервов.

Начальник санчасти дивизии Артемьев упомянул на совещании о том, что дивизия окружена. Киквидзе скользнул взглядом по хмурым лицам командиров и спокойным, почти добродушным тоном, как уговаривают ребенка, сказал:

— Что касается постоянной боязни окружения, то в условиях настоящей войны организованной части не страшно окружение, а страшно только слово это. У противника сил меньше, у него главным образом конница: она может создать впечатление окружения, но не окружить. Для окружения надо в три-четыре раза больше сил, иначе окруженный может прорвать фронт и сам создать угрозу. И потом окружающий сам подвергается ударам наших соседей. Мы видели глубокие прорывы противника в наш тыл, нападения на обозы, но не окружение.

По мере того, как он говорил, лица кругом него светлели. Этого человека ничем нельзя было удивить или смутить. За ним можно было идти смело и спокойно.

В развернувшихся боях белые ввели крупные силы. Они обладали значительным численным перевесом и луч-

шим снаряжением, чем дивизия Киквидзе. Правда, командование 9-й армии прислало в виде подкрепления тысячу пятьсот мобилизованных, но люди прибыли без винтовок, вагон с винтовками по ошибке куда-то заслали и никак не могли отыскать. Положение дивизии, подвергавшейся неослабевавшим атакам свежих казачьих частей, сделалось вновь очень опасным.

Командир соседней 15-й дивизии, восстановившей взорванное белыми железнодорожное полотно, по которому дивизия получала снабжение, прислал телеграмму:

«Помначдиву Медведовскому.

Ремонт пути между Кисаркой и Алексиково займет еще время от трех до четырех дней, что губельно может отразиться на положении 16-й дивизии. Прилагаю все меры к тому, чтобы те, кто стоит у того дела, — поняли катастрофическое положение вашей дивизии, окруженной со всех сторон».

Киквидзе, когда Медведовский доложил ему об этой телеграмме, горько улыбнулся:

— Так.. И на том спасибо. Это все? Медведовский снова покачал головой.

— Не все, Василий... У нас на исходе запасы хлеба. Через два-три дня нечем будет накормить бойцов.

Несколько минут оба молчали.

— Телеграфируй им, — глухо сказал Киквидзе. — Да кроме того пошли верхового. Доложи Княгиницкому, что в дивизии нет хлеба, что я прошу оказать помощь, чтобы пролитая нами кровь не пропала даром. Во что бы то ни стало они должны прислать нам хлеба, патронов и снарядов. Против нас скопляются большие силы противника. Мы окружены. Группа полковника Абрамова выбила из Новинского 130-й полк пятнадцатой дивизии. Наши разъезды заметили движение противника из Урюпина в сторону Ярыженской. Необходимо, чтобы командование армии приняло самые серьезные меры.

Медведовский пошевелил губами, сделал несколько пометок в своей книжечке и вышел. Киквидзе проводил его долгим взглядом и, подперев рукой голову, склонился опять над картой.

Трудно было сосредоточиться. Мучила усталость, ныла недавняя рана в боку, перед глазами стояли образы измощенных бойцов, с мужеством отчаяния отбивавших по восьми атак в сутки. Он с досадой отшвырнул карандаш и, выйдя на середину комнаты, стал делать гимнастику. Это был один из способов, которым он возвращал себе душевное равновесие. Совершая плавные движения, он напевал где-то слышанный мотив. Вдруг он рассмеялся: он вспомнил происхождение этого мотива — площадь подле Спасской церкви в Петербурге в шестнадцатом году, карусель, хохочущие девушки в пестрых ситцевых платках, безудержное веселье. Он тогда подумал: «Какое счастье для этих девушек и парней, что они умеют так отдаваться радости, умеют забыть свою трудную, горькую жизнь. Может быть, без этого часа освежающего веселья они не смогли бы дальше тянуть лямку своего унылого существования».

И сейчас, при этом воспоминании, ему страстно захотелось хоть на день отвлечься от своей трудной, жестокой борьбы; только один день побыть со смеющимися девушками, пойти в кинематограф, побродить вечером в парке. Никогда до сих пор он не ощущал, что то дело, которому он отдал себя, которому служил с восторгом и с каждым днем находил его все более прекрасным, может иногда утомлять, что и от него нужно иногда хоть на краткий миг отдохнуть.

Киквидзе провел рукой по лбу. Вот кончится война, тогда можно будет отдохнуть. Тогда — к морю, в Батум, тогда...

В комнату ворвался цокот копыт. Кто-то соскочил у двери и, не привязывая кося, взбежал по ступенькам. Оттолкнув дежурного ординарца, в комнату ворвался Боровский. Несколько мгновений он тщетно пытался отдышаться, как рыба, ловя ртом воздух, потом выдохнул прерывисто:

— Эскадрон белоказаков внезапным налетом захватил под Мачехой нашу батарею и взял в плен часть артиллерийского дивизиона.

— Когда? — Киквидзе стиснул Боровскому плечи.

— Только-что... Сообщили по телефону.

— Сколько верст туда?

— Верст десять.

Киквидзе на мгновение задумался, потом решительным движением потянулся за шинелью.

— Вели немедленно подать легковой автомобиль с пулеметом, да побольше ручных гранат.

Через минуту они мчались, не разбирая дороги, еле успевая объезжать попадавшиеся повозки, пугая лошадей непрерывным воем сирены. Киквидзе сидел за рулем. Не осталось следа от утомления; далекими, маленькими казались мечты об отдыхе и веселье. Весь он был здесь — пылкий, исступленный, готовый к борьбе, к смерти, стремящийся к победе, внутренне собранный, подобно тугой пружине.

Киквидзе еще издали увидел, как толпа казаков, сгрудившись вокруг безоружных красноармейцев, измывалась над ними. Несмотря на сильный мороз, большинство красноармейцев стояло в одном белье, у некоторых руки были связаны на спине. Казаки заставляли их петь хором «Боже, царя храни». Видимо, многие отказывались, потому что казаки то-и-дело принимались хлестать пленных нагайками. Немного поодаль лежали пятеро зарубленных.

— Давай прямо на них, — сквозь зубы сказал начдив.

Казаки приостановили избиение и молча смотрели на приближавшуюся машину. Иные приосанились, ожидая представления начальству.

Машина, не доезжая десятка шагов, остановилась. Киквидзе навел пулемет на казаков и, выпрямившись во весь рост, приказал:

— Сдавайтесь!

Казаки не поняли. Пожилой есаул тревожно взялся за висевшую на поясе гранату, кто-то другой грубо выругался и, сбывчив голову, пошел к машине. Подойдя почти вплотную, он присмотрелся и вдруг — не то испуганно, не то удивленно — крикнул:

— Киквидзе!

Резкий стук пулемета заглушил его слова.

Беспечную насмешливость казаков будто ветром сдуло. Пожилой есаул с проклятием выхватил гранату, но, раненный, не смог ее бросить. Остальные в панике метнулись врассыпную, провожаемые пушечной им вдогонку длинной пулеметной очередью.

Только один казак стоял невредимый на коленях в снегу и покорно давал вязать себе руки.

Киквидзе вышел из машины и наклонился над телами зарубленных. Один был совсем еще мальчик. Щека его, чуть тронутая нежным пушком, была рассечена наискось, череп расколот прикладом, и на буром от крови снегу валялись выпавшие мозги.

— И нам то же было бы, — проговорил вполголоса один боец и после паузы добавил, — вот аспиды окаянные.

Киквидзе надел на голову снятую папаху и обернулся.

— Не забудьте об этих трупах, — глухо сказал он, — не забудьте, какая судьба ждет тех, кто попал в плен к казакам. Трудно вам, товарищи, верно... Но пусть усталость, холод, раны — лишь бы не оказаться безоружным в руках казары: глумиться станут, а после изрежут. А потом пойдут в села и станицы, насильничать будут над женами вашими и похваляться, как стояли вы на коленях под их плетьюми...

Клокотавшая в нем ярость передавалась окружающим.

— Товарищ начдив! Василий Сидорыч! Вот те крест: не допустим более того, что вышло... Не дадимся белякам... Товарищ Киквидзе... — наперебой, чуть не плача, кричали люди.

И долго еще после того, как скрылась из вида машина начдива, а тела замученных были обмыты и уложены на лафет, раздавались взволнованные голоса красноармейцев.

XIII

Всего один год сражался Киквидзе за революцию, но и за этот краткий срок он столько совершил, что трудно пере-

числить его подвиги. Не было такого трудного положения, из которого он не нашел бы выхода.

Однажды под влиянием контрреволюционных агитаторов восстал и хотел передаться Краснову Тамбовский полк, но Киквидзе сумел арестовать еще в вагонах 677 человек. Зачинщиков расстреляли, остальных переформировали, разъяснили им тяжесть их преступления, и, когда бойцы поклялись верно биться с врагом, Киквидзе поверил им и не ошибся: впоследствии полк заслужил высокую боевую награду.

Затем агенты Краснова взбунтовали батальон Люблинского и батальон Варшавского стрелковых полков, входивших в состав 15-й дивизии, и частям Киквидзе пришлось, во избежание прорыва фронта, срочно занять их позиции. Батальоны задерживали шедшие в бой части, ранили четырех комиссаров, пытавшихся уговорить их; и тогда, исчерпав все средства убеждения, Киквидзе объявил, что не остановится перед полным уничтожением бунтовщиков, и вернул батальоны в ряды Красной армии.

Как-то Киквидзе заметил прятавшегося в канаве бойца, испугавшегося неприятельских пулеметов. Он не предал его суду, но несколькими насмешливыми, жгучими словами возбудил в нем гнев и злобу и увлек его за собой в огонь. Боец яростно устремился вперед, иступленно дрался. И когда комполка Чайковский удивленно рассказывал о неожиданной храбрости обычно робкого бойца, Киквидзе, смеясь, сказал: «Он всегда долго готовился к бою, представлял себе, как и что будет, а я ему не дал времени для этого; и потом — разозлил я его, он на рожон полез бы, к чорту в пекло, чтобы зло сорвать. Для боя это хорошо» — и опять лукаво засмеялся.

Киквидзе снова был ранен, на этот раз в голову. Пуля куснула его, когда он лежал в цепи, он еще раз выстрелил в сторону врага, а потом все смешалось и поплыло.

...Очнулся он в лазаретной фуре.

— Ишь, пурга какая, — говорил кто-то снаружи, — и мороз ударил опять.

Скорейча бы до Алексикова добраться.

— Одна только путь-дороженька осталась. Кабы и ее казачье не закрыло. Тогда и вовсе крышка.

«Отступаем, значит» — подумал Киквидзе. Он хотел приподняться, но страшная боль в голове заставила его опуститься со стоном на койку.

— Как начальник? Выдержит? — заговорили опять снаружи. — У всех бойцов за него думка.

И опять все смешалось...

Недели две спустя Киквидзе, еще не снявший перевязки, сидел на кровати и диктовал:

— Несмотря на тяжелые условия, в которых происходило отступление, дивизия вполне боеспособна. В составе ее насчитывается шесть пехотных полков, три кавалерийских и три ардивизиона...

Молодой белобрысый красноармеец, судорожно закусив губы, отстукивал одним пальцем на машинке. Киквидзе терпеливо ждал, трижды повторяя каждое слово и просматривая тем временем бумаги в большой синей папке.

«Красноармеец Шатун переводится для пользы службы в первую легкую батарею». Он сделал пометку карандашом и взял следующую бумагу.

«Донесение политкомиссару от красноармейца рабоче-крестьянского полка Иванова Федора.

Вчера пришлось мне наблюдать ужаснейшую печальную картину...»

Дальше пространно описывалось, как бойцы взяли у крестьянки гуся и курицу и, не слушая ее жалоб, удалились.

«Подобные конфликты, — писал красноармеец Иванов, — а также другие самочинные действия со стороны наших товарищей, как уничтожение самочинно кур, гусей, а также доходит и до скота, самовольный грабеж сена, хлеба в снопах, который есть общее народное достояние, как необходимый для дальнейшего существования человека, и каждое неорганизованно зря пропавшее зерно есть уничтожение самой жизни человека. Считая это в связи с военным действием, но наблюдая в населении чувство любви к т. т. красноармейцам, как

защитникам революции, граждане теряют надежду и враждебно смотрят на все происходящее».

Киквидзе с улыбкой отложил донесение.

— Вот, брат, какие сознательные бойцы в рабоче-крестьянском. Таких побольше бы! Позовешь ко мне Иванова Федора. Мы с ним обмозгуем, что нужно предпринять. Ну, как у тебя? Готово?

— Так точно, — ответил «машинистка».

Киквидзе взъерошил его волосы.

— Эх, ты! Старанья много, а уменья мало. Ну, ничего, ничего! Скоро, как из пулемета, зачистишь. А ну, заряди новую...

Парень, потя от усердия и высовывая кончик красного языка, вставил чистый лист.

— Пиши... В дивизии имеют место частые разговоры по прямому проводу, не вызываемые необходимостью. Следует сократить их. Надо также заранее заготовить разговор обдуманними короткими фразами. Стараться достигать наибольшего лаконизма. Вызывать к аппаратам только тех, кто тут же на месте может дать исчерпывающий ответ.

Он отошел к окну и заложил большие пальцы рук за пояс.

— Вот, Миша, и девятнадцатый год пришел. В восемнадцатом нас белые больно колотили, а теперь, надо думать, мы у них жало вырвем. Так-то... — Он встрепенулся. — Баста! Перепечатай еще только этот список.

— И шабаш?

— И шабаш, дружок.

Посвистывая, он вышел из комнаты.

★

Январь 1919 года. Командиры и бойцы 16-й дивизии навсегда запомнили его. Метель, двадцатиградусный мороз, непрерывные атаки белых — и попрежнему нехватка продовольствия, снарядов, бинтов, безучастность командарма.

Однажды в баках броневиков иссяк бензин. Позади, в двух верстах, напирали казаки.

— Товарищи, неужели отдадим машины врагу? И «тигра» моего отдадим? — сказал Киквидзе.

Бойцы встряхнули головами: конечно, не отдавать!

— Лошади выеханы, обессилены, — продолжал Киквидзе и, не договорив, посмотрел на бойцов.

И люди поняли его: выстроились в две шеренги, подняли на руки броневики и понесли их, проваливаясь по колесу в глубоком снегу, обжигая руки о железо.

И когда в тот же день пришел по-обычному брюзгливый приказ Княгницкого, в котором выражалось недовольство некоторыми действиями частей дивизии, Киквидзе без колебаний послал гневный ответ: «Пора уже знать, что здесь люди все отдали и готовы с радостью отдать свою жизнь за советскую власть и рабочую революцию, а потому стыдно их упрекать и трудно их растоптать».

Шестнадцатая верила своему начдиву и любила его. Последний ездовой в ней знал, что если его несправедливо обвинят в чем-нибудь, начдив встанет за него горой. Полки шли почти без командиров; залетевшим в оперативный отдел полевого штаба снарядом был тяжело ранен Ахмедов, оглушен помощник командира Овчанин, ранен политкомиссар Боровский. Киквидзе редко видели без перевязок. Когда его однажды ранило, он отстранил от себя подбежавших врачей, указав им на стонавшего красноармейца, которому оторвало ноги. Изнеможенный, с заострившимся лицом, Киквидзе появлялся всюду, где начиналось уныние, ободрял, обнадеживал, озарял светом горевшего в нем чудесного огня.

И вот наступило 11 января. Это был тяжелый день. С утра шел бой под хутором Зубриловым. Белые, получившие тройную порцию водки, осатанело лезли вперед. Киквидзевцы стойко встречали их. Пулеметы захлебывались, дула их становились горячими. Четыре раза налетали с флангов казачьи эскадроны и четыре раза откатывались обратно.

И там, где было трудней и опасней

всего, появлялся Киквидзе—спокойный, бесстрашный, уверенный в победе.

Когда солнце начало садиться, белые побежали. Красные части двинулись преследовать их. Было тихо. Изредка посвистывали пули, посылаемые арьергардными конными разъездами противника.

Киквидзе, разгоряченный, счастливый, ехал по равнине. Достал папиросу, стал закуривать. На ветру спичка долго не загоралась. В тот момент, когда из папиросы потянулся сизый дымок, шальная пуля впиалась в грудь начдива.

Это была четырнадцатая рана. Начдив, склоняясь на руки ординарца, произнес только одно слово:

— Все!

Его доставили на хутор, в полевой штаб. Врачи сделали перевязку и угрюмо отошли в сторону.

Умиравший поманил к себе оцепеневшего от горя Медведовского.

— Жалею, что так рано умираю, — с трудом проговорил он.—Надо бы кадетов кончить, тогда и умирать...

Он захрипел и поник головой...

«Приказ № 13, от 13 января 1919 года.

По части строевой.

§ 1. 11-го сего января в боях под Зубриловым смертельно ранен начальник дивизии тов. Киквидзе».

Во всех батальонах и сотнях был прочитан этот приказ. Бойцы выслушали его в мертвом молчании. Не верилось, что вездесущий, пламенный начдив никогда больше не появится перед цепями. Бойцами овладела безутешная скорбь. Теперь еще с большей силой все почувствовали, как любили они своего начдива, как много значил он для них.

Труднее всех переживал горе Антон. Он стоял с окаменевшим лицом у изголовья начдива, и его нельзя было заставить уступить кому-либо этот пост. Бесперывно сменялся почетный караул, бойцы и командиры из всех рот и эскадронов вставали у гроба и уходили, запечатлев в памяти застывшее лицо, но Антон был неподвижен, как изваяние. Неотрывно глядел он на мертвого начдива и, казалось, вел с ним долгую, только им двоим понятную беседу.

Начался траурный митинг.

В напряженной тишине прозвучал голос Медведовского:

— Товарищи! Вступив во временное командование дивизией, я обращаюсь как к командному составу, так и ко всем товарищам стрелкам с призывом спокойно и безболезненно перенести удар, нанесенный нам контрреволюцией. Из наших стройных, железных рядов выбит вражеской пулей наш дорогой начальник товарищ Киквидзе, который более тринадцати месяцев бесстрашно и без отдыха сражался на Красном фронте за идею освобождения всего поработанного народа. Киквидзе... Это имя бросало в дрожь гайдамаков в конце 1917 и в начале 1918 года. Это имя наводило страх на тамбовских контрреволюционеров в 1918 году. Это имя было угрозой для красновских банд на Южном фронте во второй половине того же года в районе Филоново — Елань. И наоборот... Это имя с любовью признавалось всеми трудящимися Республики, следившими за героической борьбой Красной армии. Это имя говорило тысячам красноармейцев: «Где Киквидзе, там не может быть поражения. С нами Киквидзе, мы победим».

Медведовский подошел к гробу, положил руку на холодный желтый лоб начдива и с силой сказал:

— Победа или смерть! Вот лозунг нашей дивизии, и мы его выполним до последнего человека. Будем еще сплоченнее и отомстим за смерть своего любимого вождя товарища Киквидзе.

Голос его пресекся, и он, сотрясаясь от рыданий, умолк.

На возвышение поднялся Матусов.

— Товарищи! Только-что получена телеграмма из Реввоенсовета. «Ваш вождь Киквидзе, один из лучших солдат Революции, выбыл из строя. На этот раз вражеская пуля попала метко: один из самых грозных врагов красновской контрреволюции выбыл из наших рядов. Шестнадцатая дивизия отныне будет именоваться дивизией Киквидзе. Отныне дивизия Киквидзе должна знать только один лозунг, один клич:

Беспощадная месть за гибель своего вождя! Смерть красновцам! Вечная память герою Киквидзе!»

Матусов сложил телеграмму, и на трибуну снова взошел Медведовский:

— Помощнику командира 1-го Орденского кавполка товарищу Ростопкову приказывается нарядить половину эскадрона кавалерии для сопровождения под его командой в Москву тела товарища Киквидзе и для участия в погребении.

Он в последний раз взглянул на открытый гроб и вдруг выдернул из ножен так хорошо знакомую всем бойцам шашку покойного начдива.

— А мы, остальные, пойдем мстить, пойдем уничтожать подлого врага. Дивизия имени Киквидзе — вперед!

Месяц спустя после смерти Киквидзе советские войска нанесли решительный удар донскому белоказачеству. А дивизия имени Киквидзе шла по полям сражений, громя деникинцев, белополяков, врангелевцев. В феврале 1921 года восемь полков этой дивизии были награждены почетными красными знаменами.

... Прошли еще годы. Стерлись следы гражданской войны. Там, где стоял Царицын, где Сталин и Ворошилов воздвигли живую стену, о которую разбился ожесточенный натиск врага, там раскинулся теперь Сталинград — родина тракторов и комбайнов. У станицы Преображенской создан ныне зерносовхоз, носящий имя Киквидзе; да и Преображенского района более не существует, он также носит имя начдива шестнадцатой.

★

...В Москве, в самом конце Ваганьковского кладбища, возвышаются две могилы. Те, кто погребены в них, никогда не встречались друг с другом; но не случайно похоронены они рядом. И тот, и другой отдали дарование, силы и жизнь одному делу, одной прекрасной цели; и тот, и другой полили своей кровью ростки новой жизни.

Одного звали Николай Бауман; другого — Василий Киквидзе.

Дневник матроса Железнякова

Публикация И. АМУРСКОГО

★

Прославляемый в песнях балтиец Анатолий Железняков—«Матрос Железняк, партизан» — занимает одно из почетных мест в списке народных героев, смертью храбрых погибших за власть Советов. Воспитанный партией Ленина—Сталина, он отдал свою молодую жизнь борьбе с врагами родины.

Это был один из лучших сынов великого русского народа. Он с детства испытал все невзгоды тяжелой жизни в царской России. Многолетняя беднячка-вдова — мать Железнякова — не могла дать своему талантливому сыну возможности закончить даже начальное образование: С трехклассной подготовкой, полученной в Пресненской церковной школе в Москве, Анатолий должен был упорным трудом, путем самообразования, добиваться необходимого для жизни уровня знаний.

Зато Железняков не мог пожаловаться на слабое внимание к нему со стороны царской полиции и жандармерии. Уже 17-летним парнем, в 1912 году, он был арестован за отказ подчиниться драконовским порядкам, царившим в Лефортовской военно-фельдшерской школе, куда в 1910 году его загнала нужда.

В 1913 году его выгнали с Глуховской мануфактуры за оскорбление хозяина фабрики. С этого времени он уже был под надзором полиции. Недавно найденная в Центральном военно-морском архиве переписка между московским и петроградским жандармскими отделениями показывает, как зорко следили слуги самодержавия за Железняковым и во время его службы в царском флоте в 1915—1916 годах.

Публикуемый ниже (с некоторыми сокращениями) дневник Железнякова освещает примерно 9-месячный период его жизни после дерзкого побега в 1916 году с учебного судна «Океан», на котором он проходил военно-морскую службу, обучаясь в машинной школе Балтийского флота.

Как в любом дневнике, скрывающем в себе подчас сугубо личные и трудно уловимые мысли его автора, в нем встречается много случайного, записанного под впечатлением каких-то не совсем ясных для читателя событий и настроений. Называется ряд имен людей, роль которых или совсем не раскрывается, или освещается частично.

Однако все это несколько не снижает ценности интереснейшего человеческого документа. День за днем молодой кочегар, будущий революционер, записывает свои мысли, передает чувства и настроения, не предполагая, что много лет спустя по этим записям люди будут изучать развитие, рост, закалку одного из будущих народных героев.

Как живой, вырисовывается перед нами юный Железняков — страстный мечтатель. Он еще не знает правильного пути для достижения намеченной цели, но упорно, настойчиво ищет этот путь и часто уже вплотную подходит к нему.

Один вопрос все время беспокоит его: когда же будут разбиты оковы ненавидимого всеми самодержавия и засияет солнце свободы? Обрушиваясь на угнетателей со страстным гневом, он готов во имя лучшего будущего своего народа перенести любые лишения. Юношеская горячая ненависть к произволу обострена в нем до предела. Он подчас допускает ошибки, рассуждает политически наивно. Но наряду с этим мы видим его умным, смелым и далеко смотрящим вперед юношей.

Нельзя без восхищения читать записи, показывающие, с какой непреодолимой настойчивостью, уверенностью в свои силы, смелостью и решительностью шагал молодой матрос навстречу грядущим великим событиям:

«Хорошо жить и бороться! — восклицает он. — Хорошо умирать, защищая свою независимость. Верю, что я не пройду маленьким человечком с маленькими волнениями и тревогой».

Со дня на день ожидая, что царская охранка, наконец, нападет на его след, Анатолий пишет:

«Если я попадусь, скажу: «Убейте, замуравьте, но служить вам я не могу, не хочу, не хочу, не желаю подчиняться вашим законам». Защищаться буду до тех пор, пока рука будет в силах сопротивляться...»

Так развивал и закалял в себе этот юноша железную волю, мужество и разум, которые он впоследствии целиком, без остатка, отдал делу борьбы за коммунизм.

Большой интерес представляют благородные, чистые взгляды молодого революционера на женщину, на воспитательное значение хороших книг. Бульварные книжонки, смакующие распутство, вызывают у него отвращение. В записях, освещающих тяжелое положение матросов в царском флоте, ярко отражаются настроения передовой части труженников моря, ищущих выхода к лучшей жизни. Читая эти страницы дневника, надо помнить, в какой тяжелой обстановке находились моряки торгового флота в России накануне революции 1917 года. Раскрыв при помощи провокаторов и разгромив в 1913 году нелегальный профессиональный союз моряков и его подпольный печатный орган «Моряк», самодержавие жестоко преследовало матросов за малейшие попытки возрождения этого союза. Но никакие суровые меры не пугали таких смельчаков, как Железняков.

При чтении дневника надо иметь в виду особо тяжелые условия, в которых находился его автор (в возрасте всего лишь 21 года), самовольно покинувший службу в царском флоте. Он постоянно был под угрозой ареста.

Конспирируя, автор часто делает записи, в которых содержится иносказательный смысл. Например, о своей скрытой поездке в Москву он иронически говорит так: «Получил бесплатный литер «А»; ожидаемые из Одессы документы Железняков называет «фактурой», радуясь, что изготовление печати для фальшивого документа об отсрочке призыва на военную службу идет хорошо, он записывает: «Работа идет успешно» и т. д.

Интересна история этого дневника — толстой записной тетради в клеенчатом переплете, в которой, кроме помещенных ниже записей, содержится ряд конспектов, по которым Железняков, даже находясь на фронтах гражданской войны, изучал физику, механику и электротехнику. С этой тетрадью он долго не расставался, таская ее с собою из одного конца страны в другой.

Незадолго до своей гибели, весной 1919 года, Анатолий переслал дневник через товарищей в Москву для передачи сестре — Александре Григорьевне, о которой часто вспоминает в своих записях. В 1921 году друзья Ана-

толия взяли тетрадь у Александры Григорьевны и переписали из нее ряд записей для опубликования. В 1938 году эти отрывки из дневника были напечатаны на страницах журнала «Знамя». Сам же подлинник дневника с 1922 года считался безвозвратно утерянным.

Но в прошлом году, собирая материалы для книги о Железнякове, я случайно нашел его у работницы одной из московских фабрик — Анны Алексеевны Павловой, принимавшей активное участие в организации побега Железнякова из тюрьмы в 1917 году.

В своей книге «Матрос Железняков», которую издательство «Советский писатель» намеревается выпустить в свет в 1941 году, я пытаюсь по мере своих сил возможно подробнее рассказать, как под руководством партии Ленина—Сталина молодой романтик, автор этого дневника, вырос в крепкого, сознательного большевика, как он боролся с буржуазией, как, выполняя директиву Ленина, разогнал в 1918 году Учредительное собрание, как работал в одесском подполье во время англо-французской интервенции и под руководством командующего 14-й армии Климента Ефремовича Ворошилова геройски сражался на Украине против Григорьева и Деникина.

И. Амурский

★

ПАМЯТНАЯ ТЕТРАДЬ

[1916 год]

★

Москва.

Опять я дома. Явился для своих, да и, пожалуй, для самого себя, больше чем неожиданно. Сажу и выдумываю — как и что для дальнейшего существования. И, к моему огорчению, все происходит не так, как хотел, а кончается, и получается не то, что надо. Но надеюсь, что вывернусь. Время идет длинно и по временам скучновато¹.

*Чем труднее, опасней борьба,
Тем приятнее и слаще победа.*

21 августа Новороссийск

Служу на транспорте и рвусь в рейсы. Но кажется, сегодня, наконец, трогаемся. Пора, давно пора! Во-первых, останешься без денег, а, во-вторых, я опасуюсь, что они спохватятся: из Москвы затребовали «политическую благонадежность».

Но об этом довольно.

Эту памятку я завел для того, чтобы, когда все это пройдет и когда я буду «там», вспоминать все решительные моменты, которые оставят неизгладимый след в моей жизни. То, что пережил я теперь, для меня лишь сон — длинный, мрачный, ужасный, болезненно кошмарный. Свобода, воля труда и работа, хотя и до полного изнеможения, но угодная, как жертва, моему «я»...

Поступок, совершенный 12 июня¹, сразу сделал переворот в моей жизни и показал картину общественной узости и условности.

Решительность, смелость!..

Вплоть до минуты, когда я буду не в состоянии писать, не будет белых страниц.

★

*Жизнь скитальца
полна тревожений,
лишений и суровых переживаний,
но прекрасна дикой свободой
и вольным взмахом желаний.*

★

*Если в жизни случится,
что горе с нуждой,
Как гроза, над тобой пронесется, —
Не робей! И смело вступай с ним в бой.
И приветливо жизнь улыбнется.*

¹ Эта запись, очевидно, сделана позднее — в конце октября 1916 года, когда Железняков вернулся из Новороссийска в Москву, чтобы запастись новым поддельным документом. — И. А.

¹ Речь идет о дне побега с учебного судна «Океан».

21 августа. Вечер.

Снялись из Новороссийска и идем не то в Батум, не то в Трапезунд. Держусь каждую минуту в полной готовности. Много еще испытаний на пути, но они ничуть меня не пугают и не тревожат. Хорошо жить и бороться. Хорошо умирать, защищая свою независимость. Верю, что я не пройду маленьким человечком, с маленькими волнениями и тревогой.

Мои коллеги — все почти ровесники, славные, добродушные парни, но у них не то принято за истинную цель, что надо. Хотя я знаю, что никто не пойдет вразрез, что все тесным кольцом будут отстаивать свои права, — но между ними нет человека с волей; а каждый взять инициативу в свои руки не может и не в состоянии, благодаря холодности и слабого порыва.

Тихо, все спят, иду на вахту.

22 августа. Рейд Туапсе.

Николай¹ ушел на леджол «Н». В Херсоне видел Качалина; все поиски Бориса Корнеева не дали никаких результатов. Жаль, как жаль, — ведь это верный и единственный друг!

23 августа. Рейд Гагры.

Высокие крутые горы покрыты мягкой бархатной зеленью южных горных лесов; там, на их склонах, белыми красивыми пятнами выступают виллы и дачи буржуа. Тихо и хорошо для утомленных. Жаль, что и это приобретается на деньги! С берега сообщают, что 108² близ Батума потоплен подводной лодкой — миной и артиллерийским огнем. Есть раненые и убитые. Вот это уже нахальство!

24 августа. Рейд Сухум.

Пока до Сухума шли благополучно.

25 августа. Ночь, 11 часов.

Порт Батум.

Стоим. Груз — до Трапезунда. Там простоим довольно долго. Вечером по-

шел гулять на бульвар. Выдался замечательный вечер. Сад и бульвар хороши, много тропических растений. Чувствуется культура. Тщательно прибранные дорожки, ровно подстриженные деревья. Посидели в кофейне и рано пришли на пароход. Плавать стало скучно, не то, что раньше, до этой ужасной войны. Поскорее бы только исчезнуть из границ нашего приятного отечества! Поздно, пора спать...

26 августа. Вечер.

Сегодня на «Принцессе» поистине Содом и Гоморра. Сено, повозки и в довершение всего на палубы нагрузили верблюдов. Пройти в кубрик нет возможности. Лежим на рострах. Снялись с якоря в 6 часов. На юте полно офицеров и сестер милосердия. Идет попойка. Обидно, стыдно и больно за то, что видишь. Все то, что должно быть свято, что должно произноситься с глубоким уважением, — все это попроно, загрязнено ногами, топчется со смехом, в грязи и слякоти нашей жизни. Эх, вы, сестры милосердия!..

Такой случай. На палубу приняты были больные солдаты, — спят вповалку, где и как попало. Идет пара сестер милосердия — одна несет бутылку из-под вина, другая одета в сапоги изящного образца; с нею морской офицер.

— У вас есть помещение, где спать? — спрашивает морской офицер.

— Самого ужасного вида! Капитан дал отдельную каюту, но такая ужасная, скверная, неудобная, — вопит она.

— Подлость! Люди, измученные, больные, спят наверху, под свежим морским ветром, а ей предоставили каюту, и она же заявляет претензию! Эта дрянь ночью спала с лейтенантом.

27 августа. Рейд Трапезунд.

Началась выгрузка. На рейде стоит, накренившись, затопленная «Джиоконда». Вид с моря мне не понравился: голо, серо, и действует подавляюще на душу. Видно, что стоим перед большим азиатским городом: улицы узкие, маленькие, кривые. Ночью «смайнали» у-

¹ Николай — брат А. Железнякова. — И. А.

² Очевидно, речь идет о транспорте № 108. — И. А.

трех три пары сапог. Свежеет ветер, зыбь поднимается сильнее.

28 августа. День.

Мертвая зыбь. Погода скверная, некоторые хлопцы подзакачались. Целый день валяюсь на койке; нет ни желаний, ни стремлений. Мысли разбросаны, худые и скверные.

Зыбь разыгрывается, хотя ветер с берега.

Завтра поеду к доктору — прибил ноготь, болит неимоверно.

29 августа. Рейд Платаны

Сегодня перешли сюда и стали на якорь. Это от Трапезунда 7 миль. Едим сухари и картошку, испеченную в подувалах. Мяса не было во рту уже неделю.

5 сентября. Рейд Ризэ.

Вот уже пятые сутки стоим на якоре. Взялся артельствовать. Простоим здесь порядочно. Выгрузка идет — через час по чайной ложке. Город маленький, типично восточный. Улицы узкие, кривые, со множеством закоулков. Все же они вымощены камнем, чистенькие. Верх зарос виноградом, поэтому даже в самую жаркую погоду прохладно. Здесь много фруктов, — груши, яблоки, гранаты, апельсины, виноград. Орехи и табак — в неиссякаемых количествах. Но цены на все взвинчены до крайности...

Поедаю каждый день в неограниченном количестве виноград. Ребята скучают и от скуки «режутся» в очко. Я тоже присел — сначала проиграл, а к утру выиграл 5.

6 сентября.

Идет дождь, начало слегка зыбить. С одной стороны дело неважно: вышел хлеб, будем глотать сухари. А дождь сыплет. Уже осень. Где ты, золотая русская осень, с легкими морозами и чистым, звонким, как звук стекла, воздухом? Здесь ее нет, тут нечто другое. Мертвая скука, мертвая стоянка. Война!

Ужас. Кошмар. Судьба пишет историю народов кровью. Идет безумная,

достигшая крайней разнузданности, оргия. Люди гибнут за металл и от металла. Цари людей, сильные мира сего упиваются властью, тешатся новой игрой — мировой бойней, идущей уже третий год. Смейтесь! Но хорошо смеется тот, кто смеется последним, и вы смеетесь в последний раз, а оттуда тянется корявая, наводящая на вас смертельный ужас кроваво-красная рука революции.

9 сентября.

Стоим. Артельствовать надоело до чорта, кажется, придется приплатить своих. Скука страшная: газеты — за 15 дней назад — интересуют до крайности. Сегодня купил Смита¹ за 8 рублей. Пожалуй, придется продать — он для меня слишком солиден.

Ушел на Батум № 5 — «Альма». Послал письмо Шуре², Вале³ и Николаю. Вот уже три месяца, как плаваю, а из дому не получал ни одного письма. Надеюсь, что письма есть в Новороссийске. Что нового? Что интересного есть? Ухожу постепенно дальше. Что готовит судьба? Итти по пути, на который зовет честолюбие, или сделаться авантюристом?..

Жить, работать целые годы на г. хозяина не хочу и не буду. Идет игра в карты. Скучно и неинтересно жить в такой обстановке, в какую попал я, — без борьбы, без сражений, — мертвая зыбь!

10 сент[ября]. Ночь, 11 часов.

Вечером на судне случился скандал. Позвали на подъем шлюпки нашу бранию, — никто не пошел. Дело дошло до капитана. Крик, шум, угрозы. Зло берет, и зубами стучать лишь приходится. Но надо потерпеть до Новороссийска, а там айда «туда».

Поскандалил с Коноваловым⁴, — вывел из терпения, подлец. Ударил его.

¹ «Смит» — револьвер. — И. А.

² Шура — сестра А. Железнякова. — И. А.

³ Валя — любимая девушка А. Железнякова. — И. А.

⁴ Коновалов — боцман транспорта «Принцесса Христина», на котором плавал в то время А. Железняков. — И. А.

Что за характер у меня! Если кто мне противен, то я стараюсь на каждом шагу это показать и сделать ему гадость, что для другого никогда не позволю. А если он мне мешает, — стараюсь убрать его со своей дороги, не считаясь с тем, кто сильнее.

Надо приготовиться к дальнейшему следованию, — надо пробраться на китоловные или котиковые промысла. Там улыбается перспектива.

12 сентября.

Сажу в арестном доме¹, т.-е., хочу сказать, в окружной тюрьме г. Ризэ. Сидят много флотских, 4 турка за убийство своего старосты, я и Старчук² — посадил капитан.

Удивительно для других народов и характерно для России: может отсутствовать провиант, фураж и предметы первой необходимости, отсутствуют школы, приюты и т. п., но зато повсюду, где ступила нога российского администратора, мгновенно выросли полицейские, жандармские управления, тюрьма, арестные и прочие злокачественные учреждения.

Был в Трапезунде, Платанах и здесь, в Ризэ. Всюду поражает обильное количество полицейских и жандармов. Взятка — законный грабёж — процветает и дает обильную жатву нашим хранителям и блюстителям закона-беспорядка, закона-поработителя.

Как наивны, доверчивы мы!..

Ванька сейчас принес письмо; по почерку узнаю, что оно от Вали. Сердце забилось сильно, и стало грустно, грустно. Скоро ли я ее увижу?

«Я чуть не вышла замуж» — вот место из письма. Чуть не вышла, — благодаря тому, что он калека!

Придет время, и возьмут у меня ту, последнюю, которую люблю. Пожалуй, я готов на жертвы. И если я стою у ней в памяти, то и это с переменной жиз-

ни стучается; расплывутся краски, а на новом фоне появятся другие — бледные или яркие, смотря, какие будет класть судьба-художница.

Люблю ее — девушку, робкую, чистую, готовую на все. Люблю за то, что мне с ней дышится легко: с нею я забываю все, что терзает, мучает меня; и опасность, висящая над головой и готовая обрушиться на меня каждую минуту, кажется далекой, далекой.

Неужели встреча 18—25 июня была последней, ее ласки, поцелуи были последними?

Один, один на всю жизнь.

Что будет дальше?

13 сент[ября]. Арест[ный] дом.

Всю ночь шел дождь. В камере открылись течи и полно на полу воды, стекол нет. Весь вечер Старчук рассказывал о своей жизни, о случаях, о действительной службе, о женитьбе, — вот страничка из романа для увлекающегося романиста! Любовь, увоз тайком венчать... Жена его была дочерью одного штундиста; выдать ее за него замуж отец не согласился. И вот, сговорившись, однажды ночью Старчук приехал на тройке, взял ее и — до знакомого папа. Тот обкрутил, и наутро Старчук подъехал к избе уже с женой. Прошло время, отец подулся, да и простил, и он до сих пор любит: с любовью говорит и вспоминает.

И образ Вали вырисовался четко в моей памяти, и так мучительно больно хотелось ее ласки, ее поцелуев. Далеко все, далеко...

Долго не спал, и вся жизнь длинной лентой прошла перед глазами. Надо трогаться вперед за тем, к чему стремишься, и я буду подлец, если остановлюсь на полдороге.

Быть или не быть...

А так жить не хочу.

Все, что я буду иметь, все, чего я добьюсь, будет принадлежать мне одному, и я никому не буду ничем обязан. Все лишения, все огорчения — все мое; их я ни с кем делить не буду. Только бы вера в людей и в лучшую пору не ослабла, а окрепла, — тогда и море по колено!

¹ А. Железняков был арестован за организацию протеста команды против тяжелых условий службы на транспорте и за избиение боцмана. — И. А.

² Иван Старчук — близкий товарищ Железнякова, который вместе с ним организовывал протест команды. — И. А.

Валя, тебе, как и мне, жизнь твоя, похожая на стоячее болото, не по душе. Жизнь без быстрого течения, без крутых, извилистых поворотов, омутов и водопадов — не жизнь, а мертвая зыбучая тина. Да здравствует жизнь — море и могучая свобода, как океан! Слава стремящимся, рвущимся и ищущим исхода, не желающим рамок условностей, не разменивающим на мелкий комфорт свое «я», свою свободу!

Старчук спит, а я уже несколько раз перечитываю письмо Вали. Дождь, свист и на море шторм...

Вечер того же числа.

Снова держу в руках письмо Вали, разбираюсь в каждой букве. Вижу ее склоненную головку, вижу, как быстро движется рука, ставящая эти дорогие для меня буквы, вижу, как легкие морщины, складки между бровей, то разглаживаются, то снова набегают от недовольства. Кончила страницу, поднесла к лампе и запалила, капризно пожалала плечами, усмехнулась и продолжает писать.

Сколько веры и наивности в том, что «нам, мужчинам, жить и лучше, и легче»!

14 сент[ября], утро.

Дождь и ненастье. Заснул прошлую ночь поздно, и сон был кошмарный.

Сегодня 4-й день. Насилу привезли горячую пищу, хотя пришлось обращаться к дежурному офицеру.

Что правит миром?

Добро или зло? Ложь или истина?

Борьба — вот благодаря чему многое движется вперед.

Человеку, как существу высшему над всеми животными, дан разум и дана свободная воля, даны добродетели и пороки. Все это кто-то перемешал; добро и зло сплелись плотно и неразлучно и всюду следуют вместе. Жизнь интересна тем, что в ней много преград, много препятствий трудных и неожиданных; дойдя до цели, ты получишь награду за свои труды, за честные и смелые порывы, за сознательную и разумную мысль и за волю, которая довела тебя к цели.

Пошедшему навстречу жизни-шторму не следует бояться гибели. Горе тому, кто испугался вида страшилищ, седых стариков-валов! Будь он полон познаний, — все равно погибнет, не пройдя и трети пути.

Я так себе представляю: жизнь — это море, бурное, грозное и суровое. Все окружающее меня — мое судно, и внутреннее разумное «я» управляет; добрый исход зависит от того, как ты можешь управлять судном.

Кости брошены. Игра началась. Кто победит? Хладнокровие, смелость, решительность!..

16 сент[ября]. Вечер.

Вчера вечером выпустили — потому, что снялись в Трапезунд.

10 вечера.

Снялись, встал на вахту; все делается через силу, работать нет ровно никакого желания.

Ложь! Ложь! Жизнь, пропитанная ложью. Кажется, 1-го попадаем в Новороссийск, а там будет разговор другого рода.

Ура! Вперед на восток, туда, где дышится легко, свободно и вольнее.

17 сент[ября]. Рейд Платаны.

Стоим здесь, будем выгружаться. В городе отсутствует все. Мясо достать страшно трудно, хлеб черный. Команда голодает. Что я могу сделать? Все противело, все надоело, поскорее, лишь поскорее.

Вот я смотрю — кругом, по всей Анатолии, где вступили в силу законы Российской империи, начинается расправа, короткая, быстрая, и все это творится по «художественному вдохновению».

Строят пристань, когда будет готова — неизвестно. Турция заплатит!

У берега моря стоит памятник с знаменитой надписью:

«Мир праху Вашему, дорогие борцы за Русь и свободу народов. Вы спите крепким, непробудным сном далеко от дорогой родины, заброшенные сюда роковой судьбой. Волны морские будут одни

напевать песни, и имена Ваши золотыми буквами впишутся на страницах русской истории.

16 июня 1916 г.»

Спите мирно, серые чудо-страдалцы! Кто больше вас видел страданий? Кто больше, чем вы, испытал? Кто терпелее, чем вы, нес всю жизнь тяжелый крест тирании буржуа и купцов?

Всю жизнь полуголодные, забитые, запуганные, всегда в страхе за себя и свою голодную семью, вы терпеливо шли, неся этот крест безропотно, подчиняясь превосходящей тебя силе. Пошли сражаться, и опять над вами висели смерть и издевательство, и вы погибли, а там, в тылу, свистят пули и падают окровавленные матери и дети на грязные мостовые улиц, и топчут их копыта жандармерии. За что?

За то, что голодные осмелились сказать, что им хочется есть, что они голодны. Вы погибли, а вновь пополнившиеся ряды угощают ложью, вылетающей из не знающих утомления уст краснобаев — мелких газетных бумагомарак. А они смеются до слез, пьяные от успеха, и справляют оргии крови и мяса под музыку скрежета, плача, проклятий обезумевших от горя и голода матерей и умирающих в холодных подвалах детей.

Прав автор надписи на памятнике, с какой бы мыслью он это ни писал: золотыми буквами запишутся имена Ваши на мрачных и кошмарных страницах эпохи русской истории. И эти имена громко будут звать живых ко мщению. На долгие годы, века запечатлится в памяти народа кровавый след оргии тиранов-«миротворцев».

Вот там на горе виднеются тесно прижавшиеся друг к другу маленькие белые кресты, словно извиняясь за то, что здесь пришлось им стать, напомнить об измученных телах, нашедших вечный отдых, омрачить этим привыкшие к художественным пейзажам взгляды тиранов-паразитов и их супруг. О, как противно, как больно, обидно становится на душе, когда какое-нибудь из этих противных «нежных созданий» начинает причитать, артистиче-

ски складывая руки, «душевно сожалеть»!

Ей, милой паразитке, кажется забавной, интересной, полной поэзии эта кровавая каша, это безумное месиво крови, мяса, костей, и солдаты, «рвущиеся в бой», и серый офицер, окутанный ореолом храбрости и славы. Так много рыцарей, что у ней глаза разбегаются от колоссальнейшего выбора! А если ей и случится увидеть кусочек суровой жизни, она вскрикивает, отвертывается и... тотчас забывает. А в голове у нее длинной чередой снова проходят рыцари и туалет для завтрашнего гранд-бала. Оргия в разгаре!

Сказка и жизнь спутались. Люди мечутся и ищут, и нет сил отыскать границы действительности. Малодушие, граничащее со смертью!

18 сент[ября].

Сегодня на судне случился скандал. История такова. Ночью вахтенный матрос заметил во мраке пятно, которое быстро приближалось; на судне была поднята боевая тревога.

Команда, ожидающая каждую минуту появления германского миноносца, мгновенно выскочила наверх. Во мраке обрисовывался силуэт парусной фелюги. «Подводная, — раздались тихие, дрожащие, испуганные голоса, — она замаскирована». Люди были похожи на стадо баранов; они столпились и ждали момента взрыва. Куда попадет? Тонкий столб света резко ослепил нас, грохот непривычно оглушил уши и эхом далеко отдался среди гор.

Парусник все шел.

Вот расстояние не больше 200 сажен.

— Кто идет? Стреляю! — кричит командор.

— «Улан!» «Улан!» — громко, испуганно отвечает голос с фелюги. Петр начинает с ними переговариваться и заставляет ехать к берегу. Наши садятся в шлюпку и едут. Оказывается; что это беженцы-турки из Кирасунд. Команда расходитя в беспорядке, швыряет спасательные пояса, на которые минуту назад возлагалась вся надежда.

Теперь они брошены и забыты.

И долго еще сидит и не спит команда, вспоминая старые пережитые страхи, вспоминая удачные и неудачные подводные атаки германских моряков у скалистых грозных берегов Кавказа. Ну и места здесь! За деньги ничего не достанешь, все ужасно дорого.

Победители голодают!

Долой оружие!

22 сент[ября].

П л а т а н ы.

Бросил артельствовать, — есть перерасход. Гвалт и гул, но это меня не трогает. Добраться бы только до Новороссийска, а там «заведем кручину». Пока можно сказать: «На Шипке все спокойно». Завота — достать пакет с 2 печатями и бланками.

Вот недурно было бы, если бы с нами тронулся Степан, тогда могли бы жить и не тужить.

Вперед! Вперед туда.

Земля, море и свобода...

Пора спать.

Завтра опять на работу, опять тянуть посыльную лямку. Эх! Да что говорить!

26 сентября.

Душит злота. Как варом, облита душа, — все горит. Поскорее, что ли, в Новороссийск — там хоть горизонт чище.

Вчера вечером позвали в кают-компанию, — все за артельство. Этот подлец боцман довел меня до того, что я готов был его растерзать. Но нельзя. Это — не на берегу, а на судне.

Что впереди? Кто ты и что имеешь?

Если я думаю выбраться из этого гнезда, где можно лишь гнущься под тяжестью всевозможных ухищрений, подхалимства, давления, то не надо распускать вожжи.

Когда осилю все, добьюсь своего, то буду знать, что все приобретено лично мною, моим трудом, без всяких посредников, по своему риску.

Беспомощность, растерянность — это удел слабых. Они заставляют людей преждевременно складывать оружие и выкидывать белый флаг, отдавшись на волю победителя. Что надо мне, беглецу от закона, вертящемуся под его ме-

чом, который может каждую минуту обрушиться и задавить?

Все-таки хорошо жить, хорошо трудиться.

26 сентября. Ночь.

П л а т а н ы.

Постараюсь изложить мысли, которые не дают мне покоя. Одно желание — вперед! Хочется тревог, лишений, удач, радостей и горестей, когда все вертится, кружится перед глазами, готовит и укрепляет тебя для жизни, для борьбы. Я стремлюсь вперед — туда, где есть еще для меня новое, неизведанное, где есть красивые, красочные пятна, могущие заменить мой застой и пробел.

Все, что творится вокруг, так ужасно, что порой становится трудно верить в победоносное шествие народа вперед. Всюду растет произвол, всюду кучки людишек, прикрываясь личиной, именуемой «законом», грабят, дают, прессуют, осыпают градом глубочайших обид и оскорблений.

Горько, обидно, и злота закипает неугасимая в груди, когда видишь, на какую простую, глупую, грубую шутку люди попадают, как сельди в сети.

Человек хочет сделать шаг в сторону от этой сети; он уже готов привести свое намерение в исполнение, как вдруг слышит грозный окрик: «Смотри! Это карается законом». И люди, подчиняясь этому нелепому закону, убивают друг друга, не зная, для чего и во имя чего; идут сами на смерть, исполняя волю кучки людей, преследующих ужасные корыстолюбивые цели. Беспечно умирают тысячи молодых, сильных людей, которые могли бы принести колоссальнейшую пользу народу; гибнут дети, жены, сестры, дочери и матери, падая и обагрив кровью уличные мостовые под пулями верных защитников закона.

Но в воздухе уже чувствуется что-то новое для нашего народа!

Движение медленнее, но есть. Надо развить его скорость!

И я верю, — а иначе и жить нет смысла, — что наступит пора, когда человечество, шагая через трупы товари-

щей и врагов, пройдет тяжкие испытания и среди смрада, зарева пожаров и разрушений увидит ее, всю облитую кроваво-красным светом, Великую единственную и могучую мать — свободу.

Борьба, трупы, кровь, пожары — и свобода! Тысячи лет живут, рождаются и умирают, добываясь ее, и она взойдет, наконец, для народа в кровавом зареве борьбы.

27 сентября. 11 ночи.

Работать нет сил, нет желаний, скорее туда!

Время идет так же ровно, как и тысячи лет назад, каждая минута равна всем прошедшим — равенство абсолютное.

Время и стремления — это вечность.

Сегодня днем случился скандал. Еще раз этот случай подчеркнул всю хамскую натуру наших капитанов и их помощников. Команда села обедать, — вдруг вызывают наверх: подъем шлюпок. Вертятся второй механик — наш Федосей нехитроумный — и помощник капитана — это ходячее омерзение — Бомакин. Аврал! С руганью, проклятиями вышли наверх, и что же оказывается? Надо завалить шлюпки — работа для пяти человек, а вызывают всю команду. Мерзавцы!

Больно и обидно становится, когда такая гадина носит название «человека». Люди отдыхают, — нет, дай я сделаю им зло, выведу из терпения.

Терплю до Новороссийска, а там ухажу как можно скорее.

Туман, серая мгла плотной пеленой легла перед глазами: прорву или сверну с главного русла? Позор трусу! Трусу должен попятиться ногами, ему нет места в жизни.

28 сентября. Ночь.

Все улеглись. Тихо в кубрике. Вечер прошел, как и предыдущий, — с шумом. Песни, музыка, пляска, даже старик Непомнящий, и тот жарил гопака, да еще как ловко! Не каждый из молодежи так станцует.

Шум, самый искренний смех, молниеносная ссора и мир, драка за оскорбление и неразрывная дружба — вот ха-

рактерные черты моряков. Сама ли специальность их делает такими, или природа устроила такой подбор?

Скорее первое.

Огонь, всепожирающая стихия, делает нас такими.

Насколько трудна и тяжела работа кочегара, — настолько он с презрением смотрит на деньги, не жалея, бросает их во все стороны, исполняя свою минутную прихоть и желание.

Калиф на час — и то дело!

Все, что есть в преданиях об удали, отваге, смелости моряков, впиталось в плоть и кровь моряка-кочегара.

Кто сорит деньги, заработанные тяжким трудом? — кочегар.

Кто лезет на вырубку товарища из беды с опасностью для жизни? — кочегар.

Кто стойко держится и не дает оскорблять себя никому от помкапитана и вплоть до главного акционера? — кочегар.

Все видят, как мы гуляем и скандалим, как мы пьем и бодем, многие нас осуждают, качают головой, с презрением сторонятся и даже боятся...

«Вот, дескать, идет совсем пропащий человек...» Но никто не задается вопросом: отчего пьют, почему? Что за причина? И никто не придет на помощь.

Эти причины я укажу.

Человек подчинил себе грозную стихию моря, сделал гиганты-суда, построил порты, и могучие седые валы разбиваются в пыль о мощные стены молотов. Но эти же самые гиганты-суда стали каторгой, которая калечит человека, ломает духовную сторону его жизни, делает из него уродца.

Кто работает там, глубоко внутри этого гиганта-чудовища, кто, обливаясь потом, в изнеможении падает на раскаленные плиты, дыша раскаленным воздухом, обжигающим легкие при каждом вдыхании? — это люди в возрасте от 19 до 40 лет. И 40-летний возраст уже представляет редкость, ибо к этому времени мы, кочегары, уходим с плит, не в состоянии работать, так как подорваны. Уходит старый; его место занимает свежий, молодой, чтобы проработать тот

же срок и так же незаметно уйти, повторив историю предыдущего.

И так без конца, — перпетуум мобиле. Мы тратим лучшие годы, свежие силы, не оставляя себе ни грамма и получая незаслуженные упреки и проклятия. Где наши силы? Они растрчены у котлов, а остатки их в домах терпимости, в духанах, тавернах, трактирах.

Что заставляет моряков итти туда?

Вот переход закончен; новый чужой город, и в нем ни одной знакомой души. На судне скучно, тоскливо, да и опротивеет все. Идешь в город, смешаешься с толпой, думаешь — хоть здесь лучше будет. Но, увы, жестокая ошибка! В этой пестрой, вечерней, шумящей публике хуже и мрачнее становится на душе, — всюду видишь бодрые, веселые лица, слышишь говор, смех, а ты один, как истукан, ходишь с горящими завистью глазами. Но время идет тут медленно, на судно итти нет желания, да туда и итти противно. Куда же?

Ты направляешься туда, где сияют светлые огоньки, откуда порой слышны звуки разбитого пианино или убогого оркестра; музыка эта, скверная сама по себе, кажется божественной, и ты сплещишь туда. Широко открыты двери, и с самой приветливой улыбкой, как старого лучшего знакомого, встречает тебя радостный хозяин таверны. Ну как тут не выпить лишнюю бутылку за такое к тебе внимание? И гроши, заработанные с таким трудом, быстро и верно перескакивают из твоего тощего кармана в необъятный карман радушного кабатчика. Музыка двух или трех калек да еще спирт, влитый в луженый желудок, — все располагает к хорошему настроению. Но чего-то тебе не хватает. Чего? Женской ласки. Животный инстинкт напоминает о себе, и топают подвыпивший человек туда, где на оставшиеся карбованцы он приобретает на час подругу жизни. И кажется ему, что он не так уж одинок, как ему кажется... А потом — похмелье, тяжелые разочарования.

У нас нет таких организаций, которые помогли бы снять хоть часть того бре-

мени, которое повседневно носим мы на своих плечах. Да нам и не разрешают их создать. А добиться разрешения нам трудно из-за нашей неорганизованности. Мы не можем это сделать так быстро, так скоро, как это происходит на фабриках, заводах, шахтах и прочих береговых учреждениях, — мы разбросаны, распылены. А организации нам нужны, необходимы...

Мы — отщепенцы, осколки общечеловечности. А ведь добрая половина того, чем живут страны, — все новинки техники и роскоши, — все ввозим и вывозим мы на своих плечах, обливаясь потом, задыхаясь от жары. Акционеры паровозных компаний тысячи, десятки тысяч рублей тратят на свои прихоти, не задумываясь, ибо знают, что через короткий срок кочегар доставит им еще больше свежих и новых сотен тысяч рублей.

Работай! Время идет, тиски сжимаются крепче. Техника быстро шагает вперед. Бешеной, ужасней разводим огни в печах, доводя их до крайнего напряжения, падаем замертво, изнеможенные, на чугунные раскаленные плиты железного мешка. Дайте воздуха, мы задыхаемся!..

Люди работают, как шестерни в машине, — крошатся, ломаются, и их выбрасывают; ставят новые шестерни, а старые забываются. Люди — шестерни, болтики, гайки, винтики. Да люди ли это? Это те, кто находится «под защитой, под охраной закона». Кошмар, дикий, страшный, леденящий душу, снопом на голове поднимающий волосы...

Сегодня на Трапезунд прошли, как видно, в резерв, возвращающиеся с позиций войска. Их сменил, повидимому, ушедший туда батальон.

Воскресенье. Шел по списку батальон, а солдат было не больше полторы роты. Шли медленно, с песнями, и чудилось мне, что это был плач, тоска, стон измученной, истерзанной души.

Больно сжалось сердце, сделалось тоскливо, тоскливо. И это было на фоне такой прекрасной, умиротворяющей природы.

Война...

1 октября.

Сегодня вышел полазить по горам. К вечеру, возвращаясь на судно, встретил земляка, некоего мужа из богоспасаемого града Богородска, сына одного фабриканта — Володю Зотова. Был он на позициях, но ввиду слабости нервов его перевели в тыл, и теперь он заведует обозом.

Честные люди гибнут, а такая пададь остается.

Где правда?

Я шел, а меня обгоняли транспорт за транспортом, загруженные ранеными солдатами.

Это были не люди, а тени, изнеможенные до крайности. Великие молчаливые страдальцы проходили перед моим взглядом. Так много они выстрадали и в награду получают позорное и обидное поругание — палку, палку, самую суковатую, да камень.

Надо себе представить вполне здорового, нормального человека, которого посадили в сумасшедший дом. Он говорит, доказывает, но ему отвечают, что он мелет вздор. Чувствовать, что твое слово, мнение — ничто, звук пустой, — разве это не ужас? А наш солдат поставлен в еще более худшие условия. Он не имеет права даже говорить, высказываться. Сумасшедший, по крайней мере, не отвечает за свои промахи. А солдата карают за малейший пустяк наказанием вплоть до телесного.

Защитники!

Оргия смерти и зла достигла апогея.

3 октября.

Иногда в моей жизни вопросы решаются значительно проще, чем предполагаешь.

Так как срок действия моего «документа» истек, мне дают расчет в Новороссийске, — как говорит дед и несравненный Федосей.

Посмотрим, что будут за бумаги! Итак, все впереди и многое позади. Порой неприятно действует денежный вопрос, но это пустяки.

5 октября. Ночь.

Спать решительно нет желания. Вся мозговая работа направлена лишь на то,

что и как устроить. И это расстраивает, так как в руках нет ничего ни «за», ни «против», а приходится лишь мысленно раскладывать случайности. Если я попадусь, скажу: «Убейте, замуравьте, но служить вам я не могу, не хочу, не желаю подчиниться вашим законам». Защищаться буду до тех пор, пока рука будет в силах сопротивляться, а ум — функционировать.

Много тяжелых испытаний лежит на пути, но я знаю, я вижу — все они ничто в сравнении с целью, и во имя свободы, вольного труда я готов идти на все. Хочется рвануться скорее вперед.

15 октября.

Решил только сейчас записать кое-что относительно батумской стоянки. Придя в Батум, конечно, выпили за благополучное прибытие и за встречу с товарищами. Яблоко познания добра и зла было вкушено, и ребята подались в город с намерением сделать себе кое-какие покупки. Но увьи! для себя не нашли ничего подходящего, а потому постарались возместить все, что терпел наш желудок в Платанах. Купил лишь себе одну кожаную тужурку.

16 октября. Рейд Туапсе.

Стоим в городе, который первым принял меня. Хотел выехать на берег, но дует такой сильный норд-ост, что побывать на берегу не удастся.

19 октября. Рейд Новороссийск.

Сегодня капитан сказал, что дадут расчет.

22 октября.

Получил бесплатный билет лит. «А» до Москвы¹. В кармане 25 рублей. Трогаюсь в путь. Вот будет сюрприз — как встретит мать?

¹ Ссылка на бесплатный билет сделана иронически, так как Железняков едет в Москву тайно: он знает, что его разыскивают как дезертира царского флота. В Москве Железняков вооружится новым фальшивым документом. — И. А.

26 октября. Москва.

Поздно ночью постучался в двери квартиры. Сразу не поняли — кто и что? Мама обрадовалась и испугалась. Много и долго говорили с Шурой.

28 октября. Москва.

Хорошо дома. Уютно, тихо и спокойно на душе. Занимаюсь усиленной подготовкой нужных бумаг.

29 октября. Москва.

Дома я чувствую себя куда беспокойнее, чем где-либо, а все благодаря тому, что боишься за своих, а такого рода опасения — нет хуже.

Вечера коротаю с Шурой, иногда ходим к одной сослуживице — некоей Зин. Вас., — славная девушка, бойкая, ядовитая на язычок, а главное, жизнерадостная. Вот с такими не пропадешь, и скука не будет близко подходить к тебе.

Морозно по вечерам, и это бодрит, влѣвает силы и веру в достижение цели.

30 октября. Ночь.

Хорошо дома, но без работы скучно. Сижу целый день на диване, читаю книги и запасуюсь силами — скоро в путь, в дорогу. Скоро трогаюсь. Сегодня с Зин. Вас. ходили в кинематограф, шла знаменитая «Кабирия» Габриэль д'Аннунцио, — в общем, постановка шикарная и подбор артистов богатый.

Там была и племянница, некая Ольга, или Олечка, — хорошая девушка, и жаль, — как жаль! — что у нее есть один физический недостаток — это горб. И как он ее мучает, как он ее терзает! Но в остальном — душа-девица, чудные, добрые, ласкающие глаза, от которых на душе легче делается. Долго и много с ней говорили. Она рассказывала о своей жизни в одном пансионе: сколько издевательства и унижений она пережила; да не одна она, а и все пансионерки. О, проклятые богатеи! Как ужасны вы даже в своей благотворительности...

1 ноября.

Работа кипит у меня во-всю и выйдет на славу¹.

3 ноября.

Прощай, Москва, увижу ли тебя еще раз, или нет? Прощай, живи, будь смелая и честная, будь такая же радушная, бодрящая и гостеприимная для нас, рабочих, и впредь говори обо всем, что ты ненавидела, также с открытым и ясным челом. Прощай!

Мчусь с поездом, уносящим меня на юг. Что впереди? Позади ничего не осталось. Все впереди!

28 ноября. Ночь.

Рейд Туапсе².

Пришли в Туапсе в 8 час. вечера. По дороге еще возвращались обратно и буксировали «Яхту».

29 ноября. Днем.

Проходим Сочи, Адлер, Гагры.

Чудные, великолепные виды.

Вот стоит в зелени белый и чистый на вид Афонский монастырь. Но сколько там грязи и разврата!

Ночь, пришли в Сухум.

30 ноября.

Перестаивали в Потти. Ночевать думали, но вызвали, и трогаемся в путь.

1 декабря.

Вот уже 3 часа вертимся в минном заграждении. Пришли в порт, и нас окружили, — начиная с полковника, заведующего работами, вплоть до полицмейстера.

Встали на чистку моторов. Стали вынимать поршень и разбили, — выбили кусок.

6 [декабря].

Получка. Только мне не пришлось ни гроша.

¹ Речь идет об изготовлении печати для фальшивого документа. — И. А.

² Железняков вынужден был вернуться на Черное море, намереваясь при первой же благоприятной возможности совершить побег за границу. — И. А.

9 [декабря].

Пошли до Макриала. Я постепенно привыкаю к моторам.

15 [декабря].

Работаем во-всю.

Получил милевые — 2 р. 80 коп. за рейс.

18 [декабря].

Б а т у м.

Послал домой письма.

Николай Иванович болен, работаем: я, Саша и Матвей.

Все идет благополучно.

20 [декабря].

Получил получку. Отдал долги, купил ботинки, тельник и кальсоны — вот и все жалованье; опять влез в долги.

21 [декабря].

Работаем, что называется, полным ходом. Из рейса в рейс. Скоро праздники, но это не для таких, как я...

24 [декабря].

Пришли поздно вечером в Батум. Все было закрыто. По улице бегали группы ребятишек и славили Христа. Пели. Слышны перед каждым домом русский, греческий, армянский, грузинский мотивы.

25 [декабря].

Итак, сегодня праздник. День выдался чудный, летний, теплый, и яркое солнце величественно освещало и грело землю и народы. Хорошо, чудно, прекрасно.

Какая величественная, могущественная красота. Как свежи, ярки и мягки краски...

Идем в Вицэ.

Солнце играет радугой в брызгах водопадов, скатывающихся с гор. Прекрасные, чудные, дивные горы, горы Лазистана, сколько нетронутых мест, какая ширь, дикая, необузданная, какая свобода царит среди вас!

Милые горы.

Тихо-тихо; картина самая умиротворяющая. Кто устал, у кого нет сил, —

пусть поживет здесь, и снова силы вернутся, и снова мускулы сделаются упругими и сильными — мускулы души и тела.

Но ведь тут совсем недавно трещали пулеметы, шла ружейная перестрелка. Еще и сейчас кое-где в долине можно найти разлагающиеся трупы. Тут шли самые упорные бои, гибли тысячи молодых жизней.

За что?

Разве людям стало тесно? Ведь здесь пройдешь десятки верст и не встретишь ни одного жилища.

26 [декабря].

Принимали налив, гляжу — прошла «Принцесса». Сделав дело, я пошел до хлопцев. Увидел Степана, Ваньку и Абдалина, поговорили, пошли на бульвар, посидели.

У Степана с Женей дела неважны. И парень страдает, жаль парня.

29 [декабря].

Послал домой письма — ответ на шурино.

31 [декабря].

Пошел до ребят, искупался и не видал, как катер ушел. Провел время с ними и лег спать.

Трезвый и спокойный...

Прощай, старый год!

Где я встречал тебя и где провожаю!

Я не браню тебя, ибо ты был ко мне благосклонен! Спасибо, ты ушел в Лету, а человечки занесли на страницы истории каждый твой шаг, каждую твою минуту и долго-долго будут помнить твою лихую годину, как и две, тебе предшествовавшие. Прощай, ты ушел, чтобы не вернуться; ушел, сделав свои ошибки. Но я остался и вступаю в знакомство с твоим коллегой — новым, молодым, еще не обгаренным кровью тысяч людей, еще не заклеянным проклятиями.

Прощай, старик!

1 января 1917 года.

Б а т у м.

Новый год...

Что подарить ты мне из трех вещей, которые лежат на пути моем: смерть, свободу или заключение?

Я не боюсь и смело гляжу вперед, ибо верю, что выиграю.

Смелость в движениях, хладнокровие в работе и уверенность в средствах... Все это мне даст моя вера, вера в светлое будущее.

Да здравствует жизнь! Труд!

Да здравствуют трудности и лишения!

Да здравствует борьба!

Новый год...

Провожу я тебя или нет?

2 [января].

Работаем. Это и лучше, так как стоять в Батуме значительно хуже, — лишь деньгам расход, а это мне не по нутру.

10 января.

Б а т у м.

Сегодня утром подняли горячку: заставили зажечь котел и пошли откачивать миноносец «Строгий», получивший пробойну. Приезжал князь Путятин, начальства была бездна, и каждый торопит — скорее.

Откачали живо. Будут выдавать награду за эту «лихую» работу.

11 января.

Дождь, зарядивший надолго.

Мокро, грязно и слякотно.

Скверно. Читать нечего. Скука ужасная. Стоим под парами. Вчера на вахте от нечего делать занялся стиркой.

В кубрике жить нельзя, команда разбежалась, ибо течет полным ходом.

Заявляли начальству, — не обращают никакого внимания или начинают успокаивать тем, что «сделают».

При таких условиях всякое желание работать отпадает.

Занимаюсь перелистыванием книги Джека Лондона, которую читал уже за короткий срок раз шесть, и чтением старой газеты: некоторые места знаю наизусть.

Я люблю читать речи депутатов. Не оттого, что я слышу в них звуки смелой правды, — нет, меня каждый раз приводит в восторг горячая речь оратора.

Почему?

Да потому, что я, как живого, вижу его, говорящего с увлечением, всей ду-

шой стремящегося вложить в мозг слушателя свои убеждения, свои идеи.

Каждая горячая речь приводит меня в восторг, — ведь в такие минуты мы живем всем своим существом, волнуемся, и каждое слово, каждый звук есть выражение боли, скорби души, исстрадавшейся от лжи и оскорблений.

11 [января]. Ночь.

Ужасный вечер! Я никогда не чувствовал себя так скверно, так нехорошо, как сегодня. Тоска ужасная, кошмарная тяжелой пеленой окружила меня и начала, как удав, медленно, но упрямо душить. На душе стало сумрачно и хмуро, как в штормовую ночь.

Хотелось бежать, но куда? Стоим на рейде, идет дождь, да и город представляет ночью печальную картину.

О чем тосковал?

Одиночество — вот причина. Я один, как волк среди зимней необъятной равнины. Кому сказать слово, с кем обменяться мнениями? Митяй уселся в кубрике и читает книжку, — порой с ним хоть об отвлеченных предметах побалагуришь.

Тосковал о кружке, вспомнил вечера юности, когда было весело, уютно и тепло, когда засиживались далеко за полночь и никому не хотелось никуда уходить. Но где вы все, куда разбросало вас время?

С. Подлив в Тамбове, Сергей бьет врага во Франции, Харыто — в плену, я за год измерил расстояние от Балтийского моря до Черного, и все разлетелись, каждый преследует свою цель, каждый стремится ее достигнуть. И какая резкая черта стоит между мною и ими: они за крестами, а я от них...

Передо мною лежит книга «Солнышко красное». Я перечитываю и радуюсь, что купил. В ней есть многое, что поможет мне остаться человеком. Я как прочту, так делается легче. Вот такие люди, как этот герой Ислам, могут вырвать у жизни кое-что, не принимая ее благосклонные подачки. А у жизни надо именно вырывать, — только тогда ты найдешь счастье.

И вот в таких случаях иногда начинаешь мечтать о том, что сможешь сде-

лать тогда, когда вырвешься из этого беспокойного круга.

О, поскорей катись, время! Только не опередил бы меня наш милый надзиратель, виноват, полицмейстер...

Да неужели не выберусь?

Ложь! Шансы, хотя и маленькие, но на моей стороне.

Вперед! Все для цели. Все для свободы! Трудиться, работать и чувствовать, что ты ни от кого не зависишь, — о, счастливейшая пора! Когда ты наступишь?..

Дождь перестал.

А там, далеко отсюда, на севере, трещат морозы и... отсутствует топливо. Законный грабеж, и грабители пользуются всеобщим уважением. Чистая работа!

Ну, где же ты здесь, разумное мышление? Где та сознательность, та воля, которая остановила бы эту дикую кошмарную комедию?

Она загнана в глухой угол, в медвежью берлогу, в норку краба, запугана пулеметом, штыками, виселицей, расстрелями. Здесь гибнут тысячи жизней, десятки, сотни тысяч остаются калеками, а там, в тылу, правители, акционеры всевозможных предприятий грабят жен, матерей, сестер, дочерей, заставляя их от голода итти на улицу...

Русское имперское правительство хочет записать на страницах истории имена своих генералов, и вот решили отобрать у Турции Константинополь, ибо, видите ли, «она не отвечает запросам европейской культуры». О, «культурные» изверги!

Сколько существует наций, и у каждой есть представительницы «милый профессии», т.е. проститутки. Но в Турции вы их не найдете, хоть расширитесь. Может быть, в этом заключается ее отсталость от «европейской культуры»? Пришли наши дельцы и устроили в завоеванной Турции б... Подлецы! Ну, как же, за что же здесь сражаются? За что?

Люди гибнут, калечатся и боятся сказать, что все это делается во имя лжи, кровавого обмана.

Когда же конец? А он будет, будет! Ибо, зачем существовало бы челове-

ство, если бы не было дано войти в храм общественного существования прекрасным, могучим, чудным и ярким, как солнце, чистым, как воздух моря и гор, — братству, равенству и свободе?..

Небо прояснилось. Оно усыпано яркими звездами; их миллиарды. Звезды! Видите ли вы, кто прав? Вам одним я согласен — отдаться на суд, — вам, чистые, яркие, играющие тысячами переливов, как многогранный алмаз в ярком освещении.

13 января. Ночь. 12 ч. Анаг.

Шторм, р. Хопа.

Сегодня пошли и, не дойдя до Вицэ, отдали якорь в Хопе. На море шторм, тысяча звуков — безумных, диких, грозных. Несется, плачет, рыдает могильным свистом ветер. Он то стихнет на мгновение, то злым сокрушающим порывом завертится, закружится в вантах, снастях, точно хочет догнать кого-то. Догнать нет мочи, и ветер в бессильной злобе бросается на все, что встречается ему по пути. Дождь крупными сильными ударами бьет о палубу.

Тепло в каюте, — горит «молния», но кормовое помещение течет. Это ужасно. В сухом помещении можно выдержать очень долгий шторм; не ругая никого. Но как быть, когда мокро, холодно и сыро?

Я люблю штормовую погоду, — она навевает неясную грусть, и все, что нарастает на душе зачерствелой корой, уходит куда-то далеко, далеко. В такие минуты я чувствую себя хорошо, — хочется подвига, страшного, рискованного, безумного; и я, ни на секунду не задумываясь, кинулся бы ему навстречу.

Хочется писать много, но качает. Все-таки буду продолжать. Вот моя жизнь сейчас — этот этап до того тих и спокоен, что трудно дышать. Но надо потерпеть, ибо надо подзаработать денег, а тогда и разговоры будут другого рода.

Но, кажется, я попадусь здесь, если придут справки, — а они их наводят.

За последние дни я чувствую что-то такое, что раньше не наблюдалось или приходило лишь на мгновение, — а теперь на долгие часы плотно и крепко

улеглось в душе: это тоска о жизни, тоска и непонятная тревога.

После того, как я жил и работал в Москве, все кажется бледным; опять сильно тянет к той жизни, — хочется сказать все, что продумано в долгие вечера, сказать, где ложь, опять поднять знамя с призывом работать.

Я не верю в порывы. Что такое порыв? Мгновенное чувство, заставляющее подняться сразу на значительную высоту и могущее так же быстро низвергнуть гораздо ниже. Порыв в разрешении вопросов общественной жизни, когда вопросы поставлены ребром, — это очень опасная и ненадежная игрушка.

Нет, тут нужно нечто иное, более прочное и могущественное. Нужна ясная, разумная сознательность, когда вся воля собрана, когда молча объявлена борьба. Какой враг страшнее, — тот, который, нападая, кричит, или тот, кто идет молча, стиснув зубы? Я думаю, что второй, — при встрече с таким врагом волосы на голове зашевелиятся.

Когда человек скажет: «Да этого не должно быть, я не хочу работать в таких условиях» — и начнет медленно, спокойно распутывать узел общественной жизни, то у «художников», создавших этот узел, на душе станет хуже осенней ночи. Они увидят сразу, что их козыри тут слабы, игра проиграна.

Одна лишь сознательность способна сделать то, что не сделает масса порывов. Порыв, что вихрь: налетел — сложил; а если нет, — опять все успокоилось и осталось по-старому. Сознательность же напоминает шквалы морского шторма, которые, равномерно катясь один за другим, сокрушают очертания берега, творят новые или размывают, уносят вглубь старые. Она дает свет, тепло, влагу и жизнь новому, и это новое живет до тех пор, пока оно в колее жизни. Когда же оно устанет, с ним повторится то же, что и с предыдущим.

Да здравствует то, чего не сокрушит ни штык, ни пулемет, ни цепь, ни сама смерть!

14 января.

В и ц э.

Мертвая зыбь.

Что может быть хуже этого? Море

спокойно, гладко, а мотает из стороны в сторону без толку. Моряки не любят мертвую зыбь за эту бессмысленную качку. Так и в жизни нет ничего хуже мертвой зыби, когда все переживания сводятся лишь к тому, чтобы «заполнить» время.

Передо мной лежат два письма: одно от Валентины — еще с датой 25 октября, другое мое, не отосланное, ответ на ее письмо.

За ней ухаживает председатель управы Лего; она царит в поэтической обстановке, Лего преподносит ей розы, катает ее по шоссе в автомобиле, устраивает всевозможные лесные прогулки и настойчиво добивается. Чего? Чего, конечно, добивается мужчина от женщины!

Я постараюсь точно передать те чувства, которые копошатся в груди. Не раз и не два читал я это письмо, а десятки. Я старался, чтобы образ ее — до тонких мелких черт — ясно вырисовался бы перед моими глазами. И когда этот образ являлся бы передо мной, — ясный, прекрасный, светлый, как яркий южный теплый солнечный день, — дрожь пробегала по телу, так как рядом я видел грязные, развратные руки старой, гнилой, растрепанной натуры 45-летнего ловеласа.

Тут не говорила во мне ревность, нет, ее и следа не было. Что такое ревность? Чудовище с зелеными глазами? Нет, не то... Ревнив тот, кто не уважает свободу другого, кто ставит выше всего удовлетворение своих минутных желаний, поработая себе подобного. Вот на этой почве и рождается ревность. «Как это, мол, возможно, — кричит ревнивец, — чтобы меня, меня она сменяла на Ивана, Петра, Поликарпа, на такую-де гадость, мерзость, ничтожество; неужели я хуже их? И как это она посмела отшатнуться от меня?» И начинаются запугивания, угрозы, которые так часто приводятся в исполнение...

Но я далек от этой грубой потехи. Нет, мне больно, что девушка делается добычей такого развратника. Мне больно за то, что ее, только вступающей в жизнь, начинают касаться руки старого развратника, который тянется за ее све-

жестью, молодостью. «Ни одна женщина не проходила мимо меня!» — с гордостью заявляет он ей, — дескать, и вас, красавица, скомкаем, сбросим с того пьедестала, с которого уже давно сброшена Женщина. И она... она пойдет той же горной тропой, по которой ушли многие.

Она только вступила в жизнь, а к ней уже тянутся руки, готовые сорвать этот, только начинающий распускаться, милый, прекрасный бутон. О, как вы, подлые богатые старцы, любите бутончики! Вы идете на всевозможные хитрости, обольщения. Вот эти господа и рождают язву общества, именуемую проституцией.

Они вертят женщину там, где много света, говора и смеха, заставляют ее как можно меньше работать и как можно больше веселиться. Заставляют ее путем подарков и подношений сверкающих безделушек забыть трудное материальное положение, дают ей возможность жить не по тем средствам, которые бы могли приобрести ее голова и руки. Когда же она надоедает, ее оставляют без поддержки, и вот рождается новая содержанка, новая проститутка...

Нет средств, которые бы искоренили бы проституцию, пока существует на земле строй, ныне так могущественно царствующий, — строй капитала...

15 января > 5 ч. утра.

р. Чорох-Су.

Выбрался из Вице в 12^{1/2} ч. ночи, ветер с веста начинал быстро крепчать. Моторы работают шикарно, и попутный ветер в корму увеличивает ход. Зыбит. Ночь удалась как нельзя темнее, — самая темная, какая только может быть в хорошую штормовую ночь. Небо покрыто тучами, которые никогда не предвещают ничего хорошего для нашего брата, моряка. Это тучи не сплошные, а состоящие из отдельных клочков, занимающих все небо, — тучи, сопровождающие хороший шторм зимнего сезона на Черном море.

Зыбить начинает значительно, но наш катер держится, играет на волнах ловко, как хороший ялик рыбака. Тем-

но, хоть глаз выколи. Только видны катящиеся светящиеся линии гребней валов. Этих линий много, и идут они параллельно друг другу. Жуткая, злобная, но прекрасная картина: они мчатся по бурлящему негодованию, волнуемому морю.

Порой попадали в полосу дождя, ветер мгновенно с колоссальной силой подхватывал воду и старался забить ею каждый незадраенный люк иллюминатора. Я и Митяй задраили все входные люки. В машине стоит чад, гарь, но мы не обращаем на это внимания, следим за работой моторов.

Зыбь увеличивается. Ветер крепчает, свищет, ревет в снастях. Но мы идем вперед, к Батуму, так как переставать нет надобности, да и очень много шансов за то, что легко можем очутиться на скалах. А такого рода пристанище во время свежего шторма мне очень не нравится, так как рискуешь на своем теле отделить жир и мускулы от костей. Шторм свежеет, идем с перевала на перевал. Перед концом вахты начал капризничать левый мотор, но это исправлено, и мы прежним порядком идем дальше.

Я иду спать. Под планомерное покачивание начинаю дремать. Вдруг сильный толчок от удара зыби заставляет катер лечь круто на правый борт. Что это? Ничего, катер выигрывается, я прислушиваюсь к работе, моторы идут шикарно.

Но вскоре после этого второй, третий толчки, сильнее первого. Катер ложится на борт, еще толчок; ударюсь головой о борт. «Кажется, забрасывает волной, перевертываемся?» — спокойно пробегают мысли. Я встаю с койки, обуваюсь. Первая мысль после этого — о спасении робы. Затем я лезу к иллюминатору и вижу только пространство, покрытое пеной. Еще толчок. «На борт выкинуло» — мелькнула мысль. Я выхожу, запираю каюту. Пассажиры, суется, толкаясь, одевают пояса, стараясь выскочить первыми. Я заявляю, что мы на берегу и панику делать не следует. Прихожу в машину, останавливаю моторы и хохочу с Митяем над такой поездкой.

Итак, торчим на берегу; да так далеко выбросило, что диву даюсь! Темь ужасная, стоять недурно, только зыбь бьет граветом о корпус, шум ужасный.

Впереди торчит на берегу «Василий». Жаль, что не добрались до Батума... Шкипер, глуповатый простака, сдрейфил. А еще моряки, — в белые канты наряжаются!

Ну, а теперь спать, — давно не спал на берегу.

Покойной ночи! Или с добрым утром?..

15 января.

Шторм все свежеет.

Впереди выкинутым на берег оказался не «Василий», а 118—«Измаил». Вот это просто удивительно! Как это так могло случиться? А все из-за того, что очень хитрые и умные капитаны и помощники...

Ветер начинает дуть с берега, но зыбь идет бо́льшая и свежая, — видно, в море работает шикарный шторм.

Под полными парусами прошла шхуна «Св. Спиридон».

Стоять очень удобно, — кругом занесло граветом.

18 января. Куфак-Чорох-Су.

Сегодня пробовали тянуть, но ничего не получилось. Матросы с брандвахты уже работали, когда мы, т.-е. я, Ник. Сахновский и Митяй, приехали к месту своей злополучной аварии.

Вчера приходил брандвахтенный катер, и я поехал в Батум. Встретил Головченко и других — Ник. Ив., боцмана. Все шло в порядке вещей. Вечером я получил 20 рублей авансом, и четвергом отправился с попутным ветром к великому виночерпию Захарию, который не скупится, хотя и орудует медленно, как полагается его сану. С сознанием своего достоинства он заменяет пустые сосуды новыми, наполненными холодной, веселящей и ласкающей мысли влагою. Так мы переменили много сосудов, переговорили еще больше, и я торжественно, но не помня, как, добрался до своих помещений.

Утром встали и, закупив провизии, тронулись в путь.

Целый день провозились с разборкой мотора со «Св. Николая». Время прошло быстро. Но надо бросить пить, — иначе я не соберу денег, необходимых мне для дальнейшего пути. Баста пить! Все для цели...

19 января. Ночь.

Уже третий день работают по подъему, но дело не подвигается вперед ни на полсантиметра. Мотор с судна снят и отправлен в Батум. Митяй сказал, что на Батум прошел «53»¹. Он уехал туда, а я думаю туда пробраться завтра.

Читал сейчас Мэна «Охота за любовью». Очень дикая книжонка. Я только удивляюсь такого рода писателям, которые гнут из осины оглобли. На что, спрашивается, мне все эти неврастеники миллионеры, на что все эти спекулянты и такие женщины, как Ута Энде, которые для достижения цели отдаются старикам? К чему же такими особами восхищаться? Искусство, где они для славы готовы бегать в ночных рубашках или трико? Что может быть общего между искусством и раздеванием? И как можно причислять фарсы к искусству? Это же подлость!

В жизни нашего общественного строя все так смешалось, все так перепуталось, что жизнь ушла; жизненная обстановка стала мрачной ночью лжи и самообмана. Люди сами гибнут и губят растущие молодые поколения, воспитанные на кошмарной лжи, обмане, самообольщении, которыми, как проспиртованные препараты, насыщены их отцы.

23 января.

г. Батум.

Стоим в ремонте. Много шансов прибавится, если только Ванька привезет из Одессы фактуру², а он это сделать обещал. В общем, на «Димитрии» команда шикарная, крепко держатся один за другого.

Каких-нибудь два месяца, и — в путь, на север. Дрожишь, как в холоде, когда думаешь, что все это проводишь в

¹ Очевидно, речь идет о транспорте № 53.— И. А.

² Несомненно, речь идет о подготовке какого-то нового нелегального документа.— И. А.

жизнь, что цель близка. Эх, чорт возьми, да неужели правда?! Хорошо, ой, как прекрасно! Вперед, — все для того, чтобы только достигнуть цели!

Сию голодный, как волк, денег нет. Получил письмо от Виктора; о Вале ни слуху, ни мур-мур...

25 января.

Б а т у м.

Чорт знает, что делается. Жизнь дорожает каждый час. За последние двое суток только вечером мог покушать горячего, — занял денег у заведующего отправками. В городе хлеба нет, и достать его почти невозможно.

Получил письмо от Виктора¹.

Да, в этом сидит другой человек, не жели во мне, — этот скоро встанет на последние мертвые якоря в тихой пристани. Купит герань для окон, занавески, самовар медный, жену заведет...

Сундук его желаний небольшой, а потому он скоро его заполнит; малому кораблю малое и плавание!

Послал письма домой. Стоит чудная весенняя погода.

26 января.

Скука ужасная. Скоро ли кончится? Ночи стоят чудные, божественные, лунные, в такую ночь лишь петь великие гимны жизни, борьбе и свободе.

28 января.

Подожли к миноносцу «Строгому» откачивать из кингстона воду. Дождь, ветер. Но скука, тоска... Скоро ли конец, скоро ли зима кончится?

29 [января].

Вчера зашел до Захария Чабутян, закурил; заходит Сахновский с флотским квартирмейстером, поговорили по поводу теперешней общественной жизни и тронулись. Я решил проскочить до иллюзиона и вдруг увидел процессию, которая шла по улице с зажженными свечами; все были одеты в светлые праздничные платья. Оказывается, это была свадебная процессия армян. Странный обычай — ходить на свадьбу со

свечами! Но у каждой национальности имеются свои обычаи и традиции, которые и отличают их друг от друга.

31 января.

Б а т у м.

Сегодня был вызван в контору. Объяснили, что дали прибавку в размере 20 руб. Следовательно, я получаю 100 рублей. Это очень и очень утешительно, и если бы еще два месяца все обошлось благополучно, тогда я смог бы начать свое победоносное шествие к цели.

Видел Можанова, просил перевода на паровой. Он сказал, что меня переведут обязательно. Это меня утешает еще более, так как есть большие шансы делать рейсы между Трапезундом и Новороссийском, что меня очень радует.

Получил письмо от Николая, написал ему ответ, а также послал письмо К—й. Хорошая девушка, и как товарищ хорошая. В ней заложено так много чувства нежности, ласки тихой, такой материнской, от которой на душе становится светло и отрадно, и силы прибавляется столько, что можно вступать в опасный, тяжелый, неравный бой.

Последнее время я читаю газеты изо дня в день. Больше и читать нечего. Но радости мало, — лишь гнев и злоба каждый раз сильным вулканом кипят и kloкочут в груди. Так много прекрасных слов, высокопарных фраз, после которых кажется будет не жизнь на Руси, а нечто вроде рая. А на деле?..

Судьба Польши вручена сенаторам, явно враждебным ко всякому, хотя бы и малейшему, освободительному движению. Еврейский вопрос лежит под сукном на столе антисемита. Крестьянское равноправие после долгого пережевывания, перевертывания брошено в темный угол архивов, чтобы вновь покрыться пылью. Рабочие организации запрещаются, а общество фабрикантов и заводчиков дальше и шире протягивает руки, набивая плотнее богатства в кладовых и банках.

Общественная жизнь трепещет под давлением властной руки бюрократов. Она окружена всевозможными «верными слугами», во главе которых стоит духовенство.

¹ Старший брат Анатолия. — И. А.

История повторяется, это правда: во времена французской революции ненависть к церкви достигла апогея, так и теперь наблюдается течение к этому. Общество довольно ясно понимает, что церковь сует свой нос далеко не в ту сторону, куда бы это следовало.

Жизнь отдельных членов общества, особенно ее семейная сторона, глухо закована в цепи церковным кузнецом. В последнее время громко и усиленно начали говорить о брачном вопросе, о разводе. Вопрос это большой, и дотрагиваться до него, не давая положительного ответа, я считаю величайшим преступлением, злонамеренным растравлением назревшего нарыва.

Время ведет к тому моменту, когда общество станет лицом к лицу с двумя сильными, до безумия лживыми и хитрыми врагами, не стесняющимися в средствах для достижения цели, — правительством и церковью...

4 февраля.

Вот уже четыре дня стоит ужасная погода: дождь, дождь и дождь. Получку получили, и положение стало значительно устойчивее. По просьбе Степки выслал ему 20 руб. Но обиднее всего то, что деньги идут так же быстро, как горное течение воды, — не успеешь обернуться, как их нет...

А дождь сыплет, не переставая, в море шторм.

Вчера пришло известие, что транспорт «Святогор» протаранен миноносцем, погибло 400 человек. Как-то на душе сделалось больно и неприятно: я второго числа видел его, как он по заходу солнца снимался на Трапезунд. И вдруг такая гибель! Но как это могло случиться?

Столкновение... А ночь была темная, и по заходу солнца начало свежить. И вот картина: люди мечутся, обезумевшие от предстоящей гибели, бегают, не отдавая себе отчета. Паника, столько народа... Ужасная картина смерти и разрушений.

Всюду смерть, начиная с позиций и вплоть до глубочайшего тыла.

Митяй «газует»...

6 февраля.

Только сегодня подошли к пристани, а то все мотались на рейде, затрепало нас. Забаластили, корма поднята, ну и трепало.

Только вечером прошлого дня съехали с Митяем на берег, пошли в кинематограф. Шла «Екатерина Ивановна». Я уже видел эту картину в Москве; впечатление осталось одно и то же. Бедная русская женщина, ей осталось лишь одно — заниматься ролью «ненужной вакханки».

Для чего это? Только для того, чтобы не скучно было; муж работает, а ей надоедает рыться в модных журналах. Она ведь не воспитана в духе товарищества; как любовница, как содержанка, входит она в семейную жизнь, а разве это нормально? Разве это естественно? К чему же стремится женщина, что ищет она? И нет движения вперед, в сторону нравственного возрождения, в сторону поднятия своего престижа. Культ моды растет быстро, увеличивая каждый день свои огромные владения, пожирая тысячи жизней, кружа и вертя их в этом ненужном водовороте.

Женщина, ведь ты солнце! Ты взяла чужие карты и ведешь игру ненужную, чужую твоей натуре, лишь только потому, что лень сказать — стоп, шабаш, я эти карты бросаю, так как они не мои, и я сижу за чужим столом!..

Вчера со мной произошел такой случай. Шел я на пару с Митяем по Мариинскому проспекту. Идут две девочки, и, как видно по способу держать себя, говорить, — чистые. И вот к ним с нахальным видом пристаёт нето грек, нето грузин, лет так около 20. Они просят его отстать. Но у него нахальство возрастает. Как-то противно сделалось и захотелось проучить наглеца.

И вот на самом таком месте, когда он решил на более нахальную выходку, я спокойно взял его за шиворот и прижал к стенке. Он начал барахтаться. Не знаю, откуда взялось у меня столько сил, но я его поднял на воздух одной рукой и бросил на мостовую. Он шлепнулся в грязь. Подбежали его товарищи и загалдели. Я крикнул: «Мол-

чать, мерзавцы». И это стадо баранов мигом стихло. «Слушайте же, ишаки, — если кто-либо из вас позволит неуважительно относиться на улице к женщине, заявляю сейчас — мигом выучу!» — громко заявил я.

Огляделся вокруг, — толпа внушительных размеров. Ко мне потянулись руки. Я поймал две ближние, притянул молодцов к себе, взял их за грудки и так трясанул, что оба присели. «Что тут такое, почему толпа?» — на ходу спрашивали меня офицеры. Я объяснил и добавил, что в короткий срок расколю головы всем, кто протянет ко мне руку. Офицеры посмотрели на столпившихся греков, на меня и сказали: «Марш, ведь он вас перекалечит. Видите, какой верзила, да к тому же моряк». И я, еще толкнув одного, пошел смотреть картину. Было грустно на душе.

Поздно вечером пришел в казарму, так как катер мотался на рейде, сел играть в карты и вылез из-за стола лишь в 5 ч. утра, положив в карман 16 руб. выигрыша.

Днем пришлось работать в воде босиком, — вставляли валы.

9 февраля.

Вчера лег спать, и вдруг будят, говорят, что зовет Вашинский. Встаю и отправляюсь к нему, — заставляет брать монатки и итти кочегаром на «Михаиле» бр Феофан. Перешел, сразу встал на вахту — с 9 ч. до 12-ти. А сегодня утром снялись на Ризэ. Всю вахту дело шло очень хорошо, но подконец в кочегарку залез «дед» и велел подбрасывать мусорком. В результате пар начал падать, и, как нарочно, заштилевало. Дышать стало нечем, слабость ужасная, но вахту выстоял, хотя пар снизился на 4 фунта. Скверно для первого раза, но надеюсь, что поддержусь на других вахтах.

Пришли в Ризэ в 6 ч. вечера. Были пассажиры, преимущественно офицеры, коменданты порта, города и т. п. ишаки. Понапивались и потешались стрельбою в дельфинов.

Вечером встал на вахту, и всю ночь возились. Тарахтели лебедки до 3-х утра, затем пошел дождь.

10 [февраля].

Шторм играет во-всю, к нему присоединяется снег, и на судне делается чорт знает что, — мотаает почем зря. Холод. Табак кончается. Хоть кричи.

Шторм, снег, дождь и мороз.

14 февраля.

Сегодня выехал на берег поискать табаку. Табаку нет во всем городе, да к тому же скажу, что от Ризэ ничего не осталось. От того, что я видел в июне прошлого года, теперь нет ничего, кроме груды камней, сложенных в кубические сажени: все разломано, разрушено для прокладки железной дороги. Вот она, европейская культура! «Разрушать, чтобы поработать» — ее девиз по отношению к человечеству.

Раньше все ласкало глаз, все дышало чистотой, прелестью, уютом, — теперь все разрушено и опустело. Одиноко и грустно стоят фонтаны, заваленные кусками камней и цемента, кое-где на одной стороне неразрушенных домов болтаются обрывки виноградных лоз, которые пологом раскидывались над улицей, давая ей прохладу, тень, когда палило и жгло южное солнце. Остались лишь груды камней. Все опустело, все потеряло живые, яркие краски и свежесть.

Мертвечина!

Поздно вечером подошли к железнодорожной пристани. Стоял катер — дождался заведующего выгрузками Бюллера.

С людьми иной нации, с турками, Бюллер обращается до ужаса отвратительно; не скажет ему: «Эй, турок», а обязательно: «Эй, ты, сволочь банабак!»

К чему это? Если ему кажется, что это необходимо с целью заставить работать, то он глубоко ошибается. Прошлую выгрузку он кричал, орал, грозил, но, увы, — турки хладнокровно стояли и курили.

Наконец, я подошел, спокойно рассказал им об условиях работы, о том, с кого, где и когда они получают заработок, и турки мигом бросили курить, сняли люки, и работа закипела полным ходом. Бюллер рот раскрыл: удивительно!

Он в погонах и при шашке, а дело не шло. Я же прызлый и одет плохо, а турки меня послушали.

Дело в том, что турки ни на кого не глядят с таким презрением и с таким неудовольствием, как на офицера. Офицеры их обманывают и издеваются над ними.

Вот еще одна черта «работы» наших офицеров — это офицерская «экономическая» «потребительская» лавка. Цены ужасные, в 4—5 раз выше турецких. Устроив лавку, они уничтожили таксу, открыв себе путь к свободной наживе, и в короткий срок лавка стала делать 5—6 000 в месяц оборота. Теперь, когда покупаешь у турка и жалуешься на высокие цены, он заявляет: «Поди купи в русской лавке».

15 февраля.

Сегодня погода установилась: солнце, тепло, хорошо. В горах лежит глубокий снег, — он падал вчера большими хлопьями. Картина величественная, торжественная.

«Снег в горах» — это звучит мягко, говорит о чем-то прекрасном и вместе с тем предостерегает.

Выгрузка идет недурно. У борта толкуются фелюги с апельсинами, механики, помощники и команда их закупают целыми фелюгами.

16 [февраля]. Рейд Батум.

Пришли в Батум благополучно. Кажется, встанем на ремонт. Очень это мне не нравится, поскорее бы в Новороссийск, а томиться здесь очень мало интересу.

Пару слов о своем начальстве, т.-е. о механиках. Оба были кочегарами на Азовском море, какими-то правдами и неправдами заполучили дипломы и «зажаривают» за механиков. В общем, им подвезло, но... подлецы первой марки.

Чорт с ними, как-нибудь прослужу эти 1½ месяца.

Ночь. Вахта 10—2.

Получил письмо от Шуры. Милая, добрая, бедная Шура! Она мучается, тоскует, бедная, — одна со своими мыслями и неутраченным криком детей.

Трагедии следуют одна за другой. У нас умирает отец. Сильный, ужасный удар. Я никогда не забуду, как убивалась она, как плакала, как рыдала до истерики каждый раз на могиле отца.

Затем угарная, душная жизнь брата...

Замужняя жизнь, так тяжело сложившаяся, так исковерканная, скомканная, изуродованная. Бедная Шура! Но я верю, что у тебя есть еще впереди звезда, которая загорится ярким огнем.

И, наконец, моя жизнь. Побывал всюду, исключая тюрьмы. Ну, что же, волков бояться — в лес не ходить. Кто не рискует, тот не проигрывает, да и в тюрьме не сидит.

Скоро вперед, трогаюсь с определенным решением. Пора будить Орла, а сам — до 10 утра спать.

Здравствуй, начинающийся день!

Начались лунные ночи. Вечером я шел по городу, и много видел гимназистов и гимназисток — парами и группами. Вспомнилось старое, вздохнул, трянул головой и медленно зашагал на лунно, стараясь продлить прогулку в лунную ночь. Один — это к лучшему; грубее будешь, меньше слабину. Разве одиночество так уж печально?

Нет, тысячу раз нет!

Здесь, в одиночестве, ты можешь определить собственную силу, а это очень важно!

20 февраля. Днем, 4 ч.

С обеда начало штормовать. Моросит дождь, опять зарядивший на 3—4 суток. Тоскливо на душе. За последние дни что-то часто вспоминается Богородск, вспоминается Валя... Что с ней, как живет, — попрежнему в тенетах председателя?.. Эх, проездом и тряну я душонку этому типу, аж дым пойдет!

Проходят дни, а горизонт в тумане. Война растет, когда же конец? Там и тут — всюду смерть, всюду голод. Люди сознают, что это ложь, обман, и все-таки терпят и продолжают эту дикую игру.

23 февраля.

Вчера я в первый раз за последние шесть месяцев разговаривал по-челове-

чески, т.-е. без небоскрежных ругательств, говорил с дочерью того еврея, которому продал масло и подарил около 20 ф. муки. Славная, симпатичная девушка, говорит очень чисто по-русски. Говорили, можно сказать, о высших материях. Коснулись политики, церкви, религии, национальности, говорили о войне, коснулись литературы, искусства, философии до тех пор, пока не пришел «отчим», и тут заговорили о «материальной части». От этого вечера осталось доброе, хорошее впечатление.

Сегодня снялись в рейс. Пар держится легко, и работать, можно сказать, нетрудно. Стоим в Архавэ. Выгружаемся.

27 февраля. С 12—3 утра.

Шторм играет во-всю — на 12 баллов. Только-что смеялся с вахты. Работать трудно из-за ужасной качки, которая треплет и мешает работать вот уже около суток. Снялись из Бит-Горы около 10 ч. вечера. Идем на Ризэ. Весь переход около 18 миль, но Гаврила уже сменился; я тоже отстоял вахту; наконец, вступил Ваня. Следовательно, идем со скоростью 2 миль в час. Черпали бортом воду. В кочегарке воды по колено. Мусор смешался с углем, и все это катается из одной стороны в другую. Топки открываются к борту, без щеколд; поэтому, как только крен — дверца закрывается, бьет по гребку, лому или лопате. Качает очень внушительно. И хотя уже выработалась привычка балансировать и находить равновесие, — нет никакой возможности стоять около правого борта. Хочешь подкинуть в топку — качнет, и уголь летит за камин. А сам упираешься в потолок руками (чтобы не разбить рожу).

Все же вахту отстоял. Умылся, пошел в кубрик и думал уснуть. Но спать не было возможности, так как в носу качает еще сильнее, чем где-либо в другой части судна.

Холодно! Укутываюсь в свое одеяло (парус со «Св. Николая»), а голову прикрыл кожаной тужуркой. Этим я гарантировал себя от дальнейшего замерзания. Но лежать было — ой, как скверно: судно кренилось на 45°. Я сжался

и уперся в обшивку кубрика и в борт койки. И все-таки мое тело ездило, напирая то в ту, то в другую сторону. Посуду лобило. Корзинки, сундуки катались по кубрику так, словно кто-то их бросал из стороны в сторону со страшной силой.

28 [февраля].

Выгрузились в Ризэ и идем в Сурмине выкинуть последний груз. Снялись как-раз на моей вахте.

2 марта.

Стоим в Сурмине, есть нечего и купить негде. Возмущает халатность командиров, их нерадение к делу.

Вот только сегодня занялись выгрузкой, когда началось волнение; когда же стояла чудная погода, то не выгружали. Эх, Россия, Россия!

Утро 9 марта.

Б а т у м.

Итак, я гражданин. Нечто новое появилось на лице нашей земли. Император Николай отрекся от престола, и буржуазия встала у кормила правления. Карта Романовых бита. Замечательно то, что план выполнен так точно, определенно, как он был запроектирован: председателем совета министров Львов, военный и морской министр Гучков и т. д. И вот теперь начинается хитросплетенная, тонкая политика капиталистов. Но что получил народ?

Фигуры переставлены, игроки заняли места, игра началась, — тонкая, ажурная. Эх ты, куцая свобода, как обкарнали тебя!

10 марта.

Идем в Новороссийск.

7 апреля.

Н о в о р о с с и й с к.

Только сегодня могу писать. А есть так много, о чем надо записать! Жизнь с 8 марта резко повернула течение и усилила свой бег. Было собрание моряков. Выхожу, говорю и начинаю жить той жизнью, о которой мечтал, — жизнью общественного деятеля. Писать лень, дел бездна...

Но кто же я?

Политика и стратегия на Средиземном море

И. ЕРМАШЕВ

★

Наступление британских войск на Суданском фронте — в Эритрею и Абиссинию — открывает новую главу войны в зоне Средиземного моря. При дальнейшем развитии событий в Африке эти операции во все возрастающем масштабе будут оказывать влияние на ход войны в целом. Во всяком случае, военные действия в Африке и на средиземноморском театре развернулись за последние недели настолько широко, что даже заслонили борьбу между Англией и Германией в воздухе и на море.

Дело здесь не только в том, что в конце января воздушные операции на западе заметно ослабели. Дело, скорее, в том, что на данном этапе второй мировой войны фронт в Средиземноморском бассейне по ряду причин занял наиболее видное место.

Борьба на этом фронте развернулась на громадном пространстве; в нее уже сейчас вовлечены крупные армии — не менее миллиона солдат, до двух-трех тысяч самолетов, тысячи артиллерийских орудий, бронемашин и танков; в борьбе участвуют значительные военноморские силы — весь итальянский флот, британский средиземноморский флот, флот Греции. В бассейн Средиземного моря прибыли и германские воздушные силы.

Таким образом, борьба на Средиземном море, на примыкающем к нему африканском театре на юге и албанском на севере принимает все более ре-

шительный характер. Судьбы двух империй решаются в этой схватке.

I. НА СТЫКЕ ТРЕХ КОНТИНЕНТОВ

К военным действиям обе стороны готовились давно и весьма тщательно. Однако лишь постепенно выяснялась группировка сил и, главное, направление ударов.

Для Великобритании Средиземное море всегда представляло огромную ценность. Здесь проходят важнейшие торговые и стратегические пути, связывающие британские острова с Индией, Дальним Востоком и Австралией. В восточной части этого моря находятся очень важные британские владения — колонии и подвластные страны, как Египет и Палестина. К ним относятся также Ирак, Трансиордания, Саудовская Аравия, Англо-Египетский Судан. Здесь же берет свое начало Суэцкий канал. Вот почему правительство Великобритании всегда придавало крупное значение господству на Средиземном море британского флота, опирающегося на базы в Александрии, Порт-Саиде, Хайфе, Фамагусте (на острове Кипр).

Естественно, что в ходе войны, — в особенности, когда выяснилось, что на континенте Англия терпит поражение, — особое внимание стало уделяться именно Средиземноморскому бассейну и британским позициям на Ближнем Востоке.

В июле прошлого года, через месяц после того, как гром орудий возвестил вступление Италии в войну, произошло событие, значительно более скромное по масштабу и не обратившее на себя никакого внимания. Как-раз в те дни, когда итальянские транспорты спешно доставляли войска и снаряжение в Ливию, английские саперы срочно достраивали последние участки Багдадской железной дороги. Знаменитая дорога, постройка которой началась германским капиталом задолго до первой мировой войны (и послужившая одной из ее причин), была, наконец, завершена. Достроенная дорога должна была по некоторым первоначальным проектам сыграть роль стального копья, направленного на северо-запад. Увы, этим проектам не суждено было осуществиться.

Некий Эдвин Джуд писал в лондонском журнале «Сфир» в связи с открытием дороги: «Развалины Вавилона, построенного Нимродом 4 300 лет назад, и Ниневии — великого города, построенного Ашуром, основателем Ассирийской империи, лежат у самой железнодорожной линии, являя контраст с лесом нефтяных вышек на промыслах Ирака». Это писалось в тот момент, когда гроза уже собралась над крупнейшей империей нашего времени, важнейшие центры которой сейчас лежат в развалинах.

Открытие сплошного рельсового пути от Персидского залива до Босфора было весьма символическим актом. Он как бы свидетельствовал, что значение борьбы на средиземноморском театре выходит далеко за его пределы. Благодаря новой дороге был усилен «правый фланг» позиций Великобритании на Аравийском Востоке, являющемся воротами, ведущими к Мосульской и иранской нефти, и дальше — в Индию.

В это время Франция была уже разбита. Ее африканское побережье и — что еще более важно — военно-морские и воздушные базы были потеряны для Великобритании. Но помимо того правящие круги Великобритании не могли не считаться с тем, что соперничающие державы захотят установить свой конт-

роль над побережьем Леванта (Сирия!), разъединить британские силы в Аравии и силы Турции и прочно закреститься на путях, идущих к Суэцу с севера.

Этим, между прочим, объясняется и то, что в летние месяцы (июнь—июль) британское командование располагало крупными силами в Палестине, хотя залось — основные сухопутные операции развернутся на ливийско-египетской границе. О том, насколько значительны были силы, сосредоточенные в Палестине, можно судить по тому, что позднее — в сентябре и октябре — оттуда в Египет была переброшена целая армия численностью до 80 тысяч человек.

Столь обширные приготовления показывают, что уже в июне — июле прошлого года британское командование учитывало вероятные пути развития крупных операций, в которые впоследствии были вовлечены и другие средиземноморские страны.

Укрепление «правого фланга» британских позиций на Средиземном море усиливало и центр — подходы к Суэцкому каналу, — а также и «левый фланг». Последовавшие затем события лишь подтвердили, что, несмотря на катастрофу в Северной Франции, — или, быть может, вследствие ее, — британское командование ни на мгновение не переставало рассматривать Средиземное море в качестве одной из самых важных ставок в нынешней борьбе, ведущейся за передел уже переделенного мира.

Борьба за этот передел неизбежно должна была принять особенно острый характер именно в Средиземном море, омывающем берега крупнейших владений Британской империи, Франции и Италии.

«Манчестер Гардиан» писала по этому поводу: «Политико-стратегическая важность сохранения наших позиций на Средиземном море еще более очевидна, чем военно-стратегическая. Это необходимо подчеркнуть, указав на то, что каждый раз, когда Великобритания по-

кидала Средиземное море, за нею следовала катастрофа. История Великобритании не состоит только из одних славных побед, хотя школьные учебники частенько стараются представить дело именно так. Мы можем избежать бедствия, изучая уроки прошлого, ибо история как-раз Средиземного моря полна предостережений, мимо которых нельзя пройти... Мы должны быть готовы к нападению в любое время. Италия отвлекает крупнейшие британские силы, которые могли бы быть в другом случае использованы нами в отечественных водах. Такова роль, которую Италия играет в настоящий момент. Что касается нас, то мы должны нанести Италии удар всеми возможными средствами. Мы отдаем себе отчет в том, насколько важно, чтобы другие средиземноморские страны могли видеть, что мы знаем, как нанести удар». (Подчеркнуто нами. — И. Е.)

«Удар по Италии всеми возможными средствами» был едва ли не главным лозунгом всей британской печати в месяцы, предшествовавшие началу широких операций на Ближнем Востоке. Все группировки британской буржуазии сошлись на этой формуле. Если либеральная «Манчестер Гардиан» считала, что против Италии должен быть нанесен удар «всеми возможными средствами», то младо-консервативный ежемесячник «Найнтин Сенчури энд афтер» писал накануне наступления Грациани, что, если главная цель Великобритании в ее стратегии заключается в разгроме Германии, то путь к этому в данной конкретной обстановке лежит через Италию.

«Кампания в северо-восточной Африке, — читаем мы в «Найнтин Сенчури энд афтер», — была лишь началом атаки, которая угрожает самой структуре британского содружества наций, ибо, если германо-итальянская коалиция завоеует господство на Средиземном море, она будет хозяином Суэцкого канала и сможет утвердить себя на Красном море. Господствуя над выходами и входами обеих морей, коалиция создаст угро-

зу коммуникациям и в Атлантике, и в Индийском океане. Поэтому господство на Средиземном море не может быть нами уступлено кому бы то ни было. Оно жизненно важно не только для сохранения имперских коммуникаций и важнейших британских интересов на Ближнем Востоке, но также для установления в будущем британского вооруженного превосходства во всей Европе».

По мнению «Найнтин Сенчури энд афтер», Великобритания должна нанести Италии такие сильные удары, которые заставили бы ее отказаться от дальнейшего участия в войне и заключить сепаратный мир с Великобританией. «Если Италия была бы вынуждена заключить сепаратный мир, — говорится дальше в указанной статье, — то поражение Германии было бы значительно ближе... Поражение Италии является поэтому существенно важной предпосылкой поражения Германии. Поэтому Великобритания должна добиться максимальной концентрации кораблей, войск, самолетов в зоне Средиземного моря и перейти от обороны к наступлению с максимально возможной быстротой, решительностью и смелостью, на которые она способна».

В английской периодической литературе, в выступлениях ответственных представителей деятелей и самого премьера Уинстона Черчилля неизменно проводилась именно эта точка зрения. Известная переориентация английской стратегии осенью прошлого года — это можно было бы назвать «поворотом лицом к востоку» — была вызвана грозными событиями, назревавшими на ливийско-египетской границе и в Западном бассейне Средиземного моря.

II. ПРОБА СИЛ

Инициатива была, однако, проявлена не Великобританией, а Италией.

Крупнейшая средиземноморская держава Италия выступает теперь в качестве главного противника Великобритании в зоне Средиземного моря. Итальянские правящие круги давно уже стремятся к установлению своего господ-

ства в этой зоне. В течение последних 25 лет Италия прилагала большие усилия, чтобы укрепить свое военное положение путем создания баз в своих владениях в Африке (Триполитания — Киренаика), в Эгейском море (острова Додеканез) и в северо-восточной Африке (Эритрея, Абиссиния и итальянское Сомали) для ведения большой войны с Великобританией. Территория самой Италии должна была сыграть в этой войне роль главного средиземноморского плацдарма держав «оси».

Значение Италии, как морской державы, объясняется в не малой степени ее своеобразным и выгодным географическим положением. Территория Италии как бы перегораживает Средиземное море: от крайней южной точки — острова Сицилии — до мыса Бон на африканском побережье Туниса всего 120 километров. И нужно сказать, что Италия широко использует свое выгодное географическое положение в нынешней борьбе с Англией. Итальянские подводные лодки и самолеты контролируют проход через Тунисский пролив из западной части Средиземного моря в восточную. (Почти в самой середине этого пролива находится итальянская база на острове Пантелерия.) Британская коммуникационная линия из Гибралтара в Александрию находится под ударами итальянской, а за последнее время и германской авиации, итальянских подводных и надводных морских сил.

Итальянское правительство понимало, что без крупного флота оно не сможет бороться за господство на Средиземном море против такого сильного противника, как Великобритания. Поэтому в последние годы Италия спешно создавала мощный военно-морской флот. Старые корабли были решительно сданы на слом. Сохранены только самые ценные из них, но и те были перестроены. Когда Италия вступила в войну, она располагала сильным флотом, состоявшим из новых или модернизированных кораблей.

Ядро этого флота составляют две дивизии линейных кораблей (дредноутов); в каждой дивизии насчитывается 3—4

корабля типа «Литторно» или «Конте-ди-Кавур».

Четыре корабля типа «Литторно» начали строиться еще в 1934 году. Последний корабль этой четверки («Рома») заложен в 1938 году. Четыре корабля типа «Конте-ди-Кавур», заложенные еще до первой мировой войны и успевшие сильно устареть, были подвергнуты полной модернизации. Всего в июне прошлого года в итальянском флоте было шесть линейных кораблей: «Литторно», «Витторно Венето», «Конте-ди-Кавур», «Джулио Чезаре», «Кайо Дуилио», «Андреа Дория». В постройке — «Имперо» и «Рома».

Кроме дредноутов, итальянский флот располагал в это время семью тяжелыми крейсерами, вооруженными 20,3-сантиметровыми орудиями, 26 легкими крейсерами, 67 эскадренными миноносцами, 46 миноносцами, примерно 120 подводными лодками и большим количеством вспомогательных кораблей.

Отличительное свойство итальянских военных кораблей — их быстросходность. Новые линкоры типа «Литторно» могут развивать скорость в 30 миль в час. Среди итальянских легких крейсеров имеется много таких, которые делают 42 мили в час. Эти легкие крейсера, получившие такие звучные имена, как, например, «Дживани-делле-Банде-Нере», были прозваны в морской литературе «кондотьерами».

Флот опирается на многочисленные базы: Генуя, Специя, Неаполь, Мессина, Палермо, Катания (последние три на острове Сицилия), Кальяри (на острове Сардиния), Триест, Венеция, Пола, Бари, Бриндизи, Отранто, Валона, Дураццо (на побережье Адриатического моря). Наконец, крупнейшей базой, расположенной в Тарантском заливе, является Таранто.

Для Италии средиземноморской театр был и остался главным и решающим. Когда в августе над Англией начали развертываться воздушные операции, итальянское командование могло считаться с тем, что «битва за Лондон» привяжет силы Великобритании к Британским островам. Наступал благо-

приятный момент для удара, — здесь-то и должно было сказаться взаимодействие военных сил Германии и Италии.

В сентябре армия маршала Грациани, сосредоточенная в Ливии, перешла в наступление. В развернувшихся затем операциях в Африке большое содействие армии должен был оказать и окзывал итальянский флот: армия Грациани с самого начала целиком зависела от сообщения с метрополией; ее приморский фланг нуждался в прикрытии. Таким образом, задачи итальянского флота значительно усложнились в связи с началом наступления ливийской армии.

В первоначальный период, когда Италия только вступила в борьбу, перед ним стояли более ограниченные задачи. Итальянский контрадмирал Анджелло Джинориетти в статье, опубликованной в «Дейче Альгемайне Цейтунг», сводил эти задачи к следующему: во-первых, нарушение коммуникаций между Британскими островами и восточной частью Средиземного моря; во-вторых, недопущение соединения восточной и западной эскадр английского средиземноморского флота и ограничение их свободы действий; в-третьих, обеспечение собственных коммуникаций.

Позднее, в августе и сентябре, задачи, поставленные перед флотом, неизменно выросли, ибо борьба на Средиземном море вступила в новый этап, и политика поставила перед стратегией новую цель: окончательно решить «средиземноморскую проблему» в рамках «реорганизованной Европы».

О том, к чему сводится эта цель, можно судить по информации ряда органов центральной европейской печати. Информация эта появилась как раз в тот момент, когда ливийские дивизии маршала Грациани начали свое движение по Западной пустыне. Обычно хорошо информированная швейцарская газета «Цюрхер Цейтунг» приводила в одном из своих ноябрьских номеров сообщение из Рима об итальянском взгляде на пути решения средиземноморской проблемы. В этом сообщении между прочим говорилось:

«Глядя на мир из Рима, современная

война является величайшим кризисом, который должен привести к полному изменению экономической структуры Средиземноморского бассейна. Согласно итальянским взглядам, Средиземное море нельзя рассматривать только как сквозной путь, к тому же подвластный несредиземноморской державе (т.-е. Великобритании. — И. Е.). Будущее средиземноморское хозяйство связано с судьбой Африки. Африка должна быть совершенно открыта для Средиземного моря и превращена в новый источник сырья и энергетики. Только превращение Африки в континент, дополняющий Европу, сможет оживить экономические силы стран, окружающих Средиземное море, и превратить черный континент в источник сырья и место приложения европейского труда. Только установление тесной связи Европы с Африкой и создание европейско-африканского блока может привести к полному возрождению Средиземноморского бассейна».

Вслед за тем в этом сообщении можно было найти несколько строк, представляющих особый интерес. Они гласят:

«Даже возможности использования африканских источников были бы для итальянского средиземноморского хозяйства недостаточны до тех пор, пока Италия не имеет выхода в океан. Только обеспеченная территориальная связь с океанскими просторами может разорвать цепи, в которые Италия закована на Средиземном море. С римской точки зрения Африка поэтому является мостом к океану».

Следует отметить, что мы имеем дело отнюдь не с абстрактно-политическими концепциями или абстрактно-экономическими схемами. Когда в сентябре прошлого года во время пребывания германского министра иностранных дел фон-Риббентропа в Риме там обсуждался вопрос о том, чтобы дополнить удар на Лондон ударом по наиболее уязвимому узлу Британской империи — по Египту, — все эти решающие, с точки зрения Италии, экономические и политические проблемы стояли на первом плане: с ними самым тесным обра-

зом переплетены военные и прочие проблемы, возникшие также и для Германии на новом этапе войны.

По мнению ряда иностранных обозревателей, для обеих держав в тот момент наибольшее значение имело укрепление завоеванных ими позиций на Европейском материке. В Риме, как и в Берлине, указывали эти обозреватели, считали, что, поскольку Франция разбита, а Англия вытеснена с континента, державы «оси» могут приступить к новой фазе своей политики, а именно: к «открытию» Средиземного моря и Африки, используя позиции, завоеванные в Европе.

Все это должно было уже в ближайшее время привести к решению африканской проблемы, в частности при помощи хозяйственного вовлечения в германо-итальянскую систему Франции и превращения ее колониальной империи в антибританский плацдарм. Одновременно, путем установления тесных отношений с Испанией, должен был быть решен также вопрос о Гибралтаре, — это обеспечило бы свободу действий итальянских сил в зоне Средиземного моря.

Римский корреспондент «Цюрхер Цейтунг» писал в связи с этим:

«Африканская ориентация Италии и Германии будет иметь наибольшее значение при определении дальнейшего развития событий. Позиции, созданные в Европе, дают возможность предпринять наступление на черном континенте и удлинить «ось» до сердца Африки».

Приведенные нами соображения иностранных наблюдателей показывают, какие крупные задачи политика поставила перед стратегией в зоне Средиземного моря. На ливийско-египетской границе, а позднее и на албанско-греческой, были завязаны серьезнейшие узлы второй мировой войны.

Решающее значение в начавшейся борьбе имели, разумеется, позиции обеих сторон на самом Средиземном море. В Западном бассейне этого моря Великобритания после поражения Франции могла рассчитывать только на одну базу — Гибралтар, — которая, однако, слишком удалена от театра, где развер-

тывались главные события. Другая британская база, в центральной части Средиземного моря, — Мальта — со всех сторон окружена итальянскими базами. В западной части Средиземного моря, как и в центральной, Италия была и остается сильнее, нежели в других прилегающих районах.

Это, между прочим, видно из того, что, несмотря на наличие в Западном бассейне Средиземного моря значительных британских военно-морских сил, английским караванам становится все труднее и труднее пробираться из Гибралтара в Александрию. Попытки «протолкнуть» такие караваны приводили к ожесточенным сражениям, в которых обе стороны несли значительные потери.

Итальянские воздушные и морские силы и до сих пор удерживают свои позиции в центральной части Средиземного моря, где находится главная итальянская коммуникационная линия, ведущая из Метрополи в Ливию. Морское пространство, по которому проходит эта линия, является сейчас ареной жестокой борьбы итало-германских воздушных и морских сил с одной стороны и британских — с другой. Борьба в этом морском пространстве может в очень значительной степени предопределить также и исход военных действий в Ливии.

Однако, как ни сильны позиции Италии в Западном бассейне Средиземного моря, а также в центральной его части, они не сыграли какой-либо значительной роли на первом этапе борьбы, которая развернулась на востоке в связи с наступлением Грациани: в Восточном бассейне Средиземного моря Италия не обладает такими сильными позициями, как на западе. Здесь итальянские базы ограничиваются только островами Додеканеза.

Наоборот, положение Великобритании в Восточном бассейне Средиземного моря значительно благоприятнее, чем в Западном. Мощные базы, точно звенья цепи, преграждают подходы к побережью Египта, Леванта и Малой Азии. Это — бастионы, охраняющие подход к воротам Британской им-

перии на востоке. Опираясь на эти базы, британский флот мог подвергать непрерывным атакам с моря приморский фланг итальянской армии, наступавшей из Ливии в Египет.

Конфигурация театра здесь была настолько неблагоприятна для Италии, что ее флот не мог оказать существенной непосредственной поддержки своей армии, когда она перешла границу Египта. И по мере того, как встревоженное английское правительство спешно усиливало британскую армию в Египте и британский флот на Средиземном море, положение приморской группировки итальянцев (10-я армия генерала Теллера) становилось все более и более опасным.

Еще 5 сентября британский премьер министр Черчилль, выступая в Палате общин, указывал, что следует «ожидать в недалеком будущем решительного сражения на Ближнем Востоке». Черчилль дсбавил, что правительство сочло необходимым удвоить английские силы на Ближнем Востоке. На самом деле они были увеличены во много раз. Об этом можно судить хотя бы по заявлению Рональда Кросса, британского министра судоходства, от 30 октября.

«В последние месяцы, — сказал он, — наибольшая наша задача заключалась в усилении наших войск на Ближнем Востоке. Для этого пришлось мобилизовать очень значительную часть нашего флота. Мы перебросили сотни тысяч тонн грузов на Ближний Восток для армии, флота и морских сил».

К концу ноября Великобритания уже располагала в Египте армией, численностью до полумиллиона человек, обильно снабженной новейшими американскими и английскими танками (не менее одной тысячи), самолетами (не менее 1 500) и сильной артиллерией (до 1 тысячи артиллерийских орудий).

В одном из своих обзоров военных действий (6 ноября) Черчилль указал, что на восток отправлены из Великобритании «тысячи и тысячи солдат месяц за месяцем». В Египет были переброшены резервы из других частей империи. В Восточный бассейн Средиземного моря были отправлены основные

силы британского военно-морского флота. Все, что произошло потом, можно было бы назвать пробой сил на театре, где оба противника располагали значительными армиями, поддержанными флотом и авиацией.

III. УЭЙБЕЛЛ CONTRA ГРАЦИАНИ

Итальянское наступление на восток приостановилось в конце сентября. Вернее, оно было остановлено пустыней, бездорожьем и безводьем. Единственное направление, которое могло бы значительно быстрее вывести итальянскую армию к Александрии и далее к устью Суэцкого канала, шло вдоль морского побережья. Это направление, однако, находилось с самого начала под ударом английского флота.

Итальянская армия оттянула на себя значительные британские силы, как сухопутные и морские, так и воздушные. Тем самым она облегчила задачу германских воздушных сил и военно-морского флота на Западном фронте. Однако в момент наступления итальянцы едва ли были заинтересованы в том, чтобы оттягивать на себя британские силы из метрополии. Наоборот, они были всячески заинтересованы в том, чтобы операции в Европе приковывали к себе возможно более крупные военно-морские, сухопутные и воздушные силы Великобритании.

Воздушные операции в Европе не смогли, однако, сковать силы британского флота в такой мере, чтобы его средиземноморская эскадра осталась без подкреплений. Эти операции не привели также к значительному ослаблению британской армии и авиации. Британское командование решилось пойти на риск и перебросить значительные подкрепления на восток.

Взаимодействие двух фронтов — на Ламанше и в Ливийской пустыне — дало меньше того, что могло бы дать, если бы Германия располагала в водах, омывающих Великобританию, морскими силами, равными британской атлантической эскадре в том составе, в котором она была в осенние месяцы прошлого года.

Многое из последующих событий еще не выяснено и не скоро еще станет достоянием гласности. Поэтому трудно установить причинную связь между событиями на отдельных участках фронта в зоне Средиземного моря. Но тем не менее можно указать на их взаимное переплетение и влияние.

Как-раз в период, когда итальянская армия только начинала испытывать трудности в Египте, началась война на греческо-албанском плацдарме. Это был новый фактор, который сыграл исключительно важную роль в дальнейшем ходе англо-итальянского поединка. Именно вследствие неудач в войне с Грецией левый фланг, а затем и центр итальянского средиземноморского фронта были поставлены под сильный удар. Вскоре же под ударом оказался и правый фланг итальянцев — в Ливии.

Общеизвестно, что в расчетах Великобритании Греция всегда занимала видное место. Об этом один из руководителей лондонских журналов «Раунд Тейбл» писал еще в июне прошлого года вполне откровенно:

«Союзникам жизненно важно иметь Грецию на своей стороне... Наши морские силы нуждаются в греческих портах больше, чем когда бы то ни было раньше». (Выделено нами. — И. Е.)

Это писалось еще до каких бы то ни было крупных операций на Средиземном море! Английские военные обозреватели совершенно не скрывали, что, если бы Великобритания вмешалась в борьбу между Грецией и Италией, то она сделала бы это отнюдь не для того, чтобы «оказывать помощь Греции», а по другим, гораздо более прозаическим причинам. Военный обозреватель «Таймс» Сайрил Фолс писал, например:

«Если бы Греция обратилась к нам за помощью, то мы должны были бы поспешить с нею, чтобы в наиболее полной мере использовать греческие острова; иначе нас могли бы обогнать итальянцы».

В течение сентября и октября британская печать не переставала обсуждать все те выгоды, которые Великобритания могла бы извлечь из участия

Греции в войне. Английские публицисты, журналисты, политические деятели наперебой подчеркивали значение Греции. Многие указывали, что участие Греции в войне «территориально приближает Великобританию к Италии». Один английский журналист прямо писал: «Было бы непонятно, если бы Великобритания не воспользовалась греко-итальянским конфликтом». Уже после того, как Греция была втянута в борьбу, бывший английский военный министр Хор-Белиша в Палате общин не без основания заявил, что, в сущности, Греция оказывает помощь Великобритании, так как греческая армия избавила Великобританию от необходимости отправить на Балканы второй экспедиционный корпус.

Со вступлением Греции в войну, как свидетельствует «Таймс», в английских правящих кругах создано «чувство, что наступила возможность для контратаки».

Судя по многим признакам, британское верховное командование весьма неохотно соглашалось начать активные военные операции, предпочитая отсиживаться под защитой ливийских песков, предоставляя противнику полную возможность истощать свои силы. Однако генерал сэр Арчибалд Уэйвелл, главнокомандующий британскими вооруженными силами на Ближнем Востоке, должен был по приказу из Лондона приступить к более активным действиям, в особенности после того, как его армия была усилена пополнениями, прибывшими из других частей империи.

Переход греческих морских баз под контроль британского флота и воздушных баз под контроль британской авиации имел своим следствием резкую активизацию британских морских и воздушных сил. Это была прелюдия к более широким операциям в Африке, надо сказать, очень звучная прелюдия. Ее первые звуки раздались, впрочем, не в Африке и не в Греции, а в Тарантском заливе.

Многие причины предопределяли знаменитый налет на Таранто. Но надо полагать, что главная из них заключа-

лась в стремлении британского морского командования настолько ослабить итальянский флот, чтобы он не мог уже оказывать влияние на ход войны. Если бы итальянцы захватили Грецию и принадлежащие ей острова, они стали бы полными хозяевами в восточной части Средиземного моря. Великобритании в таком случае было бы очень трудно защищать свои позиции на Ближнем Востоке.

Вот почему в самом начале итало-греческой войны британское высшее командование приняло два важных решения: во-первых, перебросить британские вооруженные силы, в особенности авиационные, на территорию Греции и обосноваться в ее базах; во-вторых, нанести сильный удар итальянскому флоту.

Почему этот удар был нанесен именно в Таранто? Мы можем пока только частично ответить на этот вопрос. Если свести к одному все имеющиеся до сих пор сведения, просочившиеся в иностранную печать, то получается следующая картина.

Итальянская военно-морская база Таранто имеет очень важное значение в борьбе за господство на коммуникациях, связывающих Италию с Балканами. Отсюда итальянский флот мог контролировать все пути в Ионическом море и оберегать итальянские коммуникации на юге, западе и востоке. Таранто должно было приобрести именно роль главной базы флота в связи с итало-греческой войной.

Хотя морские коммуникации между Италией и Албанией охраняются итальянскими морскими силами, находящимися в Бари, Бриндизи, Отранто, Дураццо и Валоне, тем не менее нахождение в Таранто крупных соединений итальянского флота было совершенно необходимо: итальянцы всегда могли опасаться прорыва греческих и английских морских сил, опирающихся на Ионические острова, в Адриатическое море. Пока же в Таранто находились крупные морские силы Италии, такой прорыв был бы весьма рискованным делом.

С именем Таранто связана история древней Греции и древнего Рима. Еще

за 708 лет до нашей эры, на том месте, где сейчас находится база, существовала спартанская колония. Древние греки называли город другим именем — Тарас. Самая база находится в северном углу обширного Тарантского залива. Город стоит на скалистом острове, который отделяет Тарантский залив от глубокой бухты. В этой бухте и находится главный рейд военно-морской базы Таранто.

Военно-морская база существует здесь уже с 1864 года. В 1883 году в Таранто был построен морской завод, который может выпускать небольшие военные корабли и ремонтировать корабли любых размеров. Рейд Таранто считается одним из лучших в Италии: он хорошо защищен, имеет достаточную глубину (36 футов), а площадь его равна 6325 акрам, так что он может служить якорной стоянкой для самого крупного флота.

Город, который часто упоминается в истории войн, сам по себе не велик, и отдельные его сооружения, как, например, арсенал, приморские маяки, собор Сан-Котальдо, могли послужить прекрасными ориентирами для авиации.

Английская разведка, в особенности воздушная, без особого труда установила, где находится ядро итальянских военно-морских сил, задача которых состояла в прикрытии переброски подкреплений и военных грузов в Албанию. После неудач, которые итальянские войска понесли в Албании, поток воинских транспортов из Италии значительно усилился. Англо-греческие воздушные и морские силы всеми средствами стремились не допустить или по крайней мере помешать этому, и как только в Греции появились соединения английской авиации, они немедленно предприняли крупные налеты на итальянские базы.

Отметим, что уже 31 октября британские бомбардировщики впервые совершили налет на Неаполь и другие пункты в южной Италии. Отряды английских воздушных разведчиков систематически осматривали базы и главные порты в восточной и южной Италии. Очевидно, тогда-то и было замечено

присутствие значительных итальянских военно-морских сил на рейде Таранто.

Трудно, однако, допустить, чтобы столь ответственная операция, как нападение на флот противника в его базе, была предпринята без достаточно длительной подготовки. Видимо, еще до того, как началась переброска английских военных и воздушных сил в Грецию, в штабе адмирала Кеннингхэма, командующего британским средиземноморским флотом, разрабатывался план операции против одной из итальянских баз с целью нанесения решительного удара итальянским военно-морским силам.

При этом английское морское командование выжидало удобного случая для нанесения такого удара, который, причинив противнику максимальный ущерб, вместе с тем не был бы сопряжен с риском для британских морских сил.

О том, что британское морское командование стремится по возможности не рисковать своими боевыми единицами — кораблями, свидетельствует то, что ни одно сражение между английским и итальянским флотами в Средиземном море не было доведено до конца. Правда, этого же избегало и итальянское командование. Мысль английских адмиралов была направлена на другую сторону: нельзя ли нанести удар итальянскому флоту при помощи авиации? Такая попытка сулила успех, а потери, которые были бы понесены в подобной операции, существенно не отразились бы на состоянии британского средиземноморского флота.

Если бы такая операция увенчалась успехом, то она могла существенно изменить соотношение сил на Средиземном море в пользу Великобритании. Результатом ее было бы значительное изменение общей стратегической обстановки. В частности, ослабление итальянского флота могло бы отразиться на ходе военных операций в Африке и в Греции, ибо находящиеся здесь итальянские войска зависят от снабжения, доставляемого морским путем.

Почему, однако, эта операция была предпринята в начале ноября? Мы уже знаем причины, побудившие командова-

ние британского средиземноморского флота направить удар именно против Таранто. Можно указать на причину, предопределившую и срок нападения. Дело в том, что как-раз в десятых числах ноября началась перевозка английских экспедиционных войск и частей авиации морским путем из портов Ближнего Востока в Грецию. Этому предшествовало обследование греческих баз, в частности на острове Крит, самим генералом Уэйвеллем. Но перевозка войск морским путем связана с большими опасностями, в особенности, если есть основание ожидать встречи с неприятельскими морскими и воздушными силами. Лучшим средством обезопасить перевозки своих войск является удар по неприятельскому флоту в его базе.

К тому времени, когда нападение на Таранто уже было решено, английское командование сосредоточило, видимо, у Мальты, три авианосца («Арк Ройяль», «Илластриес» и «Игл»), поднимающие свыше 100 самолетов. Можно предполагать, что для охраны авианосцев были отряжены крейсера, а также линейные корабли. Английский отряд, повидимому, уже 9 ноября находился в море. Об этом можно судить по сообщению английского агентства Рейтер о том, что самолеты с авианосца «Арк-Ройяль» бомбардировали 10 ноября итальянскую военно-морскую базу в Кальяри на острове Сардиния. Этот налет, очевидно, был произведен для того, чтобы сбить с толку итальянцев.

Мы имеем и другое весьма любопытное доказательство в пользу нашего предположения. Десятого ноября итальянская подводная лодка «Капони», находившаяся на позиции у берегов Сицилии, заметила британский линейный корабль «Рамиллиес», вместе с которым шел авианосец «Илластриес» и, как сообщалось в печати, «еще два корабля». Командир «Капони» Ромео Ромеи выпустил по «Рамиллиес» три торпеды. Ромеи показалось, что они попали в цель, но, видимо, это была ошибка.

Так или иначе, но британские авианосцы «Илластриес» и «Игл» и сопровождавшее их корабельное прикрытие

беспрепятственно подошли ночью с 11 на 12 ноября ко входу в Тарантский залив. Ширина этого залива равна 150 километрам, если считать от мыса Санта-Мария ли Лука на северо-востоке и до мыса Коллоне на юго-востоке. Таким образом, с обоих берегов залива английский отряд мог остаться незамеченным. Расстояние от входа в залив до Таранто приблизительно такое же. И английские самолеты покрыли его меньше чем в полчаса.

Вначале с палуб английских авианосцев взлетели бомбардировщики (по некоторым данным типа «Фейри Суорд-фиш» и «Фейри Альбакоре»), поднимающие бомбы весом до 900 килограммов. На борту авианосцев находились также пикирующие бомбардировщики «Блэкборн-Скуа» и истребители типа «Фейри-Фульмар» (это новейшие типы английских самолетов, находящиеся на вооружении морской авиации).

Нападение бомбардировщиков явилось, видимо, неожиданностью для противовоздушной обороны Таранто, а также для итальянской эскадры, находившейся на тарантском рейде. Тем не менее зенитная артиллерия успела открыть огонь. Английские бомбардировщики привлекли к себе полностью внимание противовоздушной обороны. В течение некоторого времени орудийная пальба и грохот разрывающихся бомб раздавались на всем рейде.

В этот момент со всех сторон появились английские торпедоносцы, несущие вместо бомб торпеды. По свидетельству американского корреспондента, который находился на одном из кораблей британского отряда, торпедоносцы без труда прорвались за линию внутренних укреплений Таранто и, ориентируясь, очевидно, по куполам собора Сан-Котальдо и корпусам морского завода, расположенным как-раз вдоль южного берега главного рейда («Маре Пикколо»), стали пикировать на итальянские корабли, не успевшие поднять якоря, чтобы выйти в залив.

По официальным английским сообщениям, один линкор типа «Конте-ди-Кавур» погиб. Другой линкор такого же

типа был сильно поврежден. Наконец, был поврежден один из новейших итальянских линейных кораблей «Литторио». Торпеды и бомбы попали также в несколько других кораблей.

Из строя вышло 50% итальянских линейных сил.

Операция против Таранто показала, каким сильным оружием является торпеда и какие крупные результаты могут быть достигнуты при правильном использовании как этого оружия, так и торпедоносцев и авианосцев, — класса боевых кораблей, который возник еще во время первой мировой войны, но только в ходе второй мировой войны полностью доказал свою исключительную ценность. Результатом событий на рейде Таранто явилось некоторое изменение соотношения морских сил на Средиземном море в пользу Великобритании — по крайней мере до тех пор, пока не закончены новые итальянские линейные корабли — «Имперо» и «Рома» — и не введены в строй после ремонта «Литторио» и поврежденный линкор типа «Конте-ди-Кавур».

Британское командование широко использовало это обстоятельство и поспешило прочно занять греческие острова и прежде всего остров Крит, который поистине является ключом ко всему восточному бассейну Средиземного моря. Остров Крит находится в центре перекрещивающихся коммуникаций, как-раз в той части Средиземного моря, где разыгрывается схватка между Италией и Германией с одной стороны и Великобританией с другой стороны.

Прямо на юге, всего на расстоянии 400 километров, находится Тобрук, на юго-востоке — на расстоянии 650 километров — Александрия, на востоке — Хайфа (975 километров), на северо-востоке — Родос, итальянская база — на островах Додеканез (300 километров), на севере — Афины (350 километров), на юго-западе — Мальта (1 тыс. километров), на западе — Пелопонес (200 километров).

Крит преграждает итальянские коммуникации, связывающие Додеканез с метрополией, и господствует над коммуникациями Эгейского моря.

Британские морские силы, оперирующие в греческих водах, получили возможность опереться на стратегический треугольник Крит — Кипр — Александрия, а теперь, после занятия Тобрука и Дерна, — на треугольник Крит — Тобрук — Александрия. Британское морское командование смогло восстановить столь важную в стратегическом отношении линию Кипр — Крит — Мальта, пересекающую итальянскую центральную коммуникационную линию Италия — Ливия.

Значение и роль Мальты возросли во много раз.

Великобритания использует далее греческие острова в Ионическом море (Корфу, Левкас, Кефалиния, Закинф и другие). Опираясь на эти базы, английские военно-морские силы уже предприняли ряд операций в Отрантском проливе и Адриатическом море (напр. крейсерский поиск до Бари и обстрелы линейными кораблями порта Валоны). В Ионическом море, таким образом, возник фронт, обращенный против итальянских баз на побережье самой метрополии и ее путей сообщения.

Первый контрудар Англия, таким образом, смогла нанести по Италии своим «правым флангом». Дальнейшее развитие событий должно было неизбежно привести к тому, что английское командование попытается нанести удар и «левым флангом», продолжая одновременно операции на море, дабы придать охватывающему движению в Албании и Ливии элемент взаимодействия и устойчивости. Девятого декабря британская армия в Египте перешла в контрнаступление; опираясь на поддержку флота, она смогла преодолеть сильное сопротивление итальянцев и в течение двух месяцев занять всю Киренаику от египетской границы до Бенгази. При этом выведено из строя не менее 50 проц. всех итальянских сил в Ливии. По мере того как фронт военных операций продолжал в течение этих двух месяцев передвигаться с востока на запад, усиливалась опасность для итальянской центральной коммуникационной линии, от которой зависит боеспособность армии Грациани. Таким образом, во

прос о господстве в этом районе вышел за пределы борьбы на коммуникациях. Борьба в этом районе приобрела общестратегическое значение, ибо от ее исхода в очень большой степени зависит судьба итальянских позиций в Ливии, а следовательно, позиции «оси» во всей зоне Средиземного моря.

IV. ПЕРСПЕКТИВЫ

Однако, несмотря на несомненные успехи англичан, которые ни итальянское, ни германское командование не склонно преуменьшать, борьба еще не вступила в такую фазу, когда уже полностью обозначилась бы победа одной из борющихся сторон.

Новым фактором, который сейчас оказывает большое влияние на ход событий, является появление в зоне Средиземного моря крупных сил германской авиации. С этой точки зрения можно сказать, что второго января, когда итальянское командование впервые объявило о прибытии германских воздушных соединений в Италию, появился новый фактор, который предопределяет некоторое изменение в ходе наступления британской армии в Ливии. Правда, это изменение имеет и другие причины. Английские коммуникационные линии растянулись более чем на 800 километров от Мерса-Метрух — конечного пункта единственной железнодорожной линии, идущей из Александрии на запад. Снабжение английской армии связано с большими трудностями, несмотря на то, что после занятия Бардии, Тобрука и Бенгази генерал Уэйвелл может перебрасывать снабжение для своей армии по морю, чему итальянский флот помешать не в состоянии, ибо главные его силы заняты борьбой в центральной части моря.

Тем не менее появление крупных сил германской авиации в зоне Средиземного моря создало там новую обстановку: армия генерала Уэйвелла может наступать на запад только в том случае, если ее приморский фланг будет попрежнему находиться под надежной и бдительной

защитой флота, против которого сейчас направлены главные удары германской авиации.

И до появления в Италии германской авиации постепенное перемещение центра тяжести морских операций из Восточного бассейна Средиземного моря в центральный район приближало оперирующие там британские морские силы к итальянским воздушным базам, т.-е. делало их более уязвимыми с воздуха.

Но в тот период английские воздушные силы без особого труда обеспечивали своему флоту защиту в воздухе. Воздушные и морские силы Великобритании могли начать широкие операции в центральной части Средиземного моря, чтобы прервать коммуникации Италии и поставить армию Грациани в критическое положение.

Это и было главной причиной, побудившей германское командование прийти на помощь итальянским воздушным и морским силам как-раз в тот момент, когда начались первые сражения за господство в центральной части Средиземного моря.

Успех первых операций германских воздушных сил — сражение в Тунисском проливе 10—11 января — показал, что британскому флоту предстоит весьма тяжелые задачи.

В этом сражении, между прочим, потери британского флота были сильнее, чем потери итальянцев. До сих пор из английских официальных источников известно о гибели нового легкого крейсера «Саутгемптон» и что авианосец «Илластриес», который, как мы знаем, участвовал в нападении на Таранто, получил тяжкие повреждения и надолго выбыл из строя. Германская авиация использует в качестве баз ряд пунктов на острове Сицилия, который следует считать наиболее ценным в авиационном отношении плацдармом в районе боев.

Но цель германских воздушных операций в зоне Средиземного моря не ограничивается нанесением отдельных, пусть сильных, ударов по британским морским силам. Очевидная цель этих операций состоит в том, чтобы вывести

из строя Мальту, которая сейчас играет роль главного опорного пункта британских воздушных и морских сил, оперирующих на итальянских коммуникациях с Ливией. Чем шире в этом районе развертываются воздушные и морские операции, чем больше сил требуется для ведения этих операций, тем меньше армия Уэйвелла может рассчитывать на то, что ее морской фланг будет столь же обеспечен, как до сих пор.

Некоторое изменение в ходе наступления Уэйвелла, которое имеет место в последнее время, могло бы дать возможность итальянскому командованию reорганизовать ливийскую армию и на данном этапе затянуть борьбу. Этим, между прочим, объясняется то, что британское командование стремится вовлечь в операции против Ливии отряды сторонников генерала де-Голля, находящиеся во французской экваториальной Африке, а также туземные войска, сформированные в Бельгийском Конго.

Происшедшие затем события дали возможность оценить этот факт в более полном его значении. Привлечение отрядов генерала де-Голля к борьбе в Ливии представляет собой очень важный шаг британского командования. Отряды де-Голля ведут в Южной Ливии сравнительно широкие операции. Итальянцы получили удар в глубоком тылу. Занятие войсками де-Голля оазиса Мурзук в южной части Триполитании создало угрозу тыловым сообщениям итальянской армии. Это обстоятельство сыграло свою роль в борьбе за Бенгази.

Еще более значительная операция была проведена войсками де-Голля в южной части Киренаики, где ими после боя захвачен ряд оазисов в районе Куфра. Итальянская 5-я армия, занимавшая район Джарабуба, теперь практически отрезана от сообщений с Триполитанией. В более широком смысле операции войск де-Голля представляют собой глубокий обход итальянского правого фланга. Итальянские армии в Ливии все больше и больше прижимаются к морю англо-французскими силами.

Усложнение обстановки в Приморском районе было одной из главных при-

чин, заставивших британское командование сместить линию наступления к югу от побережья. Уже при взятии Бенгази решающую роль сыграла британская мотомеханизированная колонна, наступавшая южнее побережья, из Мекиле. Эта колонна вышла к заливу Большой Сирт южнее Бенгази.

Именно в связи с этими изменениями в ходе операций в Ливии исключительно большое значение приобретают французские владения в Северной Африке, в частности — Тунис и французская военно-морская база Бизерта. В новой обстановке опять стал актуальным вопрос о вовлечении французских колоний в борьбу в качестве итаलो-германского плацдарма. Центр тяжести событий на Средиземном море постепенно перемещается в Западный бассейн. Бомбардировка британским флотом Генуи является первым сигналом. Учитывая, что стратегическое положение Италии значительно более благоприятно в Западном бассейне Средиземного моря, чем в Восточном бассейне, можно предвидеть, что борьба здесь примет исключительно ожесточенный характер, причем в порядке дня снова встает проблема Франции и Испании.

★

Помимо воздействия на театр в северной Африке и в примыкающем к нему водном пространстве, германские воздушные, а, возможно, и сухопутные, силы могут появиться и на греческо-албанском плацдарме. По крайней мере в ряде органов иностранной печати высказываются такие предположения в связи с тем, что, несмотря на ряд мер, принятых за последнее время, положение итальянской армии в Албании остается попрежнему весьма напряженным.

В то же время борьба, развернувшаяся в Африке, имеет явную тенденцию к расширению. Об этом свидетельствует резкое оживление, наступившее на Суданско-Абиссинском фронте на-

ступление англичан в Эритрее и занятие ими Агордата, переход английскими войсками границы Абиссинии в районе Галлабата и озера Рудольфа, а также их вторжение в Итальянское Сомали.

Правда, на этом театре действуют значительно меньшие силы, чем в Ливии. Фронт здесь громадный по протяжению и отличается рядом особенностей: военные операции в Эритрее и Абиссинии возможны только до апреля, т.-е. до начала периода дождей. Успеют ли английские войска в остающиеся два месяца занять эту огромную территорию, равную почти двум миллионам квадратных километров?

Первоначальный этап наступательных операций британских войск в Эритрее, Абиссинии и Итальянском Сомали увенчался рядом успехов, между прочим, и потому, что они продвигались по сравнительно ровной местности. Между тем, как-раз за Агордатом начинаются отроги Абиссинского нагорья, и англичане, несомненно, натолкнутся на трудности, хотя здесь имеются дороги, построенные итальянцами.

Северная Абиссиния, т.-е. как-раз тот район, куда из Галлабата устремились английские войска, покрыт молодоступными горными узлами Абиссинского плато. Отдельные горные вершины, как, например, Рас-Дашан, достигают высоты свыше 4 000 метров. Англичане идут в район озера Тана, к Гондару, куда из Галлабата через Метемме ведет построенная итальянцами автомобильная дорога. Можно предполагать, что английские войска стремятся ворваться в район дорог, ведущих из Эритреи и Северной Абиссинии на юг, к Аддис-Абебе, но здесь их ждет много трудностей и препятствий.

На африканских фронтах завязались упорные бои, требующие огромного напряжения сил обеих воюющих группировок. Политика и стратегия этих группировок ищет на этих фронтах решения. Но найдут ли они его здесь?

12 февраля 1941 г.

Заметки о художественной прозе 1940 года

В. ГОФФЕНШЕФЕР

★

Ars longa, vita brevis — «искусство долговечно, жизнь коротка»... Этот афоризм римляне заимствовали у Гипократа, человека, посвятившего всю свою жизнь науке о сохранении и продлении человеческой жизни. Но это не была пессимистическая мысль о бренности и краткости человеческой жизни, а оптимистическая мысль о краткой жизни, создающей долговечное искусство и в этом искусстве продолжающей самое себя, т.е. о жизни, становящейся долговечной, благодаря искусству, и о искусстве, черпающем свою долговечность только из «краткой» жизни.

«Искусство долговечно, жизнь коротка»... Этот афоризм любили повторять и в другом толковании, каждый раз, когда искусство противопоставлялось жизни, ставилось над нею. Вы могли услышать этот лозунг и от представителя так называемого «чистого» искусства, глядящего на жизнь с высоты своей «башни из слоновой кости», и от богемствующего поэта, и от фанатически преданного своему мастерству художника, предполагающего, что только посредством отрешения от суетной и скоропреходящей жизни можно создать совершенные произведения искусства.

Но оказывалось, что искусство, отрешающееся от краткой жизни, само становилось недолговечным. И, наоборот, долговечным становилось только то искусство, которое возникло из повседневной жизни и человеческой борьбы. Оно входило в века и продолжало в

них жить именно потому, что возникло как отклик на потребности своего времени, как выражение «преходящей» жизни художника, вдохновленного конкретной исторической действительностью.

Если бы дантова «Божественная комедия» не несла в себе жар страстной политической борьбы своего времени, если бы трагедии Шекспира не отражали основные противоречия Возрождения, их долговечность значительно умалилась бы, несмотря даже на то, что в них выражены так называемые «вечные» темы и вопросы: жизнь и смерть, любовь и ненависть, борьба между новым и старым. Эти вечные темы приобретают жизненную силу именно и только тогда, когда они выступают в конкретном историческом своеобразии, т.е. тогда, когда они разрешаются в органической связи с современным художнику материалом или трактуются с точки зрения человека, выражающего наиболее глубокие идеи своего времени.

Пушкин писал когда-то о том, что «Ломоносов сам не дорожил своею поэзиею и гораздо больше заботился о своих химических опытах, нежели о должностных одах на высокаторжественный день тезоименитства и проч. С каким презрением говорит он о Сумарокове, страстном к своему искусству, *об этом человеке, который ни о чем, кроме как о бедном своем рифмичестве, не думает...* Зато с каким жаром говорит он о науках, о просвещении!»

образом то, от чего зависит долговечность их творений — степень воплощения в их творчестве современной жизни, степень их заинтересованности и взволнованности вопросами современности, и, следовательно, сила их отклика на насущные запросы советского народа.

И для того, чтобы найти ответ на волнующий нас вопрос, нам придется сначала перейти от древних афоризмов и высоких эстетических проблем к сухой статистике, характеризующей русскую художественную прозу в истекшем году.

В 1940 году было напечатано в центральных и краевых журналах и альманахах или выпущено отдельными изданиями около сорока новых романов, около сотни новых повестей, около четырехсот новых рассказов, художественных очерков и отрывков, более десяти больших биографических и мемуарно-очерковых произведений.

Таким образом, в 1940 литературном году русская художественная проза пополнилась довольно внушительным количеством новых произведений.

Среди них имеется немалое количество произведений, в которых рассказывается о делах и людях нашего времени, произведений, написанных на «современную тему». Именно эти произведения, вернее, наиболее характерные из них, и являются предметом нашего обзора.

Некоторые из них интересны и пользуются заслуженным успехом. Читатель — и юный, и взрослый — с большим интересом отнесся, например, к роману В. Каверина «Два капитана», в котором на увлекательном сюжете показаны рост и закалка характера советского юноши. Это, пожалуй, первое произведение Каверина, в котором ощущается подлинная, а не «сделанная» взволнованность художника и бурное биение современной жизни. И закономерно, что именно эта книга вывела Каверина в широкий мир и к большому кругу читателей.

Несомненный интерес вызвала и серия произведений, в которых описаны изменения, внесенные социалистической революцией в жизнь народов Севера. Если некоторые писатели, как, например,

Геннадий Гор, обратились к этой своеобразной жизни, как к материалу для экзотической стилизации, то другие авторы, как, например, Т. Семушкин, выпустивший два года назад свою «Чукотку», или И. Меньшиков (рассказы в «Новом мире», «Октябре» и «Красной нови»), Андрей Калинин («Тропой героев» — в «Красной нови») и М. Большаков, произведения которых напечатаны в 1940 году, отнеслись к своей задаче не узко литературно и именно поэтому добились подлинного литературного успеха. Напечатанный в «Молодой гвардии» роман М. Большакова «На краю земли», в котором рассказывается о жизни ненцев ямальской тундры, о том, как бедняк Лаптай и его сын Елтома освобождаются из-под власти первобытных традиций тундры, из кабалы кулака Тындомы, проникнут большой серьезностью и социальной заинтересованностью в судьбе людей, которые здесь изображаются.

Неправомерно рассматривать появление большого числа произведений о Севере как свидетельство бегства наших писателей от обыденного и более сложного материала. Эти произведения и интерес к ним связаны с общим интересом к проблемам Севера, с замечательными советскими перелетами и экспедициями, героической работой людей, осваивающих Север. Этим людям хорошо описал в своей «Обыкновенной Арктике» Борис Горбатов.

Большинство авторов таких произведений пишут о Севере потому, что знают эту жизнь лучше, чем что-либо другое. И не их вина, что в то время, как они писали хорошие книги о Севере, другие не написали столь же хороших книг о чем-либо более важном.

Произведения советских писателей о народах, шагнувших из родового уклада в социалистический строй, — это совершенно новое явление в мировой литературе. Нашей критике следовало бы сопоставить эти произведения с произведениями буржуазной литературы о «дикарях» и показать, что новизна наших произведений не только в том, что они фиксируют чудесные перемены, произошедшие в судьбе самых отсталых наро-

дов, но и в отношении писателей к изображаемому: в духе равенства, братского внимания и товарищеского участия, которыми проникнуто это отношение.

Следует упомянуть еще о ряде биографических и мемуарно-очерковых произведений, вроде автобиографии Полины Осипенко, записок К. Бадигина о героическом дрейфе ледокола «Седов», книге Н. Боброва «Чкалов» и подобных им произведениях, где читатель находит те героические черты современности, которые он ищет и не находит в повестях и романах.

Ибо, несмотря на обилие произведений, в которых действие развивается в наши годы, произведений, в которых выведены люди, живущие в наше время, мы все же слышим жалобы на то, что произведений этих мало. Это кажущееся парадоксальным положение объясняется не столько необычайным ростом читательских потребностей и требований, сколько одним, весьма простым, обстоятельством.

Подобно тому как художественная ценность и актуальность книги определяется не количеством страниц, а качеством ее содержания, так и развитие всей литературы, сила ее отклика на требования современности определяются не количеством, а качеством произведений. Впечатления читателя о литературном процессе создаются не на основе статистики. Сотни посредственных произведений не могут заменить одно хорошее. Но зато одно хорошее произведение, глубоко откликнувшееся на запросы современности, может сделать литературную погоду. Вот таких произведений о современности у нас за последнее время появилось мало.

Не всякое произведение, где действие разворачивается в наши годы, может быть расценено как отклик на насущные запросы современности. Случилось, например, так, что «старшее поколение» советских мастеров художественной прозы представлено в 1940 году, кроме упомянутого нами Каверина, всего лишь двумя писателями, давшими большие произведения о наших днях. Мы говорим о «Неодетой весне» М. Пришвина

(напечатанной в «Октябре») и романе К. Федина «Санаторий Арктур» (напечатанном в «Новом мире»). Отмеченные большим мастерством, хронологически прикрепленные к нашей современности, они тем не менее не являются теми историческими значительными произведениями, о которых мы говорили выше.

Пришвин—превосходный знаток природы и превосходный художник. Он смело мог бы сказать о себе словами Гете: «Я мало-по-малу природу выучил наизусть, во всех мельчайших подробностях, и благодаря этому, когда мне, как поэту, это было нужно, у меня весь материал был в распоряжении и я не погрешал против правды».

Соорудив на грузовике фанерный домик, писатель отправился в лесные места, где когда-то бывал и охотился Некрасов. Пришвин поставил свой «дом на колесах» на лесном незатопаемом холме и приступил к наблюдениям над тем, как наступает в природе весна, «ранняя весна света», что происходит с деревьями и снегом, с животными, птицами и насекомыми. Многие эпизоды «Неодетой весны» отмечены высокой поэзией, изумительной наблюдательностью и мудростью художника-натуралиста, а язык повести так хорош, что боишься пропустить хотя бы одно слово.

Но, кроме снега, деревьев, муравьев, уток, лосей и землероек, в повести-путешествии Пришвина описаны и люди, жители Советской страны. И вот, читая о них, начинаешь задумываться над тем, что могут существовать несовременные произведения о современности.

Пришвин пишет о людях со снисходительным юмором и в одном и том же тоне рассказывает и о своеобразном характере собаки Лады, и о своеобразном нраве домработницы Ариши; и как начинается весенняя игра животных и птиц, и как Мазай ухаживает за Аришей. Его интерес к людям простирается ровно до того предела, где человек переходит из мира природы в мир социальный. Это не более как забавные представители биологического мира, умеющие хитрить и балагурить.

Действие происходит в дни строительства Большой Волги. Но люди из де-

ревни Вежи, причастные к путешествию Пришвина, изображены лишь как потомки неолитического человека, или — в лучшем случае — как потомки некрасовского Мазаля. Очень приятно, конечно, узнать, что современный Мазай так же спасает зайцев, как и дедушка Мазай. Он даже равнодушен к религии, слушает радио. Но чем живут люди, какие изменения произошли в их жизни с некрасовских времен, как они понимают (не лесную, не звериную) жизнь и чувствуют себя в ней, — с этой стороны человек не интересует Пришвина.

Писатель создал прекрасные строки о лягушонке-идеалисте, пустившемся в отважное путешествие к живой воде, в муравьях, упорно и отважно выполняющих свои замыслы, а в человеке он нашел только то, что роднит его с обитателями леса. Поэтому люди «Неодетой весны» живут вне времени, вне современности, так же, как и интерес к ним со стороны писателя лежит вне современности.

Жаль, конечно, что писатель, обладающий глубоким чувством родства с природой и много и хорошо об этом родстве говорящий, не проявил столь же глубокого чувства родства к человеку, вернее, проявил это чувство к описываемым им людям в той мере, в какой он сам, человек в подлинном значении, с высоким интеллектом художника и мыслителя, снисходительно рассматривает других людей как очень понятное и издавна знакомое явление природы.

Смешно было бы упрекать Пришвина в том, что он не описал, например, жизнь колхоза в Вежах и общественную деятельность Мазаля. У него были свои задачи, задачи поэта-натуралиста. Но раз уже в поле его зрения попали и люди, то мы были бы ему признательны, если бы при их описании он придерживался принципа, который хорошо выражен в автобиографическом произведении Андерсена-Нексе, напечатанном в том же номере «Октября»: «Быть писателем-художником — это сознавать, что, в сущности, ничего не знаешь, и стремиться узнать все!»

Слова Гете о знании природы «наи-

зуть» неприменимы к познанию человека. Его нельзя знать наизусть и выучить навсегда, потому что он меняется. Только стремление узнать, чем жив и как изменился современный человек, и создает подлинно современные произведения искусства.

О романе К. Федина «Санаторий Арктур» писали мало. Но среди откликов на этот роман нам встретилась чрезвычайно любопытная статья, статья Н. Сереброва, напечатанная в «Литературной газете».

«Излагая книгу Федина, я во многом ей повредил в глазах читателей» — чистосердечно признается автор статьи. И правильно: чем так хвалить роман Федина, как это сделал наш автор, лучше было и вовсе не писать о нем. Критик пишет о чем угодно, о вещах анекдотичных, к делу никакого отношения не имеющих, но помогающих обойти главное в романе и прямую его оценку.

Между прочим, он приводит и «отклики» читателей на роман Федина. И удивительно, до чего эти «отклики» совпадают по своей анекдотичности с подходом к произведению самого Сереброва.

«Один из читателей, ознакомившись с романом «Санаторий Арктур», выразился о нем так:

«Книга очень тяжелая. Прочитав ее, никто не захочет болеть туберкулезом».

Видите ли, мечтал человек заболеть туберкулезом, всю жизнь, можно сказать, носился с этой мечтой, но прочитал книгу Федина, и отшибло у него охоту, померкла, так сказать заветная мечта.

А зря, оказывается. Вот если, например, после прочтения «Волшебной горы» Т. Манна или «Санатория Торакс» К. Гамсуна наступит такое разочарование, это дело понятное. Здесь и сам Серебров не может удержаться от восклицания: «Какие, однако, странные санатории! После этого, пожалуй, и действительно никто не захочет болеть туберкулезом!»

Но то ли дело роман Федина! Он-то не отшибет у советского читателя охоту

болеть туберкулезом. Ибо, как точно установил Серебров, Федин доказал, что советскому гражданину туберкулез не опасен. Советский инженер Левшин, заболев туберкулезом, поехал лечиться в европейский санаторий. Все обитатели санатория — и реакционные буржуа и гуманисты — кончили плохо. Лишь один Левшин выздоровел.

Этот случай очень заинтриговал Сереброва. «Лечились все обитатели «Арктур», а выздоровел только один Левшин. Интересно знать, почему же не выздоровели остальные? Кто же лечил так удачно Левшина и какими лекарствами?»

И, задав сей интригующий вопрос, наш автор отвечает: «Из романа явствует, что главным врачом Левшина была советская родина, с которой он ни на минуту не прерывал связи».

Правда, у Гамсуна, например, фрекен д'Эспар тоже выздоравливает. Но, как тонко замечает Серебров, в данном случае героиня была вдохновлена перспективой обработки земли «на своем хуторе», а Левшина вдохновляли «смысл и цель всего будущего».

В общем зря пугается советский читатель, зря не хочет он болеть туберкулезом.

Можно было пройти мимо этих анекдотических рассуждений, если бы в похвалах Сереброва не скрывалось зерно истины, если бы эти рассуждения и сомнительные похвалы не были «спровоцированы» одним действительным недостатком романа.

Изображенный Фединым маленький мир — санаторий «Арктур» и его обитатели — ярко отражает состояние большого европейского мира перед второй империалистической войной. Атмосфера подавленности, бесперспективности, царящая в санатории, создается описанием жалкой участи его владельца доктора Клебе, который в условиях кризиса заботится не столько о лечении своих клиентов, сколько о затяжке их излечения, который теряет человеческое достоинство, кончает банкротством и самоубийством; эта атмосфера подавленности создается и описанием умира-

ющей от туберкулеза Инги Кречмар, девушки, агония которой проходит лейтмотивом через весь роман. Агония этого мирка оттеняется величием зимнего горного пейзажа, который Федин рисует с присущим ему мастерством.

Но, как и в «Похищении Европы», Федину больше удалось здесь персонажи старого мира, чем люди, представляющие новый мир. Попавший в санаторий «Арктур» работник торгпредства Левшин мало чем отличается от других обитателей санатория. По нашему мнению, этот образ еще менее удачен, чем образ Рогова из «Похищения Европы». Если бы мимоходом не было сказано, что это работник советского торгпредства, если бы не слова о его связи с созидательной советской жизнью, поддерживающей его оптимизм и волю к выздоровлению, то можно было бы подумать, что мы имеем дело с обычным представителем того же мира, к которому принадлежит и доктор Клебе, и майор, и мадам Риваш. В этом убеждает нас поведение Левшина. Его интерес к агонизирующей Инге свидетельствует не столько о гуманизме советского человека, сколько о каком-то болезненном влечении. Его связь и обращение с фрейлен Гофман отдает изрядным душком буржуазной пошлости. Отличие его от других персонажей ограничивается, пожалуй, лишь тем, что он более здоров и более равнодушен к другим людям, чем остальные представители старого мира.

Ради непосредственного противопоставления двух миров, ради неправильной понятой актуализации произведения, Федин прибегнул к неудачному приему олицетворения советского мира. Роман значительно выиграл бы, если в нем вовсе не было бы претензий на непосредственное противопоставление, осуществляемое при помощи такого персонажа, как Левшин. Ведь, по существу, внутренняя коллизия романа не в этом противопоставлении. Оно здесь условно, номинально, и только вводит в заблуждение легковверных критиков, рассуждающих о том, как протекает болезнь у представителей разных миров, о том, что для буржуа туберкулез страшен, а

для советского человека болеть им — самое легкое дело.

Автор «Санатория Арктур» мог бы возразить нам, что его Левшин вовсе не чужд советской действительности и что десятки собратьев Левшина живут и действуют на страницах многочисленных повестей и рассказов, напечатанных в том же 1940 году и целиком посвященных непосредственному изображению деятельности и переживаний советских людей.

Да, Левшин, действительно, в своем роде типичен и родственен многим персонажам других писателей, но вместе со всеми своими родственниками он все же не может представлять нашу действительность в том ее качестве, в каком она является советской, социалистической действительностью.

Нельзя, конечно, смешивать новый роман Федина с бездарными произведениями, в которых фигурируют двойники Левшина.

Роман Федина — плод опытного мастерства, тщательной работы над характерами, образом, языком, композицией. Он отличается тем лаконизмом, которого так недостает произведениям многих из наших писателей. И вне указанного нами и неудачно осуществленного его автором противопоставления «Санаторий Арктур» заслуживает всяческого внимания, как произведение, рисующее измелчание, бесперспективное существование и гибель людей в современном капиталистическом мире.

Но едва ли может явиться преимуществом Левшина то обстоятельство, что он попал в персонажи произведения подлинного мастерства, в то время как его двойники влачат жалкое существование в низкопробной литературной тряпине.

В журналах за 1940 год появилось немало повестей и рассказов, посвященных теме любви и «семейно-бытовой проблематике». Большинство людей, изображенных в этих произведениях, являются людьми советскими только потому, что обладают советским паспортом и, проживая в Москве или Ленинграде, служат в советских учреждениях, носят звание советских инженеров, вра-

чей, летчиков или геологов, но в сущности ничего общего с человеком социалистического общества не имеют. Напечатанная в «Литературном современном» повесть И. Меттер «Разлука» — это лишь расширенный и типический вариант ряда других произведений (о некоторых из них мне уже приходилось писать в «Правде»), в которых под видом новых людей выводятся механические граждане советской земли, а под видом разрешения сугубо современных тем воскрешаются пошлые идеи и отживавшие чувства.

Вопросы любви, брака, семейных и бытовых отношений приобретают в эпоху перестройки человеческих отношений и человеческого сознания особую остроту. В нашей жизни еще много неразрешенных проблем, в личной жизни еще часто встречается неустроенность. В то же время у нас складываются новые нормы человеческого поведения, новые формы любви и дружбы, и процесс этот очень сложен. Поэтому писать о том, как разрешаются у нас вопросы любви, брака, семьи и быта не только можно, но и должно. Все дело в том, что ставить в центре изображения и какие цели при этом преследовать.

Одно дело, когда вы читаете о семейной неустроенности Басова из «Танкера «Дербент»». Семейный конфликт Басова это органическая часть конфликта, назревшего в большой и общественно значительной деятельности героя-новатора. Разлад между Басовым и его женой имеет серьезное и глубокое значение.

Но другое дело, когда вы читаете произведения, все содержание и смысл которых исчерпывается рассказом о том, что Марья Ивановна или Катя, или Саша заявляет мужу, что она не может жить с ним и уходит к Андрею, Борису или Ивану Ивановичу, а через пятьдесят страниц возвращается к своему супругу. Или о том, как инженер Петров метался между домашней хозяйкой и парашютисткой. Вся сила авторов таких «глубокомысленных» произведений сосредоточена на подробном описании того, как герои уходили и укладывали чемоданы, как они приходили и с радо-

ственным смехом или со слезами раскаяния переключивали вещи из чемодана в шкаф. Изображение адюльтера превращается в самоцель. И это, в свою очередь, накладывает отпечаток на участников «конфликта», ибо, фигурируя только в качестве участников «треугольника», они ограничены, мелки и ничтожны. Никакая «острота проблематики» не способна вдохнуть в эти ничтожества подлинно современную жизнь и сделать героев интересными.

Семейно-бытовой конфликт не может стать предметом изображения подлинного искусства, если он дан лишь сам по себе, лишь как «ситуация», вне более широких задач, вне интересных характеров, воплощающих существенные проявления жизни, общества и эпохи. Если было бы иначе, не было бы ни «Мадам Бовари», ни «Анны Карениной». Об этом забыли и авторы «семейно-бытовых» произведений, и редакторы журналов, напечатавшие эти произведения. И надо признать, что серия таких произведений — это печальное явление в литературе прошлого года. Современность ощущается в них ровно в той мере, в какой в нашей действительности застряли пережитки ограниченности и пошлости старого мира.

Эта ограниченность частично вторглась даже и в произведения о людях Красной армии. Но, к счастью, написанные в этом духе рассказы Штейна и Вирта (в «Литературном современнике») не нашли подражаний в нашей художественной прозе. Для многих из появившихся в прошлом году произведений о Красной армии характерно другое — поверхностность и серость.

Конец 1939 года и 1940 год отмечены такими большими историческими событиями, как освобождение Западной Украины и Западной Белоруссии, борьба за безопасность северо-западной границы, вхождение Литвы, Латвии и Эстонии в Союз Советских Социалистических Республик, освобождение Бессарабии и Северной Буковины. Эти события — свидетельство мощи нашей родины и Красной армии. В них было много радостного, но и много трудностей. Достаточно указать на тяжелые и

суровые условия, в которых велась война с белофиннами. Сейчас — в окружении пожара второй империалистической войны — внимание и усилия советского народа сосредоточены на укреплении нашей оборонной мощи, на создании мощного барьера, который смог бы максимально обезопасить страну социализма от всяких неожиданностей извне. Немалую роль в создании мобилизационной готовности страны может сыграть и литература, изображающая людей и борьбу Красной армии.

В 1940 году появилось много очерков и рассказов о походах Красной армии в Западную Украину и Западную Белоруссию и мало рассказов о борьбе с белофиннами. Многие рассказы о походе нашей армии на Запад и о войне с белофиннами полны изображением необычайно легких побед. Они похожи один на другой, как серийные вещи, сошедшие с одного конвейера. Яркому представлению о произошедших событиях и глубокому пониманию борьбы, которая велась, они содействуют мало.

Нам представляется, что эти рассказы стали бы подлинным оружием познания и обороны, если бы в них более глубоко и всесторонне рассказывалось о трудностях, которые приходилось и придется преодолевать на войне. Только тогда раскроется подлинный героизм наших бойцов. В своих выступлениях на маневрах 1940 года товарищ Тимошенко особенно подчеркивал важность практического ознакомления бойцов с трудностями войны, важности их закалки в условиях, приближающихся к условиям настоящего сражения с сильным противником. Можно сказать, что художественная литература о войне должна воспитывать граждан нашей страны теми же методами. Произведения, рисующие сложность борьбы и раскрывающие героизм бойцов посредством изображения трудностей, которые им приходилось преодолевать на пути к победе, во сто крат полезнее и ближе к искусству, чем поверхностный рассказ, наполненный сентиментальностью или сплоскнутым «ура». Первое дает истинное познание и закалку и тем самым способствует победе, второе, — давая поверхностное

и неверное представление об условиях, в которых приходится вести борьбу, может способствовать растерянности человека, когда он встретится с трудностями.

Приходится отметить, что из-за своей поверхностности и бледности большинство рассказов о войне, написанных в 1940 году, отступает на задний план перед фактическими записями и очерками, вроде автобиографического рассказа Героя Советского Союза генерал-майора Кошубы, записанного С. Маршаком и А. Твардовским, или напечатанного в том же 7—8 номере «Знамени» «Дневника комиссара» Н. Гаглоева.

Это вполне закономерно, но это не делает чести авторам оборонных рассказов.

Возможно, что более глубокое отражение событий требует более длительной работы и что в этом или будущем году появятся новые произведения, по-настоящему рисующие суровые бои прошлого года.

О том, что в развитии литературы бывает и так, свидетельствует другая серия произведений, которой мы и уделяем в нашем обзоре основное внимание.

Один из примечательных фактов в художественной литературе 1940 года — это появление ряда произведений, изображающих колхозную жизнь.

Совсем еще недавно наша критика отмечала отсутствие или малочисленность произведений о колхозной деревне. Действительно, в течение последних лет литература не могла похвастать обилием такого рода романов, тем более — романов интересных. Вышедшая в 1932—1933 году «Поднятая целина» Шолохова явилась не только началом подлинно художественного изображения важнейших процессов, происходивших в деревне, но пока-что и вершиной такого рода изображения. Это произведение до сих пор не утратило своей действительности и свежести, ибо оно говорит о явлениях существенных и сугубо характерных для того исторического перелома, который произошел в нашей действительности и в сознании человека, ибо это существенное изображается с правдивой про-

никновенностью и искусством большого художника.

Историческое значение «Поднятой целины» заключается не только в том, что этот роман талантливо запечатлел один из важнейших моментов в строительстве социализма, но и в том, что он оказал влияние на дальнейшее развитие советской литературы, в частности — на литературу о советской деревне. Роман Шолохова как бы установил новый художественный уровень для этих произведений. После него нельзя писать о делах и людях советской деревни бледно и поверхностно. Успех и значение могло сейчас приобрести только такое произведение, которое по силе своей равнялось бы «Поднятой целине» или превосходило шолоховский роман.

Такого романа о людях современной колхозной деревни пока еще нет.

В немалой степени это объясняется, с одной стороны, отрывом наших мастеров художественного слова от сложных процессов, происходивших в деревне, незнанием ее современной жизни; с другой — «чувством уровня» «Поднятой целины», которое испытывают молодые писатели, хорошо знающие материал, но не умеющие пока-что найти достойное их знания и самого этого материала художественное выражение.

Но искания молодых писателей, чувство огромной ответственности, которое они испытывают, и их стремление к художественной полноценности произведений — явления весьма положительные, приведшие в конечном счете к интересным практическим результатам.

Наиболее интересные из произведений о колхозной жизни, появившихся в 1940 году, это романы, написанные не романистами-профессионалами, а людьми непосредственно связанными с колхозным строительством. Автор романа «Большой разлив» Евгений Поповкин (книга вышла в ростовском издательстве), автор романа «Буйные травы» («Красная новь» №№ 2, 3, 4) Иван Егоров и автор романа «Теплые горы» («Новый мир» №№ 2—3, 4—5, 6) С. Крушинский — все они наблюдали описываемую ими жизнь и людей непосредственно, все они в той или иной степени

участвовали в колхозном строительстве. Поповкин был редактором политотдельской газеты, Егоров писал (под псевдонимом Чилим) интересные корреспонденции и оперативные фельетоны в «Орджоникидзевской правде», Крушинский — работник печати.

В событиях, изображаемых в «Большом разливе» и «Буйных травах», много общего. В этих романах рассказывается о борьбе за укрепление колхозов, о преодолении кулацкого саботажа на Дону («Большой разлив») и на Кубани («Буйные травы») в первые годы коллективизации, о врагах, пытавшихся развалить колхозы, и о новых людях советской деревни, вынесших на своих плечах тяжесть борьбы с этими врагами.

В романе Поповкина еще много наивного, неуклюжего, попросту небрежного. Он пишет иногда так: «Дон медленно, чуть покачивая зеленогорбые волны, шел к недалекому отсюда морю; широкий, спокойный, властный. Низко над самой водой мелькнул быстрый чибис, задел стеклянistou гладь» и т. д., не замечая, что очень трудно представить себе гладь, покрытую зеленогорбыми волнами.

Или очень наивными методами он вводит читателя в заблуждение относительно одного из основных персонажей — Кочетова. Если автор, изображая приезд Кочетова в хутор Придонский, пишет: «С приближением к Придонскому все сильнее возрастало у него нетерпение. Через час-полтора он увидится с человеком, ради которого и предпринят длинный тяжелый путь», и что этим человеком является жена Кочетова, с которой он расстался несколько лет назад, то сомневаться в цели его приезда у нас нет никаких оснований, ибо узнали мы о ней, проникнув в интимные думы персонажа. И вдруг оказывается, что автор самым примитивным образом обманул читателя. Кочетов начинает работать в правлении колхоза бухгалтером, работает здесь добросовестно, борясь с бюрократизмом и дуростью председателя колхоза Клейменова. А «под занавес» оказывается, что он приехал в хутор... по

заданию иностранной разведки! Остается предполагать, что он сам не знал, ради чего и кого он сюда приехал. В стародавние патриархальные времена простодушные зрители за такого рода «интриги» стаскивали актера со сцены и делали ему отеческое внушение.

Многие недостатки романа характерны не только для него одного, и мы еще вернемся к ним. Здесь же важно отметить его положительные черты: смелое и яркое изображение событий, в нашей литературе еще мало освещенных, любовное изображение представителей колхозной массы, изображение того, как в повседневной работе боролись они с врагами. Борьба эта была очень тяжелой. Колхозники знали своих старых врагов — кулаков Трухачевых, но они не знали еще истинной роли тех, кто помогал Трухачевым, скрываясь под советской и партийной личиной. И не зная об их намерениях, они боролись против их дел, боролись подчас вслепую, но настойчиво и уверенно, ибо судили об этих делах по тому, на пользу идут эти дела колхозу или вредят ему. Бригады коммунисты Яков Саблин и Игнат Агарков, секретарь комсомольской организации Илья Востругин, бывшая батрачка, вынужденная пойти замуж за кулака, а ныне освободившаяся от ненавистного мужа, — колхозная активистка Ульяна Тепина, честный колхозник Василий Фирсов — каждый из них своим путем навсегда связал свою судьбу с судьбой колхоза, каждый из них самоотверженно борется против вражеской «линии», против саботажников и контрреволюционеров, срывающих сев, против «парикмахеров», стригущих по ночам колхозные колосья, против организаторов голода и восстания, против испуганных изуверов, которые из ненависти к колхозному строю готовы были пухнуть от голода на закопанном в ямах хлебе.

Книга заканчивается на напряженном моменте, когда вместе с организацией политотделов МТС начинается новая фаза укрепления колхозов и борьбы с явными и тайными, еще не разоблаченными врагами.

«Буйные травы» Егорова — роман сходный с «Большим разливом» Поповкина не только по изображаемому периоду и материалу. Они совпадают по целому ряду ситуаций и персонажей, по расстановке сил, движущих сюжет. Совпадение это вызвано самой жизнью; борьба за укрепление колхозов на Дону во многих своих специфических деталях совпадала с такой же борьбой на Кубани. Так же, как и в «Большом разливе», здесь изображена борьба колхозного актива с врагами.

Очень интересно изображение «коммуны», организованной выселенными из станицы кулаками под самым боком колхоза. Бывший атаман Бутов, кулак Флор Дорогун, щеголяющий в промасленной одежде станичного пролетария, кулак Волченко, занявшийся сапожным ремеслом, и другие представители «станичной знати», — все они, поселившись в одной землянке, живут, как хищники в одном загоне, являя собою живую иллюстрацию к положению «человек человеку волк». В изображении этих отщепенцев, живущих надеждой на контрреволюционное восстание и перегрызающих друг другу горло, ощущается едкий сарказм и ненависть.

Весьма колоритна фигура «агрикультурника» Гайды. Свое нежелание вступить в колхоз он объясняет интересами науки, нежеланием разрушить свое «опытное» хозяйство. На самом же деле — это «культурный мужичок» чайновско-кондратьевского типа, враг колхозного строя, втихомолку вредящий колхозу, связанный с контрреволюционерами, скрывающийся от государства хлеб.

Этот Гайда явился одним из пробных камней, на котором испытывалась политическая зрелость основного героя романа — молодого агронома Панкова. Попав в сложную обстановку классовой борьбы в казачьей станице, Панков не сразу ориентируется в людях и расстановке сил. Он находится в заблуждении относительно Гайды и даже возмущается тем, что колхозники не доверяют этому «опытнику». Вследствие неопытности и недостаточной бдительности Панков чуть было не поддался кулацким про-

кациям, чем не преминули в дальнейшем воспользоваться враги народа для того, чтобы оклеветать боровшегося с ними непартийного большевика. Через много испытаний суждено было ему пройти, для того, чтобы познать всю сложность классовой борьбы в ее практическом преломлении, осознать свою роль в этой борьбе и ответственность за свои действия и поступки.

Роман Егорова уступает роману Поповкина в остроте изображения событий, но зато в нем чувствуется большая литературная опытность и самостоятельность. Но это преимущество иногда превращается у Егорова в его слабость. Происходит это тогда, когда Егоров, отступая от жизненного опыта и наблюдений, отдает дань книжным ассоциациям и представлениям, в частности — старым трафаретам романа о «перестраивающихся интеллигентах».

Такой данью является вся символическая линия романа, размышления Панкова о ботаниках и агрономах — искателях какого-то изумительного растения, предназначенного осчастливить человечество. Панков входит в роман как наследник аполитичных ученых-идеалистов, ищущих это волшебное растение, но, соприкоснувшись-де с практикой классовой борьбы, он познает, что агрономия тесно связана с политикой и что счастье человеческое может быть создано только в суровой повседневной борьбе.

Такого рода «открытие» имело в свое время большое значение для учителей Панкова, но в развитии образа самого Панкова — человека, вышедшего из советского вуза незадолго до описанных в романе событий, молодого интеллигента новой, советской формации, — оно звучит как анахронизм.

В романе Егорова эта «перестройка» и надуманная символика занимает незаслуженно большое место. Еще более обидно становится за способного писателя, когда, наряду с элементами литературщины такого рода, в его роман вторгается и вовсе уже пошлая литературщина: речь идет о «демоническом» образе Лидии Чернобаевой — дочери атамана контрреволюционной банды, о

ее «надрывных» разговорах с Панковым, о сцене, где эта трафаретная «классово-враждебная соблазнительница», нагая, исполняет перед Панковым танец с газовой шалью.

Все это ощущается в романе как наносное, чужеродное и снижает образ Панкова. Этот персонаж интересен не сам по себе, а тем, что его окружает. И жизненность проявляется в его образе тогда, когда он живет не отвлеченной символикой, а конкретными переживаниями и делами, не книжными воспоминаниями и ассоциациями, а соприкосновением с живыми людьми и участием в социалистическом переустройстве мира. Панкова интересуют не только агрономические мероприятия, он целиком захвачен разносторонними интересами колхоза, являясь активным участником развернувшейся борьбы за сохранение и укрепление колхозной жизни. Помогая колхозникам, он одновременно учится у них. Он тесно спаян в своей работе с большевиками, вроде секретаря станпарткома Кадинца, с лучшими людьми колхоза, вроде бригадира Колобова, комсомольца Ивана Грицая (в образе которого интересно сочетались черты непримиримости и нравственной чистоты Павла Корчагина и темперамента Макара Нагульнова) и других.

Егорову, несомненно, удался один из центральных женских образов романа — образ Ксении Зубец. В ее биографии много сходного с биографией Ульяны Тепиной из романа Поповкина. Молодость девушки-беднячки была погублена в доме старика-кулака, за которого она была отдана замуж. Коллективизация, окончательное уничтожение эксплуататорского класса, новая жизнь, переворачившая старый деревенский уклад, усиливают в Ксении протест против этого уклада и горечь сожаления о загубленной молодости. Смерть ненавистного мужа окончательно освобождает ее от прошлого. И Егоров, избегнув шаблона, очень хорошо изображает, как горечь и надлом сменяются у Ксении стремлением навестить упущенное, навестить его в узко интимном «бабьем» смысле, и как затем это «бабье» отступает на задний план перед возрождением человека,

впервые в своей жизни познавшего радость свободного труда и спаянности с коллективом.

В Ксении много жизненной силы, теплоты, трогательности, юмора. И если в начале романа кажется, что это очередной вариант легкомысленной «бабенки», которую многие авторы имеют обыкновение ставить на пути своего героя, то в дальнейшем с радостью сознаешь свою ошибку и с большим вниманием следишь за развитием этого жизненного и значительного образа.

Можно сказать, что образы Ивана Грицая и Ксении Зубец удались Егорову больше, чем образ Панкова. В них ощущается типичный и в то же время неповторимый характер. А вопрос об изображении характера — наиболее уязвимый и для Егорова, и для Поповкина, у которого из всей группы положительных героев характерными чертами наделены лишь Ульяна Тепина и отчасти Яков Саблин. Поэтому, когда прочитываешь оба романа подряд, начинаешь путать их многочисленных персонажей.

Все это в полной мере относится и к третьему роману, к «Теплым горам» Крушинского, хотя в нем изображается более поздний период (1936—1937) и колхозное строительство в другой обстановке, в обстановке сектантского села.

Но несомненным преимуществом романа Крушинского по сравнению с двумя другими является цельность, законченность и глубина образа главного героя произведения — председателя колхоза «Теплые горы» коммуниста Кузьмы Макарова.

Два характера, два типа людей с партбилетом встают перед нами в романе Крушинского. Первый — это секретарь райкома Пустовойтов, бездушный бюрократ и формалист, для которого партбилет — это лишь средство деланья карьеры, а ответственный пост секретаря — лишь ступенька на лестнице карьеры. Все его заботы направлены не на пользу дела коммунизма, а к тому, чтобы ему самому не сорваться с достигнутой ступеньки. Он готов, например, выполнить вредительскую директиву о за-

пашке заливных лугов, лишь бы рапортовать об увеличении посевной площади в районе. Толкуя о бдительности, он сам превращается в слепое орудие врагов и помогает им избивать честных коммунистов. О, он любит говорить о принципиальности и партийной сплоченности, он любит поучать и каждое свое поучение начинает словами: «Мы, большевики...» Но принципиальность обращается у него бюрократическим бездушием, партийная сплоченность — семейственностью, а поучение и воспитание — угрозой. Пустовойтовым чужды идеи коммунизма и подлинные интересы социалистического строительства. Стараясь удержаться на достигнутой должности, балансируя на своей ступеньке, они без разбора пользуются любыми силами: поддержкой таких же карьеристов и врагов или грузом погубленных ими жизней и партийных репутаций.

В качестве балансира Пустовойтов, подстрекаемый врагами, хотел использовать и партийную репутацию председателя колхоза «Теплые горы».

Макаров — тип подлинного коммуниста, рядового большевика, героически борющегося за дело коммунизма. История его борьбы полна драматизма. Она во многом напоминает борьбу, изображенную в «Павле Грекове» Войтехова и Ленча и в «Поучительной истории» С. Гехта. Но эта борьба изображена в «Теплых горах» гораздо глубже и более разносторонне.

Руководитель лучшего в районе колхоза становится помехой для врагов народа, установивших в дальнейшем контакт с давно ненавидевшими Макарова сектантами. Исходя исключительно из интересов народа и расценивая любое хозяйственное мероприятие с точки зрения его полезности для колхоза, Макаров противодействует вредительским директивам. Он становится «опасным человеком», которого враги решают «убрать». В ход пускаются испытанные средства. Его пытаются приручить, «выдвинуть» из колхоза на более высокий пост, а когда это не удается, его посредством антидемократического нажима на колхозников устраняют от руководства

колхозом, а затем, оклеветав, его исключают из партии.

И, пожалуй, самое интересное в раскрытии образа Макарова — его поведение после отстранения от должности и исключения из партии. В отличие от Павла Грекова, который вел себя инертно, целиком ушел в свое горе, устранился от всякой деятельности и для которого борьба за восстановление в партии была лишь борьбой за собственную реабилитацию, Макаров ощущает свое личное несчастье, как несчастье для дела, за которое он боролся всю свою жизнь. Он видит, что его отстранение приводит к развалу колхоза, что выдвинутые в правление сектанты уничтожают то, что было добыто с большим трудом, и своими делами и речами стараются опорочить колхозную жизнь. И Макаров решает не покидать родной колхоз. Пренебрегая ложным самолюбием, он берется за плуг. Он поддерживает связь с лучшими колхозниками и всегда находится в курсе дел колхоза, публично разоблачая махинации врагов. Он настойчиво добивается пересмотра своего дела, ибо он считает это делом чести его колхоза, делом жизни колхоза. Иногда у него возникает мысль, что лучше плюнуть на все и быть лишь посторонним свидетелем событий. Но эта мысль кажется ему чуждой, он не может и не имеет права так поступить, потому что он коммунист. При этом в нем действуют не отвлеченные политико-этические соображения; партийная этика здесь органически переплетена с повседневными практически задачами, с судьбой дела строительства социализма, как со своим кровным делом, вне которого жизнь Макарова не мыслима.

«Нельзя быть честным наполовину». Честность Макарова, его глубокая принципиальность, уверенность в победе над врагами, преданность идеям коммунизма помогают ему стойко перенести все испытания. А их было достаточно — вплоть до смерти единственного ребенка, которого перестраховщики из райздрава отказались оперировать.

При помощи честных коммунистов (в частности — второго секретаря райкома

Зайцева), веривших в Макарова и вступивших в борьбу с врагами, он упорно борется за свою реабилитацию, за спасение колхоза от развала. Мы расстаемся с ним в тот момент, когда он ведет в город бывшего сектанта, важного свидетеля, показания которого разоблачают темные дела областной вражеской организации, поставившей перед собою разрушительные цели, далеко выходящие за пределы колхоза «Теплые горы».

Драматическая история Макарова и его колхоза читается с чувством глубокого волнения. Без преувеличения можно сказать, что в литературе последних лет образ Макарова — один из лучших образов рядового большевика, представителя колхозной деревни.

Из-за него прощаешь Крушинскому и излишнее увлечение описанием жизни сектантов, и рыхлость романа, скомканный конец его.

Три охарактеризованные здесь романа — это произведения, проникнутые серьезной тенденцией, хорошим знанием жизни. Авторам не всегда удается достичь литературного совершенства, но то ценное и интересное, что в них имеется, заставляет обратить на себя внимание, как свидетельство неполного, но все же значительного успеха, и пожелать молодым писателям еще более настойчиво работать над словом, над образом, над композицией своих произведений.

К этим романам — по сюжету и материалу — примыкает отчасти и повесть Виктора Панова «Красный бор» («Октябрь», 1940, №№ 4—5, 6—7). К сожалению, описываемая в ней борьба умалена тем, что она сведена к склоке и единоборству между преданным интересам народа председателем колхоза Глазовым и бывшим председателем Хвиюзовым, разложившимся старым партизаном, карьеристом и шкурником. За единичными исключениями (свинарка орденоносец Груня), колхозники стоят в стороне от этого единоборства и по мере надобности перебрасываются автором то на поддержку Глазова, то на поддержку Хвиюзова. Когда читаешь, например, сцену перевыборов председате-

ля, в результате которых Хвиюзову удалось на время снова пролезть на председательское место, диву даешься, почему народ выбрал Хвиюзова, а не Глазова. Неужели действительно прав Хвиюзов, когда в ответ на слова Глазова, в которых звучала вера в народ, шкурник и вредитель издевательски отвечает ему: «Народ! Народ! Любите все это слово. Народ вон меня на твоих глазах в председатели выбрал...» Изображая колхозный народ, как начиненную загадочными сюрпризами безликую массу, Панов и не смог раскрыть глубокий смысл и значение описываемой им борьбы. Единственные яркие страницы повести — это страницы, посвященные изображению ребятишек, в частности, сына Глазова — Семы.

Мы уже указывали на своего рода несчастье, которое испытывает читатель, когда он, прочитав «колхозные» романы подряд, начинает путать героев и события. Это вызвано не только объективными причинами, как, например, совпадением материала, не только недостаточной работой над индивидуальными характеристиками, но и недостаточной индивидуализацией своего стиля, недостаточной сосредоточенностью и собранностью на основном и существенном, что ведет к разбросанности повествования, рыхлости композиции, очерковости романов.

Авторы их устремляют все свое внимание на описание хода борьбы, но, увлекшись этим описанием, бросаясь от одного участка в другому, от одного события к другому, стараясь охватить побольше пространства, людей и событий, они мало останавливаются на изображении и анализе того, что оседает в процессе этой борьбы, как ее результат, как явления нового уклада деревни и формирования новой человеческой индивидуальности.

В качестве произведения, в котором перечисленные здесь недостатки нашей молодой прозы отсутствуют, следует привести вышедшую в 1940 году в Ярославле интересную повесть В. Смирнова «Сыновья».

Мы не знаем, как создавалась эта книга. Но по ряду признаков можно су-

дить, что автор задумал ее сначала как очерк о знатной стахановке-льноводке, а затем, углубившись в материал, создал повесть, в которой факты и вымысел зазвучали с одинаковой убедительностью и приобрели значение, выходящее далеко за пределы первоначального замысла.

Вопрос о зарождении такого рода книги и о методах работы над материалом является в данном случае не узко литературной проблемой, а приобретает особый интерес в связи с разговорами о современной теме в советском искусстве. Поэтому, прежде чем перейти к характеристике повести Смирнова, необходимо остановиться еще на некоторых вопросах, связанных с произведениями литературы 1940 года.

Вообще говоря, очерк столь же почетный жанр, как и другие жанры художественной прозы. Но как легко превратить этот жанр в формальную отписку от закономерного требования изобразить дела и людей нашего времени. Как часто в произведениях описываются вещи и события, поражающие нас своей новизной, но за ними не видать человека. Если же авторы очерков и рассказов пишут о человеке, например, о стахановце, то часто он предстает перед нами, как существо, состоящее из цифр, процентов, рекордов и упорства. Между тем, жизнь и люди сложнее, чем они показаны в очерках и рассказах. И такого рода эфемерные ответы на требования об изображении современности, возможно, по своему количеству кого-либо могут удовлетворить, но по качеству своему удовлетворить никого не могут.

Произведение становится полноценным произведением искусства лишь в том случае, если в нем раскрыты черты человеческого типа и характера. Произведение о человеке нашего времени может быть правдивым и художественным, если новый человек показан в его сложном формировании, в процессе борьбы между новым и старым. Новое не падает с неба, и Ленин издевался над теми горе-теоретиками, которые собирались строить социализм посредством воспитанных в лабораторных теплицах «чистеньких» социалистических

человечков. «Мы хотим построить социализм из тех людей, которые воспитаны капитализмом, им испорчены, развращены, но зато им и закалены к борьбе» — так говорил Ленин (Сочинения, т. XXIV, стр. 64). И очень важно показать, как люди, воспитанные в капиталистических условиях, становятся людьми социалистическими, как из старого растет новое, как в самом человеке это старое отмирает, а новое расцветает.

Один из зачинателей стахановского движения, рассказывая о своей жизни, поведал о том, как он, будучи деревенским парнем-бедняком, отправился в город затем, чтобы заработать здесь на коня, а потом вернуться в деревню и зажить «своим хозяйством». Дальше этого «идеала» стремления его не простирались. Однако через несколько лет вместо малосознательного парня перед всей страной предстал человек, для которого труд оказался не средством накопления денег на обзаведение лошадежкой, а делом чести, доблести и героизма. Первоначальный «идеал», послуживший первым толчком к тому, чтобы человек заинтересовался процессами индустриального труда, был вытеснен более высокими целями, озаренными передовым человеческим интеллектом. Человек стал государственным деятелем, осознал широкую связь своей работы с жизнью всей Советской страны.

Это — не исключительный случай. И вот когда о таких случаях пишут, то лишь с умилением констатируют: смотрите, мол, как было и что стало, какие чудеса творятся у нас. Чудеса-то, чудеса, но, во-первых, эти чудеса стали уже обыденным явлением, во-вторых, нельзя же ограничиться эффектом, получаемым от того, что очеркист или писатель сопоставляют начало и конечный результат какой-то жизни, какого-то процесса, не показывая самый-то этот процесс. А в последнем, в раскрытии того, как произошло это разительное изменение в психике и сознании людей, и заключен основной интерес.

Мы часто несправедливо относимся к драматургии и требуем от нее воплощения таких вещей, которые по жанру своему она воплотить не может. В частно-

сти, очень трудно воплотить в драматургическом произведении процесс постепенного изменения человека. Театр способен лишь или остановиться на кульминации в этом процессе, или выхватить из него отдельные этапы, что, конечно, не способствует изображению цельности процесса.

Получается или сценический очерк, или пьеса, в которой на сцене лишь поверхностно показано то, что в основном предполагается где-то за кулисами. Столкновение начального и конечного состояния героя, перелом в его сознании воспринимаются поэтому как нечто отдаленное, несмотря на то, что сам по себе такой перелом соответствует жизненной правде.

Я видел театральную инсценировку «Танкер «Дербент» Крымова — одного из тех произведений, которые завоевали успех именно благодаря тому, что в них становление нового показано во всей сложности и глубине. Но как фальшиво и неестественно выглядит «эволюция» героев этого произведения на сцене! Более жалкого спектакля мне за последние годы видеть не приходилось.

Это не значит, что драматургия или художественный очерк в какой-либо мере свободны от тех требований, которые предъявляются всему советскому искусству. Мы заговорили о них для того лишь, чтобы подчеркнуть, что основная роль в целостном изображении процесса формирования нового человека принадлежит большим формам художественной прозы, повести и роману, не стесненным рамками драматургической формы.

Часто очерк является первоначальным наброском, запечатлевающим явления действительности для дальнейшей, более углубленной разработки этих явлений. Но бывает так, что, идя от очерка к повести или роману, писатель устремляется по неправильному пути, заменяя художественное раскрытие явлений лишь более расширенным описанием их и введением в очерк какого-либо сквозного сюжета, объединяющего разрозненные факты и наблюдения. Разработка первоначального наброска осуществляется не посредством изменения художествен-

ной интерпретации материала, а посредством количественного нагромождения его, не посредством углубленных поисков внутренней связи явлений, а посредством установления чисто внешних связей между ними. В результате получается какой-то очерково-беллетристический гибрид, целостность которого искусственна, несмотря на то, что каждая из отдельных его частей естественна и верна.

Характерна в этом отношении повесть В. Кудашева «На поле Куликовом» («Новый мир», 1940, № 1). Автор ее поведал нам о вещах, несомненно, интересных. Кудашев рассказывает, как в местах, овеянных памятью исторической битвы, ныне работают советские трактористы, взрыхляющие землю, в которой еще до сих пор попадают истлевшие кости воинов и старинное русское оружие. Воспоминание о Куликовской битве, известные стихи о ней Блока, зазвучавшие на колхозном полеводном стане, — это интересно, эффектно. Кудашев стремится показать изменения, произошедшие на древней русской земле. Он описывает жизнь полевого стана, трактористов — новых людей колхозной деревни; он счел интересным — и вполне правомерно — дать описание колхозной товарно-молочной фермы; он рассказал нам также о старой деревенской женщине, жившей до революции в беспросветной темноте и нищете, а ныне познавшей счастье колхозной жизни и гордящейся сыном, героем-пограничником.

«На поле Куликовом» — не первое произведение Кудашева, писателя, хорошо знающего быт современной деревни и увлеченного в нем интересные детали. Это знание так же, как и живость повествования, составляет сильную сторону и ряда эпизодов его новой повести.

Но, читая эту повесть, испытываешь досаду на то, что автор в своем стремлении показать современную деревню и ее представителей, раскрыть, как в борьбе со старым формируется новое, пошел по пути количественного накопления фактов. Жадно накапливая их, он объединяет ряд очерков посредством механического введения единого сюжета. Эта операция не могла, конечно, возместить

отсутствие художественной и идейной глубины и раскрытия внутренней связи явлений и, наоборот, только повредила хорошему очерковому материалу и изображению людей новой деревни.

Сюжетные связи строятся Кудашевым таким образом: вот существует тракторная бригада, в ней работают люди с разными характерами, разной степенью развития и сознательности; черты их характера могут выявиться четче в каком-либо конфликте; и автор находит этот конфликт. На помощь автору приходит то обстоятельство, что по обыкновению всех смертных, трактористы не только работают, но и едят, а так как в горячую рабочую пору им отлучаться нельзя, то и питаются они здесь же, на полевом стане. Для изготовления пищи нужна стряпуха.

Итак, имеется вакантная должность стряпухи.

В то же время в колхозе существует «огромная товарно-молочная ферма», и заведует этой фермой молодая вдова Катерина Лотова.

Дано задание: во-первых, сюжетно связать «показ» фермы с «показом» тракторной бригады; во-вторых, внести конфликт во взаимоотношения трактористов Сени Дымова и Егора Чуркина.

Решение: определить на должность стряпухи передовую колхозницу, «заведующую огромной товарно-молочной фермой» Катерину Лотову.

Мотивировка: красивая молодая вдова тоже жить хочет и решает провести свой очередной отпуск в роли стряпухи, дабы выбрать себе среди трактористов мужа.

И в повести рассказывается о том, как с появлением Катерины среди трактористов началось соперничество за обладание ее рукой и сердцем, как она уже совсем было вышла замуж за Егора, а в самый последний момент стала женой Сени.

Все эти сюжетные натяжки были бы простительны, если бы мы имели дело с произведением комедийным. Но повесть Кудашева—это ведь не водевиль. Повествование ведется здесь всерьез, задача произведения—в раскрытии характеров и тех изменений, которые внес

социалистический строй в психологию и поведение людей. Ведь любовное соперничество переплетается здесь с производственным соревнованием между Егором и Сеней, с историей о том, как человек, в котором еще очень сильны были пережитки старого, бесшабашный и склонный к хулиганству Сеня Дымов становится настоящим работником.

Механическое введение сюжета потребовало натяжки в мотивировках. А поскольку развитие сюжета и мотивировки связаны с поступками людей, а поступки вытекают из психологии персонажей, то за беззаботное отношение к выбору сюжета писателю приходится расплачиваться весьма дорого. В случае с повестью Кудашева сюжет введен за счет обеднения психологии героев, за счет умаления правдивости событий.

Экспедиция знатной колхозницы в тракторный стан на предмет выбора жениха не только анекдотична, но и влечет за собой обеднение образа героини, которую писатель хотел ведь изобразить как нового человека деревни. Ее заигрывания с соперниками, ее колебания между «степенным» Егором и «вихрастым, сильным» Сеней, описание ее ночного томления и раздумий о моральных и физических качествах соперничающих трактористов, — вряд ли все это раскрывает что-либо новое, современное в персонаже и украшает повесть.

Кухня полевого стана помогает Кудашеву связать изображение трактористов еще с одним очерком: о матери героя-хасановца, живущей в дальней деревне и никакого отношения к изображаемому колхозу не имеющей. Автор определяет ее на место стряпухи после ухода из стана Катерины.

Образ Марфы Ивановны дан Кудашевым тепло, а история ее жизни (в частности воспоминание о том, как голодной женщине нечем было кормить ребенка и как муж-пастух барского стада заставлял ее, дрожащую от страха, пить краденое молоко) очень органично вплелась в рассказ о людях новой деревни, резко подчеркивая произошедшие перемены в материальном и психологическом состоянии этих людей.

Читая о жизни Марфы Ивацовой, вы уже готовы простить очередную сюжетную натяжку. Но вот, Кудашеву требуется показать борьбу трактористов с бюрократизмом директора МТС Валдева, дурака и формалиста, требуется показать человечность, душевную деликатность людей новой деревни. И для того, чтобы показать все это, Кудашев самым безжалостным образом расправляется со своей старушкой, заставив наехать на нее колхозную автомашину. Трактористы, вопреки запрещению директора-бюрократа, бросают поле и с почестями хоронят Марфу Ивановну.

Трактористы не отнеслись к смерти Марфы Ивановны равнодушно. Но, чтобы подчеркнуть их чуткость как нечто выдающееся, как новую черту людей колхозной деревни, автор прибегает не только к сюжетному «произволу», но и к легковесному контрасту, оттеняя благородство трактористов поступками шофера-бандита, воведильного дурака и негодяя Валдева и равнодушного волокитчика—предсельсовета. На этом фоне выполнение трактористами своего нормального долга по отношению к женщине, которая о них заботилась и которую они уважали как мать героя, выделяется автором, как верх человечности.

И в повести Кудашева, где имеется много интересных наблюдений, касающихся деталей жизни и нового быта деревни, эти контрасты так же, как и натянутые сюжетные положения, не только не содействуют подаче отдельных очерков, но портят хороший очерковый материал.

Дело, конечно, не в том, что нельзя изображать отрицательные явления и типы, а в том, в какой связи, как и для чего они изображаются, способствует ли их изображение раскрытию положительных и новых явлений, или мешает такому раскрытию.

Нам уже приходилось писать (в статье «О чувстве нового и новых чувств», «Литературный критик», 1940, № 3—4) о легкомысленном отношении некоторых литераторов к изображению нового. При этом мы указывали именно на то, что для возвышения своего героя как человека нового склада не-

которые писатели, выпячивают его качества исключительно за счет нарочитого снижения моральных качеств окружающих его людей. В результате — поведение обычного нормального человека, вся добродетель которого заключается в том, что он не ворует, не хамит, относится к другим людям с уважением и не говорит глупостей, подается как высшее проявление новой социалистической морали и мудрости. Нечего пояснять, что так писать о сущности нового можно лишь в том случае, если писатель или не разобрался в нем, или же попросту решил «отписаться» от почетной задачи, требующей глубокой разработки.

Среди произведений 1940 года можно привести примеры весьма выразительные в этом отношении. К сожалению, наиболее яркий пример касается очень талантливого писателя и очень ответственного объекта изображения. Мы имеем в виду некоторые из «Рассказов о Ленине» Мих. Зощенко. Даже излагая факты из жизни Ленина, писатель решил оттенить их по вышеуказанному принципу.

В одном из этих рассказов («Звезда», 1940, № 7) изображается, как часовой, не знавший Ленина в лицо, попросил у него предъявить пропуск. Человек, сопровождавший Владимира Ильича, закричал на часового и стал говорить, что это Ленин и что его надо пропустить. Но Ленин сказал, что часовой поступает правильно, похвалил его и предъявил свое удостоверение.

Другой рассказ. В годы гражданской войны к Ленину приезжает продработник, руководящий заготовкой рыбы. Идет разговор о голоде, о том, что рыбы заготовлено мало, что рабочие и дети голодают и т. д. В конце разговора посетитель выкладывает на стол какой-то пакет, который он все время держал за спиной. Продработник сказал, что это — копченая рыба, которая-де прислана в подарок лично Ильичу. Ленин очень рассердился и велел передать этот подарок в детский дом.

Все было бы хорошо, если бы автор остановился на этом и дело ограничилось изложением фактов, если бы не

авторская морализация, построенная по тому принципу сопоставления, о котором было сказано выше.

Видите ли, поясняет Зоценко, «конечно, другой человек на месте Ленина, наверно бы, крикнул (на часового.— В. Г.): — Возьмите глаза в руки, если не видите, кто идет! Я — Ленин...» Или: «Другой человек на месте Ленина развернул бы пакет, отрезал бы ножом кусок копченой рыбины и стал бы тут же ее кушать. Но Владимир Ильич не сделал этого».

Когда читаешь такого рода добавления к изложению фактов жизни Ленина, то испытываешь чувство обиды, досады, протеста. Неужели для того, чтобы показать величие и обаяние Ленина, нужно было сопоставить его поведение с поведением чванливого вельможи или шкурника (выдаваемым за обычную норму поведения людей!). Трудно даже написать эти слова рядом с именем Ленина, но что поделаешь, мы вынуждены со всей ясностью показать Зоценко, что, стремясь изобразить величие Ленина, он прибегнул к принципу порочному, противоречащему той ответственной задаче, за которую взялся.

Приведенный пример наиболее выразительный, поскольку он касается образа Ленина.

В других произведениях мы ощущаем его менее резко, но в той или иной мере он фигурирует во многих повестях и романах, в том числе и — как мы это отметили — в некоторых произведениях о современной деревне.

Быть может, что произведения вроде «Сыновей» Смирнова, при сравнении с повестями такого типа, выигрывают именно в силу отсутствия в них притязаний на внешнюю сюжетную беллетризацию и отказа от легковесных контрастов. Внимание писателя устремлено здесь в глубь явлений. И как глубоко и проникновенно описаны здесь люди и обстоятельства, влияющие на их судьбу!

В сюжетном отношении повесть написана по очень простому принципу биографической хроники. И тем не менее она с первых же страниц увлекает вас. Это происходит потому, что писатель

умеет выбирать характерные и интересные детали, вводящие нас в обстановку жизни героини, умеет проникать в душевные переживания человека, умеет показать характер человека в его развитии. Это умение связано у Смирнова с чувством любви к героине и — что очень важно — с чувством художественного и исторического такта, позволяющим писателю вести повествование с большой теплотой и правдивостью.

Да, новое растет из старого. И понять сущность и новизну людей нашего времени и их чувства можно лучше всего, если видно, откуда, как и куда люди росли. Повесть Смирнова — это история жизни обыкновенной крестьянки, каких миллионы в нашей стране.

«Тропа шла от речки, мимо амбаров и житниц, перерезая гумно.

Прямая тропа эта была проложена весной резвыми ногами Анны Михайловны, в первый год замужества».

Так начинается повесть. Рассказ о тропе служит своего рода сжатым вступлением, в котором повествуется о жизни героини до революции. Много тысяч раз хожено здесь. По утрам Анна Михайловна бежала по этой тропе на работу в поле. По вечерам, разбитая от усталости, брела домой. «По этой тропе провожала Анна Михайловна за счастьем в Питер своего Лешу — плотника, продав телку, чтобы купить билет, и, должно быть, по ней же, по тропе, таясь от соседей, пробирался муж из Питера — без топора, пешком, в лаптях, в грязной выцветшей рубахе, так и не найдя своего мужицкого счастья. В престольные праздники та же дорожка уводила ее, избитую, на ригу, прятала от пьяных лешиних кулаков. Огибая мшистые углы сараев и житниц, здесь бежали ее первые ребятушки купаться в Бездонный омут...; здесь же, понурясь, шла она с кладбища, маленькая, худенькая, как подросток, хороня детей одного за другим, скошенных злыми болезнями, которых не могла победить даже всезнающая лекарка бабка Фекла.

Так по этой короткой, прямой тропе прошла жизнь, долгая и вовсе не прямая, с малыми бабьими радостями и большим бабьим горем».

После революции муж Анны Михайловны, который «верховодил на селе целое лето и осень, воевал с богатеями, делил помещичью землю», ушел добровольцем в Красную армию «за новым непонятным ей тогда счастьем. Ушел и точно в воду камнем канул». Несколько месяцев спустя после его ухода Анна Михайловна родила двоих сыновей-близнецов. И Смирнов рассказывает нам, как одинокая женщина боролась за свое существование, как растила она сыновей, как, борясь за свою и их жизнь, воспитывая детей, прошла она суровую жизненную школу и воспитывалась сама.

Смирнов изображает прекрасные проявления материнского чувства, поддерживающего волю к жизни и борьбу за жизнь, скрашивающего невзгоды и заполняющего счастьем измученное тяжелым существованием сердце. В жалкой хатенке, в тишине, нарушаемой лишь тиканьем ходиков да шуршаньем тараканов, мать баюкает своих сыновей и мечтает о их будущем. На зависть всей деревне по улице идут два парня-красавца с пышными губами, выбивающимися из-под картузов, в шелковых рубашках, лаковых сапогах да при часах с цепочками. Это — предел ее мечтаний, наполняющих ее сердце гордостью.

С жадностью и любопытством следит она за формированием характеров сыновей: крепкого, медлительного, молчаливого, глубоко чувствующего, но скрывающего свои чувства Алексея и порывистого, подвижного и хитроватого Михаила. Некоторые эпизоды превосходно рисуют и взаимоотношения между ребятами, их характеры и отношение к ним матери. Поведение ребят то радовало, то тревожило ее. Трогало, когда маленькие дети пытались помочь ей и накормить пойманной ими рыбой, внушали тревогу требовательность и равнодушные ребят, принимавших ее труды и ласку как должное. Когда, лет под восемь, между братьями возникали драки, матери становилось горько, ей казалось, что рушится ее мечта о будущем счастье.

Но, умная, наблюдательная, она находила в поведении сыновей такие чер-

точки, которые рассеивали ее тревогу. Один из такого рода эпизодов настолько выразителен, что нельзя не привести его:

«Однажды в драке Ленька зашиб брату глаз. Синяк багрово вспух, и глаз закрылся. Анна Михайловна выпорола сыновей, прогнала одного на голбец, другого на кровать, и, расстроенная, ушла с коромыслом по воду. Когда она вернулась и, неслышно отворив дверь, вошла в избу, до нее долетел с голбеца шопот. Стоя у порога с ведрами, она взглянула на голбец.

Подле Мишки, свернувшегося калачиком, зажавшего ладонью глаз, сидел Ленька и угрюмо кусал ногти.

— Больно? — шопотом спрашивал он у брата. — Больно?

— Да-а... тебе бы та-ак...

— Я не нарочно. Ты не реви. — Ленька помолчал, посапывая. Потом он наклонился к брату и неумело и застенчиво погладил его плечо. — Слушай, ударь меня... в глаз. Со всей силы ударь. Ну?

Мишка, всхлипывая, не отвечал.

— Хочешь... я сам ударю, — страшным шопотом сказал Ленька. — Вот скалку возьму и ударю себя в глаз. Хочешь?

Мишка приподнялся, отнял ладонь от мокрой, вспухшей щеки. Исподлобья, одним глазом, посмотрел на брата.

— Ударь, — согласился он.

Посапывая и вздыхая, брат полез за скалкой. Мишка наблюдал за ним. Вдруг он заплакал, схватил Леньку за руку.

— Не надо... Ленька, не надо! Это очень больно...

Анна Михайловна осторожно сняла ведра с коромысла, поставила их у порога и тихо притворила за собой дверь».

Через десяток лет Анне Михайловне пришлось вновь испытать тревогу за взаимоотношения между сыновьями. Комсомольцы, окончившие семилетку, примерные колхозники, заработавшие уважение и немало трудодней, они были чем-то недовольны и ругались друг с другом. Казалось, исполнилась старая мечта матери: выросли сыновья на зависть всем, вот и костюмы новые со-

бирается она им осенью справиться, а они чем-то недовольны, недовольны собой, придираются друг к другу. Мать не понимает, в чем дело, и попрекает неблагодарностью. А дело в том, что сыновья соревнуются в работе, они вошли в азарт, всячески поддевают один другого и не хотят уступить первенство. Но вне работы это те же братья-друзья, и когда горячий Михаил в погоне за рекордом сломал льнотеребилку, брат-соперник помог ему заглядить вину перед колхозом и вовремя закончить работу.

Настает время, когда мать начинает учиться у сыновей. Ей становятся понятными вещи и стремления, которые раньше ей были недоступны. Наряду с развитием материнского чувства Смирнов с большой правдивостью рисует развитие социального сознания Анны Михайловны.

Забитая крестьянка-беднячка взирает на действия мужа и его товарищей, поднявших борьбу против богатеев, с опаской и сомнением, ибо ей кажется нерушимым, навеки самим богом положенным порядок, при котором одни должны страдать, а другие богатеть за их счет. Для нее важно лишь одно: впрягшись в непосильную мужскую работу, прокормить сыновей, выпестовать свое маленькое счастье. Она с благодарностью принимает помощь комбеда, радуется, когда коммунист Семенов выхлопотал для ее ребят зимнюю одежду, чтобы они могли ходить в школу. Ей приходилось пользоваться и «помощью» кулаков, но она принимала ее без унижения, зная цену этой «помощи» и гордо отвергая «жалость» и «милости» со стороны «благодетелей». Стяжательство было ей противно. На примере своего соседа, середняка Петра Елисеева, который, «как клещ, впился в хозяйство» и не постеснялся отхватить у беззащитной соседки полоску поля, Анна Михайловна видела, до чего стяжательство уродует человека. Она начинает понимать, против чего и против кого боролся ее муж. Она мечтает о справедливой жизни, в которой люди относились бы друг к другу с участием и благожелательностью, помогали бы

друг другу в труде. Но, когда она слышит о колхозах, в душе ее просыпается боязнь перед крутым переломом жизненного уклада, боязнь новизны. Страхи эти еще поддерживались кулацкими сплетнями о колхозах. «А тут хоть плохонькое хозяйствишко, но свое, тяжела жизнь, да изведена. Не привыкать стать Анне Михайловне своей крест нести».

И в то же время в ней растет активный протест против старого уклада. Когда она вместе с понятыми входит во двор кулака Исаева изымать излишки хлеба, она вначале испытывает робость и, как бы оправдываясь, говорит Исаеву, что она «не по своей воле... выбрали». Но когда Исаев напоминает ей о кабальной «помощи», которую он ей оказывал, она с ненавистью вспоминает об издевательствах над нею кулака в годы гражданской войны, когда она укрывала у себя Семенова, бежавшего от кулацкой банды. «Не забыла. Все помню» — говорит она. Она плюет в глаза мироеду, сгноившему в яме сотни пудов зерна.

Да, нельзя так жить дальше. Она робко вступает в спор с попом, запугивающим ее карой божьей за вступление в колхоз. Дома, стоя на коленях перед образами, она вступает в дискуссию с самим господом-богом, доказывая ему, что колхоз не противоречит его интересам. «Не вижу худого в колхозе, вот убей на месте, не вижу. Сам знаешь, господи, миром-то добро жить, не в одиночку. Чем же тебе не угодно это?» «Хуже не будет» — решает она и записывается в колхоз.

Но с первых же дней работы в колхозе мысль о том, что «хуже не будет» начинает вытесняться мыслью: «лучше». Забитая «баба» впервые познает свою человеческую ценность, впервые познает радость коллективного, дружного труда, когда работа спорится, как песня. Тема и описание труда занимают в повести Смирнова большое место, органически вплетааясь в тему роста нового человека.

К сожалению, в наших произведениях преобладают две крайности: или полная изолированность людей от труда, изображение их вне трудовых процессов,

или же изображение героя как сугубо производственной личности, тонущей в подробнейшем описании техники производства и трудовых приемов.

Литература наша может сыграть огромную роль в воспитании нового отношения к труду, в повышении качества и производительности труда. Но тема труда — это не только «отклик» на соответствующие законодательные акты и мероприятия Советской страны в области воспитания нового отношения к труду, но и повышение производительности труда. И если художник будет разрабатывать тему труда только для того, чтобы «откликнуться» на соответствующие постановления, если сам он не будет вдохновлен теми же идеями, чувствами и задачами, которыми вызваны эти постановления, он только и сможет описать технику и внешние производственные приемы, не вникая в их смысл и создавая скучные и равнодушные произведения.

В художественной литературе страны социализма тема труда может и должна предстать как тема поэзии труда, поэзии самой жизни. В ней раскрывается и смысл жизни нашего человека, и его новое отношение к своему существованию и своей деятельности, и познание им своей ценности и своего достоинства, и, наконец, его связь с коллективом и теми великими задачами, которые выполняются всем социалистическим обществом.

У нас мало произведений, которые глубоко раскрыли бы эту поэтическую тему. И тем более ценишь такие эпизоды из повести Смирнова, как описание ощущений и дум Анны Михайловны во время коллективной работы в первые дни организации колхоза или ее трудового упоения, когда она вместе с сыном работает на теребилке.

Много неполадок было на первых порах существования колхоза, но вместе с другими преодолела их Анна Михайловна. Она почувствовала себя хозяйном своей жизни и проявляла заботу о колхозном добре, заставляя и других относиться к делу так же. Она никому не давала спуска и, когда ее взрослый сын сломал дорого стоящую машину,

она наказала его, как мальчишку. Весь опыт, накопленный ею за долгие годы, все мечты свои о достойном человеке труде вложила она в общее дело. И вот ей становится понятным недовольство сыновей собою. Помолодевшая, она вместе с ними шагает за пределы давнишней мечты. Эта мечта уже осуществилась: она вырастила сыновей, построила новый, просторный дом, в доме — достаток. Но интересы ее начинают простираться за пределы своего дома. Ее пылкий ум устремляется к широким общественным интересам, она стремится облегчить людям труд и умножить плоды их труда. Бережно и трепетно производит она опыты по повышению урожайности льна и добывается рекордного урожая, прославившего ее на всю область. Анна Михайловна становится знатным человеком Советской страны.

В конце повести мы читаем о том, как Анна Михайловна, вызванная в Москву на совещание передовиков по льну и конопле с руководителями партии и правительства, беседует с товарищем Сталиным.

Заочное знакомство со Сталиным произошло давно. Это было в те дни, когда Сталин указал на перегибы в коллективизации и когда Анна Михайловна получила обратно свою «Лысуху». Она задумалась тогда об этом «догадливом, правильном» человеке, о том, как хорошо знает он народные нужды. Разглядывая портрет Сталина, она даже нашла в нем черты сходства со своим мужем. Такого сходства, конечно, не было, но это была высшая мера одобрения и признания. «Старшой у коммунистов» стал «своим», понятным и близким.

Это наивное отношение сменилось в дальнейшем более сознательным и глубоким чувством к человеку, образ которого сопутствовал Анне Михайловне и вдохновлял ее в ее борьбе и начинаниях. И вот, она встречается с ним, и между ними возникает очень хорошо описанный Смирновым простой и душевный разговор, один из тех разговоров, о которых неоднократно рассказывали в печати многие люди, имевшие

счастье беседовать со Сталиным. Он расспрашивал Анну Михайловну о ее работе, о ее жизни, о сыновьях. А в конце разговора сказал: «Дети наши — счастье наше... Берегите свое счастье, Анна Михайловна».

И когда сыновьям пришла пора призываться в Красную армию, когда они начали спорить, ибо каждый хотел итти в армию и уговаривал другого остаться по льготе с матерью, Анна Михайловна разрешила их спор, сказав им: «Идите оба». Так надо было, думала она, для счастья ее сыновей, для ее счастья, для нерушимости счастья, завоеванного всей страной. Так надо было для того, чтобы с широкой дороги, на которую ступили ее сыновья, не сбиться на узкую, залитую слезами гуменную тропу. Решение расстаться сразу с обоими сыновьями далось матери не легко. Но она мужественно его приняла.

«В любимом шерстяном платье провожала Анна Михайловна сыновей. Она не взяла можжевелевой клюшки. Сыновья вывели из прируба велосипеды и катили их рядом с собой...

Молча, усадьбой, пошли они на шоссе. Отава на усадьбе была густая, хоть второй раз коси. Запоздало цвели одуванчики.

Канавы у шоссе были полны воды. Сыновья перебросили на дорогу велосипеды и вернулись к матери.

— Вашу ручку, Михайловна? — пошутил Михаил, помогая перескочить через канаву.

Анна Михайловна не рассчитала и оступилась. Алексей подхватил ее и на руках вынес на дорогу.

Не говоря ни слова, мать оправила платье, сыновья, придерживая велосипеды, стали один по правую, другой по левую руку матери, и так, втроем, они медленно пошли селом.

В избах еще кое-где семьями пили чай, завтракали. Окна были открыты, и говор затихал, когда они проходили мимо. Бабы, отодвигая плошки с цветами, высовывались из окон и кланялись Анне Михайловне. Они не останавливали ее, не заговаривали, как всегда, потому что понимали, что этого делать сейчас

нельзя. Иные выходили на крыльцо и провожали безмолвными взглядами.

За околицей Анна Михайловна остановилась. Прямая, широкая дорога уходила в голубую даль и пропадала за нарядной бахромой осеннего леса.

— Ну... — сказала Анна Михайловна.

— Ну... — сказали сыновья, избегая глядеть на мать.

Они боялись прощанья, слез, поцелуев. Но мать не плакала и не прощалась. Они вскочили на велосипеды, махнули ей и, пригнувшись, нажали на педали.

Скоро мать не могла уже различить, который из них Алексей, который Михаил. Слезы застилали ей глаза. Она прижала ладонь ко лбу, чтобы лучше видеть и долго следила за сыновьями. Вот они слились в черное, стремительно летящее пятно, и что-то сверкнуло в нем. Должно быть, задние крылья велосипедов блеснули на солнце. Серебряный зайчик скакал по дороге, потом и он пропал.

Анна Михайловна вернулась домой, переоделась и пошла в поле подсоблять девочкам снимать со стлища лен. Ей было хорошо и грустно».

Надеемся, что читатель не будет упрекать нас за то, что мы целиком воспроизвели здесь последний эпизод повести, эпизод сдержанных и проникнутых глубоким чувством проводов сыновей. Он характеризует лирико-эпический стиль, чувство меры и атмосферу человеческой теплоты, которые свойственны всей книге.

Люди и все происходящее с ними не подчинены здесь «показу» вещей, показу бытового уклада колхозной деревни. Об этих вещах и этом укладе мы узнаем как бы мимоходом, как о явлениях, окружающих героев и органически связанных с их судьбой. Смирнов рисует этот быт без сюсюканья и восторгов; просторная изба, никелированная кровать, радиоприемник, патефон и велосипед — все это очень хорошо; но не в этом предел стремлений. В отличие от некоторых писателей и журналистов, умильно пишущих о патефоне, как о вершине колхозной культурной

жизни, не только Смирнов, но и его героиня понимают, что не в том дело, что люди, выбравшись из темной ямы, зажили в человеческих условиях («...на то и колхоз» — говорит Анна Михайловна), а в том, что они впервые почувствовали себя людьми и по-новому начали относиться к труду и друг к другу. Не в кровати с сверкающими шпиками залог культуры и предел счастья, а в беспредельной возможности материального и духовного обогащения, которая открылась перед людьми, борющимися и борющимися за эту возможность в своей повседневной деятельности. Вот это сознание своего человеческого достоинства и широких перспектив наиболее ценно. Оно определяет и новое отношение к труду, и стремление к чистым и культурным бытовым условиям, и новые взаимоотношения между людьми в коллективе и в семье. Именно в таком свете и изображает Смирнов новизну колхозного быта.

В одном лишь хочется его упрекнуть: Изображая новые взаимоотношения в советской семье, раскрывая безграничную любовь матери к детям и ее талант и такт воспитательницы (в отношении к Анне Михайловне иначе не скажешь), изображая любовь и привязанность к ней сыновей, он иногда слишком увлекается, как чем-то положительным, грубовато-снисходительным отношением взрослых сыновей к матери. Этот тон, доходящий, в особенности в поступках и лексиконе Михаила, до откровенной грубости, должен, по видимому, свидетельствовать о независимости и свободе отношений в семье. Но все это как-раз то, что, подобно тараканам, занесенным из старой хаты в новый дом, просочилось в новую жизнь от старого мира, где дети или трепетали перед родителями, или, в сознании своего превосходства, панибратски хлопали их по плечу и хамили им.

К слову сказать, подобное грубовато-панибратское отношение молодежи к старикам, детей к родителям изрядно портит и очень неплохую повесть Михаила Платошкина «Старость Алексея Максимовича» («Октябрь», 1940, № 1), где действие разворачивается не в

колхозной, а в современной рабочей среде.

Подобное встречается и в нашей действительности. И наша литература не то, что умалчивать, а обязательно должна писать и об этом. Но писать об этом она должна для того, чтобы раскрыть старозаветность и порочность подобных отношений к родителям и старикам. Когда же эти отношения привносятся в норму поведения новых людей как неотъемлемое и симпатичное качество их поведения, они могут вызвать подражание. А о такой «скучной материи», как воспитательное значение художественного произведения, право, стоит подумать.

Автор «Сыновей» хорошо сделал, что вместо живых людей не создал паймальчиков. Тем досаднее, что в некоторых случаях чувство меры изменило ему и что это нанесло ущерб воспитательному значению очень интересной повести о воспитании и росте человека.

Но, несмотря на этот недостаток, легко, впрочем, исправимый при переиздании книги, повесть Смирнова — наиболее цельная и законченная из произведений о колхозной жизни и формировании советского человека, появившихся в 1940 году.

Когда думаешь о достоинствах и недостатках этих произведений, ловишь себя на том, что предаешься мечтаниям в духе гоголевской невесты. Помните? «Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара Балтазарыча, да пожалуй прибавить к этому еще дородности Ивана Павловича...». Если взять бы Макарова из «Теплых гор» да прибавить к нему Ксению Зубец и Гриция из «Буйных трав» и Анну Михайловну из «Сыновей», да показать их жизнь и борьбу с той остротой изображения событий, которая присуща Поповкину, и с той теплотой и собранностью, которыми отличается Смирнов, да...

Но здесь спохватываешься, что размышления о такого рода комбинации, в сущности, довольно обидны, что они могли возникнуть только благодаря тому, что все эти произведения — за ис-

ключением, пожалуй, повести Смирнова — слабо выражают творческую индивидуальность и своеобразие их авторов. Это очень серьезный недостаток каждого из них, несмотря на общий и несомненный успех молодой прозы о колхозном строительстве.

Мы хотели бы увидеть в будущем такие произведения, при чтении которых не возникала мысль о комбинациях, такие повести и романы, эпизоды и герои которых нельзя было бы путать и комбинировать. Идеальные произведения создаются не в результате комбинации положительных элементов, взятых из произведений, менее удачных. Опыт, накопленный всем предшествующим развитием литературы, и положительное или отрицательное отношение к нему художника играют, конечно, в появлении этих идеальных произведений большую роль. Но усвоение этого опыта — не механический процесс, а процесс сложного синтезирования, в котором воспринятое приобретает иное, свойственное только данному художнику, содержание, звучание и окраску. Основным моментом в этом процессе является отношение художника к жизни, характер его таланта, характер и значительность задач, которые он ставит перед собой при изображении действительности.

В связи с этим основным моментом стоит сложный вопрос о взаимоотношении мастерства и жизненного опыта. Одно никак не может быть возмещено другим. Процесс, происходящий сейчас в нашей литературе, характерен тем, что многими опытными писателями старшего поколения, положившими начало советской литературе, утеряно ощущение современности и знание современной действительности. Молодые же писатели, пришедшие в литературу из других профессий и участков социалистического строительства, обладают прекрасным знанием и пониманием действительности, но недостаточно владеют еще литературным мастерством.

И нельзя себя утешать тем, что «за отчетный период» в нашей литературе, взятой «в общем и целом», наличествует и высокое мастерство, и глубокое знание жизни. Притча о содружестве

слепца и хромца к искусству неприменима. «Слепцы» должны прозреть, а «хромцы» — крепко стать на ноги. Это «чудо» должно произойти и произойдет, и тогда перед нами предстанут произведения, о которых можно будет сказать, что они средствами высокого мастерства изображают самое существенное в нашей жизни и глубоко откликаются на насущные потребности нашего времени.

Развитие искусства и исторической действительности не всегда совпадают. История отмечена периодами, когда искусство опережало жизнь. Но известны и периоды, когда оно отставало от действительности. Наша литература, при всей своей новизне и достижениях, отстает от социалистической действительности. Это — истина, которая повторяется каждым критиком и читателем. Лучше, конечно, интересная созидательная жизнь и не достигающая ее яркости литература, чем яркая литература и неинтересная жизнь. Однако всего лучше и интересная действительность, и яркое искусство, эту действительность воплощающее и стоящее с нею на одном уровне в ее непреклонном поступательном историческом движении к коммунистическому строю.

★

А пока-что, отметив отсутствие в 1940 году совершенных и глубоких произведений о советской современности, укажем здесь на появление ряда больших и значительных произведений об историческом прошлом.

Эти произведения не оторваны от нашей современности, и они более современны, чем многие произведения, в которых номинально существуют люди и дела наших дней. Обращаясь к историческому прошлому, наши писатели отражают интересы, которые у нас существуют по отношению к прошлому в связи с актуальными запросами современности.

В нашу задачу не входит обзор исторических художественных произведений, появившихся в 1940 году. Но некоторые из них мы должны упомянуть здесь, ибо они являются не только луч-

шими среди произведений исторических, но и вообще лучшими произведениями русской художественной прозы за прошлый год.

Это—очередные книги незавершенной еще трилогии В. Гроссмана «Степан Кольчугин», в которой создан живой, интересный образ рабочего-большевика, и на широком историческом фоне, охватывающем события от начала века до революции 1917 года, описана его жизнь, борьба и формирование его характера.

Это—завершенная в прошлом году, огромная трехтомная эпопея Сергеева-Ценского «Севастопольская страда», в которой описаны исторические дни сева-стопольской обороны, патриотизм и героизм людей, которые в условиях экономической и военной отсталости страны и бездарного управления ею с изумительным упорством отражали на-

падение войск англо-французского империализма и одержали над ними победу.

Это, наконец, — четвертая, последняя книга грандиозной эпопеи Шолохова «Тихий Дон», которую автору настоящей статьи трудно охарактеризовать здесь кратко, потому что он написал о ней и о Шолохове целую книгу, и надеется еще вернуться к спорам об этом романе. Укажем лишь здесь еще раз, что четвертая книга романа Шолохова—это произведение огромной социальной и психологической глубины и совершенного мастерства, произведение, в котором ощущаешь величественные черты того, что будет называться советской классической литературой. И 1940 год войдет в историю советской литературы, главным образом, как год, в котором был завершен «Тихий Дон» Шолохова.

„Надо бы доругаться“*

С. ТРЕГУБ

★

Защищаясь от справедливой критики, всевозможная чирикающая поэтическая живность, так обильно расплодившаяся на литературном насесте, обычно вопиет:

— Вы хотите, чтобы все писали, как Маяковский.

И следом за этой довольно стандартной репликой:

— Он ведь сам говорил:

А мне
в действительности
единственное надо —
чтоб больше поэтов
хороших
и разных...

Верно! Слова Маяковского бьют не в бровь, а в глаз. Только их нужно проносить не скороговоркой, а медленно, раздельно, лучше даже по слогам, тогда яснее проступает их смысл:

...чтоб больше поэтов
хо-ро-ших
и разных...

Значит — не просто «разных» в том смысле, что «все», что «любые». А в том смысле, что они должны быть хорошие поэты и друг на друга не похожие.

В этой связи стоит сослаться на малоизвестное высказывание Маяковского, записанное в 1929 году и опубликованное во втором выпуске стеклографического издания «Живой Маяковский» в 1930 году. Маяковский сказал своему собеседнику:

— Каждый поэт должен иметь собственный голос.

Он назвал фамилию одного популярного «безголосого» и заявил, что из его стихов не помнит ни строчки.

— Когда он бывает мне нужен для ругани, его приходится цитировать по бумажке. Он наиболее печальное явление в современной поэзии. У него — ни одного собственного слова. Он даже хуже, чем О. Мандельштам. Раньше поэтов легко было различать. Блок, Северянин, Сологуб, Бальмонт, Хлебников — все они имели свой голос. По любой строчке можно было определить, чье стихотворение...

Мы не нищие! Маяковский и Блок, Хлебников и Багрицкий, Есенин и Брюсов, — они открывают собой русскую советскую поэзию начала XX века. Народ наш по достоинству ценит таких талантливых поэтов, как Асеев и Твардовский, Тычина и Бажан, Колас и Купала, Табидзе и Леонидзе, Вургун, Маркиш, Зарьян и другие.

Как много говорят нашему сердцу имена Стальского и Джамбула, сказительниц Крюковой и Беззубовой, Алымкула Усенбаева и Гамзата Цадасса.

Однако задача данной статьи не обозрение нынешнего состояния советской поэзии, не подсчет всех ее плюсов и минусов. Назначение статьи другое, более скромное: напомнить, что означает Владимир Маяковский для нашей сегодняшней поэзии, и определить линию сегодняшнего боя на этом участке.

* Статья печатается в порядке обсуждения.

Хороших и разных поэтов должно быть у нас как можно больше. К этому направлены усилия и заботы партийной и советской общественности. Мы кровно заинтересованы в том, чтобы таких талантливых поэтов выращивать, помогать им в их исканиях, чтобы они быстрее обрели и тему, и голос, и мастерство.

Не нужно писать «под Маяковского». В энный раз нужно повторить: «подражатели — не продолжатели». Нам не нужны эпигоны Маяковского, как не нужны любые другие эпигоны. Это элементарно. (К слову сказать, эпигонов Маяковского меньше, чем, например, Апухтина или Гумилева. Последним безопасней подражать. Редко, кто заметит.) Поэты интересны не тем, в чем они подобны друг другу, а тем, чем они отличаются друг от друга. Ведь должно быть совершенно очевидным: если два поэта пишут одинаково, значит, один из них — лишний. Ибо — один — подлинный, а другой — подделка, суррогат. Что с того, что на первый взгляд их бывает трудно отличить друг от друга. На самом же деле они так же различны, как алмаз и стекло.

Недавно вышла книга мемуарных заметок К. Чуковского. В ней мы находим впервые публикуемое письмо Горького, которое имеет прямое отношение к теме нашего разговора.

Алексей Максимович однажды обратился к Чуковскому с предложением написать для журнала «Литературная учеба» статью о том, как учился писать Некрасов. Чуковский незадолго до этого обнаружил среди старых журналов и рукописей ряд тонких пародий Некрасова на Жуковского, Языкова, Бенедиктова, Лермонтова, и ему показалось, что он «воочию» увидел, каким путем шел Некрасов к своему самобытному стилю. Мысли об этом и были изложены в статье.

Каково же было удивление и огорчение автора, когда он получил неодобрительный, сухой ответ Горького:

«Оба ваших совета: подражать классикам и учиться на пародиях могут возбудить некоторое «смятение умов».

Гораздо полезнее учиться у классиков, чем подражать им и заимствовать у них. Второй совет «пародировать» может понудить некоторых начинающих к бесполезной трате времени на поиски нелепого набора словечек, вроде:

Верзилу Вавилу бревном придавило.

Но для того, чтобы даже такие словечки подбирать, нужно быть Измайловым. Затем: что же, начинающие поэты друг друга пародировать будут? Взаимоотношения их и без того не радуют».

Огорченный отзывом Алексея Максимовича, Чуковский послал ему обстоятельное письмо, пытаясь защитить и обосновать свое мнение. Горький и на этот раз не согласился с ним и ответил:

«С вашим утверждением, что подражание и есть один из методов самообразования, мне очень трудно согласиться, несмотря на факты, вами приведенные. Гоголь подражал Марлинскому, но он пошел Гоголем, — мне кажется, уже после того, как перестал подражать. И вообще подражание едва ли учит, а что оно порабощает, это бесспорно. Сейчас добрые три четверти молодой литературы нашей подражательны. Нет, я против подражания, особенно в той его догматической, а вовсе не прагматической форме, как вы утверждаете».

Горький так и не напечатал эту статью. У него был свой взгляд на то, как рождается художник, своя, абсолютно верная точка зрения.

Реплика «вы хотите, чтобы все писали, как Маяковский», несостоятельна. Она в одном случае продиктована непониманием живого значения Маяковского для сегодняшней советской поэзии, а в другом, худшем, ее назначении — желанием увести нашу поэтическую молодежь от лучшего и талантливейшего поэта советской эпохи, от пути, которым он шел, от цели, которой он служил и продолжает служить, — нашей борьбе за полное торжество коммунизма.

Я меряю
по коммуне
стихов сорта,

в коммуну
душа
потому влюблена,
что коммуна,
по-моему,
огромная высота,
что коммуна,
по-моему,
глубочайшая глубина.

По коммуне мерять стихов сорта! Вот его завет. Вот за что и нужно драться!

Редко кому приходит на ум поступить так, как поступил Некрасов, прочтя рецензию Виссариона Белинского на свою первую книгу стихов «Мечты и звуки». Белинский написал полторы странички. Он не привел ни одной цитаты из Некрасова. Он коротенько объяснил, что есть поэзия, и заметил, что ее-то в первой книге Некрасова и нет.

Представляю себе, какой шум поднялся бы в литературной среде теперь, появившись такая «злорыцательская» и «заушательская» статейка.

Некрасов же побежал скупать свою книгу и сжег ее. Так родился настоящий Некрасов, которого мы знаем и любим.

Белинский убедил Некрасова. Кого и в чем убедил Маяковский? Какова его роль, какова его миссия в нашем сегодняшнем советском искусстве?

«Надо бы доругаться»... Маяковский думал об этом даже в последние минуты своей жизни и счел необходимым упомянуть в предсмертной записке «К товарищам-вапповцам».

Надо бы доругаться! В этом чувствуется насущнейшая необходимость. В литературной среде существуют люди разной художественной веры и исповедуют они разное. Им трудно сговориться.

П о м н и т е:

Лошадь
сказала,
взглянув на верблюда:
«Какая
гигантская
лошадь-ублюдок».
Верблюд, же
вскричал:
«Да лошадь разве ты?!
Ты
просто-напросто —
верблюд недоразвитый».
И знал лишь
бог седебородый,

Что это
животные
разной породы.

★

В апреле 1940 года исполнилось десять лет со дня смерти поэта. То, что сказал о Маяковском товарищ Сталин, явилось крупнейшим событием в жизни всех, кому дорога советская литература. «Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи. Безразличие к его памяти и его произведениям — преступление».

Словами этими были скрыты горы лжи, воздвигнутые на могиле Маяковского. Сталин вернул поэта своей стране, своему народу.

Книг Маяковского в магазинах не было, их не переиздавали. «Полное собрание сочинений» к этому времени вышло лишь наполовину, и то в количестве 10 000 экземпляров. Больше года велись безуспешные разговоры об издании однотомника. Стихи Маяковского для детей не переиздавались совсем. По распоряжению Наркомпроса из учебника современной литературы на 1935 год исключили поэмы «Ленин» и «Хорошо».

После смерти Маяковского правительство предложило открыть кабинет его имени при тогдашней Комакадемии. Кабинет не открыли.

Архив поэта, — черновики его произведений, записные книжки, материалы выставки «20 лет работы», которую он сам старательно организовал, — все это было разбросано по учреждениям и частным коллекциям. Часть материалов находилась в Московском литературном музее, который Маяковским абсолютно не интересовался. В бюллетенях музея о нем даже не упоминалось.

Райсовет Пролетарского района предложил восстановить последнюю квартиру Маяковского и при ней создать районную библиотеку. Деньги требовались небольшие. Вскоре выяснилось, что в деньгах отказано.

Подобных фактов можно перечислить великое множество. Вряд ли в этом есть нужда. Картина довольно ясная и определенная.

И вот в этот момент прозвучали слова товарища Сталина. Он освободил Гулливера от пут, которыми оплели его подвизавшиеся в литературе и около нее лилипуты. Он разрушил склеп, в который они пытались замуровать поэта, и признал за ним великое право, — право на современность. Это соответствовало духу всего творчества Маяковского.

Его вернули к жизни. Сталинское слово «остаётся» подчеркнуло активный характер поэзии Маяковского, его передовое, ведущее место в советской поэзии и ныне, и сейчас.

День, когда страна узнала отзыв Сталина о Маяковском, можно поистине назвать большим праздником, и праздником не только литературным. Маяковский принадлежит к тому типу великих мастеров искусства, которые являлись и являются учителями жизни. Вот одна исповедь:

«Мне сейчас 31 год, — пишет инженер — представительница «династии» любящих Маяковского. — Одним из самых ярких, самых важных событий моей жизни было знакомство с поэзией Маяковского.

В моей жизни, в нашей жизни (так как я была не одна) Маяковский появился в начале 20-х годов, когда мы еще учились в семилетке, которая наспех была перекроена из гимназии. В ней еще очень мало было нового, советского... В семье, в быту медленно, неуверенно происходила ломка прежних, дореволюционных традиций, понятий... А здесь еще нэл...

Все было в головах девочек смутно, непонятно...

И вот на этом фоне два томика «13 лет работы», случайно попавшие нам в руки, с портретом Владимира Владимировича, где он «в галстуконной рубашке и с рубашковом галстуком», а потом — он сам на трибуне, как символ новой жизни, нового человека.

Произойшла настоящая революция в начинавшем как-то складываться сознании. Сперва дерзкое отрицание всего, что до сих пор было святыней. Сметать старых выживших идолов — это ли не счастливый удел! Затем утверж-

дение нового, настоящего и будущего, о чем так смело и уверенно звучали слова Владимира Владимировича с трибуны, со столбцов газет, с афиш...

Он учил нас тому, чему должна была учить советская школа, в то время еще не сложившаяся, чему должны были учить старшие, в то время еще очень часто имевшие неустойчивые и просто неверные взгляды.

Мы стали читать Ленина, Маркса, новую литературу. Никогда никому не верьте, что Маяковский непонятен. Нам было 14—15—16 лет, у нас не было даже просто законченного среднего образования, но мы понимали и не могли не понять его. Но, что не доходило через голову, шло через сердце.

Мы не были знакомы с Владимиром Владимировичем, он нас не знал. Мы знали его хорошо, видели и слышали много раз.

Большею частью ходили на его вечера «зайцами» (не было денег). Как-то раз в аудитории Политехнического музея сидели на сцене под роялем во время выступления Маяковского. Публики было много, в зрительном зале все не умещались.

Смерть Маяковского мне была невыносимо тяжела, как смерть бесконечно близкого человека.

Время идет, я до сих пор не могу (и не хочу!) с ней примириться.

Чрезвычайно близко ощущение его товарищей, людей, знавших его лично, писавших в печати, что на шумных улицах Москвы им нехватает большой жизнеутверждающей фигуры Маяковского.

Это верно!!

Для них, для этих людей, которым поэт помогал открыть новый мир, для которых стихи его — жизненная необходимость, великая сила сталинского признания прозвучала как бы оправданием их душевному порыву. Оправданием не перед собой, а перед всем светом. «Смотрите, мы не ошиблись в нем, в нашей горячей любви к нему».

Литературная среда, вернее, та часть среды, которая не признавала Маяковского или признавала его в половину, в четверть, в десятую долю, — обрела

возможность подумать над тем, что произошло. В любой области жизни высказывание вождя служит основой для нового осмысления нашей деятельности, мобилизации всех творческих сил для достижения новых успехов. Выявляются и критикуются ошибки, промахи. Делается это, как широко известно, не для ущемления самолюбия, не с целью самобичевания, а для всеобщего улучшения работы, в порядке нашей советской самокритики. Такой уж повелся у нас хороший обычай.

Острый, принципиальный разговор о смысле и значении сталинской оценки творчества Маяковского был крайне необходим; он был, повторяю, необходим для того, чтобы правильно ориентировать наши старые и молодые поэтические силы. Интересы искусства требовали этого горячего, искреннего, правдивого разговора.

К сожалению, он тогда не состоялся. Честь изрядно поношенных литературных мундиров оказалась выше чести литературы. Сошлись на том, что ничего особенного не произошло; никто никогда ни в чем не ошибался, никто никого не поправлял.

Началось нечто вроде тяжбы между общественным мнением страны и товарищами, которые не успели еще переоценить ценности. Они решили выжидать и маневрировать.

Их выступления против Маяковского носили самый разнообразный характер. Правда, никто не решался выступить открыто с хулой на поэта. Но те, кто вынужден был присоединиться к общественному мнению о величии Маяковского, пытались ограничить и умалить его значение. Они стремились ослабить влияние Маяковского на поэзию нынешних дней, отодвинув его в историю литературы.

Его не удалось, мол, вычеркнуть из живой советской поэзии, так вытолкнем его на педестал! Пусть он окаменеет и забронзовеет в хрестоматии. Мертвый маршал, — рассуждали они, — менее опасен, чем живой боец. Они лицемерно готовы были признать за Маяковским право на века, только для того,

чтобы отнять у него право на современность.

Поэт хотел разговаривать с поколениями, как «живой с живыми». Недруги же хотели только пышно похоронить его.

Тенденции подобного рода проявились по-разному. Мне приходилось уже неоднократно писать о них.

Одни признавали Маяковского поэтом, «конгениальным» лишь эпохе гражданской войны, другие — лишь «одним из лучших пролетарских поэтов». Цитируя сталинский отзыв о Маяковском, они тайком опускали слово «остается», сохраняя слово «был». Выходило, что весь Маяковский принадлежит прошлому.

Третьи пытались расцезь его на куски, отбросив все его дореволюционное творчество. Мы, мол, любим Маяковского не за «Облако в штанах» и не за «Флейту-позвоночник», а за его послеволюционные произведения.

Четвертые пугали нас ужасной опасностью канонизации Маяковского, которая «вот-вот грозит советской литературе».

Отмечалась еще одна разновидность «доброжелателей» Маяковского. В естественном и последовательном процессе его творческого развития они склонны были усматривать смену его убеждений, основ его мышления. Говоря об «эволюции» Маяковского, они расшифровывали этот термин как переход Маяковского с одних идейных позиций на другие. Живучими оказались вульгарно-примитивные схемки, согласно которым Маяковский до Великой Октябрьской революции значился только «социалистом-утопистом», так как ему, дескать, тогда не были еще ясны подробности будущей перестройки мира (авторам бойких статей все было ясно с пеленок!). На дореволюционные произведения поэта наклеивался ярлык «не пролетарские».

Некоторые исследователи Маяковского, чертя кривую его поэтического развития, исходили из абстрактно-схематичного определения футуризма, как «продукта буржуазного разложения». Они не хотели и до сих пор не хотят по-

нять, что футуризм футуризму рознь и футурист футуристу рознь. Как можно не видеть разницы между итальянским футуризмом и русским, между таким футуристическим сладкопестцем, как Северянин, и таким футуристическим громовержцем, как Маяковский?

Истина конкретна. Догматикам никогда не понять ее в силу того, что они — догматики, что они не изучают явлений жизни, не анализируют их, а укладывают ее в окаменевшие формулы.

Если бы они не были так нелюбопытны и ленивы в своих исследованиях, они могли бы легко обнаружить следующее место в статье Маяковского «И нам мяса», обнаруженной еще в 1914 году:

«Говорят, что я футурист?

Что такое футурист? Не знаю. Никогда не слыхал. Не было таких. Вам про это рассказала m-elle Критика. Я «ее»!

Вы знаете, есть хорошие галоши, называются «Треугольник».

И все-таки ни один критик не станет носить этих галош.

Испугается названия.

Галоша, — объяснит он, — должна быть продолговато-овальная, а тут написано «Треугольник». Это ногу жать будет.

Что такое футурист — марка, как «Треугольник».

Под этой маркой выступал и тот, кто вышивал:

Вчера читала я, Тургенев
 Меня опять зачаровал,

и оружие, как хлысты на радении,

Дыр, бул, щил...

И даже марка-то «футуристы» не наша. Наши первые книги — «Садок судей», «Пощечина общественному вкусу», «Требник троих» — мы назвали просто — сборники литературных компаний.

Футуристами нас окрестили газеты...

И дальше:

«Футуризм для нас, молодых поэтов, — красный плащ тореадора, он нужен только для быков (бедные быки! — сравнил с критикой).

Я никогда не был в Испании, но думаю, что никакому тореадору не при-

дет в голову помахать красным плащом перед желающим ему доброго утра другом. Нам тоже не к чему на добродушное лицо какого-нибудь земского барда наколачивать гвоздями вывеску».

Маяковский звал:

«Сегодняшняя поэзия — поэзия борьбы».

Каждое слово должно быть, как в войске солдат, из мяса здорового, красного мяса!

У кого это есть — к нам!»

Не понимать всего этого могут лишь люди, глубоко малограмотные, или те, кто не хочет этого понимать.

Мы пользуемся иным методом познания; «...ни одно явление в природе не может быть понято, если взять его в изолированном виде, вне связи с окружающими явлениями, ибо любое явление в любой области природы может быть превращено в бессмыслицу, если его рассматривать вне связи с окружающими условиями, в отрыве от них, и, наоборот, любое явление может быть понято и обосновано, если оно рассматривается в его неразрывной связи с окружающими явлениями, в его обусловленности от окружающих его явлений».

Этим компасом оснащает нас товарищ Сталин. Им и должны пользоваться люди, которые стремятся понять, чем был в действительности футуризм Маяковского.

«Русского футуризма нет, — писал Горький в апреле 1915 года. — Есть просто Игорь Северянин, Маяковский, Бурлюк, В. Каменский. Среди них есть несомненно талантливые люди, которые в будущем, отбросив плевелы, вырастут в определенную величину...» Он имел прежде всего в виду, конечно, Маяковского. В дневнике Б. Юрковского — близкого к Горькому человека — есть любопытная запись, относящаяся к началу 1916 года:

«...Алексей Максимович за последнее время носит с Вл. Маяковским. Он его считает талантливейшим, крупнейшим поэтом. Восхищается его стихотворением «Флейта-позвоночник». Говорит о чудовищном размахе Маяковского, о том, что у него свое лицо». И снова: «Собственно говоря, никакого футуризм-

ма нет, а есть только Вл. Маяковский. Поэт. Большой поэт...»

Творчество Маяковского, конечно, эволюционировало. У него были и свои заблуждения, которые он преодолевал. Только безнадежный тупица может представить себе Маяковского родившимся законченным коммунистическим новатором. Им он стал. Спор идет о другом. Смеем ли мы наклеивать на его творчество дореволюционного периода ярлычок «не пролетарское», как сделано в различнейших энциклопедиях различнейшими авторами и вокруг чего еще недавно разгорелась общегородская дискуссия учителей в Сталинабаде. Должны ли мы забыть о том, что юншей он состоял членом подпольной большевистской организации, сидел в тюрьме, писал стихи в нелегальном ученическом журнале и в одиночной камере? Или мы обязаны в соответствии с историческими данными, считаясь с фактами, объяснить и показать движение Маяковского как революционного поэта.

Великий Октябрь многое прояснил в сознании Маяковского, окрылил и обогатил его. Мечта о свободном человеке нашла реальные пути осуществления. Но поэт шел к социалистической революции не кривыми переулками и тупиками. Никогда ему не приходилось менять вехи. Он рос, как растет все живое: расправляясь и набирая силы.

Убеждения эти я отстаивал в своей брошюре «Владимир Маяковский». Вышла она в апреле прошлого года. Дискуссия о книгах, посвященных Маяковскому, состоялась в Московском клубе писателей в ноябре. Вначале предполагался специальный пленум правления ССП, приуроченный к X годовщине со дня смерти поэта, где должны были широко обсудить вопросы советской поэзии. Однако пленум не состоялся. Дискуссия вокруг книг о Маяковском призвана была в какой-то осторожной мере восполнить этот пробел.

И вот она — долгожданная — состоялась.

Я не ставлю себе цели подводить итоги разговорам, которые длились не-

сколько вечеров. В них, безусловно, были свои достоинства, хотя дискуссия и пошла несколько по ложному пути.

Но спор не прекратился. В разговоре о Маяковском нельзя придерживаться принципа: слушали — постановили. Дискуссия о нем, вероятно, растянется еще на десятилетия. Ведь спорим же мы до сих пор и о Шекспире, и о Бальзаке, и о славе русской литературы — Пушкине.

Я решил продолжить «неприятный» разговор.

Я употребил слово «я» и почувствовал неодобрительный стыдливый взгляд так называемых почитателей скромности: нельзя ли, так сказать, без личного?!

Попутно хочется заметить.

Нам в литературной работе недостает этого самого «я». Ячества и тщеславия хватает с избытком, оно спокойно прижилось под защитной кровлей «мы», а вот своего собственного «я» — характера, видения, стиля и всего того, чем так богата в нашей стране личность, — нам часто и недостает.

...Ни одна из областей нашего искусства не может сейчас двигаться вперед, если не осознано то принципиально новое, что создано Маяковским, что сделало Маяковского лучшим и талантливейшим поэтом советской эпохи. Я имею в виду основы новой эстетики, которые он своими произведениями заложил и отстоял, красоту нового мира, которую он своими стихами открыл. «Он стремился слить с революционным народом не только содержание, но и форму своих произведений, — говорил о Маяковском товарищ Калинин, — так что будущие историки наверняка скажут, что его произведения принадлежали великой эпохе ломки человеческих отношений».

Это то, что является обязательным для каждого истинно большого художника, что составляет характер и стиль советского искусства.

Все, казалось бы, уже сошлись на том, что Маяковский величина крупная и постоянная. Однако чрезмерное усердие некоторых товарищей, их словесие направлено к тому, чтобы оторвать поэта от грешной земли, по кото-

рой мы ходим; и это усердие не может нас не беспокоить. Оно дало о себе знать во всем ходе дискуссии.

Повезло Маяковскому! То его отлучали от всей русской литературы, называли «нигилистом», то подверстывают к Рембрандту и Игорю Северянину.

Находятся даже литературоведы (С. Витенсон), которые доказывают, что обращение к гротеску и сатире до известной степени роднит поэму «Хорошо» с «Евгением Онегиным», с поэмами «Кому на Руси жить хорошо» и «Двенадцатью», находят в ней общие черты с «Полтавой», «Медным всадником», «Борисом Годуновым» и даже со «Словом о полку Игореве».

Услужливые люди подыскивают для Маяковского достойный ряд. Им невдомек, что он не просто связан с лучшими традициями великого искусства прошлых веков и в этом смысле близок и Рембрандту, и Пушкину, и Блоку. Пик Маяковского, как и пик Горького стоят у начала нового хребта. Следовало бы об этом помнить. А то всех великих можно выстроить в один ряд нето по ранжиру, нето по алфавиту.

Маяковского нужно приземлить! Он ведет себя несколько агрессивно в литературной среде, он беспокоен, но это дорого и ценно в нем.

«... Когда в литературе есть Толстой, — писал Чехов, — то легко и приятно быть литератором; даже сознавать, что ничего не сделал и не сделаешь, — не так страшно, так как Толстой делает за всех. Его деятельность служит оправданием тех упований и чаяний, какие на литературу возлагаются... Толстой стоит крепко, авторитет у него громадный, и пока он жив, дурные вкусы в литературе, всякое пошлячество, наглое и слезливое, всякие шершавые, озлобленные самолюбия будут далеко и глубоко в тени».

Вот о чем вспоминаешь, думая о Маяковском.

А. Фет, рассказывая о ссорах Льва Николаевича с Тургеневым, рисует такую сцену:

«Я не могу признать, — говорил Толстой, — чтобы высказанное Вами было

Вашим убеждением. Я стою с кинжалом или саблею в дверях и говорю: «Пока я жив, никто сюда не войдет». Вот это убеждение. А вы друг от друга стараетесь скрывать суетность ваших мыслей и называете это убеждением».

Вот о чем следует помнить, когда произносишь имя Маяковского. Он стоит «с кинжалом или саблею в дверях» и говорит: «Пока я жив, никто сюда не войдет». Он стоит на посту и охраняет двери нашей литературы от лазутчиков и лицемеров, от дурных вкусов, от наглого и слезливого пошлячества и халтуры.

Почему же подымается такой душевраздирающий крик, когда пытаешься сослаться на живого Маяковского и им изобличить мертвые стихи того или другого поэта: «Караул! Из Маяковского делают дубинку, пугало, жупел». Как делают? Маяковский сам из себя сделал и «дубинку», и «пугало» для плохих поэтов.

Он критиковал поэтов за «пастушески-пасторальную оснастку» и за «грошовый романтизм», зло ополчался против «закурчавливания волосиков на старой облысевшей голове старой поэзии», поправлял идеологию таких поэтов, как Иван Молчанов.

Это ведь Маяковский писал:

Раньше
маленьким казался и Лесков —
 рядышком с Толстым —
 почти не виден.
 Ну, скажите мне,
в какой же телескоп
 в те недели
 был бы виден Лидин?

Маяковский определил творчество Дорогойченко, Родова как «однообразный пейзаж»; он назвал Безыменского «морковным кофе», о Доронине сказал: «утомительно и длинно, как Доронин», заметил, что от Тальникова по журналам остаются пятна, высмеял неумных критиков, которые, умилившись парой рифмочек, почитают «поэтика гением»:

Одного
называют
красным Байроном,
 другого —
самым красивым Гейне.

Разве не Маяковский в абсолютно миролюбивом «Послании пролетарским поэтам» тревожился о том:

чтоб не обмелели
наши души,
чтоб мы
не возвели
в коммунистический сан
плоскость раешников
и ерунду частушек...

Может быть, всего этого и не было?!
Может быть, не он, а какой-нибудь злоумышленник, чтобы сделать Маяковского «дубинкой», «пугалом», «жупелем», написал стихотворение «Верлен и Сезанн» и тиснул его за подписью Владимир Маяковский?!

Пусть те, кто пытается превратить Маяковского в старого, доброго, слезливого мецената всякой поэтической дребедени, слушают:

Я жизнь
отдать
за сегодня
рад,
Какая это громада!
Вы чувствуете
слово
пролетариат? —
ему
грандиозное надо.
Идею
нельзя
замешать на воде —
в воде
отсыреет идея.
Поэт
никогда
и не жил без идей.
Что я —
попугай?
индейка?
К рабочему
надо
итти серьезней, —
недооценили их мы.
Поэты,
покайтесь,
пока не поздно,
во всех
отглагольных рифмах.
У нас
поэт
события берет —
опишет
вчерашний гул,
а надо
рваться
в завтра,
вперед,

чтоб брюки
трещали
в шагу!..

Достаточно? Или нужно продолжить доказательства того, что Маяковский не был ни баптистом, ни вегетарианцем?

Даже во вступлении к предсмертной поэме «Во весь голос» поэт счел необходимым поиздеваться над теми, «кто стихами льет из лейки...»

Да и потом — дай бог памяти! — имел же он кого-то в виду, когда несколько раз подряд писал, — то в «Юбилейном» Пушкину:

Что же о современниках?!
Не просчитались бы,
за вас
полсотни отдав, —

то в «Разговоре с фининспектором о поэзии»:

Конечно,
различны поэтов сорта.
У скольких поэтов
легкость руки!
Тянет,
как фокусник,
строчку изо рта
и у себя
и у других.
Эти
сегодня
стихи и оды,
в аплодисментах
революционные,
войдут
в историю,
как накладные расходы,
на сделанное
нами —
двумя или тремя.

Будь все это не к ночи сказано! И в мыслях моих нет желания покушаться на добрый сон товарищей — как упомянутых Маяковским, так им и не названных. Важно другое: показать живого поэта, снять с него «хрестоматийный глянец», который наводят на него мнимые друзья.

Нам предлагают Маяковского «разрядить»; того требуют частные, мелкие интересы уязвленных им литераторов. Мы не согласны с этим предложением. Мы убеждены в том, что интересы советской литературы и всего советского

искусства требуют другого: воинствующего Маяковского.

Маяковский мечтал, что в «коммунистическом далеке» люди будут с уважением ощупывать его железки строк, «как старое, но грозное оружие». А кое-кто готов уже теперь признать его поэзию оружием старым, но не грозным. А ведь оно обнажено!

★

В последних числах ноября прошлого года в «Правде» появилась моя статья «Неоправданные восторги». В ней шла речь о том, что литературная критика наша порой легко поддается увлечению, ставит необоснованно высокие критические отметки за произведения, отнюдь того не достойные. Таково было назначение статьи. Примером служили отзывы критиков на стихи поэтов — С. Шипачева, В. Шефнера и А. Яшина. Двое последних — поэты молодые, первый намного старше их и в литературе работает не один год.

Разъясняя очевидное: все они друг на друга не похожи, их нельзя объединить одним творческим знаменателем. Шипачев не Шефнер, Шефнер не Яшин. Тема статьи заключалась в другом: показать ошибки критики на разных поэтах; показать, что восторженный пыл моих сотоварищей-критиков в данном случае ничем не оправдан, что елей их никому не принесет здоровья.

Ни за кем из упомянутых поэтов нельзя отрицать талантливости. О Шипачеве было даже особо оговорено, что он поэт растущий и что в его сборнике «Лирика» есть по-настоящему хорошие стихи. Имелось прежде всего в виду: «Солнце», «Танки в колхозе», «Вступление в Чертков», «Трибуна XVIII партсъезда». Однако книга его не лишена недостатков. Критики (я имею в виду «доброжелателей») писали о них петитом, почти как примечания. Если их высказывания суммировать, то получается нечто следующее: разительное смысловое и эмоциональное противоречие полностью уничтожает действие некоторых его стихов. В лирике его сквозит иногда между строк ветерок умиротворенности, которая может обра-

таться в благодушие. Стихи о любви, о семье, о природе — пусть теплые, милые — похожи на многие подобные им, напечатанные в старых журналах конца XIX века. Недостаточна и техническая вооруженность поэта: ритм его стихов однообразен, рифма часто такая, что и рифмой-то ее назвать можно только потому, что она стоит на отведенном для рифмы месте. Скучен и запас слов: не потому ли так часто повторяются у него звезды, снег, дождь, клены; эпитеты — светлый, ясный? Из стихотворения в двенадцать строк четыре можно свободно вычеркнуть и т. д.

Все это, повторяю, мною не придумано. Здесь добросовестно выписано лишь то, что напечатано в отзывах на «Лирику», а отзывов накопилось уже больше, чем стихов в этой книге. Все эти критические замечания не лишены оснований. Они важны тем более, если учесть замечание Маркса, что «идеи не существуют оторванно от языка».

Но самое удивительное в том, что «частности» не помешали товарищам критикам все же потерять чувство меры. А. Адалис расписалась в том, что «лучшим нашим лириком в типичнейшем и буквальном смысле этого слова явился сегодня Степан Шипачев». Что значит: в «типичнейшем и буквальном смысле», так и осталось неразъясненным.

В. Перцов успел тоже заявить в одной из своих статей в «Литературной газете», что «с настроениями победителя связано в стихах Шипачева ощущение космоса как предистории человечества. Дряхлое время в стихах его молодеет на службе у коммунизма». И все остальное в таком высокопарном роде.

Зашевелились и, обычно столь неподвижные, толстые литературно-художественные журналы. Они начали обобщать и теоретизировать. В журнале «Знамя» напечатали статью Д. Данина «О философской лирике и стихах С. Шипачева». Вслед за Перцовым Данин потревожил тень старика Тютчева. Этого для сравнения оказалось мало. Автор вызвал на помощь дух Омар Хайяма — иранского поэта и ученого XII века. Критик торжествовал. Ему удалось установить, что Шипачев «сделал

попытку преодоления традиции», что он «тяготееет в своей новой книге к жанру философской лирики». Смелое открытие: «сделал попытку» и «тяготееет». Ради него стоило трудиться.

При этом всячески восхвалялось стихотворение «Снежинка» — одно из наиболее неудачных стихотворений.

За Д. Даниным поспешили и другие. Скажу от души, было жаль Шипачева. Думалось: критики свое дело сделали, а ему, бедному, придется за них расплачиваться.

В необходимости отрезвляющего выступления убедила меня еще и рецензия В. Бакинського на первый сборник стихов В. Шефнера «Светлый берег», помещенная в ленинградском журнале «Звезда».

Судя по напечатанным стихам, Шефнер тоже, безусловно, одаренный юноша. Одаренность его легко обнаружить в «Легенде о мертвых морях Британии», в «Напутствиях», в «Неправильном сонете». Однако живое в сборнике борется с мертвым, оригинальное — с эпигонским. Свежая строфа растворяется в потоке обветшалых, за которыми не чувствуешь ни реальности, ни правды.

Читаешь, например, «Наступление»:

По бездорожью белой степи,
Стремясь к победному концу,
Шли атакующие цепи
Навстречу стали и свинцу.
Они редели на бегу,
И был для многих день печален.
И много розовых подпалин
В тот вечер было на снегу...

Каким эстетским холодом повеяло от этих изящных «розовых подпалин». Разве это кровь?

Критику было о чем поговорить с молодым, ищущим своей дороги в искусстве, поэтом. А что получилось? Взяли да в очередной раз написали, что читатель имеет дело с «замечательным явлением», что «Светлый берег» — это «событие в нашей молодой поэзии», и снова насчет философии, которой эта книга богата.

Лучшими образцами сборника критик признал «Подсолнечник» и «Древнюю крепость». Какова философия «Древ-

ней крепости», уже писалось в статье «Неоправданные восторги». Обратимся к «Подсолнечнику». Кончается стихотворение так:

Он врос в земли тугую бездну
Корней сцеплением тугим, —
И стало то ему полезно,
Что было гибелью другим.
А я стоял у той ограды,
Молчали пыльные листы.
И не дающие прохлады
Склонялись чахлые кусты.
И пот ручьями тек по коже,
И было небо все в дыму,
И душно было мне, — и все же
Я не завидовал ему.
И никогда мне не мечталось
Стоять, как желтые цветы,
На трав смертельную усталость
Бесцельно глядя с высоты.

По сему поводу В. Бакинський написал нечто несусветное: «Этими строками может гордиться советская поэзия. Здесь нет готовой мысли, которая спешит найти более или менее приличную подругу — аналогию; философская мысль выступает братом и двойником образа, она создается самой совокупностью образов, формулируется в процессе поэтического восприятия, как формируется из простейших клеточек сложный организм. Человек и мир объединяются здесь одним целостным созерцанием, одной мыслью».

Чем же все-таки может гордиться советская поэзия? Какая великая философская мысль в «Подсолнечнике» выступает братом и двойником образа? Попытаемся разобраться.

В летний душный день поэт встречается с подсолнечником, который и послужил поводом для «философского» осмысления собственного бытия. Подсолнечник, странствующий и в других стихах современных поэтов, в отличие от всех ему подобных, «врос в земли тугую бездну». Растение это, как широко известно, обладает действительно «мощным» корнем. Тем не менее подсолнечник — все же не дуб, и вышеупомянутая «бездна» характеризует его корневые качества не слишком точно. Далее поэт заметил, что подсолнечнику полезно то, что гибельно другим. Замечание это столь же меткое, сколько и древнее.

И. Северянин:

Как мечтать хорошо вам,
в гамаке камышевом,
Над мистическим оком—над бестинным
прудом!

Как мечты-сюрпризёрки
Над качалкой грезёрки
Истомленно лунятся: то — Верлен, то —
Прюдом.

Вот куда уходят эстетические корни коваленковских качелей. Их родоначальница — северянинская качалка!

Мнимое глубокомыслие—паразит мудрости. Плодить его не следует. Умиляться камерной поэзией, в которой мир—с горошину, сводить лирику лишь к традиционным описаниям любви и разлуки, — значит, обеднить поэзию, ложно ориентировать ее молодые силы.

Битвы революций
посерьезнее «Полтавы»
и любовь
пограндиознее
онегинской любви.

Наша поэтическая молодежь должна жить этими новыми масштабами. Ими, т.е. ощущением современности, ее дыхания и пульса, прежде всего определяется сила и степень таланта.

Ощущение современности — это не только стихи на темы современности, и не только о ней. Да, можно и нужно писать и о «Полтаве», и об онегинской любви, но писать не так, как писали об этом в старые времена. О чем бы поэт ни писал, чего бы он ни касался, всюду должно чувствоваться новое время, в которое стих написан, и человек, его написавший: его ощущение мира, его отношение к миру. Оно проявляется по-разному в различных стихах.

Взять хотя бы такие уже обжитые лирической поэзией понятия, как... камни и травы. Недавно вышла даже книга стихов, озаглавленная «Камни и травы». Принадлежит она молодой поэтессе Маргарите Алигер — человеку даровитому, желающему по-своему видеть жизнь, по-своему выражать ее.

Стихи Алигер лишены ханжества. Они сердечны, искренни. О книге появились рецензии. Из одной, напечатанной в «Комсомольской правде», явству-

ет, что «описания каменистых троп и горных речушек, весенней листвы и пестрых закатов служат Алигер лишь фоном для зрелой и полновесной поэтической мысли», что «величие природы Алигер связывает с темой величия человека» и что «пейзажи в ее стихах органически сплетены с размышлениями о мужестве и честности, о верности в дружбе».

Как связывает? Как сплетены? С какими размышлениями? Критик обошел недоуменные вопросы.

На них попытался ответить в «Известиях» К. Симонов. Рецензия его названа «В поисках радости». Он считает, что «Камни и травы» — книга действительно о радости жизни, о поисках этой радости. Но, поставив перед собой правильную задачу, Алигер «в ряде случаев пошла по неправильной дороге». Критик пишет: «Поиски радости — прекрасная вещь, и книга, написанная о радости жизни, — очень нужная книга. Но она бесконечно проигрывает, когда поиски радости идут обходными путями, когда мимо трудностей жизни пробегают, стыдливо зажмурившись и по существу лишая себя главной жизненной радости — борьбы с препятствиями, стоящими на нашем пути. А разве не в этой борьбе достигается счастье жизни? Об этом забыла Маргарита Алигер, составляя свою книгу — книгу талантливую, но из-за этой большой ошибки ставшую слишком легкой и не всегда правдивой».

Ключ к книге, к ее идеям и настроениям все же не был найден, хотя и лежит он на месте, открытым и видном. Но не будем торопиться с выводами. Прочтем стихи и поразмыслим вслух.

Сборник открывается циклом «Дорога в горы».

...Я счастлива.

Я твердо верю в камни
да в вырезное небо, в этот свет,
устало оседающий в глубины,
да в этот день неощутимо длинный.

Позволь мне только в шелесте и пеньи
тех каменных, тех вертикальных рек,
в молчаньи опуститься на колени
и просто благодарными руками
обнять, как друга, старый теплый камень,
как это может сделать человек.

Это из вступления. Кажется, что уже несколькими строками Алигер сказала о себе больше, чем в статьях о ней, во всяком случае сказала она о весьма существенном и важном для характеристики своего творчества: «Я счастлива. Я твердо верю в камни...»

Стихотворение «Заря» как бы подтверждает это:

...Но я не верю мертвенности гор.
Они — народ, судьбой соединенный,
зажить решивший неподвижной, глуше.
У них большие искренние души,
и нрав прямой, и жесткие законы,
и каменный короткий разговор.
И знаю я, что в их законах есть
столетиями обдуманная месть
бродячему, крикливому народу,
но я ее нисколько не боюсь...

Бродячий, крикливый «народец» — это, должно быть, мы с вами. Это нам мстят горы. Что есть человек? Червь и только. Что есть жизнь его? Суета сует.

...У них большие искренние души,
и нрав прямой, и жесткие законы,
и каменный короткий разговор.

А что в людях? Вот почему она и говорит в стихотворении «Спутникам»:

...Я давно учусь
иной, не городской, не здешней дружбе.
Я о таком порыве говорю,
что чувствуешь, когда еще спросонок
встречаешь в поле круглую (?) зарю,
родную, как проснувшийся ребенок.
О том тепле, что чувствуешь, когда,
дрожащим светом осенев березы,
между стволами теплится вода,
сияющая, тайная, как слезы.
До света встать, умыться и пойти,
большим покоем сердце очищая,
и вдоволь, от души, молчать в пути,
дыханье друга рядом ощущая.
Так много нам дано над головой
живого неискромсанного неба,
что люблю нам делить между собой
глоток воды, табак и корку хлеба,
клочок тепла и полотняный кров.

Подальше от лживых городов с «искромсанным» небом! Идите сюда—в горы, к камням и травам, все страждущие и алчущие; сюда к этой красе «извечной, дикой, бесполезной», в этот мир «без выдумки, без фальши», дабы очистить свои души «большим покоем».

Я так отныне постараюсь жить,
как между гор,
под звездами,
в дороге.

Там ни солгать, ни изменить нельзя.

Отсюда в стихотворении «Кош» такая зависть к шалашной жизни пастухов и пастушек:

Две скамейки — две постели,
Каменный очаг.
Мы бы тоже так хотели
Жить без всякой канители,
Простодушно так.

За сим «простодушием» следует признание:

Мы б хотели тоже верить,
Признаваясь вслух,
Будто счастье в нашей власти,
Будто принесет нам счастье
Углем на дощатой двери
Нарисованный петух...

Похвальная откровенность! Но что общего имеет это сусально-дедовское представление о счастье с нашим представлением о нем?!

Даже в лучшем стихотворении сборника «Гендриков переулок», посвященном Маяковскому, те же мотивы. Их трудно было обнаружить, читая это стихотворение отдельно само по себе, вне сборника, вне связи с другими. Оно выглядело довольно милым. В книге же оно находит свое место в общем ряду, логика его становится не частной, а общей.

Маргарита Алигер старается спасти поэта от трагической смерти, она ищет для него выхода, иных решений.

...Но я хочу, чтоб он тогда решил,
не знаю что, но как-нибудь иначе.
Чтоб вечное желанье вечно жить
его уж не покинуло вовеки,
чтоб он с природой стал тесней дружить,
любить деревья, ручейки и реки.
Расправив плечи вещевым мешком,
по каменной тропе, по снеговому мосту
отправился к товарищам по росту,
в живые горы бы ушел пешком.
Польным ветром бы наполнил грудь,
унес бы вкус пастушеского дыма...

Вместо того, чтобы крикнуть ему: ближе к людям, которые были Маяковскому всего дороже (в минуту отчаяния так нужны чуткие и заботливые друзья. Они выбили бы из рук поэта

маузер, нашли бы простые и мужественные слова любви, способные дойти до его мозга и сердца, способные разрушить мрачную обволакивающую его пелену безысходности), — вместо этого Алигер говорит: ближе к деревьям, ручейкам и рекам! Она увела бы его подальше от людей, к товарищам по росту в «живые горы». Здесь, полагает она, Маяковский нашел бы исцеление.

По меньшей мере странным выглядит в наше время такое воскрешение идеалов Руссо, такое возвеличение «души» камня и такое умаление души человека.

И прежде чем восхищаться библейскими настроениями Алигер, поэтическому «течению», к которому она принадлежит, следовало бы подумать над тем, куда течет «течение»?

Вопрос — не праздный как для творчества Маргариты Алигер, так и для творчества некоторых других товарищей, которых порой превозносят за поэтичность и талантливость «вообще».

Критика сделала бы благое дело, если бы напомнила Маргарите Алигер и ее единомышленникам в поэзии следующее высказывание Горького: «До поры, пока мы не научимся любоваться человеком, как самым красивым и чудесным явлением на нашей планете, до той поры мы не освободимся от мерзости и лжи нашей жизни. С этим убеждением вошел я в мир, с ним уйду из него и, уходя, буду непоколебимо верить, что когда-то мир признает: святая святых — человек».

Написано это было в 1915 году и, как это очевидно, может быть не без пользы повторено сейчас.

Нам нужны стихи о красоте и величии природы, о родной земле нашей, ее богатствах. Природа облагораживает человека. Это бесспорно. Кто смеет против этого возражать? Но в этих стихах должно проявиться новое, революционное отношение человека к природе: активное, умное отношение, характеризующее величие человека.

Строй
во всю трудовую прыть,
для стройки

не жаль ломаний!
Если
даже
Казбек помешает, —
срыть!
Все равно
не видать
в тумане.

Напрасно Алигер полагает, что

Вся земля одинакова, землю менять
не придется.
Только люди повсюду должны быть
такие, как мы.

Мы изрядно изменили лицо земли: осушили болота, сделали урожайными некогда пустынные пространства, проложили новые русла рек и магистраль железных дорог, пробрили в горах туннели, насадили сады и леса, а кое-где — на месте берез и сосен — понастроили фабрики и заводы, воздвигли города в глухомани. Да мало ли что сделано. И земля не везде одинакова. Ее придется еще кое-где менять и преобразовывать на новый, советский лад. Мы не сторонники пассивного, «сутубо созерцательного» отношения к природе.

Боясь, как бы очередная ссылка на Маяковского не вызвала раздражения у некоторой части литераторов (опять сравниваете с Маяковским!), я приведу в пример другого, молодого и менее популярного поэта — Вадима Стрельченко. Несколько лет назад им напечатано стихотворение «Верность». В нем имеются такие строки:

За польнюю горькой рожь золотая!
Я иду по тебе, земля,
По вкусу трав и корней узнавая
Близость людского жилья.
.....
Что мне ветви зеленые?
Мать — природа!
Выструганная руками друзей,
Мачта голая
Волжского парохода
Краше дерева и родней.

Конечно, не обязательно противопоставлять зеленые ветви «голой мачте» волжского парохода. Но здесь рвется традиционная стихотворная связь, и человек выступает не беспомощным созерцателем чудес природы. Он не раздавлен открывавшейся ему красотой мира. Трава приближает его к людскому

жилью, и дело рук человека, труд человека вызывают в нас чувства законной гордости.

Ясности ради скажем людям, которым достаточно двух слов, написанных рукой человека, чтобы найти основание для его казни, что ссылка на Маяковского и Стрельченко не означает: пишите так-то, а не так-то. Здесь не дается никаких рецептов. Важно сказать: не повторяйте Фета, не копируйте стариков, смотрите на мир своими глазами, находите свои краски.

Когда Алексей Максимович впервые, в 1915 году, выступил в защиту футуристов и произнес знаменательное «В них что-то есть!», он определил это «что-то» так: «Они молоды, у них нет застоя, они хотят нового, свежего, и это достоинство несомненное». Мы вправе искать этой творческой молодости в каждом новом поэте. И где, как не в первых его творениях, должно бушевать это свежее, дерзкое, молодое чувство?!

В самоопределениях Маргариты Алигер много сентиментально-расплывчатого, неопределенного, а идиллические картинки ее полны какого-то патриархального благополучия.

В первом случае:

Так же, как реке текучесть
переменных вод,
мне по сердцу эта участь,
это светлое круженье,
это вечное движенье
и всегда вперед!

Во втором случае, о старике-пасечнике:

Он идет по прямой тропинке,
пчелы следом за ним жужжат.
В теплом воздухе паутинки
загораются и дрожат.
Вдохновенного долголетия
на лице у него печать.
Он идет.

Выбегают дети
на тропинку его встречать.
Так бы вот и сидел на призбе.
Зной спадает.
Совсем легко.
Свежий гречневый коржик грыз бы,
Пил из глечика молоко.

В ее стихах о любви можно легко узнать то интонации Ахматовой, то Цветаевой, то Пастернака:

Не лишай меня права тебя ревновать,
задыхаясь от каменной муки.
Прикажи мне уйти для того, чтоб узнать
освежающий холод разлуки.

И здесь же, среди прочих универсальных определений любви есть такое:

Это храбрость, и страх, это пламень и дрожь,
унижение, величье и честность и ложь,
из которых слагается счастье.

Вдруг вас неприятно поражает декадентская изощренность образа, краснота, напоминающая скорее оперную бутафорию, чем истинную красоту природы:

Мне подарили узкую зарю,
и, как вино в невидимом бокале,
она стоит в сияющем пространстве
меж двух вершин.

К сожалению, «гражданские мотивы» в книге приглушены. А стихи, в которых они слышны, сделаны поэтически слабее других. Я имею в виду «Старуху», «Городок», «Еврейской девушке», «Вокзал в Бресте» и «Хотта — танец басков».

Вот как она передает счастливое волнение старухи, встретившей в Западной Белоруссии красноармейские части:

Нужно больше нести вот такого же
доброто света,
больше мужества, нежности, веры в
людские сердца,
человеческих слов и того молодого привета,
что узнала старуха в глазах знаменосца-бойца.

В другом стихотворении того же цикла поэтесса говорит:

Мы затем вступили в этот город...
с мирным сердцем, с песней боевой,
чтоб нарушить бесконечный дождик,
чтоб раздвинуть каменные тучи,
чтобы вдохновенными руками
небо приподнять над головой.

Как может заметить читатель, эти строки и им подобные носят несколько декларативный характер. В них больше перечисления качеств, чем их выявления.

Поверхностное, умозрительное ощущение приводит Алигер к грубому искажению действительности даже в таком наиболее «благополучном» цикле

стихов, как «Невысокое небо». Прочтите «Городок»:

...Люди смотрят жалобно и робко,
Семят трусливо по панели.
Очень трудно сразу разобраться,
Кто из них друзья и кто враги.
Среди них советские ребята
Гордо носят светлые шинели,
По-хозяйски ставят на булыжник
Крепкие смазные сапоги.

Почему люди смотрят жалобно и робко? Почему они семят трусливо по панели? Картина эта скорее соответствует торжеству победителя среди побежденных, чем торжеству освобожденного народа, радости его братского воссоединения, т.е. именно тому, чем памятно вступление Красной армии в Западную Белоруссию.

Обо всем этом крайне важно сказать молодой поэтессе. Пусть подумает, пусть проверит себя, пусть посоветуется со своей критической совестью. Ведь это бывает так необходимо.

По сему поводу критику не нужно искать ватных формулировок. О серьезном следует говорить серьезно. Уступчивость, уклончивость, мягкосердечие никогда не были и не могут быть достоинством критики. Черты эти — скорее признаки ее бессилия.

Конечно, строгим осуждением может огорчиться автор. Но поэзия воспитывает, ведет, учит. Мы вправе интересоваться: как воспитывает, куда ведет, чему учит?

Чернышевский в своей блестящей статье «Об искренности в критике» писал: «Если вы думаете, что говорить кому-нибудь неприятное нельзя ни в каком случае, ни для какого блага, то положите на уста ваши палец молчания, или откройте их затем, чтобы доказывать, что всякая критика вредна, потому что всякая критика кого-нибудь огорчает». И еще он подчеркивал: «...если перед вами два романа, отличающихся фальшивой экзальтацией и сентиментальностью, и один из них носит имя неизвестное, а другой имя, пользующееся весом в литературе, то на который вы должны напасть большею силой? На тот, который, более важен, т.е. вреден, для литературы».

Маргарита Алигер принадлежит к тому ряду молодых поэтов, которые пользуются уже известностью среди литераторов. О ее заблуждениях важно говорить, ибо они представляют определенную опасность для творчества самой Алигер и, оказавшись нераспознанными, могут принести вред нашей молодой поэзии.

Товарищи, склонные восторгаться стихами Алигер, часто повторяют слово «лирика». В их устах оно служит объяснением и оправданием всему.

Следует при этом заметить, что самый термин «лирика» — жизнь и душа всякой поэзии — ограничен темами любви, дружбы, природы. Книги «лириков» обычно делятся на стихи подлинно «лирические» и «гражданские». В «лирических» представлен поэт, его домашний мир, муки его сердца; в «гражданских» — события окружающего его мира. Разделы эти отгорожены друг от друга не только формально, специальными оглавлениями; они разнятся и по существу: по мыслям и тону. В «лирических» стихах преобладает всяческий минор; «гражданские» же, наоборот, оптимистичны и не в меру бодры.

Как легко понять, я имею в виду не разность голоса, не разность поэтического тембра.

Разнообразны

души наши.

Для боя гром,

для кровати —

шопот.

А у нас

для любви и для боя —
марши.

Извольте

под марш

к любимой шлепать.

Правда этих слов вряд ли нуждается в доказательстве. Нам дороги в поэзии и любовный «шопот» и боевой «гром». Однако разнообразность душевных потребностей, богатство наших переживаний — это не двоедушие и не троедушие. Это не разное отношение к явлениям жизни, а разнообразное проявление одного и того же сознания, одного и того же сердца. И это многостороннее проявление человеческого интеллекта не имеет

ничего общего с тем, что в «лирике» поэт существует мещанином, а в «гражданских» стихах слывет коммунистическим ура-ортодоксом. Такого органического сожительства не может быть. Потому-то мы и вправе усомниться в полной искренности поэта, который барабанит гладкими стихами на «темы дня» и слезоточит, едва муза коснется его личности.

Лирика — это не круг тем. Она — свойство поэта привносить себя, свое субъективное «я», в свое творчество. Она — мелодия его сердца.

«Все общее, все субстанциональное, всякая идея, — всякая мысль — основные двигатели мира и жизни, — писал Белинский, — могут составить содержание лирического произведения, но при условии, однако ж, чтоб общее было претворено в кровное достояние субъекта, входило в его ощущение, было связано не с какой-либо одною его стороною, но со всею целостью его существа. Все, что занимает, волнует, радует, печалит, услаждает, мучит, успокаивает, тревожит, словом, все, что составляет содержание духовной жизни субъекта, все, что входит в него, возникает в нем, — все это приемлется лирикою, — как законное ее достояние».

Лирическим дыханием согрет эпос Гомера и драмы Шекспира, поэмы Пушкина и Байрона, «Божественная комедия» Данте и «Фауст» Гете.

И чем личность поэта глубже и сильнее, чем он более поэт, тем значимей след души его на его творениях и тем шире его лирическая тема: он живет многим. Революция, сталинизм пятилетки, наша борьба за коммунизм — стали лирической темой произведений Маяковского. Поэт разрушил дачные представления о лирике.

Это
время гудит
телеграфной струной.

Это
сердце
с правдой
вдвоем.

Это было
с бойцами
или страной.

Или
в сердце
было
в моем.

Такова степень тождественности, слитности поэта со своей родиной, с советским народом. Вот почему субъективная, лирическая сторона Маяковского открывается нам и в его стихах о возлюбленной, и в описаниях Атлантического океана, и в «Разговоре с товарищем Лениным», и в поэме «Хорошо».

Всюду мы обнаруживаем его живое, естественное, органическое чувство.

Об этом нужно напомнить людям, которые из слова «лирика» построили ограду для своих поэтических беседок. Но что толку в этом напоминании? Им ведь нужно другое, — важно, чтобы Маяковским никого не «кусали», чтобы-де «мертвый не хватал живого».

Формула примерно такая: «Все, кому дороги судьбы поэзии, должны порадоваться успеху товарища, тому, что написано новое произведение и что поэт такой-то одержал победу на своем творческом пути». Не спрашивайте, что собой представляет это произведение и составляет ли оно победу не только на пути товарища, но и на пути советской литературы. Пути эти не всегда совпадают, и не всегда «победы» товарища представляют общественный интерес.

Формула, ее тенденция во многом напоминают картину, живо нарисованную Маяковским:

Варят чепуху
под клубы
трубчатого дыма, —
всякую уху
сожрет
читатель — Фока.
А неписаная жизнь
проходит
мимо
улицей фыркающих окон.
А вокруг
скачут критики
в мыле и пене,
— Здорово пишут писатели, братцы!
Гений — Казин,
Санников — гений...
Все замечательно!
Рады стараться!

Может, и будет кому-нибудь польза от подобного содружества, делу же со-

ветской литературы оно ничего, кроме вреда, принести не может.

Нашлись люди, которые поторопились «с полной ответственностью» объявить, что поэма Д. Алтаузена «Пробуждение героя» — большая победа на его творческом пути, «победа, завоеванная исканиями и трудом». Следуя вышеупомянутой формуле, они призвали порадоваться успеху товарища.

После появления рецензии в «Правде» «Две легенды» — о романтической легенде, написанной Алтаузеном, и хвалебной легенде, созданной его покровителями, выяснилось, чего в действительности стоят эти «победы, искания и труд». Выходит, что радоваться-то еще нечему и «свадебных генералов» пригласили зря.

Задним числом попытались защитить поэму А. Жарова «Варя Одинцова», подвергнутую в свое время критике на страницах «Правды». В защиту ее было сказано, что написана она-де «на очень дефицитную в нашей поэзии колхозную тему». Тема действительно «дефицитная». Ну, а какова все же поэма?

В. Лебедев-Кумач положительно отзывался о переводе Жарова поэмы чувашского классика Иванова «Нарспи»; хотя и оговорился, что не знаком с чувашским языком и не имел в своем распоряжении подстрочника. Тем не менее, переводчик сделал «большое и нужное культурное дело».

На поверку же выходит несколько другое. В газете «Красная Чувашия» (от 23 ноября 1940 года) напечатана статья: «Нарспи» ждет нового перевода». Из нее явствует, что перевод А. Жарова далек от подлинника, «как небо от земли». Примеры, которые приведены в статье, говорят о том, что «равнодушный переводчик делал свою работу наспех, не вникая толком в смысл переводимого им произведения», и что «поэзия Иванова, этого замечательного поэта чувашского народа, преподнесена русскому читателю в искаженном виде».

Так склонны думать люди, которые знакомы с чувашским языком и имеют возможность сравнить перевод с подлинником.

Кирсанова вот выдали на «растерзанье», и выдали несправедливо. Товарищ Перцов заявил на дискуссии, что всю свою поэтическую деятельность Кирсанов основал «на культуре отдельного приема Маяковского», на каламбуре, игре слов. Эта точка зрения вызвала сочувствие у многих присутствовавших. Если она правильна, то как объяснить, почему Маяковский считал Кирсанова «прекрасным поэтом» и почему он, жалея Европу за слабое знакомство с советской поэзией, в ряду с несколькими нашими поэтами назвал Кирсанова.

Смею полагать, что Кирсанов, безусловно, настоящий поэт, и он стоит многих поэтических кукушек, которым благодарные петухи успели пропеть здравицу.

Его есть за что критиковать и критиковать резко. У него можно встретить пустую породу. Поэзия порой подменена декламационностью. Бывает, что он попадает в плен стихотворной техники. Это опасно, очень опасно. Но Кирсанов — живой поэтический организм. Он плавит и плавит словесную руду, его поток не пересыхает. Поэт во многом еще впереди. Петь ему зауспокойную, как и другим, не следует.

Так оборачиваются разговоры о Маяковском сегодня. Некоторые радуют себя тем, что огромное большинство наших поэтов — прямые наследники Маяковского. С этим можно согласиться в том смысле, что огромному большинству советских поэтов завещано это наследство. Богатства нужно осваивать и приумножать.

Как и вся работа большевистской партии, литература наша — боевое, революционное дело. Маяковский был в курсе жизни, в курсе мирового пролетарского движения. Мысли Ленина и Сталина питали его поэтическую музу. Каждая строка его была подчинена интересам сегодняшней «сиюминутной» борьбы во имя коммунизма.

Наследников Маяковского много. Почему же газеты скучают по горячему, полноценному поэтическому слову, которое способно двигать людские сердца? Сколько бардов предпочитают отсиживаться в лирифицированном тылу,

не успев еще никак досогласовать свободу творчества со служением современности! А ведь для этого вовсе не нужно принуждать себя писать на злободневные темы, насиловать свою фантазию. Нужно только, — как заметил Белинский, — быть гражданином своего общества, сыном своей эпохи, усвоить себе интересы этого общества, слить свои стремления с его стремлениями. Нужно обладать здоровым, реальным чувством истины, которое не отделяет убеждения от дела, сочинения — от жизни.

Почему в журналах восстановлены «барские садоводства» в виде массы жиденьких, анемичных и старомодных пейзажных стихов?

Мы вправе усомниться: обладают ли многие сочинения чувством прекрасного, если источником их вдохновения служит не ежедневно и ежечасно совершаемое нами чудо, а их лирические насморки и катары. Почему так много «профессиональных нытиков» и так мало горнистов?

Нам приходится встречаться с произведениями, в которых проявляется та самая плохая индивидуализация, которая сводится к «мелочному умничанию» и которая, по замечанию Энгельса, составляет «существенный признак выдыхающей литературы эпигонов».

Как известно, г-жа Каролина Павлова — отнюдь не современная поэтесса. Она прославилась в 30—60-х годах прошлого столетия. Рецензия Щедрина, появившаяся в 1863 году, как бы подвела итог ее бурной литературной деятельности. Великий сатирик отметил тогда, что г-жа Павлова занимает в русской литературе одно из самых видных мест: «Она чуть ли не единственная в настоящее время представительница так называемой мотыльковой поэзии, Мотыльковой поэзия эта называется по имени мотылька, самого резвого, но вместе с тем самого легковверного из насекомых». Щедрин установил родословную сего поэтического течения, определил линию его развития. Он так характеризовал особенности «мотыльковой поэзии». «Вся эта поэзия есть не что иное, как стихотворное применение приятных манер к случайно встречающимся на пу-

ти предметам. Встретит, например, г-жа Павлова поэта — она пишет послание поэту, увидев И. С. Аксакова — пишет послание И. С. Аксакову, заметит где-нибудь лампадку из Помпеи — и ее не оставит без песнопенья. Ей все равно, к кому бы ни обращаться, что бы ни петь, потому что не предметы внешнего мира поражают ее, а она поражает предметы внешнего мира галантерейностью своего обращения».

Таковы, по Щедрину, достопримечательности творчества г-жи Павловой. Поэтическая карьера ее отдалена от нас временем. О стихах ее вспоминают изредка лишь за школьной партой, когда знакомятся с историей литературы. Однако ничто, как говорят, не пропадает бесследно. Бренно человеческое тело, но дух человеческий отнюдь не так смертен. «Мотыльковая поэзия» пережила своих творцов. Она порхала, порхала и залетела в наш двадцатый век. И самое важное состоит в том, что поэзия эта склонна не только здравствовать; пользуясь высоким покровительством некоторых редакторов, она склонна размножаться. Журналы нередко считают чуть ли не своим долгом печатать различную стихотворную мелочь, забывая при этом, что поэт — все же «эхо мира», а не только «няня своей души».

...Бывало, мерный звук твоих могучих слов
Воспламенял бойцов для битвы,
Он нужен был толпе, как чаша для
пиров,

Как фирмам в часы молитвы.
Твой стих, как божий дух,
носился над толпой,
И отзвук мыслей благородных
Звучал, как колокол на башне вечевой
Во дни торжеств и бед народных...

Лермонтов сравнивал слово с надежным клинком. С чем же, например, сравнишь такое:

Если вдруг случится что-нибудь,
Если мы поссоримся, к примеру,
Не поладим в чем-нибудь с тобой,
Ты не будь сердитым из упрямства.
Нам с тобой не так уж долго жить:
Мне уже за тридцать завернуло,
И не днями надо дорожить, —
Каждою секундой и минутой,
Как рассветом тихим дорожат
Рыболовы, удочки закинув,
Или птицы дорожат весной,
Для нее моря перелетая.

Стихотворение называется «Просьба». Напечатано оно, как и другие, которые следом за этим будут приведены, в № 11 журнала «Молодая гвардия» в разделе «Молодые поэты». Авторы — действительно молодые поэты, и фамилии их нет смысла называть. Возникла у одного просьба, он взял да и написал. Его ли грех, что просьба эта уложилась в стихотворный размер и что редакция солидного журнала, призванного воспитывать молодежь, сочла возможным обнародовать эту самую домашнюю «Просьбу» и придать несвойственное ей широкое, поэтическое значение?

Рядом с «Просьбой» помещено другое стихотворение того же автора «Девочка». Вот и оно:

Девочка идет и плачет.
— Девочка, скажи, о чем ты?
Ногу занозила, не иначе.
Так и есть. И я бегу из комнаты,
Подбежал. Притихла.
— Где же больно?
Ты не бегай по панели шибко.
Вытащил занозу и невольно
Стал добрей от детской от улыбки.
Так бы всех, которые ушиблись
И собрал, и к ним,
как солнце, нежный:
— Вы зачем ступили и ошиблись?
Вот вам перевязка за небрежность.

Не мило ли?! Пусть вас не смущает все тот же равнодушный стихотворный тон. Хорошо, что опус, сам по себе, короткий. А то гляди, ведь можно было и поэмку закатить о том же. О чем? Да вот о том, как девочка шла, шла, затем чего-то нашла. Занозила одну ногу. Могла бы и две занозить. Пришлось бы из обеих ног эту самую занозу вытаскивать. Времени для подобной операции потребовалось бы больше. Не правда ли? А идейки-то, идейки, остались бы старые, толстовские:

— Вы зачем ступили и ошиблись?
Вот вам перевязка за небрежность.

Глядишь: нашелся бы и критик, который, умилившись этакой детскостью, открыл бы в стихотворении гуманистическое начало. Поэт вытащил занозу из ноги девочки. Он стал добрей от детской от улыбки. Можем ли мы остаться глухи и слепы к подобному факту?

«Новый мир», № 2.

Новоявленные представители «мотыльковой поэзии» удостаивают «галантерейностью своего обращения» поистине самые различные предметы внешнего мира. Осень в зоопарке? Пожалуйте «Осень в зоопарке»:

Огромным клином вышибают лето
Встревоженные чем-то журавли.
Пройдет минута —
скроется вдали
Летучая, сквозная эстафета...
Подходит бегемот к своей подруге —
Тяжелый чемодан несет в руке...
Стоит фламинго на одной ноге,
Вторая где? Видать, уже на юге!

Встретились виноделы? Пожалуйте!
«У виноделов»:

В подвалах тишина могилы.
Но жизнь идет своим руслом.
Тут бьются солнечные жилы
И пахнет морем и вином.
Зайди и ты в подвал Массандры.
Спокойная прохлада тут.
Недавно даже экскурсанты
Сюда зашли на пять минут.
Ты знаешь — здесь века считают
Не от рождения христа,
А с той поры, как закопают
Бутылку в землю. Красота!

Красота! А при чем здесь красота? — спросить бы поэта и редактора. Ах, да. О рифме-то чуть мы и не забыли. Красота — она для рифмы нужна тут.

Кроме «мотыльковой поэзии» с окраской иронии, мажорной, так сказать, имеется и глубокомысленная, философическая с несколько нахмуренным челом.

Опять к тебе вернулась я,
Акация, ровесница моя.
Когда-то на твоей коре
Я вырезала маленькое «Е» —
Начало имени. И ты была
Младенчески, до желтизны светла.
Теперь морщиниста твоя кора,
И ты стара, и мне стареть пора.
В твоих ветвях качаешь ты щегла,
Я в тень твою ребенка привела.
И рядом с почерневшей буквой «Е»
Он «А» выводит на твоей коре.

И все в таком роде. Читаешь, читаешь — и загрустишь невольно. Вспомнишь Александра Сергеевича Пушкина:
...Хоть убежать. Избавь нас, боже,
От элегических ку-ку!

И, что всего опасней, «мотыльковая поэзия» со свойственными ей лирическими и элегическими «ку-ку» стремится

ся выйти за свои традиционные пределы. Она пытается приобщиться к новым темам, освоить новые пространства. Она не удовлетворяется уже встречами с девочкой и виноделами, раздумьями об осени в зоопарке и судьбе акации. В стихотворении «Мы отдыхали в сквере» речь заходит и о коммунизме. Юноши делятся своими мыслями о будущем. Пошлость сменяется фразерством, фразерство — слезливостью, и, наконец:

Пятым я был по счету.
Я и сказал, не думая:
— День коммунизма — это
Больше всего — поэзия.

Пятым по счету был поэт. Слова его венчают раздумье. Что касается поэзии, то ее при коммунизме будет действительно много. А вот... «Я и сказал, не думая», это напрасно. Думать все же полагается. Впрочем, мы ведь чуть не забыли, что толкуем о «мотыльковой» поэзии. Она не привыкла обременять себя мыслью.

Конечно, свобода поэзии в том заключена, чтобы не стеснять дарования автора «произвольными претензиями». Каждый должен писать о том, к чему лежит у него душа. Не нужно насиловать свой талант, свою природу: «Природа внушает одному сатиру, другому идиллию». Разве были бы свободны Фет или Фофанов, вздумав писать о социальных вопросах? Зато совершенно свободен был Гоголь, когда писал «Ревизора». Плодом свободного творчества явились для Пушкина «Руслан и Людмила», «Евгений Онегин», «Каменный гость», «Клеветникам России».

Все это верно: «Каждому свое, у каждого своя свобода». Однако можем ли мы смешивать свободное творчество с пустословием? В том ли заключена свобода поэзии, чтобы сорить по всякому поводу и без повода бездумными, холодными стихами, в которых фальшивая глубина сочетается с кокетничаньем чувствами?

Право же, истинная свобода поэзии заключена не в этом.

Нам могут возразить: сколько поэтических пустяков можно обнаружить в книгах великих поэтов; сколько там

можно найти стихотворений, написанных по отнюдь незначительным поводам. И это все «мотыльковая поэзия»?

В том-то и дело, что каждая строка настоящего поэта окрашена его большой индивидуальностью. Незначительный повод приобретает поэтическую значимость, в нем мы находим ту меру душевной полноты, которая всегда отличает художника от ремесленника. Поэтому-то нас глубоко трогают «поэтические пустяки» настоящих поэтов, и мы остаемся равнодушными к мнимо значительным виршам поэтов не настоящих.

Действительно, что, например, за предмет засохший цветок, найденный поэтом в книге? Он же, как известно, внушил Пушкину одно из лучших, одно из благоуханнейших, музыкальнейших его лирических произведений. В этом сказалась гениальная поэтическая натура Пушкина. Другие же поэты, которые роются в «цветочной пыли» и уповают на Пушкина, как на своего «проводника», дарят нам лишь засушливые лепестки своих не в меру болтливых и жеманных стихотворений.

Порок стихотворцев, принадлежащих к роду «мотыльковой поэзии», кроется не в самом описываемом ими предмете. Предмет и повод могут быть различными. Не ими определяется лирическая сила произведения. Все зависит от того, какое значение этому предмету и поводу придал поэт, все зависит от его ощущения, его фантазии, его внутреннего поэтического света. Есть страсть и подобие страсти; есть оплодотворяющая мысль и бесплодное фиглярство; есть ум — естественный, искрящийся, животворящий и жалкий грим его; есть свободное ровное дыхание и стесненное, скованное.

Приведенные выше стихи поэтически малокровны. В них нет энергии жизни: они вялы, однообразны и условны, как условен тот самый щегол, которого качала акация в своих ветвях. Он реквизирует, украшение. И только.

Что удивительного в том, что произведения истинных художников нас трогают, волнуют, а разнообразные фальшивки, стихотворные муляжи вызывают

у нас то ироническую улыбку, то раздражение. Толстой писал в «Анне Карениной»: «Нельзя запретить человеку сделать себе большую куклу из воска и целовать ее. Но если б этот человек с куклой пришел и сел пред влюбленным и принялся бы ласкать свою куклу, как влюбленный ласкает ту, которую он любит, то влюбленному было бы неприятно». Такое чувство испытывал художник Михайлов при виде дилетантской живописи Вронского; ему было и смешно, и досадно, и жалко, и оскорбительно. То же самое испытываем мы, читая стихи поэта, который имитирует живые чувства, или встретясь с человеком, который гримасничает, пыжится, стараясь придать своей персоне не свойственные ей черты. Когда же он, преобразившись, остается самим собой, то обнаруживается, что «король гол», щеголять ему не в чем.

Обнаруживается... Для этого нужно, чтобы в литературной толпе отыскался мальчик, который бы крикнул: «Король гол!» Иначе даже не все редакторы заметят это.

За Маяковским признают силу целого оркестра. Правильно. Он — могучий оркестр. Многие нынешние поэты, отбиваясь от «наскоков» критики, называют себя скрипками, арфами, кларнетами, флейтами, валторнами, кастаньетами, барабанами. И с этим можно в основном согласиться. Но ведь каждый из этих инструментов, по-своему, может прекрасно звучать и, объединившись, они могут составить оркестр. Почему же они столь часто дуют, стучат и пиликают не в такт, фальшивят?

Перелистайте ленинградские журналы периода недавней войны с белофиннами. Да не только ленинградские. Много ли найдете в них мобилизационных стихов? Все больше «шопот, робкое дыхание, трели соловья».

Пойдите в театры: «Три сестры», «Чио-Чио-Сан», «Школа злословия», «Мадам Бовари», «На всякого мудреца довольно простоты», «Нора», «Мария Стюарт» и т. д. Подмостки трещат от женских трагедий прошлого века: слезы, слезы и слезы. Пошли инсцениров-

ки. Поставили уже «Дворянское гнездо». Того и гляди, появится «Бедная Лиза». По театру порой даже трудно узнать, в какое время живешь. Сентиментальный век, литературный театр! Инсценировали уже и кинофильмы «Учитель» и «Счастье».

Что делают советские драматурги?

В театре Сатиры смотрят «Неравный брак» братьев Тур. Не комедия, а старый Конотоп в литературе! И проходят мимо оригинальнейших произведений советской драматургии — «Клопа» и «Бани» Маяковского. Речь идет не только об этих двух комедиях. Главное заключается в том, что, следуя духу поэзии Маяковского, наша драматургия возвращает театру зрелищность и делает подмостки — трибуной.

Одним из самых сокровенных и высочайших желаний Маяковского было:

...чтоб к штыку
приравняли перо.
С чугуном чтоб и с выделкой стали
о работе стихов от Политбюро,
чтобы делал доклады Сталин.
«Так, мол, и так... И до самых верхов
прошли из рабочих нормы:
в Союзе республик пониманье стихов
выше довоенной нормы».

Это время пришло. От самих писателей, поэтов теперь зависит, чтобы их поэтическое слово было приравнено к штыку. Вопросы литературы рассматриваются у нас в ряду с добычей чугуна и стали. И не только пониманье стихов в Союзе республик «выше довоенной нормы». В пониманье всех областей искусства советский народ далеко обогнал все «довоенные нормы». Для него искусство стало хлебом насущным.

Потребности народа в произведениях художественной литературы, кинофильмах, спектаклях, в музыке, живописи, скульптуре на много опередили уже «производственные мощности» некоторых мастеров искусства. Творческие ра-

ношения к поэтическому труду, воспитывал чувство огромной ответственности за него.

Строгого отношения к себе, к своему труду нехватает порой сейчас даже зрелым мастерам, которых мы привыкли искренне уважать. Вот в № 8 журнала «Знамя» за прошлый год напечатаны два стихотворения П. Антокольского. Начинает читатель знакомиться с первым из этих стихотворений, которое называется «Последние известия», и его охватывает чувство недоумения.

Поэт живописует бедствия Европы и уничтожение ее культурных ценностей:

Ты гибнешь. Вот они,
Все книги, все музеи,
Все школы, все гроба,
Весь пурпур на пирах,
Все, перед чем вчера
Торчали ротозеи...

Позволительно спросить: неужели, все-таки, одни лишь ротозеи «торчали» перед лучшими произведениями искусства, собранными в европейских музеях?!

Изумляясь ненасытной жадности вышеупомянутых ротозеев, которые с равным интересом «торчали» и перед книгами, и перед школами, и даже... перед гробами, читатель переходит ко второму стихотворению П. Антокольского «Повесть об истребителе».

Этот поэтический ребус с места в карьер рисует удивительную и трудно постижимую картину:

В то лето, бреющим полетом
Врезаясь в двадцать первый век,
С последним, может быть, оплотом
Своим — прошался человек.
Он разбомбил бетон и в щебень
Раскокал жизни торжество (?),
Еще не зная, как лечебен
Режим убийцы для него (?).

«Раскокав» в двух строфах всякие нормальные представления о поэтическом языке и поэтическом образе, автор излагает, так сказать, самую суть дела. По фламандской долине бредет пастух с овчаркой. Мчащийся под облаками истребитель заметил внизу «тварь живую» и, заметив, «сделал выкладку в

уме». Запас бомб уже был израсходован, а посему пилот «распластался прямо, весь на весу, весь на весу».

Тут происходит уж нечто совсем невероятное. В угоду породившему его автору летчик-истребитель теряет последнее соображение и демонстрирует еще невиданный смертельный трюк:

Решил он битву подытожить,
Восьмерку по небу чертя,
И пастушонка уничтожить
За то, что он еще дитя (!).
Уже оглохший и незрячий,
Забыв бывшее мастерство,
Он выключил мотор горячий
И просто в землю вбил его (?).

Так, увлекшись и заставив пилота вбивать в землю нето мотор, нето злополучного пастушонка, П. Антокольский еще раз поверг читателя в тяжкое недоумение.

Конечно, и у такого признанного поэта, как Антокольский, могут быть срывы, могут быть несчастливые минуты, когда ему изменяет художественный вкус, чувство меры. В данном случае манерность и театрализованность погубили смысл, содержание стихотворений. Но ведь существуют еще и редакторы журналов, — именно им надлежит в подобных случаях проявлять необходимую строгость. Помнит ли об этом редколлегия журнала «Знамя»? Повидимому, не всегда. Напечатав два указанных стихотворения П. Антокольского, она оказала плохую услугу читателю и поэту.

Необходимо поднять качество стиха, сблизить широчайшую аудиторию с большой поэзией, с поэзией, сделанной по-настоящему, без халтуры и без сознательного принижения ее значения, и с поэзией, которая обогащала бы наш мозг, наше воображение, еще больше оттачивала бы нашу волю к борьбе за коммунизм.

«Стихотворение должно иметь в себе полный политический идейный заряд.

Надо, чтоб этот заряд несся по всей новейшей технике, обгоняя прошлые стремительные возможности.

Я лично по двум жанровым картинам проверяю свои стихи.

Если встанут из гробов все поэты,

они должны сказать: у нас таких стихов не было, и не знали, и не умели.

Если встанет из гроба прошлое — белые и реставрация, мой стих должны найти и уничтожить за полную для белых вредность.

Пропорция этих моментов — пропорция качеств стиха».

Весла эти дает нам в руки Маяковский, ими вооружает он критиков литературы в их трудном плавании. Надежные весла!

Все новые и новые армии людей узнают Маяковского. Он переведен на многочисленные языки народов Советского Союза и сыграл уже огромную роль в развитии наших национальных литератур. Маяковский помог расковать не только содержание, но и форму. Он помог открыть стиху ту свободу и сообщить ему ту энергию, которыми отмечена истинно народная поэзия. Вот почему народы с тысячелетней культурой и народы, культура которых родилась в октябре 1917 года, приняли Маяковского сразу, без всяких оговорок, как поэтического провозвестника своего возрождения, как родного поэта.

Все же следует напомнить, что популярность произведений Маяковского — это итог борьбы, «а не рубашка, в которой рождаются счастливые книги какого-нибудь литературного гения». Понятность книги надо уметь организовать, — говорил он. Необходимость в этом не отпала, она чувствуется и сейчас.

Как важно, особенно в годы, когда прорастают мировоззрение, вкус, сознание прекрасного, когда задумываешься над смыслом бытия, встретиться с большим, настоящим революционным художником. Сколько увечий мы терпим от мнимых истин и мнимых красот. Сколько требуется усилий, чтобы вернуть человеку способность видеть и понимать явления искусства, чувствовать уродство и фальшь, отличить молодое от старчески дряхлого и больного. Маяковский — великолепный социально-эстетический университет.

Вперед с Маяковским! Призыв этот сегодня злободневен для всех, кто ищет правильного пути в литературе, в искусстве.

Писатели на фронте

Евг. КРЕКШИН

★

Начиналась война с белофиннами... В части приносили газеты. Большие фронтовые газеты, маленькие армейские многотиражки, газеты флота, листки отдельных кораблей, береговой обороны, морской авиации — вместе с красноармейцами и краснофлотцами они были в боях, сообщали о ходе военных действий, учили воевать и побеждать, рассказывали о героях, веселили в редкие и скупые часы досуга, поднимали бодрость в трудные минуты.

Первый день войны. В газете «На страже Родины» стихотворение А. Твардовского «Час настал». Здесь формулируется в поэтических строчках общая мысль, общее чувство, задача, выполняемая всеми:

...И будет враг отброшен вспять
Подальше от заставы,
И город Ленина стоять
Спокойно, величаво!

Это первый этап работы поэтов на фронте. Ненависть к врагу, любовь к родине, чувство локтя по отношению к товарищам бойцам выражаются в поэтическом лозунге. Лучше всего звучат призывные слова у поэтов, предшествующую работу которых характеризует устремление к политической поэзии, к поэтической публицистике в хорошем смысле этого слова. Стихи В. Лебедева-Кумача, А. Безыменского, А. Твардовского, А. Суркова и других

сопровождают наших бойцов в их первых успехах на Карельском перешейке, в боях кораблей в Финском заливе, в атаках на мурманском и реболском, поросозерском и петрозаводском направлениях.

Некоторых поэтов фронтовая обстановка заставляет переучиваться. Не все приемы стихотворной работы оказываются пригодными для темы такого масштаба. Образ агитатора, горлана, главаря советской поэзии, Владимира Маяковского, встает, как пример и поучение.

Как бы он писал в эти дни в этих газетах?

Постепенно проясняется многообразие фронтовой темы. В стихах появляется уже не боец вообще, а патриот своего рода оружия, доверенного ему родиной.

Н. Тихонов пишет песню саперов:

И гром победы скорой
предшествует полкам,
когда идут саперы,
советские саперы,
победные войска!

О саперах некогда писал Киплинг («инженеры ее величества войск с содержанием в чине сапера»). Это были стихи, пропитанные духом колонизаторства. В советской военной поэзии главное — социалистическое патриотическое чувство. Этим чувством богаты те, о ком пишутся стихи. Ведь это об

обычной советской семье рассказывает Твардовский в стихотворении «Братья»:

Старший — славный краснофлотец,
Средний — смелый летчик,
Младший — в доблестной пехоте
Добрый пулеметчик.

И каждый род победоносного советского оружия получил от советских поэтов свою песню. Эти песни вселяли в бойцов гордость за свое дело. Шоферам дал песню Е. Долматовский:

Не впервой нам бывать под обстрелом,
Но героев ничто не берет.
Честь и слава водителям смелым!
Пусть машины несутся вперед!

Требования фронта заставили заговорить о вещах сугубо практических. Поэты начинают ближе знакомиться с жизнью своей части. А. Твардовский пишет о лопате:

А в час, когда не можешь
Подняться под огнем,
Она куда дороже,
чем ложка за столом.

В газете «Героический поход» появляются стихотворные лозунги:

При марше пехоты
помнить мы будем:
Нельзя допускать
отставанье орудий!

Вчерашние грузчики и педагоги, колхозники и инженеры, одетые в красноармейские шинели, показывали чудеса героизма в боях за свою родину. Жизнь потребовала создания самого распространенного и наиболее действенного в фронтовой поэзии жанра — стихотворных новелл, рассказов в стихах. Герои А. Суркова («Сапер Бокас» и т. д.), А. Прокофьева («Ася Котляр»), А. Твардовского («Герой Советского Союза Михаил Трусков» и др.), Н. Тихонова («Баллада о Герое Советского Союза Кучерове»), по свидетельству редакционных работников, были крайне удивлены, что о них пишут в стихах. Очерк, заметка, — да! Но стихи! Стихи поэтов усиливали уважение бойцов к наиболее отличившимся героям, призывали равняться по ним. Фронт знал и лирику. В новогоднюю ночь пе-

рекликались соединения, действующие на разных направлениях:

Мы сидим над походным костром голова
к голове,
Снег на шлемах и касках светлее
серебряной пыли.
Сердце слышит: далеко, далеко, в полночной
Москве,
Как обычно, двенадцать ударов куранты
пробили...¹

Запомним, друзья, новогоднюю эту,
Суровую, жесткую ночь на снегу.
Как сами вздремнуть не могли до рассвета,
Зато не давали вздремнуть и врагу!²

Лирика, свойственная русской народной песне и русской поэзии, звучит в стихотворении А. Безыменского «Тучка» и во многих других стихах, читавшихся бойцами, только-что подорвавшими неприятельское укрепление.

Большим успехом пользовались у бойцов и «шутейные отделы» газет. «Прямой наводкой» — в газете «На страже Родины», фельетоны Васи Гранаткина — в газете «Героический поход», «Полундра» — в газете «Красный Балтийский флот» и др. Наибольшую известность и славу получил «Вася Гранаткин». На одном совещании политических работников раздавались голоса о необходимости представить «товарища Гранаткина» к ордену.

Вася Гранаткин сначала разговаривал прозой. Это были фельетоны, написанные С. Диковским и Б. Левиним. С приездом на фронт поэтов А. Суркова, А. Прокофьева и А. Безыменского Вася Гранаткин стал разговаривать стихами. «Чем они воюют?» — спрашивает Гранаткин о белофиннах. И отвечает:

— Эх, финские погоны,
Английский самолет.
Из Франции патроны,
Из Швеции пилот...

Это прямо идет от народной песенки о Колчаке, распевавшейся в годы гражданской войны:

Мундир английский,
Погон французский,
Табак японский,
Правитель омский...

¹ А. Сурков. «У лесного костра». Газета «Героический поход».

² А. Твардовский. «Новогодняя ночь». Газета «На страже Родины».

Фольклорные приемы удачно используются авторами Гранаткина. Здесь многое просится в поговорки. Разговаривает Вася коротко, лаконично. Поймали бойцы финского офицера, — Вася отвечает: «Два разведчика в лесу на допрос ведут лису». Вася указывает на финских снайперов: «Сидит дятел на суку с автоматом на боку». Вася требует: «К ногтю взять говоруна, пусто-звона-болтуна». Заметив преклонный возраст мобилизованных в финскую армию, Вася констатирует: «Швах дела у беляков — добрались до стариков!» Гранаткин знает повадки красноармейцев: «Как дорвутся до штыка, — будет схватка коротка. Угостят по-русски — не дождешься спуска!»

В фельетонах Васи Гранаткина высмеиваются бойцы, громко разговаривающие в дозоре, не берегущие выданные им валенки, плохо ухаживающие за винтовкой; достается и шоферам, расходующим горючее без должной экономии, и т. п.

Марш и песня, газетное стихотворение и поэтический очерк-портрет, лирика и юмор — все пригодилось в фронтовой обстановке. В газете «Героический поход» в стихотворении «Мы любим жизнь» А. Безыменский удачно сформулировал мироощущение советских воинов:

Товарищи мои! Оружьё своему
И сердцу своему судьбу свою доверьте!
Мы крепко любим жизнь, —
А потому
В боях мы не боимся смерти!

Не всегда в этих стихах изысканный ритм, на них лежит печать торопливости, грохота орудийной перестрелки, мешающего отделать строку, но в них большая тема ведет за собой большую мысль и большое чувство. Бесспорно, мы еще увидим плоды фронтовой закалки в произведениях, навеянных всем тем, что встретили поэты на льду Финского залива, среди лесов и озер Севера, у бетонных, спрятанных в земле, крепостей Карельского перешейка.

Информация о ходе военных действий, разъяснение смысла событий, агитация и пропаганда, показ образцов,

которым должны следовать все бойцы, раскрытие повадок врага — таковы многочисленные задачи, которые выполняли советские писатели, сотрудники армейских и флотских газет.

Короткие заметки с подзаголовком «От наших специальных корреспондентов». В газете «На страже Родины» эту работу выполняли В. Ставский, С. Вашенцев, Н. Вирта, Н. Тихонов и др. В газете «Героический поход» мы видим имя П. Павленко. В газете «Во славу Родины» — Б. Горбатов, И. Френкель. В «Боевой красноармейской» — А. Исбах, Е. Петров. В «Ленинском пути» — Р. Бершадский, И. Осипов, Н. Богданов. В «Красном Балтийском флоте» и других краснофлотских газетах («Часовой», «На боевом курсе», «Граница родины», «Маратовец» и др.) — Вс. Вишневский, Л. Соболев, С. Абрамович-Блэк, А. Зонин, Зеновин, Варшавский, Зельцер, Лаганский, Павлов, Н. Чуковский, Григорьев, В. Соловьев, Ю. Инга, Рест-Шор.

Награжденный медалью «За отвагу», товарищ Ганкин, работая в эти дни во флоте, выпустил свыше полусотни «боевых листков» и десятки номеров газеты «Краснофлотский крокодил».

Здесь перечислена лишь незначительная часть имен писателей, выполнявших во время войны серьезную политическую работу в армии и флоте. Напомним об Л. Аргутинской, Г. Фише, А. Решетове, о поэте Борисе Лихареве, командовавшем саперным взводом, и о многих других.

В промежутке между 30 ноября 1939 года и 13 марта 1940 года (все-го три с половиной месяца!) речь шла совсем не о сборе материала для будущих книг, а о выпуске сегодня, через два часа, газетных полос, которые ждут в частях и подразделениях. Писатели, работавшие в «Красном Балтийском флоте», и те, кто писал в газете «На страже Родины», стали обмениваться материалами. Флот узнавал из первых рук о том, как сражается армия. В армии читали, как обстоят дела на кораблях. Так появились целые полосы под заголовком «Краснознаменный Балтийский флот во взаимодействии с ча-

стями Красной армии громит белофинов».

Задачи непосредственной политической работы были главными, они отодвигали на второй план чисто литературные задачи. С. Абрамович-Блэк пишет практическую статью «Учтем опыт североморцев». Разговор идет о работе флота в зимних условиях. Вс. Вишневский помещает в газете «Красный Балтийский флот» большие материалы «Положение в Финляндии». В газете «На страже Родины» создается отдел «Беседы у костра». В нем Н. Тихонов, приводя исторические примеры, вспоминает поход в Финляндию Кульнева, рассказывает «о русской смекалке», в статье «О молодецком русском штыке» полемизирует с генералом Фуллером, в свое время спрашивавшим: «Зачем колоть?» Тихонов объясняет бойцам, почему Фуллер боялся массовых армий, почему штык казался ему устаревшим оружием. Третья статья Н. Тихонова в этом отделе названа «О наступательном порыве воинов Красной армии». Время — март 1940 года. В самом разгаре наступления на Карельском перешейке Н. Тихонов напоминает бойцам о славных традициях РККА, созданных в годы гражданской войны.

Под заголовком «Беседы у костра» появились также статьи Г. Долинова «О храбром комбриге Котовском» и В. Ставского «Пламенный танкист», о комбриге Мих. Яковлеве. Здесь же В. Саянов рассказал о боях за Выборг при Петре I. Этот отдел был практической помощью политруку, военкому.

Рассказ о героях, живые портреты людей — вот что было главным делом писателей на фронте. Материал не приходилось искать. Он весь был перед глазами, ежедневно пополняясь все новыми и новыми фактами изумительного героизма. Этим очерков-портретов написано, конечно, гораздо меньше, чем было героев в этой памятной кампании. Но даже простое перечисление этих очерков заняло бы многие страницы. Они печатались во всех газетах действующей армии и действующего флота. Лучшие из них выпускались специальными сборниками. Так появились се-

рии: Библиотечка краснознаменной газеты «На страже Родины», Библиотечка газеты «Героический поход», Библиотечка газеты «Ленинский путь» и др. Незначительная часть этих очерков появилась в центральных газетах, в журналах «Красноармеец», «Краснофлотец», «Смена», «Огонек». Почти совсем не попал этот материал на страницы толстых литературно-художественных журналов.

Таким образом, богатая первоначальная запись боевых фактов до сих пор адресована лишь непосредственным участникам событий и еще не стала достоянием широкого читателя в нашей стране.

«Эта война еще не нашла своего летописца, — говорит М. И. Калинин. — И вообще у нас слишком мало написано о замечательных, исключительно героических подвигах наших частей и отдельных людей в период финской кампании».

То, что написано и напечатано на фронте, конечно, не является чем-то совершенным. Это далеко не полная информация, констатирование факта, запись в блок-ноте, первый беглый конспект биографии героя. Чаще всего здесь нет даже и биографии. Откуда они пришли в армию, эти люди? Какие именно черты их предшествующей боям жизни подготовили вот этот подвиг? На этот вопрос очерки фронтовых газет, как правило, не отвечают. Некогда было обдумать, не всегда обстановка позволяла спросить у героя очерка: что он делал до такого-то года?

Взглянем на оглавление третьей книжки Библиотечки газеты «Ленинский путь». Оно характерно для всех этих материалов. Названия очерков однотипны: звание или должность, имя, фамилия.

Это не стандарт. Это вполне правильный прием. Сразу называется самое главное в человеке в эти дни, — его место на фронте: «Начальник радики Яков Комлев», «Заместитель политрука Филипп Бугай», «Командир дивизиона капитан Данилов», «Дружинница Валентина Рагоскина», «Зенитчик Николай Несен», «Водитель Григорий Силаев».

Это названия очерков, написанных разными авторами (П. Огин, С. Сапиго, Л. Кутуков, Н. Богданов, И. Осипов, С. Гурин). В этих названиях военная точность адреса. Очерк сводится к изложению того, что же сделал этот человек, почему надо о нем писать, почему надо знать его имя. Даже поэты называли таким образом свои стихи.

Содержание этих очерков — подвиги, которые имели место в действительности у высоты такой-то, на таком-то направлении. Раз в несколько лет у нас появляются статьи, доказывающие, что очерк совсем не низший жанр литературы, но профессия очеркиста считается все же не то, чтобы зазорной, но какой-то неполноценной. И это зря. Очерк слабо развивается как жанр, не повышается присущая именно ему культура письма, не усваивается опыт лучших журналистов. Это застает многих в нужную минуту неподготовленными к роли очеркиста. А роль-то почетная. Роль секретаря своего поколения, протоколита величайших событий своего времени. Об этом надо думать на будущее. Материал же очерков о финской кампании слишком волнуя. Отдельных литературных несовершенств не замечаешь. Факт за фактом собираются в сознании в одно целое. Вот они каковы, советские люди! Те самые, с которыми мы вместе снимаем табель по утрам, встречаемся на работе, в клубе, в парке, в автобусе. Не в мелочах дело!

Горький говорил, что мещанин собственнически влюблен в правду мелкого факта и не умеет, не хочет замечать правды стремления человека изменять факты по-своему. Линия Маннергейма была и перестала быть фактом. В том, как это сделали советские люди при сорокаградусном морозе, идя по льду на западную сторону Выборгского залива, ударяя по тыловым коммуникациям врага, сокрушая надолбы и заставляя взлетать к небесам доты, — в этом самая главная правда, без понимания которой ничего не понять в фронтовой жизни.

Война проверяет людей. И сразу видишь, что главное в человеке то, как

он делает свое дело. В очерке П. Павленко «Профессор А. Вишневский» рассказывается, как к госпиталю подъехал автомобиль. В автомобиле раненные бойцы.

«—Вишневский есть у вас? — спросил медсестру боец с перевязанной рукой.

— Нет. Профессора Вишневского у нас нет, — ответила сестра.

Боец, уже готовый сойти с грузовика, остановился.

— Так-с, — задумчиво произнес он. — Ну, а может, метод у вас есть? — спросил он сестру.

— Метод его применяем...

— Ага! Ну, вот это здорово! Лишь бы метод был... Ну, давай, сходи, товарищи! Давай быстро!»

Здесь дело не загоразживает человека. Совсем нет! Они неотделимы. Метод проф. А. Вишневского, его масляно-бальзамические повязки, спасшие жизнь многим бойцам, это и есть сам профессор Вишневский, замечательный советский врач. Можно не описывать его наружность, и все равно он встанет перед вами живым, понятным.

Советский человек не пасует перед трудностями. Он не успокаивается на фаталистическом утверждении:

«—Этого сделать невозможно... Что мечтать о несбыточном. Никогда не взойдет солнце с запада...»

В очерке С. Диковского «Бесстрашные войны» летчики двое суток ждут «не вернувшегося на свою базу» товарища Андриященко. Наконец, раздается крик:

— Идет! Идет!

Все поднимают головы кверху, ожидая увидеть в небе самолет Андриященко. Но летчик впервые возвращается на свою базу низом, пешком. Подбитый самолет находится в расположении противника. Но не отдавать же врагу боевую машину! Майор Потапов с товарищами на двух грузовиках делает шестикилометровый рейд в тыл противника. По льду самолет отбуксировали «домой». Быстрый ремонт, и «ястребок» вновь взвивается в небо...

Это кажется невозможным. Но так было. Было потому, что так нужно.

Интересен в очерке П. Павленко «Начальник штаба Матвеев» показ воинской смекалки, выдержки, чувства товарищества у советских людей. «Враг хитер, а мы хитрее» — такова была фронтовая присказка. Матвеев действовал с отрядом в лесу, на фланге противника. Выдвинув вперед макет орудия и открыв сзади пулеметный огонь, он заставил финнов, стремившихся уничтожить несуществующее орудие, обнаружить себя и подавил их. Присмотревшись, как неприятель собирает свои подразделения в одно место, он пристреливает определенную точку местности, выпускает там две зеленых ракеты, и, когда финны приходят на этот сигнал, уничтожает их метким огнем.

Отряд Матвеева в лесу. Опасность окружения близка. Он кричит по-фински:

— Эй, почему по своим стреляете? Прекратить сейчас же огонь! — Затем при сближении, уже, очевидно, по-русски, отдается команда:

— Гранаты!

...Отряд шел на соединение со своими частями. Шли лесом. Два дня Матвеев ничего не ел и молчал об этом. Бойцы заметили. Достают последние сухари.

«—Ешьте! — Это было общим приказом.

— Ест? — спрашивают из колонны.

— Ест!

— Передай еще! Пусть ест!

Отдавая последний сухарь своему командиру, бойцы отдали ему высшую честь и показали настоящую любовь».

Советская воинская мораль, ставшая обычаем, не позволяет сдаваться врагу и не позволяет думать о смерти, пока есть еще возможность бить врага. Пять суток в осажденном танке просидели герои очерка Б. Левина «Подвиг танкистов», — командир танка младший лейтенант Иванчук, водитель Савельев и башенный стрелок Радюк. Танк с подбитыми гусеницами окружили враги. Уйти некуда. Но Иванчук — кандидат, партии. Двое остальных — комсомольцы. Этим определяется их поведение.

«—Ни одного патрона зря не выпускать, это раз, — сказал Иванчук.

— Два, — один из нас будет отдыхать, другие дежурят. И в-третьих, — давайте зарядимся... Чертовски есть хочется...»

Каждый патрон, выпущенный танкистами, клал на месте одного врага. Иванчук сосчитал отстрелянные гильзы и трупы белофиннов.

«— Так и будем вести отчетность боеприпасам...

— Есть так вести отчетность...»

Но еды осталось уже мало. На это рассчитывал враг.

«— Сдавайтесь! — кричали им.

— Пошел к чертовой матери, ты что, забыл, что большевики не сдаются... — отвечали из танка».

На пятый день подошли свои и отогнали осаждавших.

Они молоды, эти прекрасные ребята. Они очень любят жизнь. Они не смалодушествовали ни так, ни этак. Не сдались. Не поторопились израсходовать пулю на себя. Пока есть возможность, надо бить врага. Умереть — дело последнее!

И вот эта неистребимая жизненность характерна для каждого из этих героев. Кому не известен Герой Советского Союза А. И. Крохалев! В очерке о нем, помещенном в газете «Красный Балтийский флот», Л. Соболев рассказывает:

«Майор Крохалев на одном боевом полете чуть не стал таким пылающим факелом. На нем загорелся меховой комбинезон. Встречный ветер раздувал огонь. Через мгновение мог вспыхнуть весь самолет. Майор Крохалев, не оставляя управления самолетом, сорвал с себя по частям горящую одежду и, оставшись в одном белье, привел по морозу боевую машину в базу».

Об этом же качестве, сочетаемом со спокойствием и уверенностью в себе, говорит В. Ставский в очерке «Капитан Дьяконов».

«Дьяконов выглянул, тотчас же свистнула пуля снайпера...

— Ну, я вам не дам безобразничать! — сказал капитан. И, как прежде, он пристрелил и третьего, и четвертого, и пятого снайпера...

— Я думал — ты убит! — взволнованно сказал комиссар.

— Не отлита еще такая пуля! — ответил Дьяконов».

Делать только то, что ты должен «по штату» — это не по-советски. Надо сделать все, что сможешь. Поэтому военфельдшер Анатолий Чачило не ограничивался перевязками. Он научился обезвреживать мины и учил этому других.

«— Понимаете, товарищи бойцы, профилактика — великое дело. И поэтому я считаю необходимым объяснить вам сейчас, как обращаться с минами, чтобы потом не объяснять, как обращаться с индивидуальным пакетом для перевязок. К тому же и мне будет меньше работы...»

О Чачило рассказал в своем очерке Руд. Бершадский. Разве мало вокруг нас таких беспокойных, дотошных людей, считающих общее дело своим и болеющих за него?!

Не покидать пост! Не уходить из строя, пока можешь держаться! Это не идеал, не желаемое. Это уже обычай. В. Саянов описывает поведение парторга одного подразделения — Чупранова:

«И снова уходил Чупранов в разведку с раненой ногой, не признаваясь товарищам, что с каждым днем все больше и больше ноет рана. В эти дни Чупранов писал письмо матери в Ленинград. Письмо было короткое и простое: «Жив, здоров, чего и тебе желаю». Товарищ, сидевший рядом, когда Чупранов писал письмо, прочел эти скупые строки и возмутился:

— У тебя же пуля в ноге, а ты пишешь, что и матери желаешь того же.

Чупранов смутился, письмо разорвал, но в госпиталь не пошел».

В конечном счете все это не более чем случайно выбранные отрывки из богатейшего материала, который еще ждет тщательного изучения. Союзная Карело-Финская республика в ее теперешних границах, безопасность Ленинграда — вот результат ста четырех суток войны, наполненных большими делами обыкновенных советских людей. Необыкновенны, замечательны эти дела, потому что они вызваны любовью к родине.

«Я, — сказал товарищ М. И. Калинин, — говорю не об отвлеченной, не о платонической любви, а о любви напористой, активной, страстной, неукротимой, о такой любви, которая не знает никакой пощады к врагам, которая не остановится ни перед какими жертвами во имя родины».

Специальный корреспондент ежедневной красноармейской газеты «Во славу родины» писатель Б. Горбатов сообщал на страницах этой газеты 24 марта 1940 года:

«Вчера бойцы подразделения тов. Рубцова завершили марш к новой государственной границе между СССР и Финляндией, установленной мирным договором. Вчера же первые полевые караулы встали на охрану и оборону новой границы. Эта высокая честь досталась бойцам взводов младшего лейтенанта Самарова и младшего комвзвода Поддубного».

Уже позади были бои за Выборг. Народ пользовался плодами победы.

Я

в долгу
перед Бродвейской лампочкой,
перед вами,
багдадские небеса,
Перед Красной армией,
перед вишнями Японии —
перед всем,
про что
не успел написать.

Так говорил Маяковский, а он успел написать о многом. Рассказать о том, как и кем была достигнута победа на Карельском перешейке, — долг советской литературы.

Герои Советского Союза, Орденосная 123-я стрелковая дивизия, первой прорвавшая линию Маннергейма, многие другие люди и коллективы, действовавшие «на земле, в небесах и на море», ждут своих летописцев, своих биографов. То, что писалось на месте событий, только конспекты будущих книг. На этих книгах будет воспитываться молодежь. Они дадут нам ответ на вопрос о том, каков же он, — герой нашего времени, человек сталинской эпохи.

Задачи и объем этой работы воистину грандиозны.

БИБЛИОГРАФИЯ

ЛЕОНИД СОБОЛЕВ. «КРАСНОЗНАМЕННАЯ БАЛТИКА»*

Новая книга Леонида Соболева «Краснознаменная Балтика» — не повесть, не рассказ в традиционно-литературном смысле этого слова. Вместе с тем это и не научно-популярный очерк, рисующий двадцатидвухлетнюю историю Краснознаменного Балтийского флота. Книга Леонида Соболева с полным правом может быть отнесена к художественной публицистике, т. е. к тому жанру, который завоевывает теперь все более и более почетное место во всех областях искусства. Появление «Краснознаменной Балтики» в творческой работе Леонида Соболева закономерно.

Его первая книга «Капитальный ремонт», опубликованная восемь—десять лет назад, завоевала внимание советского читателя превосходным воспроизведением военно-морского быта, живыми реалистически правдивыми образами офицеров, матросов русского флота. В каждой строке этого замечательного романа чувствовалось очень точное знание флотской среды и событий описываемой эпохи. Литературная критика высоко оценила роман молодого писателя. Роман вызывал симпатию оригинальностью, мужественностью стилистического рисунка. В нем органически, с большим художественным тактом сочеталось образное беллетристическое выражение жизни с публицистическим. Публицистика в романе расширяла его исторические горизонты, она освещала заревом грядущей революции события, действующих лиц, весь исторический фон. Проникнутая высоким гражданским пафосом, подлинным волнением социальных страстей, публицистика «Капитального ремонта» была художественно выразительна так же, как и его беллетристическая ткань. В этом состояла особая прелесть романа, и поэтому он законно занял одно из первых мест в нашей художественной прозе.

В идейно-тематическом плане «Краснознаменную Балтику» следует рассматривать, как авторские подступы к созданию художественного произведения о советском военно-морском флоте. В рецензируемой книге мы видим только одно из проявлений писательского таланта Леонида Соболева — его художественную публицистику.

В чем художественный пафос «Краснознаменной Балтики»? В книге с исключительной силой представлено ощущение могущества советского народа, его морально-политического единства, его готовности защищать рубежи от врагов.

В знойных, песчаных степях Казахстана, почти в самом центре европейско-азиатского материка, в местах, которые «носили трагическое имя «Су-сагны», что значит в переводе «тоска по воде», автор у просторной школы «Кзыл-Туркестан» встретил группу казахских пионеров и, выбрав самого маленького, спросил через переводчика, как его зовут, а затем — знает ли он, что такое Красный флот?» Девятилетний казахский мальчик сообщил, что его зовут Магавья, а на второй вопрос ответил: «Красная армия — это сторож нашего колхоза». Автор повторил вопрос о Красном флоте, добиваясь уточнения. Переводчик сказал: «Он (т. е. мальчик) говорит, что это одно и то же. Только не на лошадях, а на пароходах». «Я задумался, — пишет Соболев, — над ответом маленького Магавьи». И вот какие справедливые мысли вызвал у автора ответ казахского пионера:

«Примечательно было то, что это детское сознание не только владело уже понятиями чисто абстрактными, но и способно было выразить их на своем родном языке в форме конкретной и образной. Магавья мог ответить заученной в школе фразой: «Часовой наших границ». Но он нашел свою формулировку: «Сторож нашего колхоза», именно этого колхоза «Кзыл-Туркестан», дающего мальчику сытое детство, школу, грамоту, будущность.

...Я думал еще и о том, что «оперативное задание Магавьи Военно-Морскому флоту доказывает уже развившуюся в этом ребенке любовь к своему колхозу, к своей стране, которая нуждается в защите и которая, следовательно, дает ему счастье... Так в ответе пионера я нашел великую идею нашей эпохи — идею пролетарского гуманизма.

Во имя этой великой идеи... гибли дорогие товарищи наши, балтийские моряки на эсминцах «Гавриил», «Константин» и «Свобода», на бронепоездах, на речных буксирах, гибли на Волге, на Балтике, на Черном море, в Приморье. И во имя этой великой идеи теперь создано четыре военно-морских флота и не-

* Военмориздат, М. 1940. Стр. 120. Ц. 2 р. 75 к.

сколько флотилий на морях, океанах, озерах и реках у всех советских берегов» (стр. 58—60).

Так устанавливается прямая связь между тем, что делается в Казахстане и на далекой от него Балтике, так дается осязаемая зависимость производительного труда народа от силы морских и сухопутных границ Советского Союза, от мощи и вооруженности Красной армии и Военно-Морского флота. Так раскрывается значение вооруженных сил социалистического народа. Так прием, с помощью которого автор перебрасывает читателя из настоящего в прошлое, из прошлого в будущее, с кораблей Балтики в колхозы Казахстана, целиком обусловлен характером социалистической действительности, основным художественным и идейным пафосом книги.

Три исторических эпохи в жизни советского Балтийского флота описывает Леонид Соболев. Эти эпохи продлили три поколения балтийцев, с гордостью и честью несущих революционные традиции, славу и могущество социалистической родины. Эпоха гражданской войны родила орлиное племя героев балтийцев девятнадцатого года. Эпоха мирного строительства родила поколение советских моряков-комсомольцев, пришедших на разрушенный усталый флот «с мечтой о могучем советском флоте», и вместе с многомиллионным советским народом осуществило эту горячую мечту. Третье поколение родилось в эпоху боев с белофиннами. Поколение это подхватило героическую эстафету орлиного племени балтийцев девятнадцатого года и «подняло эту старую славу на новую высоту, озарило ее новыми подвигами во имя революции, во имя родины, во имя Сталина».

Железным кольцом блокады и фронтов обложили в девятнадцатом году интервенты и русские белогвардейцы молодую советскую республику. В советские моря вошли вражеские эскадры. В Черное море — французская, в приморье Дальнего Востока — японская, в Балтийское и Белое — английская. Английская королевская эскадра, вошедшая в Балтику, несла семьдесят два вымпела. Непобедимая армада Британской империи рассчитывала молниеносно расправиться с Кронштадтом и залить кровью народа колыбель революции — город Ленина.

Но, столкнувшись с кронштадтскими фортами, с боевыми кораблями революционного Балтийского флота, она вынуждена была покинуть Балтику, «оставив одну шестую часть своих семидесяти двух вымпелов на неглубоком дне Финского залива».

Мастерски рассказывает Леонид Соболев о героических эпизодах борьбы балтийских революционных кораблей с английской королевской эскадрой. Какие беспримерные образцы мужества, героизма, сообразительности, революционной страсти проявляло орлиное племя балтийцев в девятнадцатом году.

Автор описывает прорыв в Кронштадт восьмью английских торпедных катеров, выполнявших задание английского командования. В то время торпедные катера являлись новинкой.

Пользуясь близостью границы, под прикрытием гидросамолетов несколько катеров проникло в кронштадтскую гавань. Славные балтийцы не растерялись. Эсминец «Гавриил» уничтожил три торпедных катера, остальные вынуждены были бежать.

За четырнадцать месяцев хозяйничанья эскадры интервентов в Финском заливе революционный Балтийский флот в боях с противником уничтожил два крейсера, два миноносца, один заградитель, шесть торпедных катеров, одну подводную лодку.

В течение двадцати с лишним лет морская и сухопутная граница проходила слишком близко от города Ленина. В огромной настороженности долгое время пребывал Красный Балтийский флот:

«Граница была слишком близко. Из невинных «дачных мест» — Териоки, Олила, Куоккала можно было наблюдать всю жизнь и боевую учебу Балтийского флота. Отсюда можно было готовить новый удар в самое сердце Красного флота — удар по Кронштадту, подобный тому, который был нанесен 18 августа 1919 года» (стр. 7).

И вот начались бои с белофиннами за безопасность северо-западных сухопутных и морских границ Советского Союза. В этой героической борьбе самое активное участие принимали моряки Краснознаменного Балтийского флота.

Несколько поучительных, ярких эпизодов из боев с белофиннами рассказывает Леонид Соболев. В этих исключительных по трудности боях за родину, за Сталина родилось много героев, поднявших революционную славу Балтийского флота на новую высоту, пронесших героические традиции эпохи гражданской войны чистыми, незапятнанными. Как в годы гражданской войны Балтийский флот выделял отряды матросов на самые опасные и решающие участки революционной борьбы, так и в дни боев с финской белогвардейщиной были выделены отряды балтийских краснофлотцев на борьбу с белофиннами.

Вот рассказ о героической «матросской роте» — так прозвали балтийцы лыжников-краснофлотцев. Командир этого отряда — капитан Лосяков. Он водил свой отряд и в лобовую атаку, и в глубокий тыл; он водил своих героев и тогда, «когда голос его, простуженный в патишуточном лежании на льду, отказал, и для передачи команд пришлось держать при себе одного из лыжников в качестве «усилителя». «Он водил их и тогда, когда простреленная левая рука повисла на перевязи, а обмороженное лицо исчезло под бинтами, водил и тогда, когда получил вторую рану». Несколько таких фактов, приведенных Леонидом Соболевым о Лосякове, прекрасно характеризуют облик бесстрашного и мужественного командира «матросской роты».

Вот комсомолец Александр Посконин, увидев, что в разгаре боя раненного командира отделения пытается задушить белофинна, бросился на выручку. Он сбил белофинна, а раненого командира отделения пронес на себе

девять километров до ближайшего перевязочного пункта.

Соболев рассказывает не только о героизме и мужестве, но и о русской смекалке, о быстрой ориентировке и сообразительности краснофлотца в бою.

Балтийский отряд залег в торосах, имея задание взять береговые укрепления противника. Был страшный мороз. В течение четырех суток темной ночью пробирались шаг за шагом балтфлотцы. Их маневр поняли белофинны и решили во что бы то ни стало уничтожить отряд. Начался обстрел тяжелыми орудиями из Биорке. Первый десятидюймовый снаряд разорвался в двухстах метрах от торосов, где залегли моряки. Радист Андреев, пользовавшийся трофейной финской радиостанцией, обычно спокойный, вдруг начал передавать в эфир панические известия.

— Товарищ лейтенант! Нас надувало Биорке! Первый снаряд прямо в нас! Передайте нашим батареям, — пусть стреляют по Биорке, а то нам капут!

Многие не поняли маневра Андреева. Финская станция перехватила вопль Андреева. Биорке услила стрельбу по тому же месту, куда упал первый снаряд, а через некоторое время бомбардировка прекратилась; финны, видимо, решили, что отряд уничтожен. А на утро балтийцы перебрались на берег и ринулись в атаку.

Сметка краснофлотцев помогла установить тяжелое орудие в четырехстах метрах от дота и прямой наводкой разбить его.

Леонид Соболев рассказывает о славных балтийцах-летчиках, майоре Крохалева, Герое Советского Союза майоре Ракове, старшем лейтенанте Харламове, поражающих своей выдержкой, спокойствием, мгновенной сообразительностью в сложных и трудных условиях воздушного боя или бомбардировок вражеских военных объектов. Соболев рассказывает о

наших артиллеристах, о героической работе экипажей подводных лодок. Все это люди, проникнутые социалистическим сознанием, вдохновляемые советским патриотизмом на героические действия во имя родины, во имя коммунистического общества. Слова высокого гражданского пафоса нашел для них Леонид Соболев.

«И если б, — пишет он, — могли встать из холодной балтийской воды отцы и братья наши, моряки-балтийцы, погибшие здесь в лютой неравной борьбе с английским королевским флотом и с армиями интервентов, и если б взглянули они на наши корабли и самолеты, на наши подводные лодки и береговые орудия, на нашу молодежь и на героев наших: «Эх, и славное выросло племя! — сказали бы они, — хорошие сыны повзрости!» И еще подвинулись бы они, как ходят подводные лодки наши сквозь лед и под лед, как летают самолеты наши сквозь облака и под облаками, как стреляют орудия наши сквозь броню и под броню. И узнали бы старики свой веселый боевой дух, могучий и неукротимый, узнали б и в делах Балтийского флота, и в шутках его моряков, и в стремительности атак, и в беззаветности героизма, и в непреклонной воле к победе. И еще увидели б они знакомую сталинскую фигуру, как видели ее рядом с собой под снарядами «Красной горки», потому что Сталин в каждом бою, в каждом полете, всегда и везде был в сердцах молодых балтийцев, и мысль о нем помогла им побеждать» (стр. 66—67).

Сквозь героину краснофлотцев Краснознаменной Балтики проступают героические дела всей страны, напряженно оберегающей свой мирный труд, свой радостный и трудный марш в коммунистическое общество.

Книга Соболева ободряет, вселяет уверенность, зовет наш народ вперед, к новым победам. Она будет хорошо принята самыми широкими массами советских читателей.

Н. Плиско

★

Ю. ЮЗОВСКИЙ. «ДРАМАТУРГИЯ ГОРЬКОГО» *

Книга Ю. Юзовского, как указывается в предисловии от издательства, представляет собой лишь первую часть широко задуманной работы о драматургии Горького. В ней автор ограничивается разбором шести пьес — «Мещане», «На дне», «Дачники», «Дети солдата», «Варвары», «Враги», оставив за собой право продолжить во второй части анализ последующих пьес и горьковской драматургии в целом.

Пьесы Горького, завоевавшие прочное место в репертуаре советского театра, нуждаются в правильном истолковании как драматургического замысла, образной структуры, так и сценической интерпретации. По существу, автор

ставит не только проблему драматургии, но и проблему театра Горького, уделив значительное внимание анализу и оценке режиссерского истолкования образов Горького и актерской игры. В этом отношении содержание книги шире ее заглавия, и это делает ее не только теоретически ценной, но и практически полезной в повседневной практике театра.

Обстоятельный анализ идей и образной структуры пьес Горького служит прочной базой для оценки режиссерской работы и актерского ансамбля, предохраняет от субъективизма в оценке спектакля. Разбор автором актерской игры и даже отдельных интонаций и жестов всегда строго мотивирован и органически связан с анализом идейно-психологической направленности пьесы. Особенно обстоятельно автор анализирует постановки пьес Горького

* Изд-во «Искусство» М.—Л. 1940. Стр. 345. Тираж 3 000. Ц. 15 руб.

в Московском художественном театре, в творческой практике которого дается наиболее правильное понимание существа и характерных черт горьковского реализма. Вместе с тем автор не проходит мимо работы над горьковскими пьесами других московских и периферийных театров, выделяя положительные элементы и подвергая критике все, расходящееся с идеями и замыслами драматурга. Poleмически остро и интересно автор пишет о различных подходах театров в работе над образами пьес Горького. Юзовский идет навстречу насущной потребности режиссера и актера в литературно-критическом материале, который бы помог войти в мир горьковских образов.

Книга Юзовского затрагивает также ряд общих проблем горьковского творчества, а не только драматургического жанра, что делает ее интересной для изучения горьковского наследия в целом. Автор с различных сторон подходит к проблеме романтизма и реализма в творчестве писателя, к изображению положительного героя, интеллигенции, освещая целый ряд идей Горького, или совсем не затронутых изучением, или еще недостаточно проанализированных.

Юзовский впервые широко на обширном материале горьковских произведений (и не только драматургических) поставил проблему трех «правд» в творчестве Горького — «правды факта», «правды творчества» и «правды утешения». По существу, вокруг этих проблем вращается весь конкретный анализ пьес, их образной структуры. Исходным пунктом анализа Юзовского являются горьковские слова: «Мещанин способен видеть и принять только правду фактов. Ему непонятна правда человеческого стремления к творчеству фактов» («Заметки о мещанстве»). Горьковская борьба с мещанством, которую он вел на протяжении всего своего творческого пути, на разных этапах принимала различные формы отрицания мещанской «правды фактов», которой противопоставлялась правда творческого, революционного преобразования мира.

Юзовский правильно предостерегает от лакировки творческого пути Горького, указывая, что писатель не сразу явился знаменосцем революционной, социалистической правды, пройдя тернистый путь поисков. «Он прошел через тяготевшие над ним, русским писателем, традиции Толстого и Достоевского, не просто беззаботно переступил через них, не механически откинул их с легкостью необыкновенной, но пережил их, перетерпел, преодолел для того, чтобы сжечь их в себе. Он не приспособился к новой правде, а поистине родил ее в себе, и путь этих трудных поисков привел к тому, что его правда заблестала, и в нее поверили, и стала она путеводной звездой нового мира» (стр. 125).

Для того, чтобы подкрепить свой вывод, Юзовский делает экскурс в ранний период жизни и творчества Горького, он показывает, как шел писатель к осознанию новой революционной истины, основанной на прочном фундаменте реальной действительности. Уже в

ранний период Горький выступил против куцой идеологии мещан, всевозможных Ужей и Дятлов, «гениальной исторической интуицией угадал... вырисовывающуюся вдали «праведную землю», хотя сам он не сразу мог ответить на вопрос: «Где же эта праведная земля?» (стр. 101).

Нужно приветствовать такой исторический подход к Горькому, ибо за последние годы отчетливо наметилась тенденция изобразить Горького сразу же законченным марксистом, тенденция, игнорирующая реальные поиски Горьким истинного пути. Позиция Юзовского в этом вопросе целиком согласуется со словами В. М. Молотова в речи на траурном митинге, посвященном Горькому: «Своими особыми путями пришел великий художник Максим Горький в ряды бойцов за коммунизм. Вошел он в наши ряды еще до революционного подъема 1905 года, но уже с развернутым знаменем буревестника революции.

Горький начал свою революционно-литературную жизнь в эпоху нарастания революционного взрыва и скоро целиком и органически стал на позиции рабочего класса, стал близким другом великого Ленина по борьбе за коммунизм».

Юзовский своим анализом горьковских пьес и предшествующих им произведений показывает, как совершенствовались идеалы Горького, принимая все более отчетливую форму, найдя, наконец, свое воплощение в образе положительного героя — машиниста Нила, главного персонажа первой горьковской пьесы «Мещане».

В первой главе книги, посвященной «Мещанам», Юзовский подробно анализирует борьбу двух правд — мещанской, крохоборческой правды Бессеменова и революционно-творческой правды Нила. Именно под этим углом зрения, автор дает разбор образной структуры пьесы. Семья Бессеменовых — отцы и дети, — несмотря на их внутренний разлад, олицетворяет собою мещанскую правду факта, правду собственнического мира. «У отцов это было грубо, плоско, примитивно, все на ладони, у детей — тонко, возвышенно, благородно, завуалировано». Как показывает Юзовский, Нил, стоящий в центре пьесы, резко противопоставит бессеменовщине, «звет на борьбу с бессеменовщиной, с буржуазным, с частно-собственническим миром» во имя иной «высшей правды».

Но к этой борьбе двух противоположных взглядов на жизнь не сводится весь конфликт и сюжетное многообразие пьесы. Содержание «Мещан» не исчерпывается столкновением двух правд. Между тем весь анализ Юзовского ведется именно под этим углом зрения. Всех остальных персонажей пьесы — Тетерева, Елену, Перчихина, Полю, Цветаеву, Шишкина — автор рассматривает всего лишь как союзников Нила в борьбе с бессеменовщиной, с мещанской правдой факта. Занятый центральным конфликтом, Юзовский этим действующим лицам уделяет мало внимания, делая исключение лишь для Тетерева.

Уже в первой главе чувствуется власть над автором заранее данной схемы, которая пройдет через всю книгу. От этого многообразия горьковских пьес несколько нивелируется, центральный конфликт заслоняет в целом содержание. Между тем в пьесе каждый образ несет свою функцию, имеет не только философско-логическое, но и объективно-познавательное значение. Протестующий босак Тетерев, заявляющий по адресу Бессеменова: «Мне благороднее пьянствовать и погибать, чем жить и работать на тебя и подобных тебе», тихая Поля, мечтающая о сильном «настоящем герое» в духе испанского дворянина Дон-Сезара де Бозана, чудаковатый бессребреник Перчихин и жизнелюбка Елена не укладываются в схему двух правд, которую автор положил в центр своего анализа. Какую правду олицетворяет собой эта группа образов? Исчерпывается их значение только лишь протестом против бессеменовщины и союзничества с Нилом? Если Тетерев избегает формулировать какое-либо кредо (что еще никак не значит, что он не имеет своей собственной правды), то Поля прямо утверждает свои положительные взгляды, пусть в несколько иллюзорной форме, мечтая о настоящем романтическом герое. В какой-то мере и «благородная гибель», которую провозглашает Тетерев, и мечтание о сильном герое Поли, имеют отношение к третьей правде — правде возвышающего обмана, — хотя в целом эти образы по своему значению не сводятся к ней.

Проблему «возвышающего обмана» Юзовский ставит в центре внимания следующей главы о пьесе «На дне» и ряда последующих глав книги.

Забегая вперед, скажем, что, ставя «правду возвышающего обмана» наряду с «правдой факта» и «правдой творчества», Юзовский недостаточно исторически подошел к ней. Если «правда факта» и «правда творчества» — действительно два стержневых мотива, олицетворяющие собой борьбу мещанского и революционного взглядов на жизнь, то эта третья правда — «возвышающего обмана» — имеет в творчестве Горького историческое, временное значение. Идея возвышающего обмана в своей классической чистоте у Горького неразрывно связана с босяцкой и условно аллегорической романтикой и составляет ее главное существо, тогда как в последующих произведениях она получает совершенно иную интерпретацию. Между тем Юзовский старается во всех пьесах Горького, даже в «Дачниках», «Детях солнца» и «Врагах», увидеть возвращение к теме Чиж и Дятла, что, как увидим ниже, приводит к целому ряду натяжек.

Уже в «Мещанах» правда «возвышающего обмана», поставленная рядом с правдой Нила, выглядит совершенно иначе, чем она выглядела в ранних произведениях. Между тем для Юзовского Сокол, Чиж и Нил, хотя и не тождественные явления, но явления одного порядка. Это сказалось в следующей формулировке, как бы выражающей квинт-эссенцию «Мещан»: «В предшествующих «На дне»

«Мещанах» на всем протяжении ведется открытый бой между Соколами, с одной стороны, и Ужами и Дятлами — с другой. Любитель истины Бессеменов, Петр и Татьяна — «рожденные ползаты». С другой стороны те, кто тянется к Чижам и Соколам, к таким, кто хоть надорвался, как Тетерев, но не желает обменяться местом с Ужами, несмотря на весь их комфорт, и к таким, как Нил, в котором наиболее сильно, победно, глубоко, оптимистически звенит «Песня о Соколе» (стр. 104).

Наиболее полно проблему Сокола и Ужа, Чиж и Дятла, иначе говоря, проблему «возвышающего обмана» и «низкой истины» Юзовский ставит в главе о пьесе «На дне», где наряду с анализом образов пьесы автор совершает обстоятельный экскурс в ранний период творчества Горького. Юзовский правильно рассматривает горьковскую идею «возвышающего обмана», как антитезу пошлой мещанской правды, вскрывает историческую закономерность этой идеи, направленной против всякого рода крохоборческих теорий «реабилитации действительности» и «малых дел», получивших широкое распространение на рубеже 80 — 90-х годов. В эти годы «Горький требует от литературы идеалов, героев, страстей и порывов, требует, чтоб литература вызвала «жгучее желание создавать новые формы жизни» (стр. 101).

Но Юзовский не делает всех необходимых выводов из своего анализа идей раннего творчества Горького. Иначе, он должен был указать, что идея «возвышающего обмана» у Горького в 90-х годах приобретает совершенно иное звучание и вызывает иное отношение автора. В эти годы простого возвращения к теме Чиж и Дятла быть уже не могло. В период написания сказки «О Чиж» Горький сам не смог указать, где находится «праведная земля». Это знание, как правильно указывает Юзовский, «пришло к нему впоследствии, вместе с развитием рабочего класса в России, с ростом идеи социализма и борьбы за них революционной социал-демократии» (стр. 101).

Выступая прогив ненавистной твердыни — буржуазного мира, — Горький еще не дает отчетливой и положительной программы; более того, в своей полемике с мещанством он готов на «крайности» — пусть лучше бродяга, босяк, чем «добрпорядочный» обыватель, пусть лучше «обманщик» Чиж, чем «здравомыслящий» Дятел. Яркая выдумка, яркие краски противопоставляются тусклой обыденщине, серому фону обывательской жизни. Романтизм раннего Горького носил полемический характер, он был направлен против мещанской правды — в жизни и в литературе.

Но вот Горький находит «праведную землю», осуществление своих идеалов в самой реальной жизни, находит реальных людей, носителей возвышенных и благородных устремлений. Он тесно сближается с рабочим движением и социал-демократической партией. Кроме низкой мещанской правды, он теперь видит возвышенную революционную правду и навсегда связывает с ней свою судьбу. Естественно-

но, что теперь отпадает надобность в дилемме: или возвышающая ложь, или низкая правда. Романтизм органически входит в кровь и плоть горьковского реализма. Горький теперь иначе смотрит на проповедников «возвышающего обмана», каких он встречал немало в реальной жизни, в частности в среде босяков. В пьесе «На дне» Горький показал, как возвышающий обман превратился в утешительство и обнаружил все свои отрицательные стороны. Если возвышающий обман служил призыву вперед, то утешительство тянет назад. Это мы видим в образе Луки. Эти два понятия — возвышающий обман и утешительство — далеко не одно и то же, а между тем Юзовский часто ставит их рядом, как синонимы там, где их соединять никак нельзя.

Наряду с очень глубоким анализом образа утешителя Луки у Юзовского можно встретить противоречивые и неточные формулировки. То Лука олицетворяет собой рабство, то прошлое России, и вместе с тем говорится, что Горький писал Сатина «с оглядкой на Луку».

Романтическая идея «праведной земли» получила два направления — одно выродилось в утешительство и прикрашивание, другое трансформировалось в революционную идею переделки мира, идею, получившую свое многообразное выражение и завершившуюся созданием образа положительного героя. От возвышающего обмана Чижика до утешительства Луки — дистанция большого размера. В обмане Луки уже ничего не осталось возвышающего. И совсем уже незаконмерно ставить в один ряд и объединять в общую тему утешительство и возвышающий обман, как это делает Юзовский даже в главе о «Врагах». Это не просто терминологическая неточность, описка. У Юзовского нет четкой дифференциации понятий, поэтому он в ряде пьес Горького, написанных после «На дне», видит повторение мотивов «возвышающего обмана».

Конечно, Лука, как правильно указывает Юзовский, не является мерзавцем, каким его стремились представить некоторые театры, и не случайно, что именно он высказывает некоторые положительные мысли о человеке. И вместе с тем без упрощенности и схематизма Горький в образе Луки показал крах утешительства, уход в сторону от действительной правды жизни. Является ли Сатин носителем этой правды? В какой-то мере да, хотя Юзовский правильно подчеркивает, что босячество Сатина ставило известные пределы. В Сатине дано прогрессивное романтическое начало, хотя оно неразрывно соединяется с отрицательными чертами его характера. Горький прекрасно видел всю непрочность позиций Сатина, его временное союзничество с революционной силой, на знамени которой написано: «Человек — это звучит гордо». И вполне естественно, что после победы пролетариата, утверждающего организованное начало в жизни, Сатин мог оказаться в стане врагов революции. Не кто иной, как Горький, в одной из своих позднейших статей определил дальнейший путь Сатина.

В пьесе «На дне», изображающей жизнь босяцкой ночлежки, нет положительного образа, как в «Мещанах», ибо Горький был чужок к правде жизни, а герои его вовсе не являлись рупорами идей. Пьеса имела не только философский подтекст, но и объективно-познавательное значение. А эту сторону Юзовский склонен иногда упускать из виду. Он часто выступает против сведения пьесы к жанру, выхолащивания ее богатого идейного содержания. И это правильно, но вместе с тем нельзя забывать, что Горький изображал не только борьбу трех правд, но, что самое главное, — правду жизни, что эта правда жизни отнюдь не индифферентна к философскому подтексту пьесы, что именно эта жизненная правда не дала возможности Сатину выступить положительным героем в полной мере. Горький мастерски сочетал философскую проблемность с бытовой правдивостью пьесы — в этом тоже одна из причин его огромного успеха. Пьеса дает изображение дна капиталистического общества, звучит как приговор по адресу господствующих классов. Не только в диалогах Сатина, но через всю пьесу лейтмотивом проходит мечта о гордом человеке. К сожалению, в книге Юзовского анализ философского подтекста пьесы «На дне» отодвигается на второй план анализ ее объективно познавательного и художественного значения.

В главе о «Дачниках» попытки автора поставить на первый план проблему «утешительства» и «возвышающего обмана» (Юзовский соединяет эти понятия) воспринимаются уже явно как натяжка, как стремление искусственно подогнать содержание пьесы к заранее данной схеме. Он пишет: «Тема утешительства, «прикрашивания», «возвышающего обмана» составляет философский подтекст «Дачников» так же, как в «На дне» (стр. 193). И вот в качестве доказательства этого положения приводятся второстепенные и совсем неубедительные эпизоды пьесы. Так, в любительском спектакле Юзовский видит «как бы развернутую метафору темы «обмана»; в лице участников любительского спектакля Юзовский видит «как бы пародию на то «переодевание», которым занимаются главные герои пьесы». Все это отдает искусственным выуживанием философии там, где ее вовсе нет. Еще более неубедительны примеры, приводимые автором в доказательство того, что в пьесе господствует атмосфера украшательства, — слова Басова, обращенные к жене: «Надо, Варя, прикрыть чем-нибудь эти голые стены... Какие-нибудь рамки... Картинки...»; песня, напеваемая Юлией Филипповной: «О, ночь, поскорее укрой... прозрачным твоим покрывалом». Почему во всем этом надо искать скрытый смысл, почему нужно выискивать какой-то подтекст в словах той же Юлии Филипповны: «Жизнь точно какой-то базар. Все хотят обмануть друг друга?» Мы уже не спрашиваем — при чем здесь возвышающий обман, что здесь возвышающего?»

Боле того, Юзовский, увлеченный схемой, стремится провести полную аналогию между

песнями «Дачники» и «На дне». Кроме приведенной выше формулировки, он дает еще другую: «Тема «прикрашивания» составляет подтекст пьесы, который порой выносятся наружу, обнаруживая себя в вышеприведенной реплике, и опять уходит вглубь, чтобы выйти на поверхность. Этот подтекст поддерживает ту «философскую» дискуссию», которая ведется в «Дачниках», так же, как она велась в «На дне», и так же, как в «На дне», идет в трех направлениях — «утешительной лжи», «правды факта», «правды творчества». Мы встречаемся здесь с тем же треугольником, с той же «тройцей» — Сатиным, Бубновым, Лукой. Если на позициях Сатина — в самом общем, допускаемом аналогией смысле — находятся Мария Львовна, Влас, Варвара Михайловна, то позицию Бубнова отстаивает здесь Сулов — Бубнов из «верхних этажей жизни», позицию Луки — Рюмин, Лука из тех же верхних этажей» (стр. 194—195).

Как видим, все точно распределено по схеме. В данной категорической формулировке «философия» заслонила в глазах автора живую, образную ткань пьесы, дала возможность ему увидеть лишь то, что соответствует его схеме. Впрочем, сам автор чувствует уязвимость этой схемы, которая у него выделяется в специальный раздел главы. В других разделах дело обходится без «подтекста» — автор рассматривает пьесу под углом ее реального объективного содержания, анализируя горьковский взгляд на различные слои интеллигенции. В качестве соединительного моста между предыдущим и последующим разделами дается следующая формулировка: «Проблема интеллигенции, всегда интересовавшая Горького, поставлена в «Дачниках» с предельной широтой. Однако эта проблема еще не исчерпывает всей пьесы. Есть в ней еще другая тема, которую Горький разрабатывал в «На дне» и перенес сюда в «Дачники», ставя здесь те точки над *i*, которых еще не было в «На дне» (стр. 193).

Итак, утешительство и прочие излюбленные Юзовским категории выступают как «другая тема», имманентная главному содержанию. Это уже не похоже на «философский подтекст», и концы с концами явно не сойдутся. Куда лучше поступает автор, когда, не мудрствуя лукаво, дает анализ образов и идей пьесы, в частности образов интеллигентов, на стороне которых симпатии Горького, — Власа, Марии Львовны, Варвары, Сони, Зимина. Интересна характеристика образа Марии Львовны, которая по правильному убеждению Юзовского, в отличие от многих разочаровавшихся интеллигентов, находящихся на распутье, «знает, что делать». И совершенно прав Юзовский утверждая, что именно Мария Львовна «является истинным центром пьесы, так же как ее монол о народе» (стр. 191).

Юзовский конкретным анализом обосновывает свой совершенно правильный вывод, что Горький клеймит ренегатскую буржуазную интеллигенцию, выделяя из среды интеллигенции «демократическую группу, для которой

имя Чернышевского не стало пустым звуком, поощряя и защищая ее, давая ей свои симпатии» (стр. 162).

Юзовский раскрывает характер горьковского подхода к интеллигенции также на анализе пьес «Дети солнца» и «Варвары», которые по замыслу Горького составляют трилогию, связанную общей темой. Своим глубоким анализом Юзовский решительно спровергает всевозможные басни буржуазной критики о Горьком как о враге интеллигенции, показывая, какую интеллигенцию в действительности клеймил Горький. Характерно, что даже во «Врагах» буржуазная критика попытка «разоблачения интеллигенции», считая «интеллигентами» фабрикантов Скроботова и Бардина. Юзовский правильно ориентирует театры в их работе над образами интеллигентов в пьесах Горького. В своем конкретном анализе он проявляет хорошие качества — тонкость и большое чутье исследователя. Несмотря на то, что в «Детях солнца» нет прямых высказываний и деклараций действующих лиц, которые свидетельствовали бы о горьковских симпатиях к ним, как это мы видим в «Дачниках», тем не менее Юзовский анализом художественной ткани пьесы показывает положительное начало, заложенное в образах Протасова и Вагина. Эта характеристика свежа и интересна.

Глава о «Варварах» менее обстоятельна и написана несколько суше остальных, в ней не говорится о театральных постановках пьесы, зато она имеет преимущество в том, что здесь автор не злоупотребляет теоретизированием на тему об утешительстве. Его замечания о «правде факта», утверждаемой Чиркуном, звучат вполне убедительно и органично со всем анализом объективного содержания этого образа.

Но вот в главе о «Детях солнца» Юзовский, дав разбор идей и образов пьесы в заключительной главе, вновь возвращается к той же проблеме утешительства. В этой пьесе он видит горьковский мотив Чиж и Дятла, «своеобразно трансформированный». Говоря об ироническом заряде пьесы, направленном против Протасова, Юзовский восклицает: «Не есть ли это ревизия Сатина?» и отвечает: «Это предостережение Чижам, для которых провозглашение «праведной земли» стало самоцелью...» и т. д., в этом же роде. Между тем здесь дело совсем в другом. Горьковская ирония в отношении Протасова должна быть воспринята не в «философском», а в бытовом плане, драматург показывает характерную черту у человека высокой науки, столкнувшегося с самыми обыденными явлениями жизни и проявляющего при этом ученую рассеянность и наивность. Между тем Юзовский все стремится мотивировать, исходя из своей «проблемы». В другом месте он выставляет Протасова сторонником прикрашивания и утешительного обмана и замечает по этому поводу: «Опасность в том, что Лука выступает загримированным под Сатина и пользуется этим заблуждением, чтобы завербовать себе лишних сторонников» (стр. 228).

Помимо общего смещения всех этих формулировок, получается, что Горького все время волновали одни и те же идеи. Между тем известно, что в горьковских произведениях, в частности в пьесах, мы видим большой разнообразный жизненный материал; целую энциклопедию русской жизни. Живая диалектика пьесы «Дети солнца» никак не укладывается в прежнюю дилемму Горького — Чиж или Дятел. Теперь в новом свете кое-какие черты Чижа могут быть отнесены к отрицательным образам.

Также допуская явную натяжку, Юзовский пытается перенести в пьесу «Враги» проблему утешительства и возвышающего обмана. «Нетрудно заметить, — пишет он, — что Горький возвращается к тем же вопросам, с которыми мы встречались в предыдущих пьесах, к вопросам утешительства, приукрашивания, «возвышающего обмана». Во «Врагах» эта тема тоже занимает важное место» (стр. 272). И Юзовский опять пускается в рассуждения об утешительстве, считая его выразителем Захара Бардина. Однако автор быстро забывает это и дает, основываясь на высказываниях

Ленина, правильную характеристику Бардина, как буржуазного либерала (стр. 275).

Глава о «Врагах» — одна из лучших в книге. Проблеме утешительства здесь отведено очень скромное место, зато в главе дается всесторонний анализ содержания идей и образов пьесы. Умение вчитаться в горьковский текст с особой ясностью обнаруживается в этой главе. Очень хорошо пишет Юзовский о сценическом воплощении пьесы, в частности о постановке ее Мхатом. Здесь наиболее органично чувствуется связь между анализом образов и театральной интерпретацией. Большая часть главы посвящена разбору актерской игры. Юзовский выводит свои оценки, сравнивая спектакли разных театров. В этом анализе Юзовский показал себя опытным театральным критиком, с хорошим вкусом, которому вполне может доверять читатель.

Книга Юзовского, несмотря на ряд спорных мест, ценна тем, что она пробуждает у читателя ряд мыслей, наталкивает на интересные выводы. К тому же книга написана хорошим литературным языком и читается с большим интересом.

Ан. Волков

★

ЭЛЬМАР ГРИН, РАССКАЗЫ*.

Книга Эльмара Грина имеет на титульном листе дату «1939», но она заслуживает, чтобы о ней вспомнили и сейчас.

Книга эта интересно отображает один из уголков жизни нашей необъятной родины и в то же время свидетельствует о даровании автора, о его любви к советской действительности.

Восемь рассказов, заключенные в книге Грина, несмотря на внешнее композиционное членение, составляют одно целое как по замыслу, так и по содержанию. Каждый следующий рассказ последовательно продолжает и развивает фабулу и идею предыдущего.

Произведения Эльмара Грина посвящены классовому расслоению и коллективизации или, лучше сказать, утверждению новых людских отношений и форм организации труда среди эстонских крестьян в СССР. Героями рассказов являются эстонские советские крестьяне, т. е. представители национальной группы — до вхождения Эстонии в СССР — очень немногочисленной.

Лет 40—50 тому назад, теснимые на родине, в прежней Эстляндской губернии, немецкими баронами и кулаками, многие эстонские крестьяне переселились на восток в пределы бывшей Петербургской губернии и в местности, к ней прилегающие. Здесь эстонские переселенцы скупили участки земли и основали свои хозяйства. Естественный ход вещей порождал среди новопоселенцев классовую дифференциацию. Одни выросли в ку-

лаков и крепких хозяев, а другие, несмотря на упорство и затрату многих сил и труда, оставались батраками, бедняками или середняками.

Но вот пришла Великая Октябрьская социалистическая революция, и жизнь эстонских крестьян в СССР радикально изменилась. Все те процессы, которые происходили в любой деревне страны, нашли свое отражение и в эстонских хуторах Ленинградской области и дали благотворные результаты.

Эстонские трудящиеся освободились от эксплуататоров и познали счастье свободного коллективного труда и зажиточной жизни, обрели радость братского единства с трудящимися других национальностей.

Рассказы Эльмара Грина показывают эстонские хутора от периода нэпа вплоть до окончательного упрочения коллективного строя в деревне.

Первый из рассказов сборника — «Пиетри» — говорит еще о временах нэпа и служит как бы преддверием ко всем остальным рассказам, в которых автор изображает начало перелома, а затем — как происходит и завершается переход от одиноличного к коллективному хозяйству.

В первой группе своих произведений — «Пиетри», «Эйно», «Друзья» и «Темные ели» — Эльмар Грин дает облик врага. Он показывает кулака, злобного и неистовствующего, остервенелого, который маскируется, сопротивляется и вредит всему новому.

Грина при этом занимают не только и не столько действия врага, сколько его социальная и индивидуальная характеристика, его пси-

* Гослитиздат. Л. 1939. Стр. 350. Тираж 10.000. Ц. 5 р. 50 к.

хология, его внутренний мир, который автор раскрывает выпукло и убедительно.

В следующей группе рассказов — «Старый Уйт», «Возвращенная семья», «Последний стог сена» — Грин в лице старого Яна Уйта, Юхана Пютсипа рисует колеблющихся труженников — середняков, — их вступление в колхозы, в которых герои находят родную семью, близких людей, любимую работу, спокойную и обеспеченную старость. В этих же рассказах автор воспроизводит картины торжествующего братства эстонских и русских колхозников, уничтожение розни между ними.

В последнем рассказе книги, носящем название «Пройденные болота», отпрыск кулацкого рода Карьямаа проходит путь переселения и перерождения сперва на Беломорском канале и затем — окончательно — на вольнонаемной работе на Севере. Здесь Владимир Карьямаа превращается в советского гражданина и строителя, нашедшего свой мир и свое счастье.

«Пройденные болота» замыкают книгу.

Рассказы Эльмара Грина имеют свои стилевые особенности. Социальные процессы, происходившие в среде эстонских крестьян в СССР, автору хотелось представить в подчеркнuto эпической манере. Он гиперболизирует своих героев. Все персонажи наделены у Грина необычайной физической силой, огромным ростом. Они легко гнут подковы, поднимают десятипудовые мешки, сваливают коня ударом кулака.

При чтении Эльмара Грина иногда кажется, что описываемые им события или столкновения происходят не среди обыкновенных людей, а среди гигантов. Печать некоторой необычности, некоторого отвлечения от привычных для читателя представлений и масштабов лежит на всех персонажах Грина.

В своем стремлении к преувеличению, эпичности Эльмар Грин отвлекся также от географической и, в известной мере, от бытовой конкретности. Во всей книге нигде не названо ни селение, ни город, который находится где-то поблизости.

Представители советской стороны фигурируют в книге без имен и фамилий, они от-

личаются только приметам: «человек со шрамом на лбу», «высокий человек, худой и кашляющий», «высокий, белокурый парень».

В «Старых елях» изображается, как эстонские крестьяне входят в русский колхоз, отныне объединенный и названный эстонским названием: «Ома-маа» — «Своя земля». Между крестьянами обеих национальностей устанавливается братская дружба. Колхозники переживают радость вступления в новую фазу общественной и хозяйственной жизни. Между эстонскими хуторами и русской деревней находилась роща, составлявшая реальный рубеж между землями и символическую черту между людьми. Охваченные подъемом, колхозники вручную выкорчевывают эту рощу — уничтожают стену, отделяющую их от новой жизни.

Эльмар Грин достигает здесь романтического пафоса. Вот как он описывает эту сцену:

«А теперь они (т.-е. русские и эстонцы. — С. Н.) шли рядом, пели, разговаривали и смеялись, как самые настоящие друзья. А за ними шли остальные, такие же здоровые и крепкие с виду. В сумерках было трудно различить их по отдельности. Но видно было, что это движется вперед очень большая и страшная сила, перед которой было опасно становиться на пути. Казалось, что это древние богатыри родились в ночной темноте и двинулись в поход, чтобы завоевать мир. Их головы и плечи решительно плыли вперед в ранних сумерках. И выше всех торчали головы старого Талдрика и Эльмара Уйта».

Колхозы и зажиточная, культурная жизнь, межнациональная дружба и братство колхозников, независимо от того, на каком языке они говорят, — все это глубоко радует и волнует писателя. Он любит изображаемых им людей. Он умеет передать свои переживания и вызвать у читателя чувство гордости и счастья за свою родину, которая первая в мире устранила из людских отношений эксплуатацию человека человеком и установила начала гуманизма и интернациональной солидарности.

В этом бесспорная ценность рассказов писателя, выпустившего, насколько представляется, только первую книгу.

С. Немировский

★

ВИКТОР ПАНОВ. «КРАСНЫЙ БОР».

Наша критика очень редко, неохотно и вяло пишет о книгах, посвященных деревне. «Юность» Н. Кочина, «Подпасок» П. Замойского и ряд других хороших произведений о современной деревне не имели отзывать печати по году и по два. Происходит это, видимо, потому, что некоторые критики и рецензенты игнорируют освещение современной жизни в литературе и особенно равнодушны к деревенской тематике, которая требует, помимо узко литературных знаний,

еще и знаний самой жизни во всей ее сложности.

Деревенская тема благодарна и в то же время наиболее трудна для художника. В деревне, как нигде, яростно проявляется борьба старого с новым, ломка старого: косность, мелкобуржуазные пережитки, с одной стороны, и с другой — бурный рост новых явлений: социалистическое отношение к труду, к общественной собственности. В деревне вся жизнь еще в становлении, растут и воспитываются новые люди, новые характеры, складывается новый быт. Поэтому появление каждой новой

* Изд-во «Советский писатель». М. 1940, стр. 262. Тираж 10 000. Ц. 5 р. 25 к.

книги о колхозной деревне не может быть обойдено нашей критикой.

Повесть Виктора Панова «Красный Бор» посвящена колхозной теме. Автор правильно подметил, что часто от одного человека, руководителя, зависит все хозяйство колхоза, его производственные возможности, а отсюда и материальное благополучие самих колхозников.

Герой повести Иван Петрович Глазов — коммунист. По телеграмме секретаря райкома он срочно выезжает из Ивановки в село Красный Бор. Там Глазова любезно встретил «ядренный» мужчина лет сорока, председатель колхоза Хвиюзов — старый коммунист. Хвиюзов угощает Глазова чаем, они разговаривают о хозяйстве, о предстоящем осеннем севе... Но Глазову и Хвиюзову надо спешить на собрание. На этом колхозном собрании приехавший секретарь райкома Меньшиков зачитывает выдержки из писем красноборцев, в которых Хвиюзов обвиняется в бесхозяйственности, в разбазаривании колхозного добра. В колхозе кумовство — заместитель председателя Чмутов поставил на руководящие посты своих родственников, а награжденную орденом свинару Груню и заведующего хатой-лабораторией комсомольца Федора руководство колхоза всячески загирает; над Груней смеются, а Федора иронически величают «профессором».

На этом же собрании, по указанию секретаря райкома, Хвиюзов отстраняется от работы, а Глазов неожиданно должен остаться в главе колхоза. Когда Глазов ехал в Красный Бор, он не знал, что ему придется оставить в Ивановке большое и налаженное хозяйство и начать работать в другом месте. Его просто вызвали. И поэтому, естественно, что Глазов был теперь полон недоумения и возмущен:

«— Я ни черта не понимаю, — маленький, злой Глазов наступал на Меньшикова, — спектакль какой-то. Здесь меня выбрали, что ли? — Тебя не выбрали, но Хвиюзова сняли.

— Я в обком пожалуюсь, — Глазов отвернулся от Меньшикова.

— Успокойся... Надо помогать, мы должны помогать, это наша обязанность.

Меньшиков уехал».

Виктор Панов, видимо, не присмотрелся к тому, как поступают секретари райкомов в тех случаях, когда нужно одного коммуниста снять с работы, а другого поставить на это место.

Но допустим, что было все так, как это описано автором в повести.

Глазов со всей своей семьей — с женой Лизой и двумя детьми — Семей и Ваней — переехал в Красный Бор. Он активно начинает работать. Подбил свинарку Груню, помог Федору-«профессору», организовал колхозников на вывозку навоза, решил поднять целинную землю рядом с болотом.

Чмутов и Хвиюзов с первых же дней работы Глазова мешают колхозному хозяйству, а потом даже просто вредят. Когда нужно было подборонить озимый посев, Чмутов воспроти-

вился этому и направил колхозников пахать огороды.

«— Федор, — обратился Глазов, — скажи нам, что важнее сегодня: личные огороды пахать или боронить озимое?»

«Профессор» Федор молчал. Комсомолец Федор, оказывается, не знает, что важнее, — колхозное хозяйство или личные огороды колхозников. И Глазов, лучший, как рекомендовал нам его автор, председатель колхоза в районе, уступил Чмутову:

«— Да ладно уж... один раз уступим».

И Хвиюзов и Чмутов одержимы одной мечтой: выжить из Красного Бора Глазова. Они совершают гнусные поступки: Хвиюзов пытается изнасиловать Груню, и все это сходит ему безнаказанно. Хвиюзов работает в поле, на посевной. Звено его считается «лучшим из лучших». Но вдруг Глазов обнаруживает, что у Хвиюзова «аппарат сеялки, регулирующий высев, был поставлен так, что количество килограммов принималось за количество пудов. Глазов побледнел».

Побледнел, но ничего не предпринял против явного вредительства, распорядился только пересеять «всю полосу в крест».

Для того, чтобы вспахать земли, смежные с болотом, понадобилось несколько бочек горючего. Чмутов пробил зубилом эти бочки и выпустил горючее.

История приобретения этих нескольких бочек совершенно нелепа.

«Глазов и Федор составили письмо начальнику Областного земельного управления: около Красного Бора землю вечно удобряют навозом, а земля лежит непаханная, они просят горючего на перепашку этой земли». И Федор уехал с письмом в областной город добывать несколько бочек торючего. Виктору Панову, очевидно, не известно, что колхозы к горючему никакого отношения не имеют. Этим делом занимается исключительно МТС. Но автору обязательно надо было послать Федора в областной город, чтобы он там повидался с красноборцем Акимом Бычковым, пострадавшим, как выясняется, от Хвиюзова.

Целину подле болота подняли. Но потом оказалось: нехватало горючего, чтоб заборонить вспаханное. Что тут делать? Глазов едет в район. Но там ему отказывают. Второй секретарь райкома сказал:

«— Ой, посадим! Ой, Глазов, посадим!»

Глазов направился в земельное управление.

«— А что я? Я что? — вопросом ответил ему одноклассник и друг Хвиюзова Михаил Михайлович. — У тебя не ладится, а я что? Я рыжий, что ли? — И он повернулся к Глазову спиной.

— На ком же мне боронить?

— Хоть на коровах борони».

Глазов вновь идет в райком. Меньшиков — более милостивый секретарь райкома. Он пригласил Глазова домой, отведать пельменей. «В улице, взяв Глазова под руку, он сказал:

— Знаешь, между нами говоря, я бы на твоём месте не связался с целиной».

«На дороге они встретили прокурора. Вертя у Меньшикова на пиджаке пуговицу, прокурор доказывал, что Глазова, растратчика и самоуправителя с жандармскими замашками, надо хорошенько вздрючить.

— Стоит ли? — сказал Меньшиков.

— Ну, как знаешь, — и прокурор ласково по бокам погладил Меньшикова.

— Лучше уж арестуйте, — сказал Меньшиков, улыбнувшись Глазову.

— Есть арестовать! — прокурор помчался.

— А может быть, не стоит? — окликнул его Меньшиков.

Разговор продолжался в таком роде, но все же Глазов уцелел, только вернулся он в Красный Бор с выговором, «накрутили ему хвоста...»

Ну, а как же быть с поднятой целиной? В колхозе имеется двадцать лошадей, но Глазов все же по неизвестным причинам решил боронить целину на коровах. А некоторые колхозницы даже восторженно кричали: «Сами напрягемся!».

А потом все совершается, как по щучьему велению: «План посева выполнен, посевы прополоты. За проданных поросят выручено две тысячи рублей, полторы тысячи — за ягоды с садов хаты-лаборатории. Колхозникам даны поросята. Через две недели колхоз закончит плановую сдачу молока государству, потом каждый день молоко будет давать колхозу девятьсот рубликов. Полторы тысячи дал мед, шестьсот рублей огурцы и редиска».

Многие колхозники стали стахановцами полей. Но автор настолько спешил дописать повесть, что забыл рассказать, как же все это произошло. А общие фразы на этот счет убеждают читателя только в одном: в беспечности автора.

Злоумышленники — Чмутов и Хвиюзов — изъезы из колхоза: первый арестован, а Хвиюзов по делу Чмутова пробыл под арестом пятнадцать дней и затем, посрамленный деятельностью Глазова, уехал совсем в город.

«...еще грачи не собирались в стаи, а жители Красного Бора уже говорили об осени.

— Давай, давай скорее, матушка, — торопили они ее.

Приблизительно подсчитанные доходы от люфы, от клещевины, от злаков и скота были так велики, что колхоз мог купить два автомобиля, а колхозники могли одеться и обуться не хуже ивановцев.

Делались заказы в лавке, в городе, в пошивочной мастерской, явно и тайно готовились к свадьбам».

«Выговор с Глазова сняли. А рабочий день его похвально описали в областной газете; портрет его, попав на первую страницу центральной «Правды», проник во все населенные уголки республики». В чем заключался этот рабочий день Глазова, читателю не известно.

За одно только лето Глазов сделал для красноборцев все, что только могла придумать безудержная фантазия автора. В самом конце книги автор извещает читателей: «...а если

ночью на его (Глазова) имя с элеватора или из райкома получится телеграмма с просьбой выехать ему куда-либо, то утром Ивана Петровича мы застанем в дороге, как застали его и в начале повести».

У Виктора Панова был интересный замысел, но написал он повесть небрежно, легкомысленно и удивительно бездумно. Отдельные удачные эпизоды и наблюдения ни в какой мере не спасают всей вещи. В целом произведение оказалось на уровне примитивного очерка. Действие развивается вяло, характеры людей только намечены. Районные работники намазаны сплошной серой краской. Лучше, чем взрослые, удались дети, особенно Сема Глазов, но и он часто сбивается, говорит не своим языком, а под конец повести автор совсем забыл о нем. Ваня много шепелявит и сюсюкает, да и неизвестно, зачем он вообще потребовался в повести. Взаимоотношения коммунистов Виктор Панов знает плохо.

Интересно задуман образ комсомольца «профессора» Феди, но автор так увлекся возделыванием болота, что постепенно забыл о самом главном в произведении: о людях, об их характерах и судьбах.

По повести «Красный Бор» трудно установить, к каким же годам относятся описываемые в ней события и где происходит действие. Только по отдельным словам — «колки», «чо» — и некоторым деталям можно определить, что в повести описан сибирский колхоз. А если это так, то почему же автор не заметил сибирского колорита в быте колхозников, не заметил чудесной и своеобразной сибирской природы?

В повести многое не осмыслено до конца, много фактических неточностей, элементарной литературной небрежности, раздражающей читателя.

«С бугра он увидел в деревне Красный Бор свежие стены силосной башни, амбары, сушилки, клуб... За клубом Глазов увидел церковь».

Автору колхозной повести следует знать, чем же деревня отличается от села.

«Луг покрыт белыми и красными цветочками», а через десять страниц Виктор Панов пишет: «Рано еще было гонять скотину в поле...»

Примеры такого рода можно бы умножить. Но от этого, к сожалению, повесть не станет лучше.

Виктор Панов — писатель молодой, но не начинающий. Это человек с определенным дарованием. Он умеет правильно почувствовать общественно-значимую тему, но повесть его очень неряшлива. Панов написал уже несколько книг очерков, роман «Генеральная запань», и все же, как видно, он не научился еще серьезно и вдумчиво относиться к художественному слову и к фактам жизни. А на этот раз не помогло ему, к сожалению, и издательство «Советский писатель», послешив выпустить в свет большую повесть «Красный Бор», недоработанную и маловыразительную.

Вас. Кудашев

МАРГАРИТА АЛИГЕР. «КАМНИ И ТРАВЫ» *

«Камни и травы» — третья по счету книга стихов Маргариты Алигер. Начав печататься сравнительно недавно, Алигер уже добилась серьезных результатов. Ее искренний голос в хоре нашей поэтической молодежи слышен все явственней.

Стихи и поэмы Маргариты Алигер в ее первых двух книжках отличается повышенная восприимчивость людей, событий. Ее зрительные образы неожиданно резки, ее отношение к дружбе, к любви — особенно требовательно, ее поэтическая реакция на грусть, мелкотравчатость, равнодушие — особенно остра. Маргарита Алигер всегда как бы полемизирует с тем довольно широко распространенным в поэзии «методом», когда радость изображается только радужными красками, когда все вокруг рисуется безмятежным и безоблачным. Но эта поэтическая полемика у Алигер лишена примитивности. Розовым краскам иных благодушных «оптимистов» она вовсе не противопоставляет сумеречные тона или пессимистические медитации. В своей уже довольно широко известной поэме «Зима этого года» Алигер писала:

И коммунизм совсем не в том,
чтобы сердца разоружить.
И коммунизм — не теплый дом,
в котором можно тихо жить,
не зная горя и тревог
и не ступая за порог.
Нет!

из разрозненных частей,
единный встанет мир, а в нем
шуметь цветению страстей
и чувствам полыхать огнем.

Эти строчки уже неоднократно с сочувствием цитировались в нашей критике. Их нельзя не вспомнить снова, определяя основное в поэтическом облике автора. Многокрасочность единого процесса жизни человеческой души и нашего общества привлекает Алигер.

Новая книжка «Камни и травы» не только подтверждает основные принципы поэтической работы автора, но и углубляет их. Алигер говорит о своих личных чувствах и переживаниях, не приклеивая к лирическим размышлениям искусственных «идеологических» концовок — в этом нет нужды для поэта, у которого есть глубокое, органическое и вместе с тем свое ощущение действительности.

Маргарита Алигер не берет любовные политические темы. В этом, может быть, некоторая узость и ограниченность тематики ее творчества. Но особенность и своеобразие Алигер как поэта заключается в том, что она хочет насытить воздухом, красками именно нашего, советского времени даже такие «вечные» темы, как любовь и природа. Трудно точно указать на те или иные конкретные детали, привести в подтверждение этой мысли цитаты, приме-

ры. Но ощущение этого стремления не покидает читателя, знакомящегося с лирикой Алигер.

В ее стихах о любви отсутствует мелкая сентиментальность, слезливая чувствительность и самолюбование — пороки, столь распространенные в творениях «чирникающих перепелов». В мотиве любви у Алигер есть мужество, гордость за человека, за его судьбу и возможности. В одном из стихотворений цикла «Человеку в пути» в трех отрывках дано определение любви. В первом — она ассоциируется с уютным домом, завершающим трудную дорогу. Во втором — любовь сравнивается с цветущим садом. Третий отрывок — полемический по отношению к первым двум:

Теперь я уверена: наша любовь — это путь,
чуть видная тропка и снова большая дорога.
Ночевки под звездами, вздох, наполняющий
грудь,
усталость и счастье — сладчайшая в мире
тревога.

Человек, от лица которого говорит в своих стихах Маргарита Алигер, не склонен удовлетворяться прекрасным мгновением, потому что для него прелесть заключается в многообразном движении мира. У автора есть очень точное и поэтически закрепленное ощущение того, что в смене восприятий, в процессе жизни заключена ее главная красота.

Во многих стихах Алигер описываются поезда. Ее предшествующая книжка даже так и была названа: «Железная дорога». Это, конечно, внешний признак, но и он характерен для творчества Алигер. В книге «Камни и травы» тоже очень много движения:

Так же, как реке текуть
переменных вод,
мне по сердцу эта участь,
это светлое круженье,
это вечное движение,
и всегда вперед!

Даже многие метафоры новых стихов Алигер построены не на статических сравнениях, а на образах движения. В этих стихах нет орнаментальных деталей. Поэт все время стремится уловить процесс жизни, ее изменчивость:

Видно, мой извечный жребий
отродясь таков, —
видеть, как листва светлеет,
догоревший хворост тлеет,
как меняется на небе
лепка облаков.

Когда Алигер в цикле стихов о Западной Белоруссии хочет передать свою враждебность к прошлым порядкам, царившим в панской Польше, она рисует неподвижность, статику, однообразие жизни. Дождик старого мира — бесконечный, небо низкое, невысокое, жизнь проходит, скорее живишь, сгорбившись. Рисуя образ забытой девушки из местечка, Алигер говорит с

* Изд-во «Советский писатель», М., 1940. Стр. 52. Тираж 5 000. Ц. 2 р. 25 к.

том, что ей были незнакомы дальние пути. «Неживой покой» — вот что Алигер ненавидит, о чем пишет с горечью.

Вдохновение, радость, вызванные встречей с детьми испанских борцов за народное дело, у Алигер воплощаются в изображение стремительного танца — хотта, который дети танцуют в Большом театре.

Даже мертвая природа оживает в стихах Алигер. Весь цикл «горной» лирики раскрывает ее понимание природы как начала, облагораживающего человека, приподнимающего его над обыденностью, раскрывающего перед ним новые возможности в самом себе. Движение здесь дано не как самоцель, и вряд ли Алигер сознательно подбирала метафоры, на которые я ссылаюсь. В конце-концов «образы движения» могут быть найдены в произведениях и других поэтов. Но то, что у поэта, обладающего очень цельным и последовательным восприятием жизни, обнаруживается естественная, непреборимая тяга к определенному виду сравнений, эпитетов, метафор, мне кажется явлением закономерным и в большой мере раскрывающим творческий метод Алигер.

Поэтическое определение счастья, которое дает в одном из своих стихотворений Алигер, складывается из контрастирующих образов. Счастье для поэта — не достигнутая цель, а сам процесс этого достижения. Счастье — не в покое, а в движении, в преодолении стоящих на пути препятствий:

Это храбрость и страх, это пламень и дрожь,
униженье, величие и честность, и ложь,
из которых складывается счастье.

Недавно в «Известиях» (от 30 декабря 1940 года) появилась рецензия поэта К. Симонова на ту же книжку стихов М. Алигер, о которой идет речь. Отмечая ряд художественных достоинств сборника «Камни и травы», К. Симонов писал:

«Это книга о радости жизни, о поисках этой радости. Но, поставив перед собой такую благородную задачу, Алигер в ряде случаев пошла по неправильной дороге. Счастье жизни у нее очень часто превращается в гладкость. Поиски счастья идут не через трудности жизни, не через препятствия, а в обход их. А такое счастье вдруг неожиданно для автора выглядит непрочным и придуманным. Алигер боится мелочей жизни и быта».

Дальше К. Симонов приводит несколько строк из стихотворения Алигер, в котором она говорит, что ей дорог образ друга, каким она его видела на трудных горных дорогах, и не хочет встречать его зимой, в Москве. Я не хочу, — говорит Алигер, —

услышать, как ты ссориться с женой,
увидеть, как ты к другу равнодушен.

К. Симонов так рассуждает по этому поводу:

«Очень хорошо, когда поэт описывает горы, реки, дороги, просторы и говорит, что, он там был счастлив. Но очень плохо, когда со-

здается ощущение, что он сумел быть счастливым только там, что для счастья нужны какие-то особые условия. Это и поэтически и человечески неверно».

Мне думается, что К. Симонов неправ.

Недостатки стихов Алигер совсем не там, где их увидел К. Симонов. У Алигер еще узок круг жизненных наблюдений, вот в чем непопаденность ее творчества, если говорить о нем с точки зрения больших критериев. Природа и любовь — основной материал стихов сборника «Камни и травы». Правда, в эту книжку вошел еще цикл «Невысокое небо» — своеобразные стихотворные очерки об освобождении Западной Белоруссии, стихи «Хотта — танец басков», стихотворение «Гендриков переулком» о Маяковском. Но этого все же мало. Жизнь представлена в последней книжке Алигер слишком скупой, поэт не охватил еще многообразия, глубины и противоречивости жизненных процессов, а лишь декларировал необходимость их изображения. Рамки личной лирики Алигер стремится раздвинуть, насытив ее общественно значимыми мыслями и чувствами. Но сам комплекс явлений мира — поступков, дел, переживаний людей — у Алигер еще беден. Как я уже говорил, она стремится передать в своих стихах многогранность, многокрасочность жизненного процесса, передать честно, без лакировки, без сентиментальности и умиления, правдиво и прямо. Но конкретных поэтических аргументов Алигер еще нехватает, большие поступки настоящих людей, их социальные страсти изображать она еще не научилась.

И еще существенное замечание: у Алигер, как и у многих наших поэтов, начавших свою работу в последние пять-шесть лет, недостаточно разработаны, недостаточно индивидуализированы изобразительные средства. Иногда у Алигер бывают счастливые находки, ее строчки звучат тогда исключительно выразительно:

Ходят куры, стуча носами,
на шарнирных сухих ногах.

Конечно, это мелочь, но поэт увидел ее точно и передал это читателю.

Но рядом, в других стихах Алигер, мы встретимся с вялым многословием, с недостаточной заботой о выборе эпитета, с неряшливой отделкой строки. Вот пример из стихотворения «Старуха»:

Только узких окошек пугливые темные
щелки...

То, что окошки узкие, можно было не говорить, ибо дальше они сравниваются со щелками. То, что они темные, тоже можно было бы с успехом не сообщать читателю. Попробуем опустить эти ненужные слова, и мы сразу увидим, как выигрышает образ в своей зрительной наглядности:

Только окошек пугливые щелки...

Следовательно, слова «узких» и «темные» поставлены поэтом случайно, для одного лишь

заполнения ритмических пустот. В этом сказывается известное подчинение поэта инерции стихотворной строки, неумение выкарабкаться из формальной схемы.

Другой пример из стихотворения «Гендрикос переулок». Алигер говорит о Маяковском:

И дружбы он хотел незаменимой, той,
необоримой, верной и упрямой...

Словечко «той» обнаруживает здесь явную неспособность ухватить нужное определение, оно как бы передает паузу в мыслях поэта,

перебирающего эпитеты и не могущего остановиться на единственном из них. И ставить после эпитета «необоримая» еще «верная» и «упрямая» не нужно было, — они только ослабляют впечатление, ибо по силе своей выразительности намного ниже первого, уже найденного слова строки.

Работа над каждым словом, над выразительностью каждого эпитета, каждой строки — задача, еще не решенная Алигер до конца. Над этим, как и над расширением своего человеческого, жизненного опыта, ей предстоит много думать и трудиться.

Ан. Тарасенков

★

ВОСПОМИНАНИЯ К. ЧУКОВСКОГО *

Эта небольшая книжка поучительна и богата по содержанию.

В своих воспоминаниях К. Чуковский воссоздает образы замечательных людей русского искусства и литературы — Репина, Горького, Маяковского, Брюсова.

К. Чуковский называет книгу «Первой книжкой моих мемуарных заметок», составленной из «непритязательных очерков». В книге автор не только рассказывает об эпизодах из жизни и деятельности Репина, Горького, Маяковского, Брюсова (эпизоды эти являются ценными историческими иллюстрациями), но и в связи с этими именами ставит некоторые общие вопросы искусства и творчества. Книга К. Чуковского написана жизненно и тепло, это — значительное явление мемуарной литературы. Отличная память помогла К. Чуковскому сохранить не только живые образы людей, но и отдельные черты их характеров, их разговоры, реплики и все то, что дает богатейший материал исследователю для создания творческих биографий Репина.

Открывается книга очерком о Репине. Автор рисует художника человеком высоких моральных качеств. К. Чуковский сообщает много новых сведений о личности Репина — о его характере, убеждениях, о его творческом пути.

Ярко воссоздана общественная атмосфера эпохи, особенности среды, с которой Репин был связан.

Одну из отличительнейших особенностей репинского характера К. Чуковский видит в преклонении художника перед проявлением таланта у человека, «он вообще любил в людях только талант и льнул только к талантам, и слово бездарность было в его устах величайшим ругательством» (стр. 5).

Уменьше восхищаться чужими талантами было связано у Репина с величайшей скромностью, с огромной требовательностью к себе:

«Каждая картина давалась ему с таким над- рывным трудом, он столько раз менял, пере- крайвал, переиначивал в ней каждый вершок, предъявляя к себе при этом такие невыпол- нимые требования, перед которыми было бес- силно даже его дарование, что у него на са- мом деле выдавались периоды, когда он пре- зирал и ненавидел себя за свою неумелость» (стр. 8).

Страницы, посвященные творческому подвиж- ничеству и работе Репина, — одни из интерес- нейших в книге. Стоит сказать, что творческий процесс художника, писателя, музыканта в ли- тературе еще мало отражен, и уже поэтому ра- бота К. Чуковского, приоткрывающая «свя- тая святых» художника — тайну его вдохновен- ного труда, безусловно представляет собой большой интерес.

Нельзя без волнения читать нашего мемуа- риста, когда он рассказывает о своих необы- чайных наблюдениях над уже дряхлеющим Репиным, который силой своего творческого духа побеждал старость и болезни и продол- жал творить. «А когда от старческой слабости он уже не мог держать в руках палитру, он повесил ее, как камень, на шею при помощи особых ремней и работал с этим камнем с ут- ра до ночи» (стр. 19).

Что помогало Репину стать великим реали- стом, гениальным портретистом-психологом, умевшим передать типическое в человеческом характере?

К. Чуковский правильно характеризует ре- пинское творчество, его художественную мане- ру как «прожорливую жадность к живому че- ловеческому телу, к человеческим лицам, гла- зам, волосам, к человеческим позам и жестам, ко всем «предметам предметного мира». Имен- но безмерная влюбленность Репина в жизнь, в осязаемую, зримую плоть сделала его замечательнейшим русским живописцем.

В своей характеристике прогрессивности взглядов Репина К. Чуковский опирается на богатый документальный материал — на репин- ские письма и высказывания. Автор приводит целый ряд писем Репина, в которых великий

* Корней Чуковский.—Репин. Горький. Маяковский. Брюсов. Воспоминания. Изд-во «Со- ветский писатель». М. 1940. Стр. 222. Тираж 10 000. Ц. 4 р. 75 к.

русский художник выражает свое глубокое отвращение к монархии, ненависть к реакционерам, говорит о своей любви к революционерам-демократам Белинскому, Чернышевскому, писателям-реалистам Гоголю, Тургеневу, Толстому.

Горячо возмущаясь такими «безыдейными» художниками, как Семирадский и другие адепты «чистого искусства», Репин утверждал искусство социальной правды. К красоте формы Репин был необычайно чуток. Однако никакая самая прекрасная форма не могла заставить его примириться с безыдейным искусством.

К. Чуковский приводит целый ряд теоретических и критических высказываний Репина по вопросам искусства, которые по своей тонкости и содержательности стоят многих страниц писаний иных профессиональных критиков и исследователей. Среди этих высказываний есть много таких, которые могли бы служить комментарием к репинскому творчеству. Стоит сказать, что проблемы теории искусства, которые волновали лучших деятелей литературы и искусства прошлого, актуальны и в настоящее время. Рецензируемая книга ценна тем, что она значительно расширяет эстетические представления, вводя в наш теоретический обиход свежие и интересные высказывания и мысли Репина, утверждающие правдивый, беспощадный реализм в искусстве, развенчивающие живописность как самоцель. Теоретические высказывания Репина показывают, как важно для художника сознательное и действенное отношение к своему труду.

В главе «Чистое искусство» и дидактика» К. Чуковский в то же время правильно анализирует противоречивость теоретических взглядов Репина. Декларируя свою иллюзорную приверженность к чистой эстетике, свой отказ от каких бы то ни было социальных тенденций, Репин сам нанес ей сокрушительный удар «и не в какой-нибудь журнальной статье, а в своей художественной практике, у себя в мастерской за мольбертом» (стр. 78).

Мемуары К. Чуковского о Горьком рисуют отдельные эпизоды из жизни и деятельности великого пролетарского писателя — они безусловно обогащают биографическую литературу об Алексее Максимовиче.

Автор интересно рассказал, как Алексей Максимович содействовал росту и развитию того, что было в литературе талантливого, нового, прогрессивного. В книге освещена организаторская, в самом широком значении этого понятия, деятельность Горького, включающая его работу как критика и публициста, как редактора, как вдохновителя целого ряда различных литературных начинаний. Ярко повествуется о той огромной роли, какую играл Алексей Максимович в руководстве издательства «Всемирная литература» и Домом ученых, о его работе в качестве председателя «Правления Союза художественных деятелей», и «Высшего совета Дома искусств». Стоит сказать, что роль, которую играл Горький в литературной жизни страны в первые годы

существования советского строя, еще недостаточно изучена, и поэтому мемуары К. Чуковского, охватывающие этот период деятельности Алексея Максимовича, представляют особый интерес.

Перед читателем встает обаятельный образ Горького, который отдавал все свое время и силы для руководства советской литературой. «К нам, сочинителям книг, — пишет К. Чуковский, — он относился с почти невероятным, легендарным участием, готов был сотрудничать с каждым из нас, делать за нас черную работу, отдавать нам десятки часов своего рабочего времени, и, если писание наше не клеилось, мы знали: есть в СССР переутомленный, тяжело больной человек, который охотно и весело поможет не только советами, но и трудом» (стр. 89).

К. Чуковский интересно раскрывает в своих мемуарах отдельные черты облика Горького человека. Вот пример: «Оказалось, что он первоклассный знаток иностранной словесности. В публике издевались: «Пролетарий не знает ни одного языка, а председательствует в ученой коллегии!» Но этот пролетарий оказался ученею много профессора. О ком бы ни заговорили при нем: о Готрне, Уордсворте, Шамисо или Людвиге Тике, он говорил о их писаниях так, словно изучал их всю жизнь, хотя часто произносил их имена на нижегородский манер. Назовут, например, при нем какого-нибудь мелкого француза, о котором никто никогда не слышал, мы молчим и конфузимся, а Горький говорит деловито:

«— У этого автора есть такие-то и такие-то вещи. Эта слабовата, а вот эта (тут он расцветает улыбкой) — отличная, очень, сильная вещь» (стр. 96).

Страницы, посвященные Маяковскому, — одни из самых любопытных в книге. «Маяковский, — пишет автор, — в то время совершал одну из величайших литературных революций, какие только бывали в истории всемирной словесности. В своем «Тринадцатом апостоле» — впоследствии эта поэма превратилась в «Облако в штанах» — он ввел в русскую литературу и новый, небывалый сюжет, и новую, небывалую ритмику, и новую, небывалую систему рифмовки, и новый синтаксис, и новый словарь» (стр. 167).

Поэт-трибун, творческое сознание которого было всегда обращено вперед, в будущее, не был оторван в своей творческой практике от всей классической культуры русского стиха. Недаром К. Чуковский рассказывает, как Маяковский в 1915 году, в период своего увлечения футуризмом, декламировал часами Пушкина.

Остается сказать еще несколько слов о ранее не публиковавшихся письмах В. Брюсова к автору книги.

Письма эти ярко воспроизводят литературную жизнь за период с 1906 по 1922 год. Они почти все — о делах литературы, о книгах, о писателях, о журнальной полемике.

Игорь Макаров

Ф. И. БЕЗЗУБОВА. «НАРОДНЫЕ СКАЗЫ» И «БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК»*

У нас почти отсутствуют работы, знакомящие широкие читательские массы с жизнью и творчеством наших сказителей.

Этот пробел особенно ощутителен потому, что переводчики не успели еще охватить весь огромный и многообразный материал, созданный творчеством сказителей. А биографические и исследовательские материалы во многом расширили бы представление читателей об этом важном участке нашей литературы.

К числу мастеров устной поэзии, знакомых русскому читателю, пожалуй, только по фамилии, принадлежит, в частности, мордовская сказительница — орденосеца Фекла Игнатьевна Беззубова.

Прозванная мордовскими поэтами «сырнень поколь», что значит «золотая глыба», Фекла Игнатьевна действительно является замечательным поэтом.

Фекла Игнатьевна Беззубова родилась 14 сентября 1880 года в деревне Новые Турдаки, бывшего Саранского уезда Пензенской губернии, в семье многолетнего бедняка, имевшего земли только на три души. Фекла Игнатьевна прошла тяжелую жизнь.

И в замужестве она не могла выбиться из нужды и горя. Только советская власть принесла ей счастье и радость. Старшие сыновья вступили в комсомол и партию и вместе со всем трудовым народом боролись за новую жизнь. Первыми они вместе с Феклой Игнатьевной вступили в колхоз. Озлобленные кулаки преследовали семью Беззубовых. Но ничто не сломало веру в победу новой жизни.

Еще смолоду прославилась Фекла Игнатьевна как лучшая песельница. Она любила народные песни, легко и быстро запоминала их в большом количестве. А мордовский народ богат песней, и была песня лучшим другом Феклы Игнатьевны, заменявшим ей науку, и театр, и музыку — все то, что доступно теперь каждому человеку.

Правда, в большинстве эти песни были печальными, потому что безрадостная жизнь создавала их. И повторяла Фекла Игнатьевна эти слова и мелодии, и далека была от мысли создавать новые, свои собственные песни. — К чему? — говорила она, — про горе лучше не скажешь, а радости не было.

Но советская власть, колхозный строй принесли крестьянству счастливую, зажиточную жизнь. Радостно забилось сердце старой испытанной песельницы. И пробудилось в ней вдохновение. И Фекла Игнатьевна неустанно трудится над созданием песен, сожалея только о том, что одному человеку не под силу спеть обо всем.

Впервые она стала слагать свои песни в 1935 году. Колхозной жизни, лучшим людям

колхозного труда посвятила свои первые песни — сама отличная колхозница — Беззубова. К ним относятся: «Колхозная песня», «Звено Анки» и другие.

Полно и художественно рассказала Фекла Игнатьевна и о своей жизни — прошлой и настоящей — в замечательном произведении «Послание Джамбулу». С той поры Беззубовой создано около пятидесяти песен: дрейфы лапанинцев и седовцев, пятилетия годовщина Мордовской АССР, социалистический рост Саранска — столицы Мордовии, — день урожая, Черное море, выборы в советы, Красная армия, — вот далеко неполный перечень событий и явлений нашей замечательной родины, послуживших источником вдохновения для Феклы Игнатьевны. И во всех песнях чувствуется необыкновенная теплота и любовь, с которой относится сказительница к творцу новой жизни, вождю и учителю трудящихся, товарищу Сталину. К числу лучших произведений какараз и относится те, где Фекла Игнатьевна говорит о большевиках, о Сталине — «Песнь XVIII съезду большевиков», сказ «Рождение гения».

Но не только в новом содержании сила Феклы Игнатьевны. Создавая свежие, не встречавшиеся ранее мелодии, исполненные светлых, солнечных красок, она создает новый мордовский литературный язык, вместе с другими поэтами и писателями Мордовии создает современную литературу. Сочетая старинную фольклорную форму с сегодняшним живым разговорным языком мордвы, Беззубова является живым примером того, как глубоко нужно знать народное творчество и учиться у народа.

Фекла Игнатьевна не является эпическим поэтом. Ее жанр — лирическая песня и короткий лирический рассказ в стихах. В пределах рассказа она чувствует себя очень свободно. Сохраняя общую композицию, она в то же время вводит в рассказ и песню, и лирические отступления самого разнообразного содержания, которые, однако, по своему внутреннему смыслу органически связаны с основной темой. Примером такого повествования служит, например, сказ «Рождение гения».

Иногда, впрочем, в ее произведениях можно заметить и недостатки как в композиции, так и в форме. Иногда встречаются бесцветные образы и бедный лексический материал. Но в этих недостатках повинна не только Фекла Игнатьевна.

Чуткий и талантливый художник Беззубова находилась в трудных творческих условиях. Не имея литературного образования, больше того, будучи неграмотной, она целиком зависела от воли людей, записывавших ее произведения.

До настоящего времени запись творений Беззубовой производилась несистематически, от случая к случаю, первыми попавшимися людьми, которые нередко искажали тексты отсыетной и произвольными изъятиями. Примеров этому немало.

* Ф. И. Беззубова. «Народные сказы». Мордовское государственное издательство. Саранск. 1939. Стр. 38. Тираж 3 000. Ц. 35 коп. «Большой праздник». Мордовское государственное издательство. Саранск. 1940. Стр. 62. Тираж 3 000. Ц. 60 коп.

Вот перед нами одна из песен, посвященная пятилетию Мордовской АССР «Кудрявый дуб». Она прекрасна по своим изобразительным средствам. Но уже при беглом знакомстве с ней замечаешь, что тот, кто записывал ее, торопился и не дал Фекле Игнатьевне закончить, поспешно поставив точку в самом сердце песни. И песня производит впечатление скорее какой-то заправки, начала какого-то, незавершенного поэтического замысла.

Но кроме этих догадок, мы располагаем мнением самой Феклы Игнатьевны о низком качестве записей ее произведений. Особенно пострадали те песни, запись которых произвел Василий Радин, бесцеремонно обращающийся с творчеством сказительницы, разжижая ее образы лексикой, заимствованной из плохих опусов малоформистов.

В еще худшие условия, чем мордовский читатель, поставлен русский читатель Беззубовой. Мы уже говорили о том, что Фекла Игнатьевна разделяет пока участь тех сказителей, которые еще не переводились на русский язык. Но вот один за другим в течение последнего года вышли два сборника переводов. Оба сборника выпущены Мордовским государственным издательством, переводы выполнены группой переводчиков: В. Радиным, А. Карасевым, А. Дорогойченко, А. Кавтаськиным и П. Гайни. Эти имена проставлены на титульном листе сборника «Большой праздник» (1940 г.). Что касается сборника «Народные сказы» (1939 г.), то в нем имена, к сожалению, не указаны вовсе.

Переводы в этих сборниках не только не достойны оригинала, они попросту плохи. И в отношении содержания и в отношении формы они не идентичны подлиннику.

Если переводы из сборника 1939 года хоть и неумело, но все же передают сущность образов Беззубовой, то в переводах из сборника «Большой праздник» часто игнорируется оригинал.

Переводы плохо передают образный, сочный и строгий язык Беззубовой, а также четкий и точный ритмический рисунок ее стиха. В большинстве случаев перед нами сюсюкающая «поэзия», сплошь наполненная ненужными словечками и слогами, вкрапленными для заполнения метрических пустот в строке.

Переводчики Беззубовой не имеют необходимой переводческой культуры. Так, стараясь передать национальный колорит, они вводят национальные мордовские слова, имеющие точную замену в русском языке. Пишут, например, «вай», что значит «ай», «ой» или «ах», в зависимости от эмоциональной окраски строки, «ава» вместо «женщина», «душманы» вместо «палачи», «умарь-сад», что значит «яблоневый сад», или «пек вадря», что по-русски — «очень хороший».

Выпуск Мордовским государственным издательством «Большого праздника» был вполне своевременен. Он приурочивался к исполняющемуся юбилею Феклы Игнатьевны, шестидесятилетию со дня ее рождения. Но, к сожалению, благое намерение окончилось крайне неудачно. Советский читатель не сможет по этому сборнику получить представление о качестве творческой работы Беззубовой, так же, как не получит его и по сборнику «Народные сказы». Очень жаль, что, осуществляя издание «Большого праздника», Мордгиз и ССГ Мордовии не придали серьезного значения подбору квалифицированных переводчиков.

А. Морю, В. Щепотев

★

«ЦИТАДЕЛЬ» А. КРОНИНА*

Герой известного романа Герцена «Кто виноват?» доктор Крупов так говорил о медицине: «Наша должность ведет нас не в залу и в гостиную, а в кабинет и в спальню... Мы ведь за кулисы ходим». Это своеобразие профессии врача, быть может, и способствовало превращению доктора Кронина в одного из виднейших современных писателей Англии.

Школа утонченного психологизма, играющая такую большую роль в западной литературе XX века, не оказала ни малейшего влияния на Кронина. Он тяготеет к глубоким общественным проблемам, к монументальности в духе писателей XIX века.

Идея мирной социальной реформы, которую настойчиво проводит в своем творчестве Кронин, звучит тоже, как отголосок XIX века. Волна революций, прокатившаяся по Западной Европе, надолго изгнала из литературы легенду о мирном преобразовании буржуазного об-

щества, и поэтому проповедь таких реформ звучит у Кронина, как возрождение иллюзий прошлого. Таким же архаизмом кажется и тема семейного гнета, которой посвящено первое произведение Кронина «Замок Броуди».

Новый роман Кронина «Цитадель» в литературной биографии писателя является как бы его возвращением к самому себе. Вопросы, волновавшие Кронина-врача, разрешает Кронин-писатель. Негодность существующей постановки врачебного дела в Англии, системы, при которой конкуренция исключает всякую возможность союза между врачами, а также поиски способов изменения этой системы, — вот что волнует писателя.

История врача Мэнсона, героя «Цитадели», несложна и, пожалуй, традиционна. Это история утраченных иллюзий и крушения идеалов юности.

Мэнсон так же, как и Джемс Броуди («Замок Броуди»), познает истину через наказание. Но сейчас, в годы своей юности, он

* Перевод М. Б. Абкиной. Гослитиздат. Л. 1940. Стр. 482. Тираж 10 000. Ц. 12 руб.

полон лучших стремлений. Уже с первых шагов своей врачебной деятельности он проявляет себя способным и знающим медиком. Рискуя своей карьерой и свободой, он решается на взрыв прогнившей водопроводной трубы, разносящей бактерии тифа по всему городу; этот поступок, первый истинно смелый поступок Мэнсона, остается безнаказанным, ибо он — хочет сказать автор — вызван высокими, благородными стремлениями. Все люди, с которыми Мэнсон сближается на первых страницах романа, лишь способствуют пробуждению и развитию лучших свойств его души. Кристин Бэрлоу, становящаяся впоследствии женой Мэнсона, предпочитает любые трудности материально обеспеченному духовному прозябанию. Характер Кристин — это сочетание бодрости, веселья, непоколебимой честности и гордого, молчаливого смирения. Кристин олицетворяет собой как бы совесть Мэнсона, являясь одновременно носителем идей самого автора, носителем истины.

Подобно женщинам Ибсена, цель своей жизни Кристин видит в том, чтобы пробуждать лучшие стремления в душе своего мужа, направить его на путь, более всего свойственный его характеру (а для Мэнсона этот путь — наука). Она старается подвить в Эндрю вспышки честолюбия и воспитывает в нем способность идти на любые жертвы ради науки. Вначале ей это удается.

Молодой врач в Эберло Мэнсон проводит опыты с морскими свинками. Благодаря интригам противников Мэнсона его обвиняют в вивисекции. И, несмотря на то, что Мэнсона оправдывают, он и Кристин не считают возможным оставаться дольше в Эберло. Они переезжают в Лондон.

Работа над происхождением силкоза (туберкулеза горняков) вводит Мэнсона в члены комитета «Патологии труда в угольных и металлургических копях». Злая ирония пронизывает страницы, посвященные деятельности комитета; ирония эта, быть может, помимо воли самого автора, звучит уничтожающе по отношению ко всем либеральным учреждениям Англии, якобы занятым улучшением положения рабочих. Кронин подробно описывает мелочность дел, которым посвящает свое время комитет, — ничегонеделанье, прерываемое завтраками.

Оскорбления в Эберло, бесполезная работа в комитете, все это убеждает Мэнсона в необходимости заняться частной практикой, которая только и может дать ему полную свободу. И наш герой приближается к пропасти. Наступает момент переоценки всех ценностей. То, что раньше казалось ему позорным, несомненным с долгом врача, скоро покажется ему вполне дозволенным. Наступает второй этап в жизни Мэнсона, его «падение».

Перелом, происходящий в мировоззрении Мэнсона, очень тонко показан Крониним; Эндрю попадает в некий порочный круг; один ложный шаг неизбежно влечет за собой второй, третий, и петля затягивается все туже и туже. Незаметно для себя Мэнсон сам ста-

новится жертвой той самой капиталистической системы врачевания, которую он так недавно порицал; необходимость продавать свой труд как можно выгодней заставляет теперь Мэнсона всяческими способами добиваться расположения своих клиентов, и он заслуживает доверия наиболее богатых из них.

Идеологическая подготовка «падения» необычайно проста. Кронин заставляет своего героя встретиться с его бывшим другом, однокурсником, теперь преуспевающим, но невежественным врачом Фредди Хэмсоном и его коллегами Айвори и Дидменом. И жажда денег овладевает Мэнсоном.

Первый акт «грехопадения» Мэнсона-врача происходит у мисс Эверет, женщины очень богатой, светской и властной: мисс Эверет периодически болеет сенной лихорадкой и просит Мэнсона сделать ей (по одной гинее за визит) целый ряд подкожных инъекций, которые рекомендовал ей ее бывший врач. В первую минуту Эндрю готов был отказаться, ибо инъекции эти были не чем иным, как модным «патентованным», но совершенно бесполезным средством. Однако он получает свои двенадцать гиней и торжествующе несет их Кристин.

За первым падением неизбежно следует второе, третье. Каждый новый пациент приносит не только деньги, но и славу. И, наконец, другая женщина занимает в сердце Эндрю место Кристин: она также пуста и эlegantна, как то общество, которое его теперь окружает. Это Френсис Лоренс. Она становится не только любовницей Мэнсона (собственно, этот момент не играет почти никакой роли в судьбе Эндрю). Она становится, — что гораздо важнее — его руководителем и советчиком.

И вот герой Кронина поднимается еще одной социальной ступенькой выше — покупает автомобиль и, наконец, по совету миссис Лоренс, открывает кабинет на одной из самых модных улиц Лондона.

В превращении Мэнсона Кристин менее всего винит деньги. Известная утопичность, свойственная мировоззрению Кронина, ведет к тому, что его герои не разделяют общества на классы. Кристин думает, что «и богачи, как и бедняки, могут быть скверными людьми». Она во всем винит тот способ, которым Мэнсон добывает деньги. Она ужасается растущему богатству Эндрю, потому что это богатство ведет его к «духовной смерти».

Но Кронин изменил бы своему тезису о том, что за всяким преступлением должно последовать возмездие, если бы не наказал Мэнсона. Расплата за преступление наступает так же стихийно, как совершалось и само преступление; операция кисты, которую, по рекомендации Мэнсона, делает врач Айвори (один из преуспевающих новых друзей Мэнсона), приводит к смерти больного и убеждает Мэнсона в том, что Айвори — даже не хирург, а «самый скверный мясник».

Это открытие рождает целый ряд ассоциаций: если Айвори совершал преступление, производя операцию, на которую он не был спо-

собен, то и он, Мэнсон, совершал такое же преступление, рекомендуй Айвори. Клубок начинает распутываться. Ничем не прерываемый голос истины подсказывает Эндрью еще одну мысль: следовательно, весь его деловой союз с Айвори был так же преступлением, как преступлением была и вся его жизнь с того момента, когда он впрыснул под кожу мисс Эверет абсолютно бесполезное средство против сенной лихорадки.

Всегда возмущавшийся религиозными настроениями Кристины, он мысленно обращается к богу и начинает чувствовать себя не преступником, а заблудшим грешником: «Куда я иду? Куда я иду, господи?»—восклицает он, думая о своей судьбе,—подводя итоги своей несправедливой жизни.

Постепенно он опять возвращается к «блелейским настроениям», т. е. к переживаниям той поры, когда он еще не изменил идеалам. Он утрачивает основной импульс, руководивший им последнее время, — он освобождается от жажды денег.

Когда-то в Эберло Мэнсон, еще полный идеальных мечтаний, стремился к объединению врачей, к взаимной ответственности каждого врача за поступки другого. Теперь возрожденный Мэнсон видит в этом единственный выход. Но призраки старого мира как будто сговорились помешать Мэнсону: в тот момент, когда он и Кристина после стольких лет отчуждения опять обрели друг друга, раздается телефонный звонок — это Френсис Лоренс. Еще более грешным ощущает себя Мэнсон, и новую мысль подсказывает своему герою Кронин: «Я слишком легко отделался», — и читатель уже понимает, что Мэнсон еще не отделался. Еще более страшное испытание предстоит ему, это испытание — смерть Кристины. Несчастье застает Мэнсона в тот момент, когда Кристина становится особенно необходимой ему: но не ропот вызывает ее смерть у Мэнсона. Нет, уже успевшее завладеть им религиозное настроение заставляет Эндрью смириться.

Мэнсон буквально выполняет одну за другой заповеди Кронина, — он очищается через страдание.

Все действительные преступления Мэнсона не вызывают протеста современного английского общества, но единственный честный и смелый поступок его обрушивает на него весь гнев «цитадели». Этот поступок — помещение больной туберкулезом Мэри Боленд в клинику американца Ричарда Стилмена, признанного всем ученым миром Америки, но не имеющего диплома врача. И, несмотря на то, что Мэри Боленд выздоравливает именно в клинике Стилмена, а не в больнице «Виктория», единственно смелый, но неукладывающийся в официальные рамки поступок Мэнсона вызывает ярость всех дипломированных торговцев.

Суд обвиняет Мэнсона в «сотрудничестве с непрофессионалом». Только благодаря огромным усилиям друзей Эндрью оправдывают. Он исполнил последнюю заповедь Кронина, — очистился через страдание и познал подлинную истину, которая была следствием не просто «благородных порывов сердца», но знания жизни.

Эндрью еще раз посещает кладбище, на котором покоится тело Кристины, и, когда он поднимает глаза, он видит, что «в высоком небе плыла сияющая гряда облаков, своей формой напоминавшая зубчатые стены крепости».

Так заканчивается «Цитадель». Зубчатая гряда облаков, которую увидел Мэнсон, — это те новые препятствия, которые предстоит преодолеть ему в его будущей жизни, где науке будет отведено главное место.

Замысел Кронина не нов. Тема гибели людей науки в капиталистическом обществе не раз затрагивалась в литературе. Но это не лишает остроты и значимости роман Кронина. Несмотря на политическую близорукость, которая заставила его пропагандировать утопические идеи, роман побудит, конечно, многих английских читателей призадуматься над несовершенством существующих порядков. И в этом большая заслуга Кронина, ибо его философия, чуждая нам, не заслоняет от вдумчивого читателя по-настоящему реалистическую повесть о судьбе ученого в условиях капитализма.

Л. Худак

Редколлегия: М. М. Розенталь
В. П. Ставский
А. А. Сурков
М. А. Шолохов
В. Р. Щербина

Ответственный секретарь В. Р. Щербина

Редакция: Москва 6. Пушкинская площадь, 5.
Издательство: «Известия Советов депутатов трудящихся СССР».

А35218 16 печ. листов. Тираж 80 000. Зак. 192. Подписано к печати 17—19/II—41 г.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР». Москва, Пушкинская пл., 5.

В московских магазинах РОСКУЛЬТТОРГА

ИМЕЕТСЯ БОЛЬШОЙ ВЫБОР

КУЛЬТТОВАРОВ И СПОРТТОВАРОВ

В МАГАЗИНАХ

СПОРТТОВАРОВ —

лыжные костюмы, куртки, трикотажные спортизделия, спортобувы, клубные игры: шапки, шахматы, домино и др. спортпринадлежности.

В МАГАЗИНАХ

МУЗЫКАЛЬНЫХ ТОВАРОВ —

граммпластинки, иголки, гитары, балалайки, баяны, гармоники, скрипки и другие музтовары.

В МАГАЗИНАХ

ИГРУШЕК —

разнообразный ассортимент кукол, мягкие игрушки-звери, сани и велосипеды детские, настольные игры и др. виды игрушек.

В МАГАЗИНАХ

ШКОЛЬНО-ПИСЬМЕННЫХ ТОВАРОВ —

школьные портфели, авторучки, ученические краски, художественные картины, записные книжки и др. товары.

В МАГАЗИНАХ

ФОТО- и РАДИО- ТОВАРОВ —

пластинки всех размеров, химикалии, репродуктор «Рекорд», фильтры индустриальных помех и др. фоторадио-принадлежности.

В МАГАЗИНАХ

ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТОВАРОВ —

знамена, флаги, петлицы и знаки различия.

КУПЛЕННЫЙ ТОВАР ДОСТАВЛЯЕТСЯ НА ДОМ БЕСПЛАТНО.

МАГАЗИНЫ ПРИНИМАЮТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ НА КУЛЬТТОВАРЫ.

МАГАЗИНЫ ПОЧТОЙ ТОВАР НЕ ВЫСЫЛАЮТ.

НА ВСЕ КУРОРТЫ СССР

ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ ПУТЕВКУ ИЛИ
КУРСОВКУ НА НЕОБХОДИМЫЙ ВАМ МЕСЯЦ,
ПОЛЬЗУЯСЬ РАССРОЧКОЙ В ОПЛАТЕ.

АВАНСЫ на ПУТЕВКИ и КУРСОВКИ ПРИНИМАЮТСЯ ВО ВСЕХ ОБЛАСТНЫХ
и РЕСПУБЛИКАНСКИХ КУРОРТНЫХ КОНТОРАХ, а в гор. МОСКВЕ — ВСЕ-
СОЮЗНОЙ КУРОРТНОЙ КОНТОРОЙ (Крымская пл., В. Чудов пер., 8, т. Г-6-49-96).

В МОСКВЕ В 32 СВЕРЕГАТЕЛЬНЫХ
КАССАХ ПРИНИМАЮТСЯ ЦЕЛЕВЫЕ
ВКЛАДЫ НА

ПУТЕВКИ и КУРСОВКИ



ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1941 год

НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ МАССОВЫЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЖУРНАЛЫ
НАРКОМЗЕМА СССР:

КОЛХОЗНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Основной руководящий журнал
для колхозов.

Журнал рассчитан на председателей
колхозов, бригадиров, агрономов,
счетоводов и на колхозный актив.

Подписная цена:

на год	12 рублей
на 6 месяцев	6 рублей
на 3 месяца	3 рубля

МТС

Ежемесячный производственно-
технический журнал

Журнал рассчитан на руководителей
и специалистов МТС, на трактори-
стов, комбайнеров и бригадиров
тракторных бригад.

Подписная цена:

на год	12 рублей
на 6 месяцев	6 рублей
на 3 месяца	3 рубля

КОЛХОЗНАЯ ТОВАРНАЯ ФЕРМА

Журнал рассчитан на низовых зоо-ветработников и работников колхозных
животноводческих ферм.

Подписная цена:

на год	6 рублей
на 6 месяцев	3 рубля
на 3 месяца	1 рубль 50 копеек

САДЫ И ОГОРОДЫ

Журнал рассчитан на агрономов,
работников земельных органов,
стахановцев, бригадиров, совхозно-
колхозный актив.

Подписная цена:

на год	18 рублей
на 6 месяцев	9 рублей
на 3 месяца	4 рубля 50 копеек

КРОЛИКОВОДСТВО И ЗВЕРОВОДСТВО

Журнал рассчитан на заведующих и
бригадиров кролиководческих и зверо-
водческих хозяйств, районных инструкторов,
рабочих, колхозников и служащих,
занимающихся кролиководством
и звероводством

Подписная цена:

на год	15 рублей
на 6 месяцев	7 рублей 50 копеек
на 3 месяца	3 рубля 75 копеек

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ ПОЧТОЙ, ПИСЬМОНОСЦАМИ, «СОЮЗПЕЧАТЬЮ»
И МАГАЗИНАМИ КОГИЗА.